

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ 2016 ГОДА  
НА “ТОЛСТЫЕ” ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ РОССИИ:

- “Наш современник” — 5200,
- “Знамя” — 2500,
- “Иностранная литература” — 2500,
- “Новый мир” — 2500,
- “Нева” — 1500,
- “Москва” — 1480,
- “Молодая гвардия” — 1240,
- “Октябрь” — 1000,
- “Дружба народов” — 700,
- “Звезда” — 700

БЛАГОДАРИМ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ!

*Редакция “Нашего современника”*

# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## № 2 2016

## К 75-летию со дня рождения Юрия Кузнецова



*Поздно вечером они вернулись из-за города, и он сразу лёг спать и провалился в волшебный сон. Он видел чудесный сад, в котором всё было на радость людям: звенел подснежный колокольчик, белел нежный ландыш, а рядом с ним росла скромная незабудка. До него доносились запахи фиалки, сирени и жасмина. Кругом летали птицы, и ощущалось присутствие незримых ангелов. В середине сада красовались огромные розы, из которых выглядывали девичьи лица: из белой розы глядела белая девица, из красной — красная, из черной — чёрная. Эти розы обрамляли чистый водоём, в котором сияла царственная лилия. Её аромат, казалось, сливался с Божьим дыханием, а на всём лежала печать недосягаемого на земле покоя. Он слегка шевельнулся и вдруг увидел скорбное лицо своего отца — Поликарпа Ефимовича. Из-за его плеча робко выглядывала мама. Тут с белой розы упала росяная капля, и Юрий Поликарпович медленно стал просыпаться. Он обвёл взглядом комнату, понял, что находится в московской квартире и что пора собираться на работу в журнал “Наш современник”.*

*(Из книги Ольги Овчаренко “Юрий Кузнецов”)*

Материалы рубрики “Мир Кузнецова” читайте на стр. 250–282.

*Нашему другу, соратнику,  
неутомимому литературному бойцу  
Владимиру Григорьевичу Бондаренко  
исполнилось 70 лет!*



*Рождался хороший ли, плохой, но новый советский поэт Игорь Северянин. Может быть, в мечтах старого и больного романтика видится, что его стихи приравнены к стихам Володи Маяковского. Он пишет в письме к Шенгели от 9 ноября 1940 года: “В скором времени я напишу Сталину, ибо знаю, что он воистину гениальный человек”. И далее делится своими планами: “Я хотел бы следующего: пять-шесть месяцев в году жить у себя на Устье, заготавливая стихи и статьи для советской прессы, дыша дивным воздухом и в свободное от работы время пользуясь лодкой, без которой чувствую себя, как рыба без воды, а остальные полгода жить в Москве, общаться с передовыми людьми, выступать с чтением своих произведений и совершать, если надо, поездки по Союзу. Вот чего я страстно хотел бы, Георгий Аркадьевич! То есть быть полезным гражданином своей обновлённой, социалистической страны, а не прозябать в Пайде...”*

Статью Владимира Бондаренко “Сталинский грёзофарс Северянина” читайте на стр. 236.



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

### У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России  
ООО "ИПО писателей"

Международный фонд  
славянской письменности  
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

### Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
В. Н. ГАНИЧЕВ,  
Г. Я. ГОРЬОВСКИЙ,  
Т. В. ДОРЕНИНА,  
С. Н. ЕСИН,  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
М. П. ЛОБАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
В. Д. ПОПОВ,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
С. А. СЫРНЕВА,  
А. Ю. УВОГИЙ,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ

## Проза

- Алексей НОВГОРДОВ  
Боевая машина "жигулёнок".  
Рассказ-быль ..... 3
- Александр ПРОХАНОВ  
Губернатор.  
Роман (окончание) ..... 20
- Андрей БОГОДУХОВ  
Накануне. Рассказ ..... 59
- Сергей КЛИМКОВИЧ  
Посылка. Рассказ ..... 69
- Дмитрий ХОВОТНЕВ  
Остановка в ночи. Рассказ ..... 75
- Николай НИЧИК  
Куст черемши, или  
Серёга Золотой Нос. Рассказ ..... 84
- Виталий КРЁКОВ  
Царство Божие. Рассказ ..... 94
- Владимир ИВАНОВ  
На угольях. Рассказы ..... 101
- Вера ЛАВРИНА  
Босой Бог. Притчи ..... 121

## Поэзия

- Юрий ВОРОТНИН  
Глотая отечества дым... ..... 15
- Александр ПОШЕХОНОВ  
И печки трепетный дымок... ..... 55
- Борис БУРМИСТРОВ  
Свет исповедальный ..... 72
- Дмитрий КЛЁСТОВ  
Санитарная рубка  
С предисловием С. Донбая ..... 80
- Анатолий ИЛЕНКО  
Тени прошлой жизни ..... 91
- Александр ИБРАГИМОВ  
Отблики Великой ..... 98
- Виктор КОВРИЖНЫХ  
Наивного счастья ключи ..... 118
- Александр КАТКОВ  
Россия, моя берегиня... ..... 125
- Поэтическая мозаика ..... 128

## Память

- Олеся БУЗИНА  
Карма Украины ..... 130
- Сергей ШАРГУНОВ  
Вечная весна (продолжение) ..... 136
- Юрий ПАХОМОВ  
Чердак оседлой кошки ..... 203

## Редакция

Приемная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
зам. главного редактора —  
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —  
зав. отделом прозы —  
(495) 625-30-47

С. С. Куняев —  
зав. отделом критики,  
отдел поэзии —  
(495) 625-02-81

Отдел публицистики —  
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —  
зав. редакцией —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
зав. техническим центром —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
гл. бухгалтер —  
(495) 625-89-95

## Дневник современника

Александр КАЗИНЦЕВ  
Русская боль  
Беседа с В. Сдобняковым ..... 159

## Очерк и публицистика

Михаил ЛЕМЕШЕВ  
Экологические деревни —  
альтернатива урбанизации ..... 166  
Татьяна МИРОНОВА  
Законы русского  
народоправства ..... 177  
Ольга СВЕРДЛОВА  
Парадоксы воспитания ..... 196  
Андрей УБОГИЙ  
В Казань к Аксакову,  
или Поиски рая ..... 224

## Критика

Владимир БОНДАРЕНКО  
Сталинский грёзофарс  
Северянина ..... 236

## Мир Кузнецова

Ольга ОВЧАРЕНКО  
Юрий Кузнецов.  
Главы из книги ..... 250  
Геннадий МОРОЗОВ  
Письмо Станиславу Куняеву ..... 267  
Максим ГАЗИЗОВ  
Высокий порог ..... 271  
Сергей КУНЯЕВ  
Поэт и “крысы бытия” ..... 275

## Среди русских художников

Юрий ЕРМИЛОВ  
Художник Андрей Пеплов ..... 283

## В конце номера

Алла ФАТОСУЛОВА  
Пока живу,  
не расстаюсь с журналом ..... 287

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов

Операторы: Е. Я. Закирова, Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 02.02.16. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 246-2016. Тираж 5200 экз.

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

(Рукописи по электронной почте не принимаются)  
Адрес сайта в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru)

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62 [www.redstarp.ru](http://www.redstarp.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

АЛЕКСЕЙ НОВГОРОДОВ



## БОЕВАЯ МАШИНА “ЖИГУЛЁНОК”

РАССКАЗ-БЫЛЬ

“Жигули” обзывают чудом советского автопрома с иронией, а зря. Ещё в не такие уж и далёкие времена “жигулёнок” был показателем успешности его владельца и пользовался большой популярностью. Упрекнуть трудовую лошадку XX века можно только в городах да посёлках с дорожными коттеджами, где асфальт не изрыт воронками от фугасов, где можно пожаловаться на отвратительную работу коммунальщиков, где автосервис совершит любой каприз с самой навороченной иномаркой. А “жигули” — это “моделист-конструктор”, не видевший автосервиса более четверти века, ремонтируемый на коленке в любых условиях подручными средствами. Вот и бегают наш “жигулёнок”, осваивая дороги, улицы и переулки, куда не ступала нога в лакированной туфле и не въезжало колесо иномарки.

Для передвижения по военным дорогам лучше, конечно, использовать “уазик”, а ещё лучше — БТР, но они никак не способствуют выполнению разведывательных задач операми УБОПа, засовывающими свой нос во все уголки полыхающей Чечни для получения оперативной информации о бан-

---

*НОВГОРОДОВ Алексей Викторович родился 12 апреля 1961 года в Подмосковье. Служил в воздушно-десантных войсках, затем двадцать лет — солдатом правопорядка, от слушателя Московской высшей школы милиции МВД СССР до руководителя подразделения центрального аппарата МВД России. Участник Первой и Второй чеченских кампаний. Был ранен. Полковник милиции, отмечен многими наградами. Участник Всероссийского совещания писателей, пишущих на военную тему, состоявшегося в 2015 году в Переделкине. Единственный в России человек, награждённый четырьмя орденами Мужества (1998, 1999, 2000, 2008).*

дитах и их пособниках, о совершённых преступлениях и готовящихся терактах, о пленниках и заложниках. А также любых других сведений, которые хоть на день приблизят мир на некогда гостеприимном Кавказе. Местные жители давно уже облюбовали “жигули” из-за их доступности, дешевизны и ремонтнопригодности, что очень важно для разоренных войной, выживающих в тяжелейших условиях мирных тружеников, поднимающих мозолистыми руками непростое хозяйство воюющей Чечни. Не всегда поднимется рука даже у озверевшего в лесах чеченца ахнуть под мчащимися “жигулями” фугас — велика вероятность погубить некогда уважаемого им человека. Велики на Кавказе кровные связи. Вот и снуют по дорогам “жигулёнки”, то до невозможности перегруженные хозяйственным скарбом, то до беспредела забытые пассажирами, то с комфортом везущие убелённого сединами старика. Но обязательно с наглухо затонированными стеклами.

Либо быстро вернуться, либо не возвращаться по дороге, по которой приехал, — эту заповедь надо впитать с молоком матери каждому оперу, как “Отче наш”, мотаясь по совершенно недружелюбным и часто враждебным селам, где каждый норовит схватить тебя и растерзать, и уж в случае вышей любезности — всадить автоматную очередь в спину. И только вдруг, как чудо, кто-то, поверивший тебе, рискуя жизнью, сунет клочок бумажки с информацией, которой ты очень ждёшь, а ещё больше ждёт, что ты получишь её, томящийся в зиндане пленник. И вот ради этой самой записки, нарушая все правила безопасности, несёмся мы с моим заместителем Долговым Серёгой в Урус-Мартан, опережая саперную группу, прикидываясь местными жителями, полагаясь лишь на то, что наш автомобиль ничем не отличается от сотен таких же затонированных и мчащихся на предельной скорости чеченских “жигулей”.

Ранним утром разбудил меня Гена Мордвин и доложил, что Умар из Урус-Мартана срочно хочет со мной встретиться. Я не боялся получать в эфире информацию открытым текстом. Никакие технические средства защиты не справлялись с передовыми технологиями перехвата связи, которые поставляло бандитам “передовое человечество”. Вот и слушали они все наши переговоры. Но голь на выдумки хитра. В моём подчинении — пять межрайонных отделов УБОП, рассредоточенных по всей территории Чечни. Раз они нас слушают, так я и не против. Я в каждый отдел направил по сотрудинику СОБР, прибывшему из Мордовии с одним условием: в эфире разговаривать по-мордовски. У бандитов мозги плавилась, голова шла кругом, так как практически невозможно определить, на каком языке идёт разговор, к тому же маленькая Мордовия делится на три языковые подгруппы — Мокша, Шокша и Эрзя, и это сводило усилия бандитов на ноль. Зато я, имея одного из шестерых — Гену, — обладал информацией по всей Чечне в режиме онлайн. Правда, после каждого эфира мне много приходилось выслушивать грязной ругани, чтобы “русский свинья разговаривал по-русски”, а я терпел, иногда огрызаясь на чеченском.

Умар попал в Урус-Мартановский отдел УБОП в числе многих других подозреваемых в организации взрыва комендатуры федеральных сил и последующего подрыва автомобиля оперативной группы, следующего на место преступления. Последнее время бандиты использовали тактику двойного взрыва, закладывая два фугаса. После первого взрыва выезжает оперативно-следственная группа с целью осмотра места происшествия, сбора и документирования улик и доказательств, для розыска лиц, причастных к данному теракту. Вот и становятся они мишенью для второго подлого взрыва. Но рискуют милиционеры жизнью, собирая по крупницам вместе с доказательствами мирную жизнь для этой благодатной земли.

Объём работы просто огромный, и я удивляюсь работоспособности начальника Урус-Мартановского межрайонного отдела УБОП ОРБ № 2 Рукмана Якубова, мы с моими замами Николаем Шаравиным, Сергеем Долговым да трудягами операми Скорняковым и Хаджибековым на третьи сутки уже валимся с ног от усталости, а он работает, как заводной, забывая о сне и отдыхе. Он — настоящий Чеченец с большой буквы, и мир на родной земле — для него не пустой звук. Он потом и кровью возвращает этот мир на

свою землю, отдавая дань уважения тем, кто сохранил его в далёком 1945 году. И неужели он, мужчина, не отстоит благополучие и счастье для своих потомков!

Результат оперативной работы — всегда получение достоверных фактов, которые иногда становятся не обличающими, а защищающими человека и его доброе имя, доказательствами непричастности его к теракту. И снова роешь землю в поиске тварей, убивающих людей, любящих жизнь. Бросать людей, прошедших через сито подозрений, мы не имеем права, мы сохраняем им не только доброе имя, но и веру в справедливость, что мы — москвичи, читинцы, новосибирцы, биробиджанцы — приехали в Чечню со всех концов Великой России по долгу профессии, исключительно только для помощи в наведении конституционного порядка и обеспечения законности.

Умар, оцетинившийся, как ёж, молчал, не проронив ни звука, и только зло стрелял своими чёрными глазами и, будь его воля, не задумываясь, порвал бы меня. Он молчал, уверенный в своей непричастности, вспоминая доказательства своей невиновности, но не верящий в справедливость милиции. А мне приходилось доказывать обратное, изворачиваться и добывать ему алиби, рискуя собственной жизнью. Злой за потраченное на него впустую время, не испытывая чувства раскаяния, я формально произнёс слова извинения со ссылкой на обстоятельства и сложность оперативной обстановки и вообще ситуации в стране, хотя ни он, ни я не слушали произносимую мной, заготовленную кем-то для порядка речь. В конце я протянул ему руку. А он не уколол меня взглядом, а тихо-тихо произнёс:

— Ты — мужчина, я верю тебе.

И только переступив порог, оглянувшись по сторонам, окинув ещё раз с высоты своего могучего роста мою измождённую, шатающуюся от усталости фигуру, сказал:

— Я помогу русскому, жди.

И вот это “жди” уже неделю не выходит у меня из головы. Я не могу ждать, каждая минута вызывает вопросом: “Когда?”, — а тишина в эфире отвечает: “Жди”. Я работаю и жду. Иду на доклад к генералу Хотину и жду. Жду, даже просыпаясь среди ночи. Но я жду в окружении приятных мне людей: взвешенного и рассудительного Шаравина, скрупулёзного и дотошно-Скорнякова, весёлого и проницательного Хаджибекова и многих, многих друзей, сроднившихся в боевое братство.

А каково ждать тому русскому, находящемуся в зиндане, где каждый вздох может стать последним, где голод наматывает кишки на кулак, где боль от побоев и загнивающих ран начинает вызывать к смерти! И только сила воли не даёт превратиться в грязное человеческое существо. Ждать — это невероятная пытка без определённого срока.

И когда я услышал от Гены об Умаре, сон как рукой сняло, и, затолкав в машину первого, кто попался на глаза в это раннее утро, — Долгова, я уже через пять минут нёсся в сторону Урус-Мартана, так как время встречи было жёстко ограничено.

Рослую фигуру Умара, медленно идущего по рыночной площади от прилавка к прилавку, мы увидели издалека, но сразу подходить к нему не стали, чтобы не вызвать подозрения у всё замечающих подростков, непонятно с какой целью сидящих целыми днями на корточках на каждом перекрестке. Однако и долго задерживаться на рынке небезопасно, спортивный костюм никак не скрывает, даже при беглом взгляде, внешность славянина, являющегося чужаком и объектом нескрываемой ненависти. Долгов остался в машине с оружием, контролируя ситуацию, хотя это только для самоуспокоения. Никто не спасёт от автоматной очереди, которая может полоснуть из любой подворотни, стоит лишь на миг остаться одному на линии огня. Поэтому, вращая головой на 360 градусов, я сливался с одинокими покупателями и скучающими продавцами, однако избегая больших групп, чтобы не быть схваченным и увезённым в неизвестном направлении, превратившись в заложника. Умар, увидев меня, остановился, затем стал быстро удаляться

в противоположную сторону, но, замедлив шаг, резко обернулся, посмотрел в мою сторону. Но не своим пронзительным взглядом, а отрешённым, больше, наверное, смотрящим в глубину своей души, разговаривая со своей совестью и честью. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он решительно двинулся в мою сторону. Размеренно шагая мимо меня, он сунул мне в руку плотно сложенный лист бумаги, который был сверху уже мокрый от вспотевших ладоней. Резко свернув в ближайший проулок, он скрылся из виду. Я не смотрел в его сторону, а был повернут лицом к продавцу, и только боковым зрением видел эту удаляющуюся могучую фигуру взрослого человека, вынужденного бояться за свою жизнь, пока бесчинствуют на этой земле бандформирования. Купив бутылку минеральной воды, я шмыгнул в наш грязно-красный “жигулёнок”, и Серёжа, не дожидаясь, когда хлопнет пассажирская дверь, рванул с места, окутав пылью всю рыночную площадь. Но этого я уже не видел. Гипнотизирующее действие зажатого у меня в руке чьего-то спасения отрешило меня от реальности происходящего. И только острая боль по всей заднице вернула меня в окружающую действительность. Запрыгивая на продавленное кресло “жигулёнка”, я даже не заметил лежащего на нём родного “калаша”, который впилился всеми выступающими частями своего металлического тела в моё мягкое место. Возопив нараспев стандартную фразу, которую выкрикивают во всех уголках нашей необъятной Родины, с большим упором на букву “ё”, я с трудом извлёк из-под себя мною же аккуратно положенный на сидение АКС-74. Это нелегко было сделать, так как “жигулёнок” прыгал и вилял на скорости не менее сотни километров в час, мотыля по своему салону всё, за исключением вцепившегося в руль Долгова, который сам закладывал эти автомобильные пирюэты на как оспой побитой ямами дороге.

С огромной осторожностью разворачивая ещё влажный от пота тетрадный листок в косую линейку, я поймал себя на мысли, что Умар боится не за себя, не за свою жизнь, а за этого или эту первоклашку, из чьей тетради вырван листок со спасительной схемой расположения места заточения русского.

Всё, сыскари убоповцы, за пахоту! Теперь только от нас зависит, когда наконец-то прекратятся нечеловеческие муки человека, собеседницей которого уже длительное время является старуха в саване и с косой, приходящая за лёгкой добычей, но наталкивающаяся на твёрдость духа, стойкость и мужество воина, не сломленного даже бородами ублодками, воюющими со своим же народом да пацанами, не успевшими увидеть жизнь, но довольны насмотревшимися на смерть.

А почему именно старуха? Она, костлявая, всем нам ровесница, а на Кавказе она безрассудна и молода, сродни прекрасным лицам пацанов, оставляющих в этих горах своё сердце, молодость, а иногда и жизнь. Русский, потерпи, теперь уже вцепившись бульдожьей хваткой за добытую ниточку, ведущую к тебе, — на зубах, на одних только нервах, разорвав в клочья тельняшку и душу, доберёмся к тебе: своих не бросаем.

Первое разочарование окатило, как ушат холодной воды: нарисованная схема не подходила ни к какой части Урус-Мартана. Неужели обманул, отмахнулся, как от назойливой мухи? Порву, своими руками порву! Неужели я ошибся в человеке? Нет же, нет! Не мог он так играть. Да и зачем? Он всё-таки рисковал, хоть минимально, но рисковал, стараясь по-шпионски незаметно передать мне записку. Всё. Стоп! Нервы ни к черту. Надо успокоиться. Включи голову, охолонься, подумай. Но не могу я, как Чапай, часами мечтать, склонившись над картой. Стоп... Ещё не облечённая в словесную форму мысль уколола и пульсом застучала в висках.

— Шаравин, Коля, мухой ко мне Хаджибекова, и пусть этот проньера из-под земли мне достанет рукописную схему Урус-Мартана. Срочно-о-о!!!

Неужели я прав? Да конечно!.. В сортир!!! В очко!!! Все эти чудо-военные карты, доставшиеся нам ещё от великого Советского Союза...

Хаджибеков, миленький, ну, найди, пожалуйста! Ну, давай быстрее, там — человек, которому каждая секунда промедления — как вечность пребывания в земном аду. УБОП есть УБОП — оперативная элита Министерства внутренних дел, где служат только супервысочайшего уровня професси-



оналы, творящие ради дела чудеса, а Хаджибеков в нём — особая личность. Уже через полчаса он выкладывал мне на стол листы аэрофотосъёмки всего Урус-Мартановского района, неизвестно каким образом добытые у вертолётчиков. И только голосом, исполненным гордости за сработавшую сообразалку, причитал, что, если сегодня он их не вернёт, его порежут на мелкие кусочки и с вертолёта развеют над Ханкалой, а угроза эта была небезосновательной, так как вертолётов у них много.

Пять пар глаз впились в лежащие на столе снимки, в кубрике повисла напряжённая тишина. Случись даже землетрясение, никто бы даже не моргнул, ни на секунду не оторвал бы взгляда от стола, мысленно примеряя к каждому фрагменту фотографии на всю жизнь отпечатавшуюся в мозгу схему с тетрадного листа в косую линеечку.

— Есть, командир! — опытный взгляд охотника уловил на фотографии еле сопоставимые черты врезавшегося в память карандашного рисунка.

— Молодец, Славочка, мо-ло-дец! Не зря ты лазаешь по родной тебе тайге, замечая и выхватывая взглядом самое нужное, самое главное.

Точно, так и есть, хоть сильно отличается и размерами, и расстояниями, да и нарисовано наспех, упущены главные ориентиры. Прорисовывая изгибы улицы, Умар даже не обозначил примыкающий лес. Мартан-Чу избрал как окраину Урус-Мартана, не обращая внимания на крупные детали, как бы само собой разумеющиеся, но суть ухватывается, и это точно то, что нам надо. Это уже не ниточка к тебе, дорогой “русский”, это уже надёжная веревочка. Но вытаскивать тебя надо не с фотографии, а из лап настоящих бандитов, которые тоже не дураки и работают головой не хуже нашего. Воюют они в местах, где им каждый кустик знаком, а перед нами фотографии местности, да и то не лучшего качества, хотя и за эти спасибо. Нужна рекогносцировка. Сегодня из меня дурь прёт через край, просто фонтанирует! Я задал самый глупый вопрос, который мог задать только человек, ни разу не видевший моих бойцов: “Кто со мной?” С последним звуком я осознал свою ошибку, но было поздно. Мне пришлось повышать голос, и непререкаемым тоном руководителя приказывать всем остаться в расположении.

— Старший в мое отсутствие — Шаравин, со мной — Долгов.

Ненавижу я кричать на оперов, не заслуживают они этого, но сегодня за свою нетактичность я расплачиваюсь скрежетом зубов рвущихся в бой ребят.

“Рекогносцировка, от латинского слова “*recognosco*” — осматриваю. В военном деле визуальное изучение противника и местности в районе предстоящих боевых действий лично командиром (командующим) и офицерами штабов для получения данных и принятия решения” — Энциклопедический словарь. Вот и летит трудяга “жигулёнок” за самой нужной, самой свежей информацией для принятия решения ценою в человеческую жизнь. Здесь нельзя просчитаться, допустить ни одной, даже маленькой ошибки. Нам надо не только разведать, получить полную картину предстоящей операции, но и сделать это так, чтобы бандиты даже не догадались об истинной цели наших интересов.

Расхитители социалистической собственности иногда приносят пользу своей алчностью: на окраине Грозного в недрах стихийного рынка мы, выложив кругленькую сумму, покупаем себе неубиваемую легенду. Всё-таки Господь помогает нам в благих делах. Человек неопределённого вида и ещё более неопределённого возраста — от двадцати пяти до шестидесяти лет — продаёт сворованный из какой-то воинской части с частично затёртым инвентарным номером небольшой дизель-генератор. Он очень удивился, зачем люди, явно принадлежащие к силовым структурам, покупают у него то, чего в их ведомстве хватает с лихвой, а их же пронырливые коллеги и продали ему это за бесценок. Поймать бы этих “коллег”, взглянуть бы в глаза — ведь у себя же воруют, сволочи! С оказией обязательно сообщу в Толстой-юрт Андрею Кирикову, крупному специалисту службы по борьбе с экономическими преступлениями, с неординарной оперативной хваткой и проницательным умом. Он был неудобен своему начальству в Москве из-за его прямоты, за что и получил полугодовую путёвку на Кавказ — подышать горным воз-

духом воюющей Чечни. Но это потом, а в данный момент для нас это был подарок судьбы! Ведь с этим генератором мы можем засовывать нос в любой дом, пытаясь продать якобы только что сворованный агрегат, изображая военных барыг.

Вылив на себя целую бутылку водки, чтобы от нас разило, как от пивной бочки, мы, как заядлые алкаши, продающие последнюю рубашку, приставали к хозяевам домов, демонстрируя незаменимый в хозяйстве агрегат. Как магнитом тянуло к нужному нам дому, но для порядка пришлось поторговаться в соседних домах, умышленно задрав цену, чтобы не купили нашу замануху в первом же дворе. Раззадорив половину жителей генератором и сами порядком засветившись, мы наконец-то приблизились к добротному строению за высоким забором, который, как в потёмкинской деревне, блистал своей дороговизной только со стороны улицы, что было хорошо видно через щели в ажурно кованых воротах с приваренными с внутренней стороны металлическими листами. С видом распоясавшихся хозяев жизни, потерявших страх от изрядно принятого спиртного, мы начали колотить в ворота. Сердце в груди колотилось гораздо сильнее и громче ударов кулаком по железу воротины. Но как ни ждали мы этого, голос из-за ворот прозвучал настолько неожиданно, что заставил даже отшатнуться с зависшим в воздухе кулаком.

— Что надо?

Собеседник с той стороны и не собирался встречать нас с распостёртыми объятиями и пускать во двор, он даже не намеревался открывать дверь рядом с воротами, чтобы хотя бы поинтересоваться столь назойливыми гостями. Долгов пытался рассказать отработанную во многих дворах сказку про генератор, но голос грубо оборвал его, сказав, чтобы мы убирались и что ему ничего не надо. Во время этой перебранки я через щели сканировал каждый сантиметр двора, стараясь ничего не упустить, ни одной мелочи, ни одной детальки. С детской наивностью я старался увидеть хоть малейшие признаки места содержания русского, но не такие уж они и дураки, какими их рисуют в своих байках пацаны в курилках, изображая себя героями или, как минимум, Рэмбо. Даже во время спецоперации, когда рыщешь по двору, как ищейка, трудно бывает обнаружить тщательно скрываемые следы зиндана. Но теперь-то я точно знаю, что он есть, и именно здесь. Поэтому, отойдя к машине, я изучаю не только двор, его строения, но и подходы к нему, а также возможные пути отступления бандитов. Всё, дорогой русский, это уже не верёвочка, это гораздо серьезнее. И завершающей точкой рекогносцировки, чтобы не было ни малейших сомнений в нашем коммивояжёрстве, мы продали генератор соседу напротив, наверняка под пристальным взглядом из окна нашего негостеприимного собеседника. Охренеть!.. Утром кушили — днём продали, минус четыреста рублей! Организаторов таких финансовых провалов ни одна коммерческая структура не потерпит, придётся служить в милиции до глубокой старости. Зато оперативный прикуп огромен, и его никакими деньгами не измеришь.

Главное — либо быстро вернуться, либо не возвращаться по дороге, по которой приехал. Что крутились мы очень долго и засветились по полной, в этом не было никаких сомнений, и что дорога до трассы Ростов—Баку всего одна — это факт. Кстати, невелик выбор направлений и на трассе, выбравшись на которую можно либо через Алхан-Юрт попасть в Грозный, либо через Самашкинский лес и блокпост “Кавказ” — в Карабулак, в мобильный отряд, откуда, отсидевшись, потеряв время и поменяв номера, можно опять нестись по той же трассе в Ханкалу. Никакого смысла. Поэтому, уповав на Господа и боевую машину “жигули”, летим на предельной скорости, на какую способен наш выдавший виды “жигулёнок”. Передвигаясь на скорости за сотню километров в час, имеешь меньше шансов получить взрыв фугаса под брюхом мчащегося автомобиля. И уже когда пролетаешь закладку, начинаются догонялки со смертью, и чем быстрее ты уносишься, тем слабее её хватка. Серёга, как мне показалось, вообще не пользуясь педалью тормоза, лихо преодолевал все дорожные препятствия, скорее не замечая, а чувствуя их, перемещаясь то на одну, то на другую сторону совершенно пустой дороги. Мы счастливы — ведь благую весть несём!

Но дьявол тоже не дремлет... Неестественно задрало задницу автомобиля так, что, упершись руками в торпеду, я разглядел каждую ямку, каждый камешек, каждую пылинку перед капотом и осознал, что нас подорвали, раньше, чем услышал гром взрыва. Не опускаясь на землю, багажник стал обгонять моторный отсек. Долгов крутил руль, безнадежно пытаясь хоть что-то сделать с машиной. Но она была уже во власти догнавшей нас взрывной волны и, только чудом не перевернувшись, ударившись задними колесами о дорогу, пронесла ещё по инерции метров сто и свалилась с дороги, уткнувшись мордой в придорожную траву. Всего какой-то миг, а в голове воспринималось, осознавалось всё с такой чёткостью, как будто на осознание каждого действия, происходящего вокруг, отведена была целая вечность, а ты её уже прожил, переварил, и мозг уже работает на будущее: “Как и что дальше делать?”

Выскочив из машины, я упал под откос дороги, лишь на секунду обогнав ударившую по дорожному полотну автоматную очередь. Не поднимая головы, приподняв лишь ствол автомата, я в ответ пустил длинную очередь в том направлении, откуда прозвучали выстрелы, тем самым остудил пыл джигитов, пытавшихся с наскака прикончить двух зарвавшихся федералов. Из мгновенно пересохшего горла я с трудом выдавил:

— Серёга, живой?

И снова вечность в ожидании ответа.

Короткое “Да!” откуда-то сзади смочило глотку и отпустило спазмом сжавшиеся внутренности. Тому, кто скажет, что не боится смерти, смело можете плюнуть в лицо и назвать лгуном, ни разу не бывавшим в экстремальных ситуациях. Страх сковывает мышцы так, что только невероятной силой я заставил себя ещё раз поднять словно налившиеся свинцом, пудовые руки и садануть ещё одной очередью по кустам, где засели явно не ожидавшие такого разворота событий бандиты. Они точно видели, что из машины выскочили двое: где нахожусь я, они знали наверняка, но только достать не могли из-за скрывающей меня дорожной насыпи. Они легко могли подойти ко мне, прижимая к земле очередями, не давая даже пошевелиться, держа под обстрелом мой спасительный откос. Но второй? Он как будто растворился, ловко замаскировался, пока мы обменивались безрезультатными, но пугающими очередями. Он явно держит ситуацию под контролем, не выдавая своей позиции, потому и не решаются бандиты выйти из своего укрытия для окончательной расправы над подранками, боясь попасть под прицельный огонь этого второго. Серёженька, дорогой, молчи! Ты — наша козырная карта. Только от твоих стальных нервов зависит развязка, какой она будет, а я отвлеку, не дам тварям спокойно осматривать ямки да уступы, выскивая тебя — “второго”. Эффект неожиданности ими упущен, теперь мы почти на равных, тем более с моей козырной картой — находящимся в импровизированной засаде Долговым. Только, Серёженька, не выдай себя, ведь они боятся только неожиданности, неопределённости. С этой мыслью, я, выдав очередную порцию свинца, немного замешкался, и тут же меня накрыл со звоном рассекающий воздух встречный поток смертоносного града пуль. Кисть правой руки обожгло, как огнём. Я дёрнул руку так, что автомат, задрал ствол, воткнулся между мной и естественным бруствером. С надеждой и страхом осматривая окровавленную руку, я понял, что родился в рубашке — никакого ранения, а кисть мне всего-навсего посекло осколками камней. Со злости я всадил целый магазин в кусты, где однозначно поменял прятавшимся там подонкам отношение к жизни и смерти. Перезарядив автомат, я прижал его к груди и замер перед очередным шквалом огня. После грохота автоматных очередей над нами повисла звенящая тишина. В голове было стерильно пусто: ни прошлого, ни будущего, ни даже настоящего — “ничего”, просто вакуум. И вот на этом фоне абсолютной пустоты, четко всплыли слова матери, короткая, но очень нужная сейчас молитва: “Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского”. Чекающий молитву мозг делал упор на слова: “не погибнем”, “спасение”. И это спасение несло к нам, с нарастающим рокотом прибли-

жающегося БТР. Подъехав на расстояние визуального контроля, БТР остановился. С него, как горох, ссыпались солдатики, выстроились в боевой порядок и медленно двинулись в нашу сторону, прикрываясь броней. Теперь главное: не делать резких движений, ведь у них нервы напряжены не меньше нашего. И не хватало ещё после всего пережитого схватить пулю от своего же защитника. Не резко, а как-то нараспев я прокричал, что мы свои и что боевики в кустах на “половина второго” направления от БТР.

Но это было лишне, ведь при появлении солдат они исчезли, как и не было их совсем. Почувствовав безопасность, я поднялся на ватных ногах. Обнял уже стоящего у машины бледно-серого Долгова. Спасибо, Серёженька, ведь в этом бою победил именно ты, сначала унес нас от взрыва, так что смертельные, но уже ослабевшие его щупальца потрепали только задницу нашего “жигулёнка”. А главное — ты победил своей выдержкой, не совершив ни единого выстрела.

В голове включился какой-то стопор, как будто бы это случилось не с нами либо очень давно, и не имеет к происходящему сейчас никакого отношения. Мы стали упрашивать молодого лейтенанта вытащить из кювета наш автомобиль, потому что нам срочно надо в Ханкалу, у нас дело, не терпящее отлагательств. Посмотрев на нас, как на больных, он всё же дал команду солдатам вытолкать на дорогу наш “жигулёнок”. Ещё в двадцатом веке не воевавший на Кавказе Сергей Александрович Есенин с чувством любви, большой теплоты и огромного уважения написал нам строки для осмотра нашего автомобиля: “Жигули ты моё, Жигули, потому, что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле, про волнистую рожь при луне, Жигули ты моё...”

Зрелище было не из приятных: задняя панель, изогнувшись дугой, сократила размеры багажника чуть ли не вдвое. Крышка багажника запрокинулась, упершись в стойки и крышу автомобиля, как щитом закрыв заднее стекло и сохраняя нас, как в капсуле. Бензобак изрядно деформировался, но не проронил ни одной слезинки бензина. Задние фонари, расплощавшись с автомобилем, мелкой красно-жёлтой крошкой рассыпались по дороге. И вот это чудо, прокашлявшись и зарывав на всю округу, поскольку глушитель так и остался лежать в кювете, сначала сделало пробные движения, а потом покатились, побежали, громыхая и стуча всем тем, что ещё не успело от него отвалиться, унося на себе этих двух сумасшедших. И только взгляд оцепеневшего лейтенанта долго провожал этих уже не молодых офицеров УБОП, недоумевая, что же это за такое срочное дело, ради которого они так рвутся в Ханкалу.

Убоповцы — это своего рода разведчики широкого профиля, а в разведке закон: каждый имеет право голоса, может высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу. Но сколько бы ни было мнений, все они сводились к одному: силы надо использовать немалые, это даже не обсуждалось. А вот с главным был тупик. Сколько ни ломали голову — всё больше и больше отmetalось вариантов — ясно было одно: нельзя заходить в посёлок по дороге, нас срисуют сразу же, как свернём с федеральной трассы, подготовятся к нашему посещению, и, когда доберёмся до места, получим дырку от бублика, всё будет стерильно, как в аптеке, и следы тряпочкой протрут. Нужен марш-бросок через лес. Но кто? Убоповцы — сыскари от Бога. Но в лесу они — как беспомощные котята: нарвутся на “растяжки” ещё на опушке, сложат головы и на этом бесславно закончат свой путь, что никак не входит в наши планы. Вот бы “лесников” грушников запустить! Это спецы высочайшего класса: они видят всё, проходят сквозь игольное ушко, ступают бесшумно, ни разу не треснув сухой веточкой, а мины и растяжки им нипочём, они над ними просто летают. Но их мало, катастрофически мало, и тем более они на прошлой неделе ушли работать в леса далеко от нас, о чём было нетрудно догадаться, выкладывая всю оперативную информацию по Ножай-Юртовскому району Андрюхе Баранову, хотя наверняка он не Андрюха, и тем более не Баранов, но мне об этом знать не положено, для меня он Баранов Андрей, и сейчас я не могу рассчитывать на его помощь. Все дороги

ведут в Рим, а все мысли сошлись на Чеченском ОМОНе — им сам чёрт не брат. Хаджибеков Бек, ты всем омовцам — лучший друг, кум и сват. Коля Шаравин, ты, как никто другой, сможешь чётко изложить ситуацию. Давайте, с Богом! А я пойду в свою каморку, прилягу, что-то меня знобит, да и перебор на сегодня.

Опустившись на кровать, я выдохнул напряжение сегодняшнего дня, и вдруг по телу пробежала лёгкая судорога, потом усиливающийся озноб стал всё сильнее и сильнее трясти меня, и никаким бушлатом нельзя было прогнать исходящий изнутри леденящий холод. Через какое-то время уже каждая мышца была натянута, как канат, вызывая неимоверную боль, тело было сковано, как каменное, а все внутренности тряслись, как на сорокаградусном морозе. В ушах стоял колокольный звон, как будто вместо колокола использовали мою разрывающуюся голову. Не знаю, сколько я провалялся в таком состоянии, но ввалившийся в дупель пьяный Долгов стал трясти меня, обнимать, бормотать заплетаящимся языком, как сильно он меня любит и что мы с ним... Запнувшись, он потерял мысль, после чего, не сильно ориентируясь в пространстве, уронив напольный вентилятор, со словами: “Я щас”, — с грохотом распахнул дверь, чуть не сбив с ног входящего генерала Хотина. Пытаясь изобразить трезвого, еле стоящий на ногах Долгов вдохнул полную грудь воздуха, чтобы не дышать перегаром, вытянулся по стойке “смирно”, что не сильно у него получилось, затем всё-таки решил ретироваться, шмыгнув за спину генерала, с грохотом опрокинув что-то попавшееся на его пути. Хотин закрыл за собой дверь, подошёл ко мне и, прервав на вздохе мой доклад, сказал:

— Я всё знаю, подробности потом.

Достал из внутреннего кармана фляжку, открутил крышку, окинув взглядом каморку и не найдя стаканов, протянул мне:

— Здесь хороший коньяк, вышей!

Вся группировка знает, что Олег Валентинович Хотин любит коньяк “Икс О”, но употребляет или нет, никто не знает. Он в шутку говорит, что это в его честь на этикетке его инициалы “ХО”.

— Спасибо, Олег Валентинович, с 1992 года не употребляю.

И уже хотел запеть свою песню, что 29 октября 1992 года я бросил пить, курить и развёлся — всё одним днем. Но он прервал меня:

— Ну и дурак.

Наверное, я обидел его, сломал планы, остудил его душевную теплоту своим отказом. Он как-то изменился, стал опять непроницаемо-строгим, и даже не приложившись к горлышку фляги, закрутил крышку и шагнул в проём двери. Плохо, когда у тебя много начальников, и хорошо, когда они такие, как генерал Хотин. Буквально через пять минут прибежал перепуганный медик, ни слова не говоря всадил мне в руку укол и, уложив меня под одеяло, накрыл моим же бушлатом. Скованность мышц стала отступать, по телу начало разливаться тепло, сознание медленно-медленно уходило, и я вырубился.

Командир Чеченского ОМОНа Руслан Алханов — милиционер до мозга костей, в нём есть всё: и оперативная смекалка, и твёрдость, а о смелости и говорить не приходится. Его не надо упрашивать рисковать жизнью, вся его жизнь — постоянный риск во имя жизни других. Выслушав Шаравина и Хаджибекова, вспыхнув, как фитиль, он уже ни о чём не мог думать кроме предстоящей операции. Чтобы не терять драгоценных секунд, они вместе с убоповцами ворвались в кабинет начальника штаба, удивившись, что застали его на месте. Смешно называть Бувади Дахиева начальником штаба — он всегда на передовой, всегда в гуще событий, на острие боевых действий. Без его непосредственного участия не проходила ни одна серьёзная операция, проводимая Чеченским ОМОНОм, он же стратег, он же вдохновитель, он же и исполнитель, находящийся на передовых позициях. Не надо о нём много говорить, за него говорит его позывной — “Патриот”.

Не вникая в наши умозаключения и принимая их как уже выстраданные и не требующие обсуждений, они с головой ушли в разработку дальней-

шего плана своей работы с отправной точкой из нашего тупика. Скрытный марш-бросок через лес, напичканный минами и растяжками, их сильно озадачил, ведь ни одному разумному человеку не могло такого прийти в голову, значит, не придёт и бандитам. Но мы попали по адресу: трудности, связанные с риском для жизни, для них не могут стать препятствием в выполнении задачи, тем более ради спасения человека, — в этом железобетонная сущность ОМОНа, это их жизнь. Чтобы сохранить в тайне истинную цель выезда, командир принял решение рано утром выдвинуться большими силами в Дуба-Юрт. При подъезде скрытно оставить группу из наиболее подготовленных бойцов для выполнения основной задачи, затем изрядно пошуметь, создавая видимость интересов в данном населённом пункте, после чего демонстративно вернуться на базу под бдительным оком пособников бандитов, следящих за каждым передвижением, каждым чихом держащего их в страхе отряда милиции особого назначения. Естественно, руководителем специальной группы, совершающей сложнейший и рискованный лесной марш-бросок, Бувади назначил себя. Он лично подбирал бойцов для этого мероприятия, осознавая всю ответственность и перед каждым из них, и перед нами, совершившими колоссальный объём работы, чтобы вывести его на завершающий этап операции по освобождению человека, а главное — перед человеком, чья жизнь теперь зависит от его мастерства и профессионализма сотрудников милиции.

Открыв глаза, я ещё некоторое время не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, тело вообще не слушалось меня, да и как оно могло слушаться, когда голова сама не понимала, что надо, для чего и как, не могла сосредоточиться ни на какой мысли, а они бегали, кружились, не задерживаясь и никак не цепляясь ни за одну извилину в голове. Единственное, что я чётко осознавал, что язык давно прилип к пересохшему горлу, и очень хочется пить. Выпив залпом целую бутылку противно тёплой воды, я начал приходить в себя. Потихоньку, медленно в мозг стало возвращаться и выстраиваться всё, что навалилось за последнее время. Одеваясь, я почувствовал, как силы возвращаются ко мне. Приводя себя в порядок, я где-то подсудно чувствовал, что что-то всё-таки не так. И точно: я не слышу лязга железа и сопения перетруженных спортивными занятиями тел из коридора, импровизированно сделанного под спортивный зал. Назвать все эти сооружения коридорами, спортзалами, штабами можно только с большой натяжкой, это шанхай из строительных вагончиков, которые появились в непонятные времена, после чего переоборудовались, достраивались, накрывались крышами переходы между ними, и получилось непонятное строение, в которое архитектурная мысль, опасаясь за свою жизнь, даже не заглядывала. Но для особо одарённых педантичный Скорняков изготовил табличку “Штаб”, куда я и стремился за пропущенной мною из-за стрессняка информацией. Вскочивший мне навстречу Гена чуть не прокричал:

— Там идёт бой.

Затем, переведя дыхание, продолжил на той же нервной ноте:

— Алханов за Старыми Атагами развернул колонну и через Гойты несётся в Урус-Мартан, с ним Шаравин и Хаджибеков. Все наши убоповцы в полном вооружении с СОБРаи ждут команды на выезд.

Связи ни с Алхановым, ни с Шаравиным, ни с Хаджибековым не было уже полчаса, я сорвал голос, крича в радиостанцию так, как будто при отсутствии связи я мог докричаться до них и без её помощи. Треск эфира продолжал взвинчивать нервную обстановку, щекотал нервы и слух, не выдавая никакой информации. Появившийся на пороге Долгов вылунился на меня красными с бодуна глазами, как будто пытался увидеть на мне ответы на все свои вопросы, после чего ошарашил меня сообщением:

— Омоновцы возвращаются на базу, есть потери.

И опять застыл, упершись в меня взглядом, в ожидании какого-либо решения. Но решение было одно: схватить штабную машину и галопом — в ОМОН.

— Бойцам — отбой тревоги, до особого распоряжения, а ты — со мной, и полетели.

И понёсся синий разъездной “жигулёнок” на базу ОМОН, чтобы ответить на повисшие в воздухе вопросы.

Преодолев змейку из бетонных блоков, мы подъехали к КПП, где очень смурной боец, опечаленный тем, что именно в этот день ему достался наряд нести службу в расположении базы, а не быть вместе со всеми в бою, с нотками раздражения сказал, что командир на выезде, и пропустить нас он не может. Я предъявил ему специальный пластиковый пропуск РОШ по Северному Кавказу, где на обороте почти во всю карточку написано: “Всем военным и гражданским властям, правоохранительным органам! Предъявителю настоящего пропуска оказывать помощь и содействие! ВСЮДУ!” и сказал, что мы дождёмся руководства в штабе. Но пропуск для него в нашем препирании не возымел никакого воздействия — как слону дробина! Он с упёртостью барана стоял на своём рубеже. Я уже начал раздражаться, но где-то в недрах карманов камуфлированной куртки моего оппонента прозвучал радиоголос: “Я — Патриот. Командирам рот собраться в штабе”. Препирания сразу же потеряли всякий смысл, и металлическим голосом, не терпящим возражений, я приказал ему доложить “Патриоту” о нашем прибытии. Через пару минут рьяно выполняющий свои обязанности боец был сама любезность. Но он уже был неинтересен — информационный голод гнал нас в серое двухэтажное здание. Но как бы мы ни торопились, мы встали, склонив головы, отдавая дань признания минутой молчания, у мемориала из гранитных фотографий погибших бойцов, в центре которого — герой Российской Федерации, первый командир Чеченского ОМОНа Муса Газимагомедов. Увидев нас из окна, Бувади спустился и молча встал рядом с нами, пропуская через боль в сердце жизненный путь каждого бойца с фотографии. Взглянув на меня, он прервал молчание и голосом печальной торжественности произнёс:

— Лёха, мы сделали это! Мы вытащили твоего доходягу. Тощий. В чём только душа держится?

И, сделав очень большую паузу, как будто вновь переживая все события того страшного боя, добавил:

— А у меня три “трёхсотых”, один тяжёлый.

И опять затянувшаяся пауза. Он мысленно был далеко от нас, он всё переживал, думал, где, как и что он мог сделать, чтобы не прозвучали эти слова — простые и жуткие, как сама война. Короткие обрывистые фразы он выдавливал из себя с большими промежутками, впервые не проявив никаких эмоций, диктуемых кавказским гостеприимством.

— Руслана не тревожь, он настоящий командир, он сейчас с ними в больнице.

И опять тишина. Молча поднявшись на второй этаж, он широко распахнул дверь кабинета, приглашая нас войти, а сам тяжело опустился в своё рабочее кресло и, подняв телефонную трубку, стал разговаривать с неизвестным абонентом на чеченском языке, но суть разговора улавливалась точно: он старался всячески организовать помощь раненым товарищам. Закончив разговор, он наконец-то обратил на нас внимание:

— Не успели мы расставиться по плану, заметили они нас, вот и пришлось работать с колёс.

Телефонный звонок прервал его, и вновь, теперь уже повышая голос, он кричал на собеседника, перемежая чеченскую речь с крепкими русскими словами. Бросив трубку, он ещё продолжал ругаться, вскакивая и размахивая руками, затем, немного успокоившись, продолжил:

— Как вы и говорили, русского они сразу в лес поволокли, его даже искать не пришлось, но потом...

Он загнулся и опять ушёл мыслями в этот бой, проживая его снова и снова:

— Сначала двое, потом ещё один. Русского с двумя бойцами мы к федералам отправили, а сами — наших вытаскивать. А тут и командир с бойцами — он своих не бросает! — он мгновенно сориентировался и отработал этих шайтанов по полной.

Последние слова он произнёс с особой гордостью за командира ОМОНа. Вдруг до этого молчавший Долгов задал давно сверливший меня вопрос:

— А где освобождённый?

Бувади даже обиделся:

— Я же сказал — федералам отправили. Куда и кому, не знаю. И не до этого мне было, у меня трое раненых на поле боя.

Да, с такими аргументами не поспоришь...

— Ну, хотя бы данные его записал?

Он посмотрел на нас осуждающе и произнёс:

— Некогда мне там было писаниной заниматься.

А затем, как-то подобрев, осознавая, что все-таки мы правы со своими вопросами, на которые у него нет ответов, он, заглаживая свою вину, сказал:

— Твоих убоповцев я отправил в Ханкалу, они отличные боевые ребята, ты извинись за меня перед ними, что не взял их с собой. Я что им, то и тебе говорю: вы нужны не только здесь, но и в своей Москве, своём Новосибирске, честные и знающие милиционеры там нужны не меньше, чем здесь. А я здесь и только здесь — я на этой земле родился, я здесь живу, я её защищаю, в неё и сложу свою голову.

И он сдержал своё слово: 13 сентября 2006 года на границе с Ингушетией в боевом столкновении с бандитами Бувади Султанович Дахиев заслониł собой зарождающийся хрупкий мир Чеченской республики, получив полную грудь свинца, не дав долететь ни одной пуле на территорию родной ему Чечни. Вечная ему память!

И покуда живо поколение, всегда будут помнить нелёгкий и смертельно опасный труд солдат правопорядка и с благодарностью смотреть на ветеранов боевых действий на Северном Кавказе дети и внуки освобождённого человека, который так и остался для нас неизвестным русским, прошедшим через горнило плена чеченской войны. Так мы о нём и будем думать.

И поминать добрым словом боевую машину “жигулёнок”.



## ЮРИЙ ВОРОТНИН



## ГЛОТАЯ ОТЕЧЕСТВА ДЫМ...

### ВОСПОМИНАНИЕ О ЮНОСТИ

Чтоб тучи над нами не встали,  
Не застили нам окоём,  
Мы листья в кострище сгребали,  
Играли с весёлым огнём,

Как птицы, на взлёте галдели,  
Глотая отечества дым,  
И песни задорные пели,  
И звали наш век золотым.

А кто-то из далей далёких  
С прищуром отеческих глаз,  
В раздумьях своих одиноких  
Смотрел терпеливо на нас,

Весёлых, беспечных, безбожных,  
С огнём большевицким в груди,  
И знать ему было тревожно,  
Что будет у нас впереди.

---

*ВОРОТНИН Юрий Иванович родился в 1956 году в поселке Пирово Тульской области. Окончил Тульский политехнический институт. Печатался в альманахе "Поэзия", в "Литературной газете", в газете "Московия литературная". Автор книг "Стихотворения" и "Осень в райских садах". Член Союза писателей России. Живет в городе Дедовск Московской области.*

## ВЕРА И ПРАВДА

Кровь переполнена ртутью,  
Ходики вязнут в ходьбе,  
Каждый из нас в перепутье  
Правду нашёл по себе,

Каждый в просторах небесных,  
В богоявленном краю,  
Стоя в шеренгах железных,  
Выстоял правду свою.

Как же нам тягло земное  
Вытянуть тягой одной,  
Чтобы ты рядом со мною,  
Чтобы я рядом с тобой.

Крутится жизнь жерновами,  
Жертву низводит обряд.  
Вечной стеной между нами  
Вера и правда стоят.

\* \* \*

Слышу чирканье яблок о листья в саду,  
Это ветер гуляет по сучьям,  
И по буквам твержу за звездой звезду,  
Обращая созвездья в созвучья.

Это кто и когда на небесном холсте  
Мне оставил письмо ненароком  
Чтоб хрусталик глазной от усердия хрустел,  
По лучу поднимаясь к истокам.

Чтобы разум кипел, чтобы сердце рвалось,  
Чтобы тьма проливалась смолою,  
Чтоб нежданно меж югом и севером ось  
Сквозь меня проходила стрелюю.

Чтоб за миг до разгадки опять надо мной,  
Примеряя наряд самохвала,  
Восходило светило из бездны земной,  
И собой письма закрывало.

\* \* \*

Закреть бы свинцовые веки  
И слушать всю ночь напролёт,  
Как бьются подземные реки  
В корнями затянутый свод.

Не ведать бы лишней мороки,  
Судьбу расплетая в узлах,  
А зреть, как древесные токи  
Восходят в отвесных стволах.

Лицо не кривить в укоризне  
На злое житьё и бытьё,  
А плыть по течению жизни,  
Сливаясь с теченьем её.

И знать, что во странствиях долгих,  
Хоть раз, хоть мгновеньем одним,  
Бог сыщёт тебя среди многих  
И взглядом проводит своим.

\* \* \*

Ни имён, ни могил, будто прошлого нет,  
Лишь по крови с землёю родство,  
Вдруг качнусь от того, что мне смотрят вослед,  
Оглянусь — позади никого.

Соберусь, распряплюсь, как ходил на парад,  
Только время и даль за спиной,  
Но опять чей-то чувствую взгляд,  
Кто-то тихо крадётся за мной.

Поколенья во мгле — не связать времена,  
Дальше прадедов не заглянуть,  
Но из вечности взглядом прикрыта спина  
И начертан отечества путь.

## ВИДЕНИЕ

И качалась земля, как дощатый настил,  
И кричал он в простор необъятный:  
“Если был бы живой, всех на свете простил,  
И остался б один виноватый”.

Колыхнулась толпа: “Выше меры хватил,  
Так и мир может быть опрокинут!”  
Забросали камнями, никто не простил.  
Знали, мёртвые сраму не имут.

\* \* \*

Кричу, когда огонь прожжёт  
Меня дыханием лужёным:  
“Бог бережёных бережёт,  
А каково небережёным?”

Мне эхо катится в ответ,  
Ожоги сушит и нарывы:  
“Небережёных Богом нет,  
Одни мертвы, другие живы”.

Смиряюсь, верю и огня  
Не утрашусь проникновенья,  
И Бога, спасшего меня,  
Оберегаю от забвенья.

\* \* \*

На злобу и коварство,  
На шило в рукаве  
Есть правда государства  
И сила в булаве.

Чтоб не вязала смута  
Живых параличом,  
Приходится кому-то  
Работать палачом.

Я в заревах багряных  
Всем сразу — по свече,  
Ведь грех от окаянных  
Всегда на палаче.

\* \* \*

Кто стреножит меня, кто собьёт меня влёт,  
Кто рискнёт поменяться местами,  
Я из тёмных лесов, я из гиблых болот,  
Где грибы лишь к войне вырастают.

Тучно время грибов, хоть косою коси,  
Косари шли за ротою рота,  
Как им елось, пилося и моглось на Руси,  
Да сгубили леса и болота.

Мне живётся легко средь болот и лесов,  
Я храню здесь заветные веси,  
И ладони мои, словно чаши весов,  
Держат мир и войну в равновесье.

\* \* \*

Сколько духа хватает — мороз да мороз,  
Сколько зренья — просторы в снегах.  
Я сквозь мёрзлую землю корягой пророс  
И у чёрта зажил на рогах.

Я бы сгинул во тьме и исчез без следа,  
Кровь моя захрустела б стеклом,  
Но вцепилась в меня, как в живого, звезда  
И вскормила небесным теплом.

Я рождением своим пред собой виноват,  
Но на то был взыскующий перст,  
И струился огонь от макушки до пят,  
И земля расцветала окрест.

Знаю, пламя меня изведёт изнутри,  
Надломлюсь на прожогах в коре,  
Но успею увидеть — идут косари  
Звездопад собирать на заре.

\* \* \*

Солнце восходит и Солнце садится,  
Гуд на землѣй, перегуд,  
Вечной дорогою с ветром на лицах  
Старый и малый идут.

Путь их вечерней звездой венчаем,  
Старого малый ведёт,  
Кто-то встречает свечою и чаем,  
Кто-то камня берёт.

Вслед посмотрю и себя угадаю  
В малом и сразу в большом,  
С каждым движением их совпадая,  
Так же я дважды прошёл.

Радость — трезвонная, слёзы — тишайши,  
Боль оседает на дне...  
Всё от меня они дальше и дальше,  
Всё они ближе ко мне.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

## ГУБЕРНАТОР

РОМАН\*

### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Сёмка Лебедь был навеселе, и эта хмельная весёлость делала его благодушным и ироничным. Люди в утренних заботах, трудолюбивых стараниях, торопясь куда-то успеть, что-то добыть, кому-то услужить, казались ему смешными. Им была недоступна та вольная праздность, лихая бесшабашность, в которой пребывал Сёмка. Ему казались смешными люди, сидящие в автомобилях, перебегающие улицу на зелёный свет, бредущие по тротуарам с кульками и сумками. Он их не презирал, а жалел и над ними посмеивался.

Он выпил в рюмочной ещё одну стопку, закусил ломтиком вкусной селедки. Кинул на прилавок купюру, царственно отказавшись от сдачи, и отправился на рынок, где его ожидало весёлое развлечение.

И здесь, на рынке, всё ему казалось смешным: деревенские бабки, разложившие на прилавке тощие пучки укропа и лука, несколько собранных в лесу подберёзовиков и красноголовиков; угрюмый мужик в белом халате, застывший, как истукан, над мешком картошки; проворные, с маслянистыми глазками азербайджанцы, соорудившие величественные дворцы из персиков, абрикосов и яблок; молдаване, торгующие норвежской сёмгой, положившие голубоватых серебряных рыб в корыта с мелким льдом. Были смешны ему и покупатели, хватавшие на пробу щепотки тыквенных семечек, слизывающие с ложечки капельку меда. Особенно смешон был один придурок, принявший из рук молдаванки огромную сёмгу и просивший соседа сфотографировать его с рыбиной.

Единственным человеком, заслуживающим серьёзного отношения, был мясник. Он стоял перед огромной, пропитанной кровью плахой, на которой лежала половина свиной туши. Мокрым блестящим топором он разрубал её на хрустящие ломти.

— Здорово, братан, — Сёмка пробрался к мяснику за прилавок. На прилавке была выставлена свиная голова с красно-белым рулетом перерубленной шеи, с глазами, остекленевшими среди белых ресниц. — Скажи,

\* Журнальный вариант. Окончание. Начало в № 1 за 2016 год.

где купить свинью? Только цельную, до того, как она побывала в твоём кабинете.

Мясник, не выпуская из рук топориче, смотрел на Сёмку, словно раздумывал, куда вогнать топор: в белые рёбра свиньи или в башку мешающего ему работать бездельника.

— Цельную не достать, — ответил мясник тонким писклявым голосом. — В холодильнике полутуши висят. Головы отдельно.

— Ну, и ладно. Сошьём. Цельную сделаем. — Сёмка тронул пальцем стеклянный глаз свиньи, почувствовал его упругость.

— Зачем шивать хочешь? — голос у мясника был бабий, лицо безволосое, под грязным, измызганным кровью фартуком вздувались жирные груди.

— Опыты ставим. Сперва на свиньях, потом на людях.

— Какие опыты?

— Оживляем. Сперва, значит, сошьём. Потом мастикой смажем. Потом в растворе неделю держим. Потом специальные люди, которые в лесах живут, заговоры читают. И вот, оживляем.

— Где такое делается? — глазки мясника замерцали, словно перекатывались синие шарики.

— В лаборатории, в секретной. Запретная зона.

— Может, я пригожусь? Прежде чем сшить, разрубить надо.

— Поговорю с начальством. А ты, братан, голос поправь, сырое яичко попей. А то не поймёшь, что у тебя промеж ног расположено, — Сёмка хмыкнул и пошёл к директору рынка договариваться о свиных тушах.

Он сунул директору, покладистому кавказцу, денег. В холодильнике, пахнущем холодной прелью, среди заиндевевших, разрубленных надвое туш выбрал шесть половин и три головы с отвердевшими от мороза ушами и кровавыми катышками в ноздрях. Нанял грузовичок, заплатил грузчику, чтобы те забросили туши в кузов, и отвёз в Копалкино. Там выпил водку и во дворе своего неопрятного дома занялся шиванием туш.

Несколько часов прилежной работы, опорожнённая бутылка водки — и все туши были сшиты. Сёмка изготовил из досок раму, похожую на виселицу. Повесил свиней. Они покачивались, краснея рваными рубцами, глядя немигающими, в белых ресницах глазами. Высоко над Копалкинским пролетел самолёт, прозрачный, как тень. Сёмка смотрел на самолёт, улетающий в неведомые заморские страны. Звук оседал, как металлическая пыль.

В это время Плотников завершал текущие дела в администрации и готовился ехать в дальний район губернии, где намечалось погребение солдатских останков. Тех, что неутомимые поисковики находили в лесах и болотах, в засыпанных блиндажах и окопах.

Мемориал находился у самого шоссе — высокая стела, перед которой скорбящая женщина простёрла руки к каменным надгробьям. На одних надгробьях были начертаны имена, под другими покоились безвестные воины. Был вырыт глубокий ров, желтевший песком. На краю стояло три десятка маленьких красных гробов с прахом погибших, и эти маленькие, словно для младенцев, гробы вызвали щемящую нежность. У гробов выстроились поисковики в грубых камуфляжах. Немолодые, тяжеловесные, земляные, они добывали в своих экспедициях истлевшие кости, ладанки с именами погибших, извлекали из костяных кулаков ржавые пистолеты и трёхлинейки. Тут же стоял взвод десантников — розовощёкие, в тельняшках, с парадными позументами, с автоматами. Солнце сияло на медных трубах и тарелках оркестра. Вокруг деревянной трибуны толпился народ из соседних селений. Стояла машина ГАИ. Подошёл священник в золотой епитрахили, и Плотников узнал в нём отца Виктора — худого, с запавшими глазами старика, который принимал его в деревянной церкви с иконами героев войны.

Произнося пламенную, проникновенную речь, Плотников видел, как пожилая женщина подносит платок к глазам, как девочки держат в руках веночки, как проезжающие машины замедляют бег, протяжно сигналив. Плотников смотрел на красные ромбики гробов. В них лежали младенцы, в которых превратились убитые солдаты. Он почувствовал, как дрогнули в нём рыдания, почувствовал свою нераздельную связь с женщиной, отиравшей

слёзы, девочкой, держащей венок из ромашек, с десантником, браво сжимающим автомат, с усталым стариком, превозмогшим болезнь и пришедшим на панихиду.

Вслед за Плотниковым говорил усатый поисковик:

— Мы нашли останки офицера. На нём были истлевшие погоны и португеза. Костяными пальцами он сжимал револьвер, в барабане ещё оставалось два патрона, когда его сразила пуля. Теперь этот офицер здесь, среди нас. Мы нашли два скелета, немецкий и русский. При них были ножи, русский нож был среди костей немца, а немецкий нож — среди рёбер русского. Они погибли в рукопашной. Теперь этот безвестный солдат среди нас. Мы нашли в лесу советский броневилок. В нём — останки водителя. Сквозь его скелет проросло дерево. Может, его душа превратилась в дерево? Теперь этот водитель среди нас.

Последовала команда. Поисковики по двое подходили, поднимали гробы на плечи, несли к могиле, выстраивались на краю. Десантники воздели автоматы, готовясь к салюту. Оркестранты прижали губы к трубам, развели в стороны тарелки, собираясь ударить.

На трассе, истошно сигналив, возник грузовичок. В кузове на деревянной перекладине были подвешены три свиных туши. На головах у них были пилотки со звёздочками. Красовались золотые погоны. Свисали офицерские полевые сумки. Были пришилиены боевые ордена и медали. Кузов тряся, туши раскачивались, страшно кровятели стянутые проволокой рубцы. Среди туш танцевал, корчил рожи пьяный Сёмка Лебедь, выкрикивая сквернословия.

Грузовичок промчался. На трассе возник длинный, чёрного цвета, с открытым верхом “Хорьх” времён фашистских парадов. В машине, подражая фюреру, прикрывая ладонями пах, стоял Головинский. Он взмахом приветствовал толпу. Рядом с ним Беркович играл на саксофоне арийский военный марш. Обе машины пронеслись, исчезая на трассе.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вернувшись с погребения, отец Виктор приступил к духовной брани. Отказал себе даже в минутном отдыхе — даже не прилёг на утлую кровать. Занялся выпечкой просфор, готовясь к ночной литургии.

Квашня была накрыта клеёнкой. Нежный, сладкий аромат восходящего теста разносился по утлomu дому. Отец Виктор вывалил тягучий, желтоватый ком на гладкую доску. Мял, сворачивал, раскатывал и снова сминал, передавая тесту своё тепло, свои силы, свою молитвенную волю. Чувствовал телесную нежность пшеничной мякоти, которая возрастала под его ладонями.

Отдыхал, утомившись, глядя, как в оконце гаснет день, и к дому подбираются тени близкого леса. Сегодня он не ждал прихожан. Никто не звал его совершать требы. Никто не заказывал панихид и не готовился к венчанию. Выпечка просфор была для него священным действием, во время которого он повествовал Господу о своих страхах, о грозившей России беде, прося защиты. Прикосновениями к пшеничной плоти он заряжал её своими мольбами. Во время литургии тесто, наполненное его откровениями, превратится в тело Господне, и откровения соединятся с Господом.

Теперь, стремясь запечатать зло, он отводил от России нацеленные на неё снаряды и пули. Отгонял от её берегов авианосцы и подводные лодки. Занавешивал Покровом Богородицы небо, делая Россию невидимой для самолётов, ракет и космических спутников.

Передохнув, отец Виктор вновь вывалил куль теста на доску. Стал мять, комкать, раскатывать, слыша тихий, созревающий в тесте жар. Подряник был в муке, к пальцам пристала тягучая мякоть. Он испытывал к тесту нежность, словно к новорождённому ребёнку, вдыхал в него своё покаяние, верил в целомудренную силу пшеницы, способную запечатать зло.

Отец Виктор бережно выложил тесто на широкую доску, раскатал в плоскую белизну. Гладил, ласкал, вдыхал дивные ароматы. Взял форму



с острыми кромками, напоминающую серебряный подстаканник. Стал вырезать из теста круглые тельца. Разложил свои изделия ровными рядами. Каждое, словно крохотное лицо, излучало тихое свечение.

Своей молитвой он разрушал злокозненные заговоры. Запрещал тем, кто клялся в любви к России, а сам замыслил убийство. Он ссорил заговорщиков, путал их планы, избавлял Россию от жестокой доли, спасал страну от смуты и раздоров, от расхитителей и стяжателей. Он чувствовал, как бьётся и трепещет зло, уловленное в тенёта его молитв, словно чёрная обессиленная птица.

Отец Виктор соединял две части просфоры, накладывая одну на другую. Лепил крохотные скульптуры, напоминавшие белые грибки. Пальцы чувствовали тёплый бархат теста. Ряды просфор напоминали воинство в белых одеждах.

Он поражался глубине божественных смыслов, заключённых в просфоре. Духовное и телесное в человеке. Человеческое и божественное в Спасителе. Земной, исполненный греха род людской и преображённое, снискавшее рай человечество. Он хотел проникнуть в глубину божественных тайн. У него начинала кружиться голова, и обмирало сердце. Его пальцы касались теста, которое чудесным таинством претворится в тело Господне. Его пальцы касались Господа, и от этого становилось страшно и восхитительно.

Он обращал грозное предупреждение алчным сребролюбцам. В безумном влечении к золоту, поклоняясь золотому тельцу, они забыли все заповеди, нарушили все человеческие и божественные законы. Обирают народ, раздевают донага слабых и беззащитных, окружают себя вопиющей роскошью, кичатся дворцами, которые обречены на сожжение. Он изгонял их из русской жизни, как Господь изгонял торговцев из храма. Превращал в ржавчину их яхты и самолёты, развеивал в прах неправедные состояния. Он был гневен в своих укоризнах. Верил, что на стяжателей будет наложена запрещающая печать.

Отец Виктор достал жестяной чёрный противень. Омыл водой. Насухо вытер чистым полотенцем. Извлёк коробку, где лежали восковые соты, ещё недавно полные мёда и пчелиного гула. Натёр противень воском до блеска, слыша медовые благоуханья. Стал укладывать просфоры на противень. Каждую просфору он целовал, словно прикладывался к иконе. Белые просфоры отражались в чёрном подносе, и казалось, что маленькие лебеди плывут по ночному озеру.

Он изгонял из народа уныние, одолевал неверие. Укреплял в деяниях воинов, художников, хлебопашцев. Он изгонял зверя, который поселился в народе. Находил этого зверя в людских сердцах, молился перед хрипящей пастью. Загонял зверя в подземную берлогу и заваливал камнем.

Настала ночь. В доме было темно. Только горела лампада перед образом, и тихо светились просфоры, над которыми слабо трепетало сияние. Пора было топить печь.

Отец Виктор принёс из сеней дрова. Развёл в плите огонь, глядя, как танцуют красные язычки на полу, и бежит по стенам золотистая рябь. Прилёг на кровать, ожидая, когда накалится духовка. Поленья, которые он принёс, огонь, который запалил, плита, в которой накалялась духовка, — всё составляло таинство. Всё было священо, связано с преображением хлеба.

Он молился о президенте, укреплял его в благих деяниях, одевал покровом благодати, заслонял от яда, кинжала и пули, от колдовских обольщений и слабостей, чтобы вера его не тускнела, чтобы не искривлялись его пути, и он оставался на том единственном, что указал ему Господь, выбрав из миллионов людей, дал ему великую власть, наставил его на служение Родине. Там, в кремлёвских палатах, пусть услышит он молитву деревенского попа и пусть молитва поможет ему в великой брани.

Красные язычки танцевали на полу, словно письмена. Отцу Виктору казалось, что молитва его услышана.

Он открыл дверцу духовки. На него полыхнул бесцветный жар. В двух местах духовка прогорела, и в щелях трепетал белый свет. Он осторожно взял противень, поставил в духовку, чувствуя, как жар коснулся теста. Оно

словно вздохнуло. Пшеничный дух, медовый аромат, смоляное благоухание поленьев сладко опьяняли его. Он подумал, что так пахнут ангелы, несущие райскую ветвь.

Был ещё человек, нуждавшийся в защите. Губернатор Плотников, который случайно явился в храме и исповедался.

Отец Виктор желал ему победы. Желал одоления бед. Он вслушивался в едва различимый звон, доносившийся из духовки, словно пели крохотные колокола. Думая о Плотникове, отец Виктор посылал ему эти едва различимые звоны, чтобы они вдохновили губернатора на служение.

Пришло время извлекать просфоры из духовки. Отец Виктор помолился, прочитал «Отче наш». Схватил полотенце и вытянул из духовки противень. Просфоры золотились, как малые слитки. От них шло сияние. Над каждой горел крохотный нимб. Отец Виктор любовался своими изделиями. Принёс корзину и, обжигаясь, складывал в неё драгоценные слитки. И в каждом был запечатлён лик Божий, в каждом поместилась молитва, каждый, как малое светило, освещал мироздание.

Он вышел из дома в ночь, неся корзину. Церковь, как тёмный корабль с мачтой колоколни, была окружена звёздами. Они то разгорались, то меркли, роились, словно разноцветные пчёлы, собирались в сверкающее множество, а потом разлетались, оставляя после себя млечную пыль. Голова начинала кружиться, когда отец Виктор смотрел на колокольню, вокруг которой текли миры, переливались светила, и храм казался ковчегом, плывущим среди звёзд.

Тяжёлым скрипучим ключом он отворил церковь. Пахнуло сладким воском, вялой травой, засохшими букетами цветов, которые отец Виктор оставил сохнуть в вазах перед иконами. Едва ощутимая теплота скопилась в храме за долгие годы служений и молитвенного стояния прихожан, с тех времён, когда храм был многолюдным, и эту теплоту надышали те, кого уже не было в живых.

В храме было темно, только светила одинокая красная ягода лампады. Были едва различимы окружённые золотом и лазурью полководцы, герои и мученики.

Отец Виктор вошёл в алтарь. В сумраке лишь угадывалась икона с изображением отца. Зажёг свечу и увидел живые строгие глаза лейтенанта, над которым мчался победоносный всадник. Облачился в золотую тяжёлую ризу и начал богослужение. Долгую одинокую литургию в пустом храме, по которому летал его слабый голос. То замирал, то вспыхивал слёзным восторгом.

Отец Виктор видел, как пространство вокруг престола начинало волноваться, в нём возникали алые, голубые, золотистые вспышки. Слышался шум невидимых крыльев. Его лица касались жаркие вихри. Что-то приближалось, огромное, грозное, лучезарное. Потир с вином и дискос с пшеничным тестом воспарили в дивном сиянии. Чудесный бутон растворился, и хлынул свет такой ослепительной белизны, что стало светло, как днём. В церкви стал виден каждый сучок в потолке, каждая капелька воска, каждая золотая крупица в нимбе. Воины священных парадов, маршалы великих побед, герои божественных подвигов стояли у престола, и лейтенантские кубики на воротнике отца светились, словно капельки крови.

Победа была одержана. Отечество спасено. Отец Виктор в изнеможении опустился на стул у стены алтаря и смотрел, как гаснут над престолом голубые зарницы.

Он дремал, и ему казалось, что церковь превратилась в огромный бриллиант, переливается чудесными радугами.

Проснулся, когда в алтаре пролегла алая полоса зари. Услышал, как стукнула дверь. Чьи-то шаги раздались в гулкой пустоте храма. Удивляясь этому раннему посещению, отец Виктор вышел из алтаря и увидел человека, что нетвердо стоял на ногах, крутил головой, рассматривая иконы с изображением парадов и битв.

— Ты кто такой? — спросил отец Виктор.

— А, это ты, поп! Я-то кто? Я Сёмка Лебедь. Многие меня знают, а кто не знает, ещё узнает! — человек засмеялся, крутанул головой и едва удержался на ногах. Он был пьян. Его глаза зло и весело оглядывали храм,

а губы улыбались, словно в убранстве храма он находил что-то забавное и смешное.

— Ты что пришёл? — спросил отец Виктор.

— Шёл, шёл и зашёл. А что, нельзя? По билетам пускаешь? Мне говорили, здесь чудной поп живёт. Икону Сталина держит. Дай, думаю, посмотрю. Где она, икона? — Сёмка Лебедь водил глазами по стенам и увидел икону, на которой сияла Божья Матерь Державная. Под ней, в окружении победоносных маршалов, стоял Генералиссимус в белом кителе с бриллиантовой звездой. — Ишь ты, богато! Ничего не скажешь! Не вдали люди! — он подошёл к иконе, чуть не опрокинув стеклянную вазу с вянущими колокольчиками и ромашками. — Что у тебя церковь качается? — он захохотал, разведя руки в стороны, словно канатоходец, желая удержать равновесие.

— В Божий храм не являются пьяным. Ступай, проспись.

— А я специально напился. Страшно было идти. Как можно тверёмым на такую икону смотреть? Ведь Сталин душегуб, столько народу сгубил. А его на икону. Вот я и выпил пол-литра.

— Ступай, отдохни. А потом приходи, исповедуйся.

— Нет, ты мне скажи! Если Сталин душегуб, столько народу перебил, и его в святые, значит, и меня в святые можно? Я тоже душегуб. Ты художнику сделай заказ, пусть с меня икону напишет. Ты повесь её тут. Старушки будут молиться, я им помощь буду оказывать. Косых, дурных, горбатых — всех буду лечить. А тебе с этого будет доход.

— Уходи. Тебе здесь не место.

— А ты погоди меня гнать. Я к тебе за делом пришёл. Хочу венчаться. Можешь меня повенчать? Живём не венчаные. А это грех. Детишки пойдут, в блюде зачатые. А мы не хотим, чтобы в блюде. Хотим по-божески. Она, невеста моя, девушка набожная. Меня к тебе послала. Повенчай нас.

— Кто невеста твоя?

— А Хавронья Ивановна. Я её на бойне купил. Честная, не гулящая. Только у неё сиськи не как у всех. У Анюты, к примеру, сиськи между рук болтаются, а у Хавроньи Ивановны между ног. Непривычно.

— Тяжело тебе будет перед Господом стоять. Много у тебя саж в душе накопилось. Ступай, проспись, а потом приходи на исповедь.

— А ты меня не пугай, поп! У меня сажка в душе, потому что был на пожаре. Там и наглотался сажки. Я пожары люблю. лето сухое, знаешь, как всё горит? Хочешь, твой храм сожгу? Он же у тебя сухой, трухлявый. Сразу займётся. Ой, а это кто? — Сёмка Лебедь указывал на икону, где лётчик с нимбом, в кабине бомбардировщика, объятый пламенем, пикировал на колонну танков. — Это кто такой?

— Капитан Гастелло.

— Гастелло не знаю. Брателло знаю. С него и начнём. Он уже и так горит, а мы огонька добавим!

Сёмка Лебедь запалил зажигалку, стал подносить к сухим венцам сруба с торчащим из пазов мхом. Огонёк зажигалки уже касался мха, как вдруг из иконы что-то бросилось на Сёмку, будто с грохотом и блеском прынул пикирующий бомбардировщик. Сёмка вскрикнул и побежал из храма. Выскочил и помчался по просёлку, закрывая затылок. А его настигал разгневанный лётчик с нимбом, давил слепящими чашами винтов, рыхлил просёлок очередями пулемётов и скорострельных пушек.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Один из кабинетов Головинского располагался в Статуе Свободы, в её голове. Голова была отлита из толстого стекла, лучистый венец над её челом был хрустальный. Солнце в течение дня текло, переливаясь в хрустале множественно радуг. Сидящие в кабинете испытывали от этих перетекающих спектров сладкое безумие.

Головинский выслушал отчёт своего пресс-секретаря Лунькова, у которого вместо носа горел многоцветный спектр:

— Вы, Пётр Васильевич, обладаете даром общаться с этими продажными журналистами. Они получают от вас деньги за клевету, но не чувствуют к себе отвращения. Им кажется, что они спасают Родину от тирана, — Головинский слегка смеялся зрячки, и нос Лунькова превращался в большую перламутровую пуговицу.

— Когда я работал в разведке, Лев Яковлевич, я занимался энтомологией. Изучал ядовитых бразильских муравьев и перуанских жуков. Их укусы смертельны. Наши журналисты — те же жуки-трупоеды и муравьи-отравители. Они питаются трупным ядом и жалят, когда яд в них скапливается, — Лунькову казалось, что в щёку Головинского вонзилось радужное остриё, и это было смешно.

— Когда мы придём в Кремль, Пётр Васильевич, я буду ходатайствовать, чтобы вас назначили министром информации.

Луньков раскрыл компьютер, и по экрану побежали графики. Взлёты, провалы, неожиданные всплески и падения. Головинский внимательно рассматривал графики, в которых билось сердце Плотникова. Это сердце можно было потрогать, сдавить, причинить ему боль, вызвать удушье. Головинский был взволнован. Его волнообразный нос удлинился, затрепетал, на кончике возник пульсирующий пузырьёк, словно колбочка, в которой дрожала прозрачная плазма.

— Какая положительная динамика! — Головинский страстно вглядывался в разрывы и перебои графиков. — Вот эта кардиограмма, как я понимаю, после первой публикации фотографии. А это после ухода жены и сына. А это после ухода любовницы. А эти великолепные экстрасистолы, эта божественная тахикардия, эти признаки мерцающей аритмии — после сожжения дома и явления свиней-орденоносцев. Что же далее?

— Далее, Лев Яковлевич, патриотическое шествие, на котором выступит Плотников. Если мы его сорвём, то это уже близко к инфаркту.

— Вот видите, не надо тратить миллиарды рублей, чтобы скинуть его выборным путём.

— Теперь, Лев Яковлевич, я хочу показать вам последний опус Паолы Велеш. Вы будете немало удивлены, — Луньков нажал на клавишу, открыл новый файл, и Головинский углубился в чтение.

“Губернатор Глотников, — ой, простите, — Скотников, — ой, что это я, право, — Плотников, — похоже, причастен к поджогу собственной дачи. Как указывают охранники, машина губернатора появлялась перед дачей вечером накануне поджога, но из машины никто не вышел. К тому же, из кругов, близких к губернатору, стало известно, что накануне поджога губернатор в порыве воодушевления называл Герострата великим инсталлятором, а Кутузова, спалившего Москву, — великим пироманом. А Нерона, спалившего Рим, великим огнепоклонником. Пусть следствие примет к сведению эти высказывания губернатора. Его психика расстроена недавними разоблачениями — разоблачениями нашего губернского Дон Жуана. Только помрачением можно объяснить недавний эпизод, случившийся у мемориала павших воинов во время погребения останков. Мёртвые свиньи с воинскими наградами были использованы губернатором для рекламы свиноводческих комплексов, развёрнутых в губернии. Страсть к наживе, затмевающая в человеке совесть, честь и историческую память, — характерная черта нашей патриотической элиты. От неё можно ожидать любых нарушений не только духовной этики, но и правовой. Я, Паола Велеш, очень серьёзно отношусь к угрозам в мой адрес со стороны губернатора. Человек, сжигающий родовое гнездо и глумящийся над подвигом отцов и дедов, способен на самые несусветные преступления. И я, рассказывая об этих угрозах, уповаю на гласность, которая защитит меня от происков губернатора-свиноубийцы.

О, моя память, моё умиление, мои сны, мои детские чудные видения, когда я лежала на бабушкиной широкой кровати. На стене — её любимый текинский ковёр. В воздухе, в луче апрельского солнца реют цветные пылинки, излетевшие из шерстяного ковра, словно мерцающие разноцветные искры. Переливаются, текут, исчезают; алые, зелёные, синие. Я люблюсь, мечтаю, мне кажется, на каждой пылинке — чудесный волшебный город

с крохотными домами, улочками, цветными фонариками. В этом городе живёт крохотная девочка в маленьком домике, лежит на кровати и смотрит, как переливаются над ней пылинки, и на каждой крохотный город с цветными фонариками, и эта крохотная девочка — я. Где девочка? Где пылинки? Где бабушкин ковёр? Где милая обожаемая бабушка? Только во мне, в моих снах, в моих слёзных воспоминаниях.

Я иду с мамой по осеннему лесу. Вся земля под деревьями в золотых опавших листьях. Так сладко пахнет родным лесом, голубым студёным небом, из которого нет-нет да и брызнет холодная капля, прынет бесшумная птица. Из листвы выглядывает сыроежка с зеркальцем воды в розовой шляпке. А рядом — череда мухоморов, красные, в белых крапинках, один меньше другого, как выводок, что вышел на прогулку. Мама с корзинкой, наклоняется, показывает мне подосиновик, я вижу его коричневую бархатную шляпку, мамино счастливое лицо, её тёмный, с бледными розами платок. Много лет спустя я нашла в шкафу этот платок. Розы выцвели, края обтрепались, но в нём каким-то чудом сохранилась еловая иголка, быть может, из того чудесного невозвратного дня. Я целовала платок, вытирала слёзы розами, вспоминала маму, её счастливое лицо, сыроежку с розовым зеркальцем воды.

И ещё одно чудесное воспоминание — моя первая влюбленность, целомудренная и прекрасная. Нет, нет, не любовь, а лишь дуновение любви, той, что ещё предстояла. Мой преподаватель в университете, аспирант, читавший нам курс русской поэзии. Какой у него был певучий, волшебный голос, когда он читал нам стихи Тютчева, Гумилёва, Есенина! Какие у него были восхищённые глаза, словно он сам был влюблён в тех прекрасных женщин, которым поэты посвящали стихи! Как чудесно ниспадали ему на плечи светлые лёгкие волосы! Как изысканно он повязывал шелковый галстук! Каким красивым был его почерк! Я послала ему записку, признаваясь в любви, и он прислал мне ответ, обращая моё признание в милую шутку. Мы гуляли по вечернему городу, он прижимал к глазам мой прозрачный шарф и говорил, что вокруг фонарей зажигаются тихие радуги, и весь город становится похож на крыло стрекозы. Он поцеловал меня один только раз, под цветущим каштаном. И сказал, что здесь впервые увидели друг друга Пушкин и Наталья Гончарова. Ещё он сказал, что завтра уезжает во Францию читать курс лекций, и мы, наверное, больше никогда не увидимся. Мне вдруг стало так больно, словно эта боль пронзила белые цветы каштана и моё сердце, и фиолетовые сумерки, в которых бежали огоньки машин, и всё мироздание, в котором меня обрекали на вечное одиночество. Он уехал, и эта боль постепенно стихла. Превратилась в сладость, в сокровище, которое я приобрела накануне своей настоящей любви. А эта целомудренная влюблённость была только дуновением, которое возвещало приближение истинной, страстной женской любви.

Что мне делать? Я в тисках, в западне! Этот страшный деспот мучает меня, околдовал меня, завладел моей волей, заставляет вершить чёрные дела! Я причиняю смертельный вред незнакомому мне человеку. Я грешница, преступница. Я знаю, это зло вернётся ко мне и меня уничтожит. Я хочу бежать, скрыться, сменить имя, изменить лицо. Хочу спрятаться в самый дальний лесной монастырь и отмаливать свой грех. Ухаживать за больными, помогать сиротам, взять на себя самые тяжёлые, непосильные труды. Господи, помоги мне! За что мне такое, Господи!”

— Ну, что вы скажете, Лев Яковлевич? — Луньков наблюдал, как Головинский печально и нежно гладит экран компьютера, словно касается чёрных, в стеклянном блеске волос Паолы. — Что будем с этим делать?

— Будем восхищаться, будем сострадать, будем беречь эту хрупкую беззащитную душу. Отделите первую часть от второй. Вторую направьте в папку особенно дорогих для меня документов, где содержится информация о мировом рынке бриллиантов. А первую часть разместите на сайте “Логотипа”, как обычно.

Луньков послушно и умело выполнил указание Головинского: повесил обличительный текст Паолы на сайт “Логотипа”.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Лето уходило, оставляя по себе золотой след. Воздух, голубой и студёный, был напоен таинственным светом, от которого печалилась и возвышалась душа.

Знала о скорых прощаниях, хотела их избежать, продлевала это хрупкое золотое время, за которым притаилась тьма, бури, метели, набивающие снегом мёртвые травы. Но теперь кругом стояли сады с тучной тёмно-синей листвой, в которой, как лампы, светились яблоки.

В лесах было просторно, ветер вычёсывал из красных осин молчаливых птиц. Лесные дороги были в жёлтой листве, и вдруг под ногами возникал волнистый оранжевый лист осины, и в нём дрожала голубая, отразившая небо капля. В полях летели невесомые паутинки, чуть всыхивая на солнце, и множество едва различимых паучков неслись в пустоте, будто навсегда покидали землю. Реки наполнились густой синевой, будто в их омутах укрылось миновавшее лето. И ты не можешь наглядеться на белые туманы, на последние полевые цветы, на разноцветные иконостасы лесов. На дне твоих глаз копится золотое свечение, и ночью, охваченный неизъяснимой тревогой, ты не можешь уснуть.

Плотникову предстояло участвовать в торжестве, посвящённом Дню Губернии.

Многолюдное торжество начиналось днём, а ранним утром он посетил завод, производящий корабельные ракеты класса “море—море”, именуемые “убийцами авианосцев”. Ещё недавно здесь простиралась пустошь, зарастающая лесом. Теперь же кристаллические цеха, казалось, опустились прямо из неба. Разбегались во все стороны шоссевые дороги. Тепловоз осторожно тянул заплombированные вагоны с грузом готовых ракет.

Вдалеке светлели коттеджи персонала. И Плотников, оглядывая преображённый ландшафт, радовался воплощению своей индустриальной мечты.

Ему показывал цех директор, блондин в прекрасном сидящем костюме, в модных туфлях, в красиво повязанном галстуке, словно только что явился с великосветского приёма. Цех сквозь стеклянную кровлю был освещён водянистым солнцем. На стапелях стояли ракеты. Их было четыре. Чёрные, глянцевиые, с заострёнными головами и горбатыми спинами, они напоминали дельфинов, которые мчались один за другим. У ракет работали группы монтажников. Погружали головы в приоткрытые люки, светили лампами, встраивали в чрево электронные блоки, тянули жгуты разноцветных проводов, следили за показаниями мониторов. У каждого дельфина билось электронное сердце, смотрели электронные глаза. В каждой заострённой голове таился чудовищный взрыв.

Работа монтажников была филигранной. Ракеты начинались золотом, платиной, серебром. В них вживлялись лазеры, радиолокаторы, приёмники инфракрасных лучей. В полёте они обгоняли звук. Перед тем, как убить авианосец, они совершали немислимый завиток и наносили разящий удар. Директор смотрел, как оживают ракеты, поворачиваются хвостовые рули, словно дельфины кольшут ластами.

— Мы, Иван Митрофанович, работаем в три смены. Портфель заказов переполнен. Министерство обороны торопит. Адмиралы на заводе днюют и ночуют. Здесь, у нас, в губернии начинаются морские сражения. Я бы вам, Иван Митрофанович, звание адмирала присвоил.

— Мы все адмиралы на корабле Государства Российского. Плыдем сразу в трёх океанах.

Плотников чувствовал, как после сердечного приступа к нему вернулась энергия. Его переживания и несчастья не могли помешать громадному упорному делу, в котором рождалась мощь государства. Он, положивший жизнь на создание первоклассных заводов, был строителем государства, укреплял его, не давал покачнуться. А оно укрепляло его. Эти молчаливые, с осторожными движениями рабочие, вживлявшие в ракету электронное сердце, были лучше любых кардиологов. Он чувствовал себя исцелённым.

Когда он покидал завод и садился в машину, навстречу ему из другой машины торопился вице-губернатор Притченко.

— Иван Митрофанович! Иван Митрофанович!

— Зачем вы приехали, Владимир Спартакович? Мы бы могли встретиться в администрации.

— Иван Митрофанович, я торопился сказать. Торопился вас известить. — Притченко волновался, не решался сказать. На его лбу проступил розовый след от секиры, разделявший две половины лица.

Плотников видел, как наливается на лице Притченко след таинственной родовой травмы, мучительно предчувствовал, ждал дурного известия: “Пусть принесёт жертву во имя государства Российского. Во имя Государства Российского”, — звучало в нём металлическое эхо.

— Иван Митрофанович, стало известно, что ваш сын Кирилл уехал на Донбасс. Его друзья говорят, что он вступил в ряды ополченцев.

— Как? Ничего не сказав ни мне, ни матери?

— Друзья говорят, что он не вернётся в Оксфорд.

На центральной площади, у помпезного, с колоннами, здания администрации была установлена трибуна. На ней разместились именитые граждане: ветераны с потускневшими золотыми погонами, отягчённые грузом боевых орденов; герои труда, представлявшие прославленные заводы и животноводческие комплексы; участники кавказских войн со звёздами на груди; народный артист областного театра и ректор университета; депутаты и сенаторы, вице-губернаторы и министры, владыка. Все были знакомы Плотникову, все были ему опорой, все были столпами, на которых держалась губерния. Площадь была залита народом, в цветах, транспарантах. Главный проспект был заполнен демонстрантами, которые ждали сигнала, чтобы начать шествие.

Владыка нараспев прочитал молитву, наполнив площадь гулом неразборчивых слов. Старик-ветеран, держась трясущейся рукой за стебелёк микрофона, дребезжащим голосом рассказал боевой эпизод. Народный артист прочитал патриотический стих.

Плотников, выступая, старался одолеть тоску и тягостные предчувствия. Бодрым, сочным голосом уверенного в себе лидера он поздравил площадь с чудесным праздником. Площадь благодарно откликнулась, люди махали цветами, в воздух полетели шары. Его по-прежнему любили, прощали огрехи, не заметили злобных статей, желавших его очернить.

— Пусть в наших домах царит благополучие! Пусть наша родная губерния становится всё краше, всё обильнее! Пусть каждый делает для народа всё, что сможет, а народ воздаст ему щедрой рукой! — так говорил Плотников. Но в нём продолжало звучать металлическое эхо: “Пусть принесёт жертву во имя Государства Российского! Кирюша, что ты наделал!”

Кончились речи, и грянула музыка. На площадь выходила колонна, и её возглавлял оркестр юных музыкантов. Девочки в коротких одинаковых юбках с упоением грохотали в барабаны. Мальчики задирали вверх горны и дули в них залиvisto и победно. Сияла медь, мелькали ловкие ноги, рокотали палочки в девичьих руках, и такая бодрость, молодая сила, ликующая бравада наполнили площадь, что ветеран на трибуне прослезился, а вице-губернатор Притченко кинул музыкантам розовую хризантему.

Плотников улыбался, махал рукой, а сам тоскливо думал, что жизнь его влилась в чёрный желоб, из которого нет выхода. Злой поток несёт его к чему-то грозному, неотвратимому, сулящему гибель.

На площадь вступили представители районов, демонстрируя свои достижения. Окружённый рабочими в комбинезонах, двигался грузовик, плод совместного творчества немецкой фирмы и российского концерна. С толстыми стёклами, громадный, похожий на угрюмого быка, грузовик медленно катил. В его кузове весёлый жонглёр метал тарелки и кегли, пританцовывал и крутился.

Возвышаясь над толпой демонстрантов, сиял нержавеющей сталью робот, способный выпускать миллионы медицинских таблеток, — изделие французских дизайнеров, наделивших машину сходством с человеком. Робот, украшенный цветами, окружённый ликующим людом, напоминал языческого идола.

Следом на платформе плыли корабельные винты, сияя бронзовыми лепестками, похожие на фантастические цветы. Мерцали гирлянды электрических лампочек, крутились лопасти ветряной электростанции, качалась над головами белоснежная яхта. Плескались стяги корпораций, российские триколоры, флаги Германии, Бельгии, Франции, Китая. Губерния была открыта миру, и ветер, который колыхал полотнища, долетал сюда со всех концов света.

Плотников видел в колонне глав районов, которых недавно заставлял рисовать. Их рисунки, увеличенные, выведенные на ткань, красовались среди цветов и флагов. Его смешной портрет, где он был похож на огурец с растопыренными ручками, тут же. Главы махали ему, и он махал в ответ. А сам думал: какая злая сила выбрала его своей мишенью и бьёт без устали? И от неё не убежать, не укрыться...

Шли фермеры, работники животноводческих комплексов, птицефабрик и рыбных хозяйств. В грузовиках покачивались коровы, толпились овцы, величественно возвышал шею страус. Рыбоводы держали в руках огромных сияющих карпов. Некоторые карпы били хвостами и раскрывали жабры. Полеводы изготовили из овощей фантастической Кремль. Стены — из красных помидоров, дворцы — из белого картофеля, колокольни — из золотых кукурузных початков.

Трибуна хлопала. Министры поздравляли друг друга. Владыка смеялся, указывая пальцем на страуса. А Плотников страдал в предчувствии беды, бессильный её избежать.

“Союз десантников” шёл сомкнутым строем. Участники афганского похода, отцы семейств, извлекли из сундуков и комодов камуфлированную форму, выгоревшие голубые береты. Шествовали, радуясь своей общности с теми, кто после них воевал в Чечне, громил грузин под Цхинвалом, недавно отслужил срочную в десантных дивизиях.

За десанниками шёл “Союз пограничников”. Нацепив зелёные фуражки, повидавшие мир, послужившие Родине, они вернулись в родную губернию с Курил, с Балтики, из кавказских ущелий, с арктической кромки и не пропускают случая собраться вместе, пошуметь, выпить рюмку, искупаться в фонтане...

Члены военно-исторических клубов проходили по площади, не оставляя свои забавы. Они изображали схватки былых времён так истово, словно племя, щиты и копья в их руках были грозным оружием, звенели неподдельной яростью. Русские витязи сражались с закованными в броню тевтонами. Стрельцы целились из пищалей в польских ратников. Кутузовские солдаты, примкнув штыки, атаковали французов. Советские пехотинцы в касках и плащ-палатках схватились в рукопашной с фашистами. Всё это лязгало, гремело, стреляло, кричало “ура”, отзывалось разноязычными кликами.

Плотников вторил радостным крикам, а сам думал о сыне. Хотелось броситься прочь, на поездах, самолётах попасть в стреляющую донецкую степь, отыскать сына, выхватить его из этих кровавых вихрей, вернуться с ним в то восхитительное время, когда он и маленький сын лежали ночью на стоег клевера и смотрели на звёзды, которые роняли на них золотистые бесшумные капли.

Теперь на площадь, как цветастые букеты, высыпали народные хоры и танцевальные коллективы. В сарафанах и вышивках, в кокошниках и киках, в бусах и браслетах, они водили хороводы, распевали песни, взмахивали платками, обращая к трибуне нарумяненные лица.

Плотников вдруг ощутил прилив сил, радостное облегчение.

Трибуна начинала пустеть. Именитые граждане были приглашены в Дом приёмов, где предстоял праздничный обед. Плотников уступал дорогу ветерану, опиравшемуся на палку. Слышал, как позванивают его бесшумные медали.

Внезапно с кликами, визгом и клёкотом на площадь вынеслась ватага. Яростные молодые люди вскидывали стиснутые кулаки, плевали в сторону трибуны. Несли перед собой огромное сине-жёлтое полотнище, размахивали украинскими флагами. Выкрикивали: “Нет войне! Нет войне!” “Слава Ук-



раине! Героям слава!” “Губернатора долой! Губернатора в помой!” “Правый сектор” придёт и порядок наведёт!”

Перед ватагой пятился молодой человек с мегафоном, выкрикивал призывы, которым вторила вся гурьба. Плотников узнал в этом неистовом вожаке антифашиста Шамкина, который совсем недавно обращался к нему за помощью: просил оградить молодых демократов от нападений русских националистов. Теперь же он был яростным, ненавидящим вождём, возбуждавшим своей ненавистью молодых соратников. “Нам победу, вам гробы! Нам победу, вам гробы!”

Плотников был ошеломлён этим натиском ненависти, бранными криками, плевками. Эта ярость вновь заталкивала его в чёрный желоб, лишала воли, сулила несчастье.

Вслед за визгами, гримасами, украинскими флагами появились чудища в лохмотьях и рубищах: горбоносые ведьмы на мётлах, кикиморы в липкой ветоши, колдуньи и чародейки с распущенными волосами. Они подсакивали, выли, причмокивали, несли на головах красный гроб, на гробу сидела большая жаба. Пробегая мимо Плотникова, колдуньи показывали ему языки, толкали в его сторону кумачовый гроб.

Плотников чувствовал, как растворяется его грудь, и на сердце ему прыгает жаба.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Две недели, как Кирилл Плотников вступил в ополчение и защищал Донбасс. Не было боев, не было арналётов. Была жизнь в казарме, жёсткая постель, грубая пища. Ополченцы дали ему прозвище “Плот”, и он привыкал к матерным шуточкам, суровым покрикиваниям, ночным тревогам. Их всех вдруг поднимали и отправляли в ночную степь на поимку неведомых диверсантов, которых так никто и не видел. Кирилл терпел неудобства, учился слушать команды. Несколько раз звонил по телефону матери, винясь перед ней, чувствуя, что его благополучная жизнь, та, что готовил ему отец, прервала своё безоблачное восхождение и устремилась в непредсказуемое, грозное будущее. Оно готовило ему встречу с чем-то непознанным и влекущим.

На второй неделе службы его подразделение отправили на охрану моста. Через реку вела железнодорожная ветка, которую стремился перерезать противник.

Мост был склёпан из ромбов и треугольников, прозрачный и легкий, висел над рекой, отражаясь в ней размытым серебром. Мост напоминал Кириллу загадочный музыкальный инструмент. Когда по нему проходил редкий состав, мост сначала вздыхал, как орган, потом барабанно ухал и на прощание, вслед уходящему составу, издавал рыдающий звук.

Ополченцы по обе стороны реки отрыли траншеи, выложили защитные стенки из мешков с землёй, соорудили пулемётные амбразуры.

Общались через реку друг с другом по рации. Сходясь вместе, обедали у костра. Вновь расходились, отдыхали в блиндажах. Кирилл, стоя на посту под звёздами, смотрел, как переливаются светила в ромбах моста, который, как бредень, процеживал небо, вылавливая из него мерцающих рыб.

Дни стояли солнечные, прохладные. Река была синей, холодной. На крутых берегах желтела трава. К берегу была причалена лодка, в которую тихо ударяло течение, и по воде уплывали разводы. Пахло рекой, шпалами и тончайшими железными ароматами, которые источал мост.

Кирилл сидел в кругу ополченцев и чистил картошку. Приближалось время обеда. На усыпанной неплотом земле, где обычно разводили костёр, уже были сложены дрова. Кириллу как младшему вменялось чистить картошку, разводить огонь, приносить из реки воду в старом помятом ведре. Но вешать котелок над огнём, засыпать в кипяток картошку, кидать ложку соли, вскрывать штык-ножом банку с тушёной и вываливать в булькающую воду розоватое мясо с прожилками жира — всё это делал кто-нибудь другой, из бывалых, не доверяя городскому юнцу сотворение похлёбки.

Кирилл бережно снимал с клубня землистую кожицу, обнажал белую картофелину, стараясь не срезать лишнее. Ему доставлял удовольствие этот нехитрый труд, который прежде был ему неведом. Ещё недавно он слушал профессоров Оксфорда, читавших ему международное право, теорию управления, экономику крупнейших мировых корпораций. Сидевшая рядом хрупкая студентка Лора из Южной Каролины нет-нет да и улыбалась ему милым розовым ртом. Теперь же он чистил картошку на берегу безвестной реки у стального моста, в амбразуре среди мешков поблескивал пулемёт, на бруствере окопа лежала труба гранатомёта. И эти немолодые, усталые люди приняли его в своё братство, наградили доверием, поручили чистить картошку.

— А тебе скажу, пустая ты голова. Если есть для тебя Бог, то и ты для него есть. А нет для тебя Бога, и тебя для него нет. И он тебя не защитит, не заслонит, когда тебя рвать на куски будут. Так и помрёшь без Бога, — ополченец Лука, с длинным желтоватым лицом и большими, как у лошади, зубами наставлял другого ополченца, по прозвищу “Чиж”. Рыжий, вихрастый, с маленьким острым носиком, он и впрямь напоминал птицу. Крутил головой, вращал круглыми глазами, словно порывался взлететь.

— И так помру, и сяк помру, — отвергал он нравоучения Луки. — Там Бога нет, — он указывал пальцем в небо, — а здесь зато есть. Ты для меня бог, и Лом для меня бог, и Леший бог. Если укры меня ранят, вы меня на себе потащите. Если я к вам голодный приду, накормите. Вы мои боги.

— Какой же ты, Чиж, человек поперечный. Ты слушай, чего умные люди говорят, и наматывай. У нас в селе посреди улицы крест стоял, большущий, из лиственницы, ещё старики поставили. Были большие пожары, из леса хвосты огня по небу летели и падали на избы. Село загорелось, один дом за одним. Страсть. Огонь шёл с гулом, не подойти, всё сметал. Дошёл до креста и встал. Стих. По одну сторону креста головешки дымятся, по другую — целные дома стоят. Их святой крест отстоял.

— Совпадение, — упорствовал Чиж, — Мало ли чего не бывает.

— Ты малOVER, малOVERом и умрёшь. Слушай дальше. За Луганском казачки блокпост держали. Всё, как положено: зарылись, ежи поставили, блоки бетонные навалили. Украм не сунуться. Ночь, на посту один казачок стоял, который обет дал: если с войны вернётся — уйдёт в монахи. Вдруг видит: засветилось, как облако. Он автомат взвёл. А облако подошло, и из него Богородица вышла. Говорит: “Буди своих, и уходите”. Казак своих разбудил и увёл в овраг. Только ушли, укры из “градов” по блокпосту вдарили. Раз, другой, третий. Бетон расплавился. А били впустую. Нет никого. Богородица того казачка спасла, чтобы он обет сдержал.

— Казачки что хошь тебе набрешут. У них языки без привязи, — упреждал Чиж.

— Тьфу тебе! — рассердился Лука и отвернулся от малOVERа.

Слабо застучало. Появился товарный состав. Тепловоз тянул вагоны, гружённые углем. Въехал на мост, который изумлённо вздохнул, гулко застучал, зазвенел множеством стальных струн, каждая на свой лад, и когда последний вагон покинул мост, вслед ему прозвучало прощальное рыдание.

Кириллу казались драгоценными минуты, которыми исчислялась его жизнь, прохождение по мосту состава, затихающий в металлических фермах звон. Драгоценными были лица ополченцев, озарённые предвечерним солнцем, родные, понятные среди этих донских степей, синей реки, остроносой лодки, от которой по воде тянулись голубые разводы. И хотелось продлить, задержать эти минуты, как в куске янтаря задерживается и останавливается время.

— Что-то я не пойму, мужики. Мы тут воюем, воюем, не за себя, за Россию воюем, а где она, Россия? Смотрит, как нас укры “градами” посыпают? Стукнуть по столу: “Конец! Признаём Новороссию, как признали Абхазию!” И танки сюда, артиллерию, личный состав! А то тянем резину, людей напрасно теряем. Если б Россия откликнулась, мы бы сейчас в Киеве картошку чистили! — ополченец с позывным “Клык” недовольно качал головой, на которую была нахлобучена старая фетровая шляпа. — Не пойму, мужики, Россию.

— Ты, слышь, за Россию не думай, — степенно и рассудительно возражал ему ополченец Тёртый. — Она, слышь, тебя не оставит. Наш президент к энтому, ихнему американскому чумазику подходит и показывает съёмку, где русская ракета муху за тысячу километров сбивает. “Вот, говорит, какая у нас умная ракета-мухобойка. Она, слышь, тебя, чумазика, где хошь найдёт, в форточку влетит и в лоб втемяшит. Оставь, слышь, Новороссию”. Такие дела.

— Тёртый, откуда ты знаешь, что наш президент ихнему говорил? Ты был там? — раздражался Клык, сбивая на затылок шляпу.

— Мне брат говорил. Он в Москве в МВД работает. Такие дела, — невозмутимо отвечал Тёртый.

Ещё один состав с другой стороны въезжал на мост. Он был собран из платформ и вагонов. Вагоны были полны металлолома, а на платформах, крытые брезентом, стояли тяжеловесные бруски, и виднелись автоматчики. Состав замыкал одинокий пассажирский вагон с мутными окнами, за которыми размыто белели лица. Мост прорыдал вслед вагону, словно прощался с ним навсегда.

Кирилл срезал с клубня затейливый завиток, бережно откладывал на траву белую картофелину. Думал, что все они явились в эту донецкую степь, чтобы воевать за русское дело. И ему дано изведать это возвышенное чувство, жертвенную любовь, готовность погибнуть за Родину, как погибло до него множество безвестных героев. Он приобщён к их святому сонму.

— Вот ты, Тёртый, про брата рассказываешь, который в Москве живёт, — ополченец Плаха хмурил побелевшие на солнце брови, щурил синие невесёлые глаза. — А у меня брат в Житомире. Не хохол, а русский. Вместе росли, вместе в школу ходили. Почти в один год женились. На поминках матери рядом сидели. Я ему звоню: “Коля, ну чего ваши хохлы с ума посходили? Нас бомбят, города разрушают, детей убивают. Откуда у них эта злость?” А он на меня матом: “Ты, говорит, москаль проклятый! Кровопийца! Ты нашу Украину кровью залил! Чтоб ты подавился крымским яблоком! — Коля, — говорю, — в тебя чёрт вселился. Ты же русский! — Украинец я, а не русский! А тебя знать не хочу! — Что же, — говорю, — стрелять в меня будешь, если встретимся? Гранату кинешь? — Кину! Чтобы мозги твои москальские полетели. Не звони больше!” Это ж надо подумать! — Плаха кусал травинку, глядя на реку печальными синими глазами.

— Да, такие дела, — вздохнул Тёртый.

— Теперь не встретимся. А я ему в долг денег дал. Пропали деньги, — повторил его вздох Плаха.

Кирилл их слушал, не вникая в суть путаных, перелетающих с одного на другое суждений. Ему было светло. Казалось, в этом озарённом пространстве он существует одновременно ребёнком, и отроком, и юношей, и всей остальной дарованной ему жизнью. И всё в этой жизни обретёт свою полноту и гармонию. Он одержит победу, совершит свой подвиг, вернётся домой, где всё будет, как прежде. Будет мир, любовь всех ко всем, и это он своим подвигом вернёт дорогим ему людям чистоту и любовь.

— Мужики, про гранату это вы хорошо, — бодро воскликнул ополченец Ворон, недовольный печальными вздохами товарищей. — Пойти, что ли, в речку гранату кинуть? Рыбки захотелось. А то тушёнка из ушей лезет. А, мужики?

— Незаконно, — строго сказал Лука. — Рыбу глушить незаконно.

— Закон — война! — Ворон смотрел на бруствер, где у пулемёта стоял ящик с гранатами. — Омуток отыскать и шмальнуть!

— Рыба в войне не участвует. Ты, Ворон, не перед людьми, а перед Богом ответ держишь. Он тебе на суде эту рыбу покажет и спросит: “Зачем ты её гранатой убил? Мой, Божий закон нарушил?”

Ворон отмахнулся от Луки. Повернулся к Кириллу, который аккуратно снимал с клубня землистый завиток, открывая белую картофелину:

— Плот, ты картошку чистишь, будто с каждой юбку снимаешь. Небось, девок быстрее раздеваешь? Жрать хочется. Бери ведро, беги к реке за водой! — и, достав зажигалку, стал разводить костёр.

Кирилл дочистил картошку. Схватил мятое ведро и пошёл вниз по берегу. Он принял как должное этот грубоватый приказ Ворона, готовый слушать этим родным людям, исполняя их просьбы и наставления.

Он спустился к реке по тропке. Тропа была розовой, утоптанной, вела к лодке. На тропе лежала рыба, блестела чешуей, краснела плавниками. Видно, рыбак, поднимаясь от реки, обронил её, и она плоско лежала, высыхая на солнце.

Кирилл спустился к воде. Лодка острым носом была вытянута на берег. В ней не было вёсел. На дне лежал деревянный черпак, и повисла сухая водоросль. У лодки на воде толпились водомерки, скользили, борясь с течением, прыгали, оставляя на воде крохотные лунки.

Кирилл зачерпнул ведром воду, вытянул ведро, чувствуя литую тяжесть. Стоял, вдыхая речные запахи, глядя, как серебряный мост отражается в синей воде, словно зыбкое облако. Захотелось сесть в лодку, оттолкнуться и плыть, отдаваясь течению, в неизвестную даль.

Он взял ведро и стал подниматься по тропке, расплёскивая воду, чувствуя, как намочила штанина. Рыба лежала на тропе, и он осторожно её обошёл, боясь наступить. На высоком берегу были видны ополченцы, горел костёр. И вдруг он почувствовал тревогу, испуг, переходящий в страх, в ужас. Что-то страшное, неотвратимое и ещё не видимое, приближалось. Оно давило сверху, не отпуская его, и он нёс ведро, ставшее вдруг непосильно тяжёлым.

Стоя на тропе, ещё не одолев береговую кручу, он увидел, как вдоль насыпи движутся три боевые машины пехоты. Грязно-зелёные, заострённые, с плоскими башнями, из которых торчат тонкие пушки. Над головной машиной трепетал жёлто-голубой флаг. Было видно, как из кормы вылетает хвост гари.

Ополченцы ещё не замечали машин, продолжая мирно сидеть у костра. Кирилл застывшими зрачками наблюдал отточённое, направленное на ополченцев стремление. Он оцепенел, не смел шевельнуться. Вся его жизнь с того чудесного утра, когда проснулся в детской кровати и увидел в зеркале радугу, и мама расчесывала гребнем пышные волосы, — вся его жизнь остановилась, и время исчезло. Вся его жизнь до этой черты, когда у моста сидят ополченцы, горит костёр, лежат на траве очищенные клубни картошки, и вода проливается из мятого ведра, — вся его жизнь остановилась и больше не имела продолжения.

Из головной машины ударило, полыхнул огонь. Вблизи ополченцев встал столб грязи и дыма. Ударили две другие пушки. Взрывы занавесили костёр и ополченцев, и Кириллу показалось, что они навсегда исчезли. Но завеса грязи опадала, и стало видно, как кособоко бежит к траншее Ворон, как скачивается в окоп Лука, как ползёт, поднимая зад, Плаха.

Кирилл бросил ведро и хотел бежать туда, где оставался его автомат. Но боевые машины отсекали его. Гремели пушки. За кормой растворились створки, и высыпались солдаты в касках.

Он стоял на круче, облитый водой, и смотрел, как чернеют взрывы. Среди них красным язычком продолжал гореть костёр.

Среди грохота и пулемётного стрёкота раздался вой, и возник тепловоз, одинокий, безумный, подающий непрерывный сигнал. Лязгая, помчался среди взрывов, ворвался на мост, промелькнул среди серебряных ферм и скрылся, оставив по себе рыдающий вопль.

Пехота шла за машинами, стуча автоматами. Кирилл в рост, не понимая, что делать, стоял на круче, и большая мысль, что там, среди взрывов, продолжает гореть костёр, и лежат на траве очищенные клубни, не оставляла его.

Увидел, как из окопа в сторону машин метнулся красный клубочек, размазывая за собой курчавую трассу. Ударил в машину. Ахнуло гулко. Машина закрутилась на месте, а потом повернула и слепо пошла к реке, туда, где стоял Кирилл.

Она приближалась, из неё вырывался рыжий огонь. Кирилл смотрел, как она надвигается заострённым носом, над которым играет пламя. Он не мог убежать, не мог тронуться с места. Машина шла прямо на него, качая пушкой, дыша копотью. Прогремела рядом, обдав зловонием горелой

брони. Нырнула вниз по берегу. Скользила к реке, где была причалена лодка. Ткнулась в невидимую преграду, замерла, охваченная со всех сторон огненными язычками.

Кирилл увидел, как бегут к нему солдаты. У переднего под каской краснеет лицо, чернеет в дыхании рот, вздрагивают белесые брови. Вид воспалённого лица, скачущей на голове каски, сжатого в кулаках автомата разбудил Кирилла. Он повернулся и кинулся вниз к реке, по тропке, к воде, к спасительной лодке, которая его унесёт от этого моста, стреляющих автоматчиков, от яростного, красного, словно ошпаренного лица.

Лёгким скачком он перепрыгнул блестящую на тропе рыбу, обогнул грязные траки машины и чадную копоть, приближаясь к спасительной лодке. Почувствовал, как вонзилась в него нестерпимая боль, пронзила от позвоночника к шее. Последним усилием кинулся он к лодке, увидел на дне деревянный черпак и засохшую водоросль. Спихнул лодку в воду, и, падая на дно, теряя сознание, последним взглядом ухватил на воде серебряное отражение моста.

Очнулся, когда было темно. Он лежал на дне лодки, слыша мягкие шлепки воды о деревянные борта. Было прохладно, пахло рекой. Лодка плыла, поворачиваясь в медленных водоворотах. Он вспомнил свой бег, ужас погони, блестящую рыбу на тропе, липкий огонь подбитой машины. Вспомнил боль, пронзившую спину, серебряное отражение моста. Теперь боли не было. Но он боялся пошевелиться, чтобы она не вернулась, чтобы лодка, плывущая по ночной реке, оставалась невидимой с берега.

Пошарил рукой по дощатому днищу. Нащупал деревянный черпак. Пальцы коснулись приставшей к днищу водоросли. В теле была легкость, почти невесомость, от которой всё вокруг слабо звенело: и высокое небо с первыми звёздами, и река, пахнущая кувшинками, и берег, где что-то слабо светилось.

Он приподнялся, выглядывая из лодки. Здесь, в лодке, было темно, но берег был озарён. Он увидел, как вдоль берега вьётся дорога, и по ней мчится велосипедист — мальчик в пузырящейся рубахе с хохолком распущённых ветром волос. Было видно, как мелькают спицы. Мальчик, полузакрыв от счастья глаза, направляет свой перламутровый велосипед по тёплой пыльной дороге, в брызгах перелетает ручей, несётся вдоль ржаного поля, и вдруг из колосьев, из стеклянной зелени взлетает птица небывалой красоты, с развешанным хвостом, огненными перьями, с переливами голубого, изумрудного. И этот мальчик — он, его велосипед, подаренный отцом, его рубаха забрызгана ручьём, перед ним с хлопаньем жарких крыльев летит небывалая птица сказочной красоты.

Кирилл уронил голову, и берег с мальчиком скрылся. Он понимал, что это виденье, его слабость, потеря крови рождает бред, но хотел его снова увидеть.

Осторожно, боясь напрячь раненую спину, выглянул через борт. Темнели избы деревни. У самой воды сидели мальчик и девочка, и она надевала ему на голову веночек из васильков и ромашек. Деревня, где он жил в детстве на даче, была совсем не у реки, но теперь с воды он различал резной наличник крайнего дома, колодец, у которого стоит мама в алом платье, и деревенскую девочку, к которой испытывает такую нежность... К её золотистым загорелым рукам, к маленькой выпуклой под ситцевым платьем груди, к веночку, который она надвигает ему на лоб. И потом, уезжая из деревни, он прощался с ней у околицы, и она, провожая его, подарила ему цветок нежно-розовой мальвы. Он поцеловал её первый раз в жизни, чтобы больше никогда не увидеть.

Кирилл, упираясь руками в днище, перевернулся и лёг на спину. Его голова находилась там, где сужались борта. Берег был тёмный, без огней, и в прибрежных зарослях кричала ночная птица.

Река расширилась, и берега почти исчезли. Там, куда он плыл, небо начинало светлеть. В лодку к нему вдруг подсели отец и мать, молодые, прекрасные, любящие друг друга. Кирилл испытал к ним такую нежность, такое обожание. Радовался, что теперь все они трое вместе и уже неразлучны.

Он лежал на тропе, не добрав трёх шагов до лодки. Рядом горела подбитая боевая машина пехоты. По тропе спускались солдаты в касках.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Кирилла отпевали в кафедральном соборе под синими ангелами. Гроб был полон цветов. От них исходил тяжёлый сырой запах. Плотников сквозь слёзы видел большую белую лилию с жёлтой сердцевинкой там, где под белым пологом лежала рука сына. Лицо Кирилла было спокойно, губы твёрдо сжаты, на тонкой переносице голубела жилка, над белым лбом распушился непокорный хохолок, который так любил целовать Плотников.

В церкви собралось много народа. Сослуживцы, главы районов, представители деловых кругов, губернская интеллигенция. Печальной церемонией заправлял вице-губернатор Притченко, который несколько раз с состраданием подходил к Плотникову, словно хотел укрепить и утешить его в горе. Пришли школьные товарищи Кирилла, и Плотников увидел среди них девушку, которая прежде любила Кирилла, а потом вышла замуж за немецкого инженера. Девушка была в чёрном, с заплаканными глазами, положила в гроб малиновую розу.

Жена Плотникова Валентина Григорьевна, в чёрном платье, в чёрной прозрачной шали, отяжелевшая, с распухшим голубоватым лицом, стояла по другую сторону гроба рядом с сестрой, которая поддерживала её, не давая упасть. Сестра, с крупным носом и волевым подбородком, несколько раз грозно посмотрела на Плотникова, запрещая ему приближаться. Плотников и не приближался к жене, которая, увидев его, стала захлёбываться, крутить головой, отгаликивать от себя воздух, в котором находился Плотников.

Священник отпевал Кирилла, позванивал кадиллом, развешивал над гробом синеватые струйки дыма. И Плотников остановившейся мыслью никак не мог соединить белый лоб сына, перетянутый бумажным пояском, лилию над его мёртвой рукой и того милого мальчика, что бежал впереди него по картофельной борозде. Оглядывался, словно боялся, что отец отстанет, не успеет за ним к синим дубам, под которыми они станут искать золотистые жёлуди.

На кладбище начинали желтеть деревья. Ветер сдувал листья, и один жёлтый листок упал на лоб сына. Жена сняла листок, прижалась губами к сыновнему лбу и застыла, содрогаясь в беззвучных рыданиях.

Плотников смотрел на рыдающую жену, на рыжую яму, у которой стояли могильщики, на узорную ручку гроба. И был бессилён понять свою несчастную жизнь, в которой случилось непомерное, необъяснимое горе. Он был в нём повинен, что-то неосторожно колыхнул, что породило чудовищную волну, убившую сына. Ум был не в силах проследить всё, случившееся с того дивного дня, когда сын, ликуя, протягивал ему золотистый жёлудь, вплоть до этих минут, когда сын, отчуждённый, спокойный, лежал под покровом цветов, и в руке его белела могильная лилия.

Сестра жены нежно и властно оторвала Валентину Григорьевну от гроба. Все стали прощаться. Подходили и кланялись. Девушка, бывшая невеста, погладила голову Кирилла, и стала кусать себе губы. Плотников обнял под белым пологом твёрдое тело сына и поцеловал его в хохолок. Гроб подхватили, подвели под него верёвки, стали спускать в могилу. Комок земли, который подобрал Плотников, был холодный, каменный. Было слышно, как он ударил о деревянную крышку. Могильщики в две лопаты стали сыпать в яму грохочущую землю, последний краешек гроба мелькнул и скрылся. И провожая его страстным, слёзным, безумным взглядом, жена перевела этот взгляд на Плотникова. Устремилась к нему с истошным воплем;

— Убийца! Ты, ты убил! Убил моего мальчика! Будь проклят! Навеки! — Она кинулась к нему через грудь земли, споткнулась, стала падать. Её подхватили, она билась, захлёбываясь в клёкоте, разрывая чёрную шаль. Её уводили, и могильщики, прервав на минуту свою работу, ровняли могилу, хлопывали лопатами земляной бугор.

Плотников, ослепнув, убрел в глубину кладбища, мимо мраморных надгробий, деревянных крестов, крашенных алюминиевой краской оград.

Его нагнал Притченко:

— Иван Митрофанович, дорогой!

Этот сердечный, слёзный голос вице-губернатора разъял жёсткие, сжимавшие его грудь крепки. Плотников упал на грудь Притченко и зарыдал.

— За что мне такое!

Притченко прижимал к себе его голову, гладил волосы, как это делают, когда утешают ребёнка.

В это же время эколог Лаврентьев отправился с грузовиком на городскую продовольственную базу. Там разморозился холодильник, и пришла в негодность большая партия рыбы. Лаврентьев дал денег директору базы, и рабочие перегрузили гниющую рыбу из холодильника в грузовик.

Лаврентьев пригнал грузовик к дому губернатора, открыл борт, и скользкая, в гнилой слизи рыба стекла на проезжую часть перед самым шлаббаутом. Лаврентьев кинул на гору зловонной рыбы плакат: “Природа мстит тебе, Плотников”, — и укатил.

Когда Плотников вернулся с кладбища, его машина уткнулась в липкое месиво рыбьей чешуи, плавников и недвижимых рыбьих глаз.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В Глобал-сити, в зеркальной мечети, встретились Головинский и пресс-секретарь Луньков. Местом общения была гостиная, украшенная бирюзовыми изразцами, состоящая из нескольких ярусов. На каждом ярусе размещался зимний сад, тропические лианы свисали вдоль стен глянцевиными космами, напоминая о всеяких садах Семирамиды. Головинский и Луньков сидели на мягких табуреточках, изукрашенных резьбой и лазуритом. Головинский просматривал кардиограммы, на которых сердце Плотникова оставило рваный страдающий след.

— Великолепно, Пётр Васильевич. Так хороши, что хоть выставляй в Галерее современного искусства!

— Врач говорит, что болезнь приобрела необратимую динамику.

— Ещё маленький толчок, крохотное усилие — и произойдёт взрыв! — Головинский весело всматривался в синусоиду и всплески, и казалось, что его волнистый нос воспроизводит прихотливые линии.

— Это убийство, которое не оставляет следов, — произнёс Луньков, сравнивая пробежавшую вдоль носа волну с кардиограммой. — Этот метод нужно преподавать в разведшколах. Нам его не преподавали.

— Он уже преподаётся, Пётр Васильевич. Называется “Метод бесконтактного устранения”. Все эти старомодные снайперы, фугасы, яды уступили место методикам, перед которыми бессильны любая охрана, любая служба безопасности. То, что мы проделали с Плотниковым, можно проделать с президентом. Гибель наступит его за кремлёвскими стенами, и не поможет тройное кольцо охраны, верные телохранители. Вы исследуете тайный волновод, соединяющий его сердце с внешним миром, и запускаете волну смерти.

— Восхищаюсь вами, Лев Яковлевич. Нас в разведке этому не учили.

Маленький фонтанчик мерцал струйкой воды, которая опадала в бассейн, выложенный агатами и яшмой. В бассейне плавали ленивые красные рыбы с вуалевыми хвостами, смотрели из воды выпуклыми глазами.

— Вы прекрасно поработали, Пётр Васильевич. Здесь нам больше делать нечего. Одни гробы. Готовьтесь к переезду в Европу.

— Мне казалось, Лев Яковлевич, что здесь, в губернии, только начинается наша работа. Место, как говорится, расчищено. Теперь вы его займёте. Можно начинать кампанию по избранию нового губернатора.

— Пётр Васильевич, неужели вы могли подумать, что мне интересна эта унылая губерния? Ну, убрали одно ничтожное насекомое, неужели мне ползать вместо него?

— Каковы ваши планы?

— Я забираю вас с собой в Европу. Там работает Агентство ближневосточных проблем. Это закрытый центр, который участвует в трансформации ближневосточного региона. В этом регионе скоро исчезнут одни границы и будут прочерчены другие. Исчезнут одни страны и появятся другие. Испепелятся одни города, и на их месте возникнут небывалые мегаполисы. Там начнутся огромные преобразования. “Великая шахматная доска”, о которой говорил Бжезинский, превращается в “великую гладильную доску”. По этому региону пройдёт раскалённый утюг, который разгладит все складки. Война, разведка, “цветные революции”, “бесконтактные устранения”. А в итоге — нефть. Хочу, чтобы вы возглавили один из департаментов. Вы прекрасно себя проявили и достойны высокой роли.

— Что это за роль, Лев Яковлевич?

— Расскажу, когда сядем в самолёт и забудем об этой губернии.

Красно-золотые рыбы подплывали к поверхности и смотрели на Лунькова выпуклыми глазами. Струйка воды таинственно журчала. Луньков был зачарован колдовскими словами Головинского, благоговел перед его могуществом, счастливо подчинялся его воле, был готов служить ему нераздельно.

— Ещё одно распоряжение, Пётр Васильевич, — Головинский приблизил пальцы к своему заострённому носу, но не касался его, ибо на самом кончике пульсировал едва заметный пузырек плазмы — признак интеллектуального возбуждения.

— Какое распоряжение, Лев Яковлевич?

— Через неделю у губернатора день рождения. Это особый день в жизни человека. В нём оживает младенческая память, вспыхивают звёзды, которые горели над его колыбелью, оживает пушвина, связывавшая его с матерью и всем остальным миром. В этот день человек беззащитен. Его пупок открыт для внешних воздействий. Вот поэтому в день рождения человек собирает гостей, принимает от них подарки, слышит поздравления, восхваления, которые укрепляют его жизненные силы. Но если в этот день случается несчастье, все силы зла, все чёрные энергии ударяют ему в пупок и губят его, иногда убивают. Вы меня понимаете, Пётр Васильевич?

— Нет, — растерянно произнёс Луньков. Он смотрел в бассейн, где плавали медлительные рыбы. Приближались к поверхности, хватали воздух большими немymi ртами, словно что-то хотели сказать Лунькову. И возникла пугающая догадка, что эти рыбы были когда-то людьми, провинились перед Головинским, и тот превратил их в рыб. Теперь они томятся в своей немоте, слятся что-то поведать своими безгласными ртами, смотрят на Лунькова выпуклыми страдающими глазами.

— Поясняю, Пётр Васильевич, — с лёгкой досадой произнёс Головинский, раздражаясь недогадливостью Лунькова. — Если в день рождения Плотникова случится нечто, что причинит ему зло, то волна тьмы устремится к нему, вонзится в пупок и сокрушит. Тем более что он уже почти мёртв. Теперь вы поняли?

— Кажется, да, — прошептал Луньков. — Кто-то из близких Плотникова должен умереть, как умер его сын.

Большая красная рыба колыхалась в бассейне, ловила воздух, хлопая квадратным ртом. Смотрела на Лунькова страдающими глазами, словно хотела предостеречь, уберечь от той участи, которая постигла её.

— Вот именно, Пётр Васильевич, вот именно! — Головинский улыбнулся, и в его улыбке было что-то детское, наивное. — Теперь подумайте, кто?

— Не знаю. Может быть, его супруга? — пролепетал Луньков, чувствуя, как его затягивает мутная тьма.

— Ну, что вы! Его жена обречена, и он свылся с мыслью о её смерти. Думайте дальше, Пётр Васильевич.

— Может быть, его возлюбленная, Валерия Зазнобина?

— Не она. С ней он расстался и пережил боль разлуки. Она уехала и, как говорится, “с глаз долой — из сердца вон”. А мы работаем с его сердцем. Мы с вами кардиологи, Пётр Васильевич! — Головинский счастливо рассмеялся, радуясь своей шутке.



— Кто же? — прошептал Луньков, глядя в тёмную глубину бассейна, где ему было уготовано место среди молчаливых рыбин. — Кто, скажите!

— Паола Велеш!

Получив от Лунькова деньги, Сёмка, оставшись один, пересчитывал куш, делил на две части, снова складывал. Отобрал несколько красных купюр и пошёл к Анюте. Та выкапывала на огороде картошку, сыпала в жестяное ведро. Дети перебирали клубни, отделяя мелкую семенную картошку.

— Ксюшка, Андрюшка, сбегайте на зады, там Витька Костыль змея пускает. Змей красивый, хвостатый.

— Куда ты их посылаешь? — недовольно спросила Анюта, подбирая под косынку белесые волосы. На её усталом лице светились синие глаза.

— Поговорить надо. Ну, — хлопнул Сёмка в ладоши, — бегом, робяты, змея смотреть.

Дети убежали, а Сёмка и Анюта остались на огороде среди увядшей ботвы и мешков с картошкой.

— Деньги нужны, Анюта? Могу подарить.

— Гад ты, Сёмка. Обманщик.

— Возьми, — он протянул ей стопку купюр.

— Дашь, а потом отнимешь? Ты всегда, Сёмка, был обманщик и вор. У своих же, у соседей воровал. Совести не имеешь!

— Дура, Анька. Так и будешь под дальнобойщиков ложиться? Ты же красивая, красивше этой лахудры. Я тебя любил, Анюта. Жениться хотел. Споткнулся, ларёк ограбил и сел. Тюрьма разлучила. И нашей любви конец. Твой-то кобель отыскался, детишек тебе настругал и смылся. А я здесь, рядом. Всё жду тебя.

Сёмка стоял перед ней, опустив бессильно руки, воздев глаза к небу, где толпились тяжёлые тучи, копились холодные дожди, сулили долгое ненастье, долгую, на всю жизнь, напасть. Анюта вытирала ладони о передник. В её выцветших синих глазах засветилось слёзное воспоминанье о былой мечте, о миновавшей любви, и тот, кого она когда-то любила, целовалась в тёплой ночи среди цветущих сиреней, этот человек стоял перед ней, исковерканный, изведённый, с погибшей, как и у неё, душой.

— Давай уедем, Анюта! Деньги есть. Заберём детишек и уедем в Европу, к черту из этого гнилого Копалкина. В Европу, Анюта!

— В Европу, — заворожённо повторила она.

— У меня есть знакомый, большой человек. Денег — лопатой гребь! “Говори, Семён, чего тебе надо. Всё сделаю”. Поедем с тобой в хорошее место, у моря. Дом купим, сад, машину стоящую. Детишек в школу отдашь — не чета нашей, занюханной. Хорошими людьми вырастут, без наркоты, без тюряги. Там народ вежливый, обходительный. “Чего желаете, Семён Анатольевич? Какие просьбы, Анна Степановна?”

— Анна Степановна, — как во сне, повторяла Анюта. На её бесцветных губах заиграла слабая улыбка.

— Ну, давай, Анюта, сделаем дело, и на самолёт. Хошь — в Германию, хошь — во Францию.

— Во Францию, — вторила Анюта, как в забыты, роняя из рук клубень, звякнувший о ведро.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Ресторан “Бристоль” был лучшим в городе. Владелец для пущей привлекательности заведения взял на работу чернокожих — портье, гардеробщиков, официантов. В алых, с серебряными позументами камзолах негры сверкали голубыми белками, белозубо улыбались, показывали красные языки. Любезно раскланивались, принимали плащи и пальто. Провожали гостей за столики. Несли подносы с изысканными блюдами. Ресторан был украшен золотой лепниной с плафонами, где в лазури летали розовые купидоны, нежились пышные богини.

Головинский оставил охрану снаружи. Рослый негр, чьи волосы напоминали чёрный каракуль, был препровождён в кабинет для именитых гостей. Античные колонны поддерживали свод. Дорические капители сияли золотом. На фоне был изображён воин на колеснице времён Троянской войны. Стол стоял у окна, и сквозь толстое стекло виднелся вечеряющий город, тёмная гладь озера, мост и горящие фонари, от которых на воде дрожали длинные отражения. В ресторане играла тихая музыка, пианист мягко перебирал клавиши рояля, скрипач, томно закрыв глаза, водил смычком.

Паола Велеш вошла в кабинет в сопровождении огромного негра-метр-дотеля. Тот следовал на некотором расстоянии от неё, восхищённо улыбался. И казалось, он преподносит её Головинскому, как великолепное блюдо.

Паола была в сером платье с глубоким вырезом, из которого поднималась пленительная белая шея, в ложбинке груди мерцал на цепочке изумруд. Её стеклянные чёрные волосы ниспадали до плеч, а глаза под тонкими бровями смотрели тревожно, почти умоляюще, когда она увидела встающего ей навстречу Головинского.

Тот поспешил к ней, взял её прохладную ладонь в свою большую тёплую руку и бережно поцеловал:

— Прекрасная Паола, не мог отказать себе в наслаждении увидеть вас. Благодарен, что вы откликнулись на моё приглашение, — он говорил с ней так, словно их связывало хрупкое знакомство. И не было свирепого насилия, властного подчинения, с которым она странно смирилась, попав под злые чары всемогущего человека.

— Я ещё не выполнила сегодняшнего задания. Вы мне велели прийти, — она робела, хотела понять, в чём провинилась. Её пугала эта вкрадчивая любезность. Она могла быть обычным притворством, капризной игрой, за которой последует что-нибудь злое и оскорбительное.

— Никаких заданий больше не будет, милая Паола. Это было моё заблуждение — вовлечь вас в мою никчёмную затею. Я раскаиваюсь. Прошу меня извинить. За тем и пригласил вас.

Он усадил её за стол. Им принесли тяжёлые карты с гербами. Он помог ей выбрать несколько изысканных блюд. Они пили тосканское вино, ели мраморное мясо, которое недавно появилось в губернии, после того как крупный землевладелец выписал из Аргентины красную породу скота вместе со скотоводами. Те пасли шелковистых солнечных коров, расхаживая в загонах в ковбойских сапогах и шляпах.

— Да, дорогая Паола, больше не нужно писать эти обременительные заметки. Не нужно прилагать мучительных усилий. Я вас отпускаю, у вас больше нет передо мной обязательств.

— Что случилось? — испуганно спросила она. — В чём я провинилась?

— Напротив, это я перед вами провинился. Вовлёк вас в дурацкую историю, которая стольким людям испортила нервы. И, в первую очередь, вам. Теперь всё кончено. Простите меня.

Она молчала. Не верила этим смиренным уверениям, этим идущим от сердца словам. Ждала, что сейчас случится какой-нибудь уродливый выверт, и она будет посрамлена, испытает унижение.

Головинский поднял бокал. Посмотрел сквозь него на мост с фонарями, на дрожащие отражения, на близкое, белоснежное, с чёрными глазами лицо Паолы.

— Я хочу вам признаться. Моя жизнь состоит из вечной погони. Банки, корпорации, аукционы алмазов, тысячи встреч. Я вовлечён в бесчисленные интриги и комбинации, часть из которых я затеваю сам, а другая часть помещает меня в своё безумное колесо. Я успешен, многих обгоняю на этих скачках, многих обыгрываю в этой сумасшедшей рулетке. Но я несчастлив. В этом колесе нет места чудному голосу любимой женщины, её тихому взгляду, когда она смотрит на тебя с сочувствием, иногда с состраданием. Я не могу взять любимую за её дивную руку и поведать ей о моём сокровенном. Угадать в её любящих глазах, прав ли я или нахожусь в заблуждении. Услышать из её уст стих любимого поэта. Я не знаю, что такое счастье.

Паола с изумлением слушала, обнаружив на этом сильном, волевом, иногда беспощадном лице выражение беспомощности, тонкой боли.

— Я увидел вас. Поначалу, увлечённый своей игрой, своим сумасбродным театром, я видел в вас только талантливую исполнительницу моих замыслов. Но вдруг у меня раскрылись глаза. Я был поражён вашей женственностью, красотой вашей поющей души, которая напоминает голос одинокой чудесной птицы в весеннем лесу. Ваши маленькие этюды, которыми вы сопровождали свои журналистские опыты и которые я отсекал, — они великолепны. Это ваши дневники, откровения вашей души, из которых видно, как вы прекрасны, добры, доверчивы. Я их перечитываю почти каждый день и испытываю наслаждение. Я нашёл в вас ту, которую искал. Но я совершил слишком много дурного. Я ужасен в ваших глазах. И всё, что могу теперь сделать для себя и для вас, — это отпустить вас на волю, избавить вас от себя. За этим и пригласил на прощальный ужин.

Головинский чокнулся с ней. Паола, не понимая глубины услышанной исповеди, закрыла глаза. Глотала тонкую винную горечь.

— Теперь вы свободны. У вас впереди счастливая жизнь. Ваш талант, не сомневаюсь, сделает вас знаменитой писательницей. Вы полюбите достойного, благородного человека. У вас будет семья, дети. А я издалека, не напоминая о себе, буду любоваться вами, радоваться вашему счастью. И если вдруг вам понадобится поддержка, я приду к вам на помощь.

Когда ужин закончился, Головинский проводил Паолу до дверей ресторана.

— Спасибо вам, чудо моё, — сказал он. — Вы ступайте, а я ещё немного посижу.

Она потянулась к нему и поцеловала в щеку, подумав, что сказка “Аленький цветочек”, написанная давно, теперь чудесно повторилась. Пошла на мост, улыбаясь, чувствуя сладкое головокружение.

Головинский вернулся в ресторан. Налил себе вина. Пил, глядя, как Паола удаляется по мосту.

Паола видела, как набегает на неё сутулый человек, ударяет её в грудь ножом. Боль вошла в неё, остановилась и обессилила. И она, слабо охнув, стала садиться.

Головинский из ресторанный окна видел убийство Паолы. Допил вино. Крикнул: “Счёт”, — и укатил в сопровождении охраны.

Плотников вернулся домой. Устало, печально обошёл пустые комнаты. Увидел в зеркале свое исхудалое, почерневшее лицо. Он никак не мог понять природы постигших его несчастий. Медленно подносил руку ко лбу, на котором пролегла горькая морщина. И вдруг он почувствовал страшный удар в живот, слепую разящую силу, будто ворвался снаряд и пробил зияющую брешь. И сквозь эту брешь из бездны повалила тьма.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Ручейков, редактор независимой губернской газеты “Обозреватель”, навис над компьютером измождённым жёлтым лицом. Нагнул горбатую спину, на которой, казалось, были сложены недоразвитые крылья. Мучаясь тиком, стоня со щеки невидимую муху, писал:

“Ужасная новость. Зарезана на мосту молодая прелестная женщина Паола Велеш, талантливая журналистка, бесстрашная обличительница неправды и лжи. Это она уличила губернатора Плотникова в прелюбодеянии и тайном разврате, разместив на сайте бесстыдную фотографию развратника и его любовницы. Она же обвинила губернатора в двуличии и стяжательстве, когда тот сначала построил себе неизвестно на какие деньги роскошную дачу, а потом, когда дача перешла в распоряжение детского приюта, сжёг её. Она рассказала о сыне губернатора, который учился в Оксфорде и приобрёл дорогую квартиру в Лондоне с помощью папеньки, который на всех углах проповедует патриотизм и любовь к России. Паола Велеш рассказала о глумливом

действе. Когда погребали останки советских воинов, губернатор, рекламируя свои свинокомплексы, распорядился облечь свиные туши в форму советских офицеров и доставил их на место траурной церемонии, отчего у нескольких ветеранов случились сердечные приступы. Как же реагировал губернатор Плотников на эти обличения? Он грозил наказать журналистку, стереть её в порошок, запечатать ей рот, ударить головой об асфальт. Теперь рот Паолы Велеш запечатан навсегда. Она рухнула головой на асфальт. Пусть найдут того, кто всадил в неё финский нож! Пусть найдут того, кто заказал и направил этот преступный удар!”

Статья Ручейкова легла на страницы газеты, на газетный сайт, а оттуда разлетелась по другим сайтам тысячей отражений. Наполнила интернет воплями и стенаниями.

Обозревателем губернского радио “Свежий ключ” Татьяна Валдайская, сделавшая недавно подтяжку, сияя девичьим лицом, зачитывала свою реплику. Её голос не скрывал рыданий:

“Её обожали друзья, боготворили мужчины, с неё брали пример начинающие журналисты. Она совершила гражданский подвиг, заплатила жизнью за свои убеждения. Она видела в губернаторе Плотникове задатки диктатора. Его “сталинская индустриализация” сулила стране несчётные беды. Слишком свежи в народной памяти ГУЛаг, “расстрельные рвы”, “винтики”, в которых превращали людей, строя чудовищную машину государства. Она всегда считала, что не человек — безгласный слуга государства, а государство призвано служить человеку. За это её ненавидел Плотников. Она рассказала о кощунственном деянии Плотникова, который распорядился написать икону Сталина, и дети из сельских школ приходили к этой иконе и клялись в верности сталинизму. Она оповещала об опасности всю страну! Всеми силами препятствовала назначению Плотникова на высокую федеральную должность. Она погибла за нас, за наших детей, за нашу свободу!”

Рыдающий голос Валдайской разнёсся по губернии, был подхвачен интернетом и катился слёзными волнами от Балтики до Тихого океана.

Блогер Кант вывесил в интернете свою фотографию — голый череп с набухшей синей жилой, очки с двойными окулярами, сквозь которые смотрят выпуклые розоватые глаза, — и написал свой пост:

“Губернатор Плотников — вестник злых времён. От него шарахается всё живое. В наших реках исчезла рыба, в лесах пропали грибы и ягоды, из людей ушло веселье. Заводы, как роботы, ползают по нашей губернии, пережевывая своими стальными челюстями наши луга и дубравы. Мудрые старики говорили, что конец света наступит тогда, когда исчезнут лягушки и птицы и люди станут умирать молодыми. При Плотникове обнаружили все признаки “последних времён”, и молодые, такие, как Паола Велеш, уходят с земли до срока. По всему видно, что Плотников не угоден Богу. Его больная жена ушла от него и будет умирать в одиночестве. Его возлюбленная не вынесла его мракобесия и спаслась бегством. Его сын, укрываясь от отца-деспота, пал на несправедливой войне, защищая независимость Украины. Когда Плотников приходит в церковь, то крестится левой рукой, и при его появлении гаснут лампы”.

Ведущий телекомпании “Карусель” по кличке Ласковый, с пшеничным лицом евнуха, любуясь своими холёными пальцами с розовым маникюром, вещал перед камерой:

— По всем законам политической этики губернатор Плотников должен подать в отставку, не дожидаясь конца расследования. И уверен, этот конец будет для него не утешительным. Таким образом, в губернии открывается политическое пространство для избрания нового губернатора. Есть много достойных персон, много незапятнанных деятелей, готовых послужить губернии. Среди них выделяется патриотический предприниматель Лев Яковлевич Головинский, который неутомимо работает на благо нашей земли. Театры, художественные выставки, привлечение столичных маэстро, покровительство благим начинаниям, благотворительность и меценатство — всё это превратит нашу губернию после унылого правления Плотникова в художествен-

ную столицу России. Кстати, убитая Паола Велеш пользовалась всемерной поддержкой господина Головинского, который скорбит вместе с нами.

Послание упало в интернет, породив множество всплесков, ядовитых огненных капель.

Обозреватель жёлтого листка “Все грани” Курдюков, с курчавыми сальными волосами, напоминавшими овечий парик, писал:

“Губернатор Плотников славится чрезвычайной трудоспособностью и спит менее трёх часов в сутки. Энергию он черпает, наблюдая на скотобойне умерщвление скота. Вид живой дымящейся крови приводит его в возбуждение и наполняет витальными силами. Говорят, что любовница покинула его из-за того, что он водил её на бойню. Паола Велеш однажды назвала Плотникова кровавым маньяком, за что и поплатилась”.

Интернет был ядовитым морем, в котором кипели нечистоты, бушевали отравленные волны, всплывали утопленники, звучали проклятия, хрипели сквернословия, раздавался истерический хохот. И вся ядовитая жижа, переливаясь перламутровой трупной плёнкой, просачивалась в души людей, делая их всё ужасней.

Плотников испытывал глухие удары в сердце, мучительные сжатия, колющую боль, словно под разными углами, с разных сторон били в него невидимые молотки, вонзались иглы и сверла, сжимались тиски. Он лежал в отдельной палате под капельницей, среди белызны, и доктор посещал его редко. От доктора веяло свежестью, душистым мылом, мягким сочувствием:

— Ваши перегрузки, Иван Митрофанович... Сердечко устало. Мы его сейчас подкормим, утешим и выпустим вас. А пока, Иван Митрофанович, лежите, и никаких дурных мыслей.

Врач уходил, мерцала капельница, бежали по трубочке струйки целительной влаги. Плотников пытался понять, где таится причина его несчастий. Какой роковой просчёт он совершил, после которого стала рушиться его жизнь, и одно несчастье влекло за собой другое, одна беда плодила другую.

Его навестил вице-губернатор Притченко. Принёс букет цветов:

— Это вам, Иван Митрофанович, от вашей секретарши Елены Фёдоровны. Поздравляет вас с днём рождения.

— Спасибо ей. Она замечательная.

— Все приходили, вас поздравляли, желали скорейшего выздоровления.

— Как идут дела? Залежался я тут.

— Всё в порядке, Иван Митрофанович. Я обзванивал глав районов. Белавин доложил, что запустили комплекс биодобавок. Им мешала вода с большим содержанием железа. Пробурили новые скважины, и теперь вода чистейшая.

— Хорошо, — произнёс Плотников. Он представил огромные серебряные башни среди лугов, и вид этих драгоценных башен окропил его светом, и вдруг стало легче дышать.

— Шурпилин сообщил, что делегация фермеров вернулась из Голландии. Там они увидели, как работают роботизированные фермы. Ещё четверо фермеров решили использовать роботов.

— Замечательно, — Плотников представил красных, с шелковистыми боками коров, окружённых незримой автоматикой, компьютерами, датчиками, среди которых животные становятся частью индустрии, не требующей вмешательства человека. И это было его, Плотникова, достижение, от которого стало легче на сердце.

— И ещё отличная новость, Иван Митрофанович. Был на металлургическом заводе, встречался с Фёдором Леонидовичем Ступиным. Всё готово к пуску. Через месяц откачают первую трубу. Вас ждут на открытие.

— Какой великолепный человек Ступин! Настоящий русский ум! На таких стояла и стоит Россия! — Плотников улыбался, его почерневшее лицо посветлело, на щеках появился слабый румянец. — Спасибо вам, Владимир Спартакович! Вы мой целитель, — Плотников протянул Притченко руку, с благодарностью сжимая его ладонь.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Подули чёрные ветры, содрали с деревьев последние листья. Хлестнули дожди, упали в железные бурьяны, погнали по рекам стальную рябь. Не стало дневного света. Чуть проглянут в сумерках туманные леса, тускло сверкнут залитые дождями просёлки — и снова тьма с коротким жутким закатом, с багровой зарей, на которой мечется воронья стая. И наступает долгая непроглядная ночь с воем ветра, стуком дождя о стёкла, с тревожными снами, в которые залетают души исчезнувших, измученных и безвестных, ищут приюта. И в эту чёрную пору твоя душа наполняется безмерной тоской, неприкаянной болью. Ты погибашь, чувствуешь своё сиротство на этой брэнной, слёзной, безысходно любимой земле.

Отец Виктор убирал свою пустынную церковь. Скудный свет сочился сквозь рябые от дождя окна. Он подмёл пол, кинул сор в высокую железную нетопленную печь, ждущую зимних холодов. Туда же бросил сухие букетики полевых цветов, стоявшие перед образами. Собрал из подсвечников остатки воска и бережно сложил в ящик. Проследил за бабочкой, которая, спасаясь от ледяных дождей, залетела в церковь и мелькала, то появляясь, то исчезая.

Отец Виктор прожил огромную жизнь, которую ощущал как непрерывную Божественную волю, сдвигающую череду времён, событий, людских судеб. И его собственную судьбу, которая крохотным отрезком легла в гигантскую дугу русского времени.

Маленьким мальчиком, замешавшись в толпу демонстрантов, среди флагов, шаров и транспарантов, он видел на Мавзолее Сталина. Далёкий, в голубоватой дымке, в военном френче, похожий на мираж, Сталин прошёл сквозь всю его жизнь как видение огненной силы, охватившей пламенем бесчётные жизни, в том числе и жизнь любимых и близких. Спусти много лет, когда валили в Москве советские памятники и коммунисты жгли партбилеты, он видел, как с кремлёвского дворца спускают красный флаг. Ветер хлестал полотнище, оно вырывалось из рук, и эта борьба с поднебесным флагом напоминало убийство красного коня. Тогда же, надев ордена, в годовщину парада сорок первого года он прошёл по брусчатке, одинокий солдат поруганной красной державы.

В детстве мама повела его в Парк культуры на трофейную выставку: пятнистые самолёты со свастиками, орудия с жестокими стальными стволами; страшного размера танк, в башне которого зияла пробоина с оплавленными краями. Отца уже не было в живых. На материнских глазах не высыхали слёзы. И, глядя на пробоину в “Тигре”, он своим детским сознанием понимал, что существует сила, отомстившая за отца. Эта сила заслонила их маленькую квартирку, где стояли его игрушки и висел бабушкин рукодельный ковёр. Через много лет под Кабулом он видел подбитый советский танк с оплавленными отверстиями в башне. Кумулятивный заряд прожёт броню и истребит экипаж. Стоя на трассе в бронежилете и каске, он старался связать те два подбитых танка, две пробоины, мальчика с изумлёнными глазами и мужчину с тоскливым взглядом, уставшего смотреть на горящие кишлаки и растерзанные тела.

Всё детство, отрочество и юность в его окно смотрела старая колокольня без креста, с деревцами на разрушенном куполе. Розовая на весенней заре, голубая в осенних сумерках, янтарная в январском солнце, седая в холодном инее, она неотступно, год за годом следила за ним, что-то тихо нашептывала, возвращала в нем тайные чувства, которые позже превратились в веру и творчество. Она незримо сопутствовала ему на грандиозных стройках, где рокотали бесчётные моторы, взрывались горы, вздымались плотины. И на военных учениях, где ревели танки, пикировали самолёты, уходили в небо тяжёлые ракеты. И на войнах, где он пробирался по африканской пустыне, никарагуанской сельве, по камбоджийским джунглям. Везде тихо и тайно светилась в нём эта чудная колокольня. Уберегала от смерти, от уныния, от злых поступков.

В молодости он пережил острое неприятие власти. Дружил с диссидентами, кочевал по московским квартирам вместе с безумной компанией,

где главенствовал писатель, воспевавший тьму преисподней, автор чудовищных сцен, в которых отрицалось добро и господствовало абсолютное зло. Это поветрие скоро прошло, он порвал с диссидентами, и его писательский путь вёл по войнам, по секретным лабораториям, по коридорам власти, где решалась судьба государства. И когда оно, обессилив, пало, он до последнего вдоха его защищал. И даже позже, на баррикадах Дома Советов, по которому били танки, где начинался огромный пожар и где над его головой развевалось пробитое красное знамя.

Он был певцом красной эры, гигантского протуберанца, который вырвался из утомлённого человечества, обещал благодать, бессмертие, райское блаженство, однако в рёве военных битв, в истошных воплях и казнях исчах, не достигнув небес, и упал обратно в изнывающий ветхий мир, который проклял русское стремление к небу.

Теперь, став священником, готовясь к скорой смерти, отец Виктор посвящал оставшиеся дни молитвам. В них умолял Господа спасти Россию, которая целый век провисела на дыбе. Снятая с дыбы, нагая, бессильная, она стала добычей злодеев, которые рвут её беззащитное тело. Он молился о красных героях и мучениках, которые отстояли Родину в веке минувшем и теперь на небесах сражаются за неё в веке нынешнем. Он верил, что красные святые, сохранив однажды страну, сохраняют её и теперь.

Он кончил прибирать храм. Зажёг свечу перед образом Зои Космодемьянской. Бабочка порхнула, пролетела над свечой в неутомимых поисках своей крохотной зимней обители.

Отец Виктор утомлённо присел на лавку, слушая, как в окна стучит дождь.

Скрипнула дверь. Появилась женщина в платке, в углу пальто. Лицо в сумерках было плохо видно, но платок и пальто были мокрыми, ноги в туфлях забрызганы грязью. Женщина с порога оглядела храм, не заметила отца Виктора и повернулась, чтобы уйти.

— Заходи, — произнёс отец Виктор. Женщина вздрогнула, разглядела священника, осторожно, боязливо приблизилась.

— Зачем пришла? — спросил отец Виктор. У женщины было бледное, измождённое лицо, под глазами темнели тени, мокрые волосы выбились из-под платка, глаза дрожали большим слёзным блеском.

— Чего ты хочешь? — повторил отец Виктор.

Женщина молчала, переступала промокшими туфлями.

— Как зовут тебя?

— Анюта.

Отец Виктор встал, тронул женщину за мокрый рукав.

— Кто ты? Чем занимаешься? — тихо спросил отец Виктор.

— Продажная баба. Проститутка. Хожу на дорогу к дальнобойщикам.

— Где живёшь?

— В Копалкино. Двое детишек, муж-то убёг, я и кормлю детишек. Иной раз думаю, взять бы их обоих и — всем вместе в омут, чтобы не мучиться.

— А что ты про нож, про телефон говорила?

— Сёмка Лебедь, разбойник. Обманул, денег дал, взял в подельницы. Я ему знак подала, он к женщине выбежал и зарезал. Выходит, и я убила? Теперь меня в тюрьму? А куда детишек девать? — она забилась, заголосила. Отец Виктор твёрдо прижал ладонь к её голове, остановил вопли. Он чувствовал, как из неё переливается в него тьма. И всё в нём стонет, горит, останавливается сердце, цепенеет ум. Просил у Господа помощи, чтобы тот послал ему свет фаворский, а он передал этот свет Анюте.

— Хорошо, что пришла. Нет на тебе греха. Была в неведении. Покаялась. Ступай с миром, — он снял с её головы ладонь, без сил опустился на лавку.

— Батюшка, можно ещё прийти? — Анюта робко смотрела на него, и глаза её слабо светились.

— Приходи, — сказал отец Виктор. Женщина ушла, а он остался сидеть в сумерках пустынного храма. Со стен взирали на него великие мученики, славные воины и полководцы.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В Глобал-сити, в библиотеке Вестминстерского аббатства, собрались те, кто называл себя “демократическим подпольем”, — политические и общественные деятели, не согласные с политикой губернатора Плотникова. Их созвал пресс-секретарь Луньков на конфиденциальное совещание. Вдоль стен стояли застеклённые шкафы, полные старомодных книг в истёртых кожаных переплётах, там же лежали пергаментные свитки. На большом смуглом глобусе были начертаны континенты тех размеров и форм, какими они представлялись современникам Колумба. За дубовым столом на тяжёлых готических стульях восседали гости, напоминая тайное собрание рыцарского ордена.

— Я пригласил вас, господа, с ведома Льва Яковлевича Головинского. Он отсутствует по чрезвычайным обстоятельствам, случившимся в нашем городе. Я говорю о зверском убийстве Паолы Велеш, с которой у Льва Яковлевича, как вы знаете, были особые отношения. Убийца не найден, но он назван блогосферой, которая честнее и осведомлённее любых следственных органов. Есть все основания считать, что убийца уйдёт от ответственности. Мы не должны этого допустить. Наше поведение в эти трагические дни покажет, способны ли мы возглавить общество, прийти на смену прогнившей авторитарной власти. Лев Яковлевич обращается к вам за помощью, а я напоминаю, сколько он сделал для каждого из вас, сколько средств пожертвовал на поддержание и развитие ваших организаций.

Луньков обвёл гостей сияющими глазами, какие бывают у человека после приёма возбуждающих препаратов.

— Плотников откупится, как пить дать. В следственном комитете, в прокуратуре его люди. Из Москвы ему ничего не грозит. Там “своих” не сдают, — эколог Лаврентьев, со значком “Гринпис” на тучной груди, едко усмехался, предостерегал собравшихся от наивной веры в торжество правосудия.

— Разве вы не видите, что это ритуальное убийство! — прогудел своим гулким мясистым носом правозащитник Разумников, член общества “Мемориал”. — Плотников — не атеист, нет! Он исповедует “религию Сталина”. У него есть икона Сталина, где Сталин изображён с золотыми рогами. Убийство Паолы — это жертвоприношение на алтарь сталинизма. Миллионы убитых Сталиным — это ритуальные жертвы дьяволу Мировой Революции!

— Сакральность этой жертвы в том, что она была принесена на самом видном месте города — на мосту для гуляний. Это устрашение всех нас. Этим убийством Плотников всех нас повязал кровью. Кровь Паолы на нас, господа! — Орхидеев наморщил лоб, так что его плотная курчавая шевелюра съехала почти на глаза.

— Это повод объединиться, господа! Нас всех перебьют поодиночке. Пора создавать единый штаб сопротивления! — Шамкин мучительно вытянул худую хрупкую шею, на которой бегал острый кадычок.

— Я сочинил “Блюз скорби” на смерть Паолы. Готов исполнить его в день похорон, — музыкант Беркович зашевелил своими толстыми губами, словно уже сосал мундштук саксофона.

— Хорошо бы попросить Льва Яковлевича увеличить финансирование нашей правозащитной деятельности, — сказал Разумников.

— Политика, знаете, не дешёвое дело, — вторил ему Орхидеев, поглядывая на Лунькова.

— Прекрасно, господа, вижу, вы вполне готовы к разговору, — Луньков обвёл их сияющим взглядом. — План таков. Вы созываете своих сторонников всех в одно место — к моргу, где покоится тело убиенной Паолы. Мы, в свою очередь, усиливаем вас людьми, которых пригласим из других регионов. Когда Паолу понесут в кафедральный собор для отпевания, мы по дороге резко меняем маршрут и идём к администрации. Там, под окнами Плотникова, ставим гроб и проводим траурный митинг, приглашая Плотникова принять в нём участие. Всё ясно?

— Ясно, — дружно ответили гости и направились к выходу. Эколог Лаврентьев по пути крутанул глобус. Ему хотелось рассмотреть чудище, плавающее в водах Индийского океана.



У морга, где находился гроб с телом Паолы Велеш, собирались люди. Её мать и отец, потерянные и согбенные, поддерживали друг друга. Пришли товарищи по журналистскому цеху, несколько близких подруг. Несли цветы представители общественных организаций, деятели культуры. Появлялись совсем незнакомые люди, обилие которых удивляло, ибо они своим крепким спортивным видом не были похожи на журналистов, учителей и актёров. Эти молодые парни стояли в стороне, не подходя к гробу. Но обступили его, когда пришла пора выносить гроб к автобусу, чтобы везти в кафедральный собор для отпевания. Кто-то предложил в знак любви к покойнице нести гроб на руках до самого собора. Молодые люди подняли гроб и двинулись, вытягивая за собой длинную медлительную толпу.

Автомобили уступали дорогу, некоторые печально гудели. Но когда пришла пора поворачивать в сторону ампириного, с золотой главой собора, процессия изменила ход и направилась по центральному проспекту в сторону администрации. Кто-то удивлялся, кто-то протестовал, но гроб, блестя полированной крышкой над головами, увлёк за собой толпу. И тогда же над толпой стали появляться плакаты: “Плотников, за что ты Паолу?”, “Правда о губернаторе ценою за жизнь”, “Губерния длинных ножей”. Перед гробом появился Беркович, он играл на саксофоне траурный блюз. Рядом Шамкин нёс на древке большую картонную финку, красную от крови. Из окрестных улиц и переулков выходили группы людей и присоединялись к процессии. У некоторых в руках были букетики цветов.

Толпа достигла площади перед зданием администрации, остановилась, заливая площадь. Гроб покачивался, словно вокруг колыхались волны. Тут же появилась трибуна, собранная из нескольких стремянок. Зазвенел, зарокотал мегафон.

Правозащитник Разумников тяжело взгромоздился на стремянки, и его гулкий носовой звук, усиленный мегафоном, полетел над площадью, ударяя в окна администрации:

— Почему бы вам, господин губернатор, не выйти к нам? Не взглянуть в заплаканные глаза раздавленных горем отца и матери Паолы Велеш? Не покаяться перед народом? Где ваша проповедь о справедливости, о Русской Победе? Эта Русская Победа лежит сейчас в гробу, и её сердце пробито ножом. Кто вложил нож в руку убийцы, господин губернатор?

Площадь рожгала. Ревел саксофон. Качался полированный гроб.

Говорил Орхидеев, лидер либеральной оппозиции:

— Это политическое убийство указывает на приближение террора. Не исключаю, что вслед за убийством Паолы Велеш последует череда других политических убийств тех деятелей, кто не согласен с губительной политикой нашего губернатора. Предлагаю увековечить имя нашей национальной героини Паолы Велеш, назвав её именем одну из улиц нашего города и мост, где она была убита!

Площадь ревела, рыдал саксофон, раскачивался гроб, словно убиенная жертва хотела сбросить крышку и что-то сказать толпе.

Говорил эколог Лаврентьев:

— Сначала заводы, построенные Плотниковым, уничтожили рыбу в реках и зверя в лесах. Затем его дороги и аэродромы сгубили ягоды и грибы, а от вредных выбросов увеличилось число раковых заболеваний. Теперь настал черёд самых талантливых и отважных деятелей нашей губернии. Давайте внесём гроб с телом нашей любимой Паолы Велеш в здание администрации и проведём гражданскую панихиду там, где вырабатываются губительные для нашей губернии решения. Быть может, это остановит убийц и безумцев!

Толпа колыхнулась, придвинулась к фасаду здания. Редкая цепь полицейских заслоняла вход. Саксофон призывно зывал. Толпа налегала. Гроб, поблескивая крышкой, плыл над толпой, приближаясь к входу.

Плотников в своём кабинете вёл переговоры с главой французской фирмы, пожелавшей построить в губернии завод по производству многожильного кабеля. Нарушив больничный режим, не внимая увещаниям врачей, Плотников выбрался из-под капельниц и приехал на работу, поклявшись врачам к вечеру вернуться в палату. Француз был рыжий, с узким лисым

лицом, с большими ушами, полными рыжих волос. Дотошный, многословный, он сыпал техническими терминами, переводчик с трудом справлялся с переводом. Плотников раскрыл карту и показывал французу территорию для завода, схему коммуникаций, источники воды, электричества и газа. За окнами слышался шум толпы, неразборчивый лай диктофона, ноющая музыка. В кабинете появился Притченко и наклонился к Плотникову:

— Иван Митрофанович, считаю нужным вызвать ОПОН. Наша охрана может не справиться.

— Вызывайте, но прикажите не вмешиваться. В крайнем случае, пусть окружают здание вторым оцеплением, — с досадой ответил Плотников и продолжил беседу с французом.

К площади прибыли автобусы с ОПОНОм. Бойцы выгрузились и стояли, опершись о щиты, в бронежилетах и круглых шлемах. Угрожающий вид полицейских ещё больше взвинтил толпу. “Убийцы!”, “Всех не зарежете!”, “Долой губернатора!” — неслось из толпы.

Натиск толпы усилился, цепь охранников прогнулась, отступила к входу. В них полетели пластмассовые бутылки с водой, пузырьки с чернилами. Гроб проплыл над головами и приблизился к входу в здание. Казалось, толпа желает использовать его как таран.

В кабинете вновь появился Притченко:

— Иван Митрофанович, быть беде! Надо разгонять толпу, иначе она ворвётся!

Француз подошёл к окну, уставил в него лисье лицо и, улыбаясь, сказал по-русски:

— У вас в России хорошо, стабильно!

— Иван Митрофанович, быть беде! — повторил Притченко.

— Наберите мне главного полицейского, — Плотников смотрел, как полированный гроб плещется у самого входа. Притченко передал ему телефон. — Степан Петрович, разгоняй хулиганов! Я приказываю! — И вернул телефон Притченко.

Бойцы ОПОНа загрохотали щитами. Отряд, похожий на огромную железную черепаху, стал наползать на толпу. Там, где щиты касались толпы, густо кипело. Молодые парни извлекли из чахлах букетиков обрезки труб, скрестили их с дубинками бойцов. Раздался хруст, лягз, истошные вопли; появились расколотые шлемы, смятые щиты, кровь на лицах. ОПОН теснил толпу, отжимал её от здания. Из соседней улицы вырвался ещё один клин бойцов, ударил в толпу. Стал рассекать, раздваивать. Били жестоко — молодых, старых, женщин в траурных платках, мужчин с поминальными венками. Толпа рассыпалась, разбежалась в разные стороны, освобождая площадь, втягиваясь в соседние улицы. Она катилась по проспекту, перевёртывая автомобили, круша витрины магазинов. Камни полетели в хрустальные стекла ювелирного магазина “Паола”. Толпа удалялась со стоном, как чёрный вихрь, таяла и стихала в каменной глубине города.

Площадь осталась пустой, в раздавленных цветах, в исковерканных венках. Перед входом одиноко стоял гроб с полированной крышкой. Перед ним, обнимая крышку, опустились на колени мужчина и женщина.

Плотников просился с французом. Изнемогая, в сопровождении охраны он направился к выходу, чтобы вернуться в клинику и лечь под спасительные капельницы.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Плотников вышел через служебный ход, где его поджидала машина. Он шёл, окружённый охраной, не желая появляться на площади. С неё уже увезли гроб, убирали рассыпанные цветы, поломанные венки. Над площадью ещё витало эхо грохочущего взрыва, воздух был густ от воплей боли и ненависти. Плотников приближался к машине, когда из-за угла выскользнул длинный старомодный автомобиль с хрустальными фарами, хромированным радиатором и эмблемой орла, который сжимал в когтях свастику. Из авто-

мобиль поднялся крупный, властного вида господин, преградив Плотникову дорогу.

— Иван Митрофанович, простите ради Бога, хотел напроситься к вам на приём, но эти печальные обстоятельства, этот ужасный погром!

— Что вам угодно? — Плотников остановил взглядом охрану, которая уже порывалась отгеснить незнакомца.

— Я Головинский Лев Яковлевич. Столько времени пребываю во вверенной вам губернии, и всё не находилось случая вам представиться и выразить своё почтение.

— Да, конечно, нам следовало познакомиться раньше. Ваш вклад в развитие губернии мне известен. Но, право, сейчас я не смогу вас принять. Я еду в клинику. Мне ещё предстоит курс лечения.

— Я знаю об этом. У меня есть все ваши кардиограммы, вся история вашей болезни. И должен сказать, положение у вас незавидное.

— Что вы имеете в виду? Откуда у вас мои кардиограммы и история моей болезни?

— Видите ли, я и есть история вашей болезни. Я и есть ваша кардиограмма, указывающая на предынфарктное состояние.

— Вы с ума сошли? — Плотников хотел обогнуть стоящего на его пути человека, обращая глаза в сторону охраны. Но было что-то властное, мучительно больное и завораживающее в лице этого человека, что мешало ему это сделать.

— Что значат ваши безумные слова?

— Я хотел сказать, что являюсь причиной всех ваших несчастий.

— Как вы можете быть их причиной? — Плотников снова порывался пройти мимо этого назойливого и бестактного визитёра, заслониться широкими плечами охраной.

— Это я, зная о месте ваших любовных свиданий, послал на лодке фотографа, и он сделал тот разоблачительный снимок, где вы, обнажённый, сжимаете в объятиях свою любовницу. Это я сделал так, чтобы этот снимок попал в интернет, и его увидела ваша жена, ваш сын и ваша возлюбленная. Это я наблюдал, как все они уходят от вас, и вы мечетесь, не в силах их удержать. Это я любовался пожаром вашей замечательной дачи, в которой сгорали ваши любовные мечтания, ваши любимые книги, ваши замыслы великих преобразований. Это я прислал на траурную церемонию отвратительных мёртвых свиней в золотых погонах и орденах, после чего вся губерния стала смотреть на вас, как на святотатца. Это я сорвал ваше пафосное патристическое шествие, включив в него колонны бандеровцев и “Правого сектора”. Они пронесли перед вами гроб, предвестник другого гроба, в котором оказался ваш сын, убежавший на войну от развратного отца. Это я сделал всё, чтобы убийство прекрасной Паолы Велеш было приписано вам. И на вас, на ваше обессиленное сердце пришёлся удар общественной ненависти. Я следил за тем, как разрастается в вас болезнь. Мне принесли ваши кардиограммы. Я перебирал их, и мне казалось, что я мну в руках ваше сердце, как кусок пластилина, вызывая у вас сердечные приступы, кошмарное ожидание смерти. Это всё я, Иван Митрофанович, я, Лев Яковлевич Головинский.

— Но зачем?

— Затем, что такие, как вы, мешают таким, как я, очищать мир от дряни, называемой словом “Россия”. Вы пытаетесь уверить мир, что русские — это самый добрый, терпеливый, милосердный народ, живущий с поднятыми в небо очами. Что русские ждут, когда с облаков спустится к ним Христос! Да полно вам! Русский народ ленивый, злобный, жестокий, вороватый. Он размножился благодаря плодовитости русских баб и кинулся покорять другие народы — покорять штыком, саблей, крестом, от которого стонали язычники. И тогда их сажали на кол. Вы завоевали цветущую часть планеты и изгадили её, осквернили. Отравили реки и озера, сожгли леса, изуродовали хрустальную Арктику. Спасаясь, от вас убегают звери, улетают птицы. Вы бич земли, земное зло, и человечество в ужасе при одной мысли о вас! Но, слава Богу, вас разделили и рассекли, как рассекают свиную тушу!

Вас опоили вином и посадили на наркотики, и это умерило вашу агрессию. У вас отняли плодородные земли Украины, хлопковые поля Узбекистана, чистые пляжи Прибалтики. Теперь мы отнимем у вас Сибирь, отнимем Дальний Восток, и оставим чахлые Вологду и Смоленск. Там мы создадим этнографические заповедники. В них на забаву туристам вы станете распевать свои русские песни, щеголять в кокошниках, заниматься бортничеством и добывать огонь трением!..

Длинный, как чёрная оса, автомобиль с хромированным орлом на радиаторе скользнул в соседнюю улицу.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Головинский вернулся в Глобал-сити, в свой кабинет в Вестминстерском аббатстве. Потребовал к себе Лунькова.

— Поздравляю вас, Пётр Васильевич. Операция “Песчинка” с блеском завершилась. Песчинка разрушила гору. Вы, как опытный работник спецслужб, доказали свою эффективность.

— Благодарю за высокую оценку моих скромных способностей, — улыбнулся Луньков. — Мы можем продлить операцию. Предстоят выборы нового губернатора. Я не вижу другой кандидатуры, помимо вашей.

— Моё пребывание в губернии было временным и теперь заканчивается. Следственный комитет начинает расследование в связи с беспорядками и убийством Паолы Велеш. Через три часа мы с вами вылетаем в Лондон. Я приказал подготовить мой самолёт.

— Но это так неожиданно, Лев Яковлевич! Мне нужно время, чтобы подготовиться!

— Пётр Васильевич, когда вы получите пожизненное заключение, у вас будет много времени, — Головинский раскрыл маленький кожаный кейс с золочёными замочками и укладывал в него бумаги. — Мой самолёт будет готов через три часа. Я сам за вами заеду.

— Но мы оставляем здесь столько собственности! Оставляем Глобал-сити! Ведь это всё наше!

— Всё наше будет нашим. И не наше тоже будет нашим! — засмеялся Головинский. — Через три часа я заеду за вами.

Луньков вернулся в свой кабинет в Спасскую башню. Перебирал бумаги. Большую часть отдавал на съедение режущей машине, которая превращала их в лапшу. Важные документы складывал в отдельную стопку.

Вошла секретарша:

— Пётр Васильевич, к вам Притченко.

— Зовите, — Луньков прикрыл заветную стопку белым листом, выключил чавкающую машину.

Притченко вошёл, сдержанный, точный, почтительный. Держал в руках аккуратную кожаную папку. Луньков предложил ему сесть.

— Пётр Васильевич, вы назначили мне встречу на завтра. Но появилась свежая информация, и я решил навестить вас сегодня. Это свежие кардиограммы Плотникова, получены час назад. Думаю, они вас обрадуют, — он раскрыл папку, где лежали бумажные ленты с линиями, всплесками и провалами. — Похоже, это конец губернатора.

— Владимир Спартакович, мне это известно. Операция “Песчинка” завершена. Хочу выразить вам благодарность от себя лично и от имени Льва Яковлевича. Ваша помощь была бесценна. Я знаю, Плотников искал источник, откуда происходит утечка самой интимной информации о нём. Но не мог догадаться, что этот источник — вы.

— У нас с вами, Пётр Васильевич, были одни и те же учителя, — произнёс Притченко. Вертикальная линия, разделявшая его лицо на две половины, стала розоветь, набухать, как старинный рубец, оставленный скальпелем.

— Ещё раз хотел поблагодарить вас, Владимир Спартакович, и сказать, что мы временно прекращаем отношения. Операция завершена, все деньги переведены на ваш счёт.

— Благодарю, Пётр Васильевич. Мне было приятно с вами работать. По тому, как развивалась операция “Песчинка”, могу судить о вас как о высокопрофессионале, — рубец на лице Притченко багровел и взбухал. Казалось, что его голова составлена из двух частей, сшитых и склеенных. Он поднялся, собираясь идти.

— Один вопрос, — остановил его Луньков. — Простите за любопытство. Почему вы, вице-губернатор, человек весьма состоятельный, чьё благополучие зависит от благополучия губернатора, почему вы стали играть против него?

— А почему вы стали играть?

— Ну, мы с Головинским — понятно. Мы хотели остановить Плотникова. Он готовился переехать в Москву и там занять высшую должность в правительстве. Он мог сменить курс, разрушить модель, которую Головинский и его единомышленники и друзья утверждали в России с таким трудом. Неосталинизм, модернизация, сильное государство, — зачем лукавить, всё это поможет выйти России из кризиса. Миру не нужна сильная и агрессивная Россия. Миру нужна слабая и кроткая Россия, которая поила бы мир нефтью, кормила хлебом, передавала миру своих художников и учёных. Мы останавливали Плотникова в интересах цивилизованного мира. А вот вы зачем, Владимир Спартакович?

Рубец на лице Притченко багровел, становился синим. Казалось, вот-вот голова развалится на две половины, и откроются оскаленные блестящие зубы, губчатый мозг, пищевод, кровяная аорта.

— Моя фамилия Притченко. Я родился в Виннице. Там моя родня, могилы моих предков. Я украинец. Я хочу поражения России. Хочу, чтобы она скорей рухнула. Плотников и его деятельность — это шанс для России. Я хочу отнять этот шанс.

— Неужели так глубоко в вас сидит украинец?

— Нельзя предавать свой народ. Народ не должен предавать свою историю. Иначе этот народ — предатель. Разрешите идти, Пётр Васильевич?

— Куда ж вы теперь?

— В Украину. Там мой народ.

Притченко вышел, и Лунькову показалось, что в дверях тот схватился за голову, чтобы она не распалась.

Проводив Притченко, Луньков стал собираться в дорогу. Перевёл деньги в “Дойчебанк” и “Барклай”. Уничтожил лишние бумаги. Отправил несколько писем деловым партнёрам, намекая на изменившиеся обстоятельства. Он предвкушал предстоящий отлёт, рассматривая его не как бегство, а как начало новой увлекательной карьеры, где ему отведено место в могучей корпорации, в её аналитическом центре. Там собрались изысканные аналитики, рафинированные программисты, исследователи национальных культур и архетипов, работники спецслужб, подобно ему оставившие свои прежние организации, перешедшие на службу в промышленно-финансовую группу.

В этих сладостных предвкушениях он провёл три часа, ожидая машину Головинского. Но машины не было. Он подождал ещё полчаса, раздражаясь на необязательность шефа. Позвонил ему по мобильнику, но абонент оказался недоступным. Позвонил в приёмную, но телефон молчал. Набрал самый секретный номер, который использовался в чрезвычайных случаях, но дамский металлический голос сообщил, что номер снят с обслуживания.

Луньков испытал тревогу, неясное подозрение, дурное предчувствие. Вызвал машину и из Спасских ворот отправился в Вестминстерское аббатство, но там он узнал от охраны, что Головинский сорок минут назад уехал в аэропорт.

Дурные предчувствия усилились. Вскрывался чудовищный обман, вероломство. Он примчался в аэропорт и у начальника смены узнал, что Головинский, проделав все формальности, сел в самолёт, и его личный “Фалькон” вырывает на взлёт.

— Остановите, остановите взлёт! — кричал начальнику смены Луньков. — Останови, чёрт бы тебя побрал!

— Невозможно, Пётр Васильевич. Борт взлетает.

Луньков выбежал из стеклянного здания аэропорта. В вечерних сумерках, в аметистовом свете прожектора он увидел взлетающий, похожий на дельфина “Фалькон”.

— Будь ты проклят! — Луньков потрясал кулаками вслед самолёту, в котором Головинский, удобно откинувшись в кресле, подносил к губам бокал золотистого шабли.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Плотников лежал в палате под капельницей в забытии, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он не испытывал боли, а только ощущал внезапную пустоту в груди, словно падал в невесомости. И тогда на мониторе бегущая синусоида выпрямлялась и некоторое время оставалась ровной, но потом вновь наполнялась всплесками.

Ему казалось, он пробирается сквозь огромный железный город. Лязгали механизмы, скрипели зубчатые колеса, струились ленты эскалаторов, тянулись к вершинам фантастических зданий и вновь ниспадали к земле. По этим лентам сплошным чёрным валом тянулись люди. Незнакомые, в странных одеяниях, иные — в кокетливых шляпках, другие — в старомодных камзолах, третьи — в старых мундирах. Вдруг возникали знакомые лица: школьный учитель с едкими губами, диктовавший классу отрывок из “Войны и мира”; соседский паренёк, лихой футболист дворовой команды, попавший под электричку; красивая нервная женщина с чёрными волосами, жившая в соседнем доме. И он помнил, что видел в окне, как она утром надевает лиф на смуглую грудь.

Город теснился, окружал его колючим железом, он продирался сквозь фермы и балки, поднимался в лифтах под остроконечные крыши, спускался в подземные этажи и парковки. Он старался выбраться из грохочущего города, отрешиться от лиц, которые перед ним являлись. То это была его молодая жена, сидевшая у окна с гитарой и певшая ему пленительную песню, то немецкий банкир, благоухающий, радушный, с промытыми одеколоном морщинами, то Лера, сжимавшая в руках мокрую розу... И снова странные здания, колючие башни, клёпаные сферы, стрельчатые мосты. Над ними, сквозь сети антенн, летели самолёты, горели рекламы, лучились звёзды, мохнатые, как серебряные пауки...

Он изнемогал, город его не отпускал, хватал железными пальцами, возвращал в свою металлическую сердцевину. И вдруг оборвался, исчез вдали туманным облаком.

Он оказался на пустыре, в тихом вечернем солнце, среди вялых бурьянов, и почувствовал облегчение, которое, вероятно, принёс запах полыни. От пустыря вела просёлочная дорога в белой мягкой пыли. Она уходила в поля и дальше, в бестелесное сияние. Он увидел сына Кирилла, того, маленького, с весёлым хохолком на лбу, когда шли по картофельной меже, и сын боялся отстать, переставлял торопливо быстрые тонкие ножки. Теперь сын возник на пустыре, взял его за руку и потянул на дорогу. Плотников чувствовал в своей ладони хрупкие пальцы сына, его настойчивое усилие, с которым он тянул его. Сын был жив, обожаем, им ещё предстояло вместе прожить огромную жизнь. И Плотников, повинувшись сыну, ступил на дорогу, в её белую мягкую пыль.

Они шли, связанные неразрывной любовью, туда, где начинался ровный свет, и там кто-то невидимый, дивный ждал его вместе с сыном.

Плотников испытывал облегчение, освобождение от грохота, который больше его не преследовал. Он шагал за сыном, приближаясь к чудесному свету.

Отец Виктор молился перед иконами Святومучеников Великой Войны. Он обливался слезами. Ему казалось, что где-то в мире умирает родной человек, изнемогший от злых напастей, от козней искусных злодеев. Они нашли путь к его сердцу, влили в это сердце тёмные яды. Человек, уставший

сражаться с мертвящим злом, уходил, оклеветанный, оскорблённый, оставив на земле множество незавершенных деяний. Теперь эти деянья остывали, их заволакивала тьма, и из этой тьмы раздавались торжествующие вопли губителей.

Отец Виктор не знал, кто этот обессиленный человек, какими деяниями он прославлен, кто отравил его сердце. Он только чувствовал, что у человека истекают последние минуты, и никто из людей больше ему не поможет. И отец Виктор взывал к тем, кто своим святым мученичеством оттеснил от России тьму, явил небывалое чудо, одержал Святую Победу. Эти мученики сохранили Россию в самые чёрные, крошечные дни и хранят поныне, бросаясь ей на помощь всей небесной ратью.

Он молился двадцати восьми небесным воинам, которые в волоколамских снегах ложились под танки врага. Молился чудной деве, которая, задыхаясь в петле, вдруг увидела Богородицу, несущую ей цветок. Молился юному лётчику, чей истребитель врезался в чёрную тучу, нависшую над Москвой, рассекая эту тучу сверкающей молнией. Молился солдату с прекрасным лицом, который бросался на дот. Из его пробитого сердца вылетел ангел и повёл в атаку наступающий батальон. Молился убелённому сединой генералу, голые плечи которого хлестал ледяной поток, превращаясь в Иордан, в райскую Волгу. Он молился воинам, павшим за Родину и теперь обитавшим на небе, среди райских садов. Нимбы над их головами волновались, струились. Глаза отца Виктора, наполненные слезами, видели в храме золотое зарево. Он слышал полёт бесчисленных крыл. Святые вняли его молитве и неслись к земле спасать человека.

Плотников шёл по белой дороге за сыном. Когда замедлял шаг, сын настойчиво тянул его, хохолок на его голове смешно распушился. Плотникову хотелось его поцеловать. Белизна приближалась, ноги не касались земли, и он блаженно закрыл глаза, чтобы войти в эту белизну и стать ею.

Услышал шум, как шумит летний лес, когда на него налетает тёплый ветер. Огромное дуновение подхватило его, повернуло вспять, понесло назад туда, где туманился металлический город. Плотников обернулся и увидел сына, крохотного любимого мальчика, который остался на дороге и махал ему вслед.

“Приду к тебе”, — подумал Плотников, видя, как приближается город.

Он очнулся в палате. Над ним склонилось лицо доктора. Плотников, едва слышно спросил:

— Сколько же я спал, доктор?

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Наступила глухая русская осень, когда земля стальная, как наковальня. Сизые лужи хрустят под ногами, в них вморожены пузыри и жёлтый осиновый лист. Душе тоскливо от вида серой земли, от железного ветра; она мечтает о снеге, о белизне, о солнце. Но в тусклых сумерках шуришит позёмка, дрожат бурьяны, откована из железа колея на дороге. И такая беспросветная печаль, предчувствие горя, ожидание неизбежных утрат ложатся на сердце... И вдруг на бурьяны, на их чёрные стебли слетают снегири. Их красные грудки — как розы, их тихие свисты исполнены целомудренной нежности. Ты смотришь на эту птицу русского рая, благословляешь низкие тучи и вмороженный в лужу лист и благодаришь Господа за то, что он даровал тебе родиться и жить на этой любимой земле.

На металлургическом комбинате состоялся пуск огромного трубопрокатного цеха. Этого пуска с нетерпением ждали на газопроводе, идущем из Заполярья в Китай. На пуск приехали из Москвы члены правительства, чиновники, металлурги. Хозяин завода Ступин, оживлённый, торжественный, приглашал гостей на смотровую площадку. С площадки был виден туманный, уходящий вдаль цех, тяжеловесные прессы, электропечи.

Митинг открыл вице-премьер, властный, вальяжный, с загорелым лицом под белой пластмассовой каской. Он поздравил коллектив завода с трудовым

подвигом, поблагодарил за помощь стране, которая выходит с углеводородами на новые рынки Востока.

За ним выступил Ступин, с играющими от волнения желваками. Он говорил о русских предпринимателях, которые видят свои цели в России, готовы способствовать её процветанию и могуществу.

Третьим выступал губернатор Плотников.

На его почерневшем лице провалились щеки, в глубоких впадинах тревожно мерцали глаза. Бескровные губы силпо выговаривали слова:

— На этом железе незримо записаны наши мечты, упования и молитвы. В трудах и тратах мы одухотворяем железо, одухотворяем землю, которую нам вручила судьба. И в этом наша вековечная русская забота, вековечное русское дело — превращать тьму в свет, непосильные тяготы и горючие слёзы — в немеркнущую Победу.

Загрохотала поднебесная музыка. Стальной чёрный слиток лёг на рольганги, погрузился в печь. Пылающий алый брусок ушёл под пресс, который смял его, как пластилин. Брусок расплющивался в звоне и грохоте, раскачивался в лист и со свистом летел по рольгангам, разбрасывал красные искры. Могучий пресс гнул лист, давил из него трубу. Вдоль шва бежала фиолетовая звезда сварки. В жерле трубы кружились голубые кольца света. Трубы одна за другой, колокольню звеня, покидали конвейер, исчезали в туманной дали цеха.

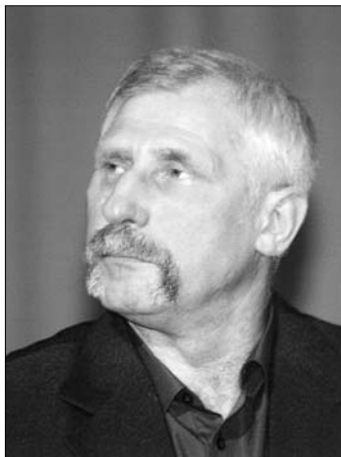
Плотников смотрел на железные слитки, и ему казалось, что сквозь скрежет и грохот звучит чей-то родной и любимый голос.

На крыльце деревянной церкви стояли отец Виктор и Анюта. Падал мягкий бесшумный снег. Всё кругом было бело. Снег покрывал поля, лесную опушку, ложился на деревья, на кресты погоста, на церковную кровлю. Кисть рябины краснела сквозь снег. Отец Виктор и Анюта смотрели на снег.

*Всю ночь в полях  
Метелица играла.  
В селеньях и лесах  
Всю ночь звенел мороз.  
И в утренних лучах  
На солнце засверкала  
Прозрачная гора  
Замёрзших русских слёз.*



АЛЕКСАНДР ПОШЕХОНОВ



И ПЕЧКИ ТРЕПЕТНЫЙ ДЫМОК...

\* \* \*

От суеты, от безнадёги,  
От стужи городского дня  
Ведут осенние дороги  
В избушку тихую меня.

Зайдётся в радости сердечко,  
Подкатит к горлу сладкий ком,  
Когда возлюбленная печка  
Пыхнёт дымком и огоньком.

Когда из сада-огорода  
К окну синица прилетит,  
И долгожданная свобода  
Углы в избушке освятит.

Осенним странником усталым  
Я буду, сидя у окна,  
Довольствоваться самым малым  
И благодарно, и сполна.

---

*ПОШЕХОНОВ Александр Алексеевич — член Союза писателей России. Автор более двадцати книг стихов и афористической прозы. Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного великого князя Александра Невского в номинации “За верность поэтическому образу России”.*

А ночью, долгой и угрюмой,  
Мне дождь поможет не спеша  
Расшифровать мечты и думы,  
Чтоб не печалилась душа.

Чтоб с первым лучиком восхода  
Всем существом принять я мог  
И долгожданную свободу,  
И печки трепетный дымок!

## РОДНИК

В родник студёный опущу  
Студёное ведро.  
Воды студёной зачерпну  
Студёною порой.  
И в дом вернусь, и погрузу,  
И улыбнусь хитро,  
Почуяв жизни глубину  
Со всей её игрой.

Что телевизора окно! —  
Дорога в никуда.  
Мир необъятен и суров,  
Но суета нелепа.  
В той суете давным-давно  
Исчезли города.  
А деревенька в семь дворов —  
Стоит, как мира слепок.

А деревенька в семь дворов  
Живёт без суеты.  
Возможно, кто-нибудь меня  
Поправит: “Доживает!..”  
Ведь ни машин, ни тракторов,  
В полях — одни кусты,  
Одна сплошная “злоба дня”.  
Ну, что ж, и так бывает...

Но по законам бытия:  
Святое — не мертво.  
И деревенька в семь дворов  
Бессмертна и нетленна:  
На круги выбредет своя  
И справит Рождество,  
И будет праздник — будь здоров! —  
В деревне непременно!..

## СОСЕД

У соседа дом большой —  
Целых три окошка.  
В нём сосед живёт с душой,  
С матерью и кошкой.

Ценит крепкое словцо  
Без блудливой дури.  
Любит красное вино,  
Сигареты курит.

Нет работы — наплевать,  
Постный суп к обеду.  
Ни бузить, ни воевать  
Не резон соседу.

Подшабашит иногда,  
Зашибёт рублишко  
И “жирует”, как всегда, —  
Скучно, без излишка:  
Клюква, гриб да огурец,  
Да буханка хлеба...

У соседа дом — дворец,  
Крыша держит небо!

\* \* \*

Тепло избы и завтрак одинокий,  
И утренней молитвы шепоток,  
И синий снег за окнами глубокий,  
И золотом отмеченный восток.

Пусть нехотя, но всё-таки светает.  
Деревня просыпается, встаёт.  
И кочерга бескрылая — летает,  
И печка безголосая — поёт.

И зимних звёзд морозные гнездовья  
Не отрешённо смотрят с высоты,  
А с искренней, божественной любовью,  
Как бледные весенние цветы!..

\* \* \*

*Памяти Николая Рубцова*

На полках многие года  
Теснятся книги образцово...  
Но эту книжечку Рубцова  
Я при себе держу всегда.

В бескрайнем море слов и строк,  
Нас окружающем незримо,  
Она скитальцу-пилигриму  
Всегда — заветный островок.

Она всегда к себе манит  
И, светлой грустью беспокоя,  
Звенит спасительной строкою:  
“Душа хранит!..”

“Душа хранит!..” — со всех сторон  
Звон наплывает безмятежно.  
И откликается на звон  
Моя душа тепло и нежно!

\* \* \*

Не суди меня, милая, строго,  
Я давно уже твой навсегда.  
Стали общими дом и дорога,  
Стали общими хлеб и вода.

Будни — наши, и праздники — наши,  
Научились грустить и гулять.  
Не с руки нам “заваривать кашу”  
И молвою её приправлять.

Ведь с годами яснее и чище  
Проступают сквозь муть бытия  
Хлебосольная святость жилища  
И бездонная нежность твоя.

Ведь с годами в молчании чутком  
Всё отчётливей осознаём,  
Что к счастливым семейным минуткам  
Мы не порознь пришли, а вдвоём!

АНДРЕЙ БОГОДУХОВ



## НАКАНУНЕ

РАССКАЗ

*Кто в армии служил,  
тот в цирке не смеётся.*  
Русская народная мудрость

Инспекторская проверка — знаменательное событие в жизни воинского коллектива. Раз в пять лет в каждую воинскую часть приезжает строгая, но справедливая комиссия и выворачивает эту самую часть, что называется, наизнанку. Проверяется буквально всё. Даже то, о чем командование воинской части вспоминает уже в ходе проверки. Соответственно и подготовка к инспектированию начинается, как и положено — заблаговременно: составляются планы, назначаются исполнители, ответственные и контролирующие должностные лица. Все было бы чудесно, но армия — это неотъемлемая составляющая нашего российского общества. Плановое мероприятие по мере сокращения срока до начала проверки переходит в разряд “внезапных” со всеми вытекающими последствиями. И поэтому подготовка к инспектированию заканчивается, а точнее — обрывается с приездом комиссии.

Последствия инспекторских проверок, как правило, одинаковы: либо отцы-командиры становятся “молодцами” и включаются в резерв на выдвижение, либо делаются оргвыводы, и они числятся кандидатами для затыкания кадровой прорехи в какой-нибудь географической дыре.

---

*БОГОДУХОВ Андрей Петрович родился в 1968 году в Москве. В Советском Союзе окончил военное училище и Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Проходил военную службу офицером в Центральной России, на Северном Кавказе на командирских должностях и в воспитательных структурах. Участник Всероссийского совещания писателей, пишущих на военную тему, состоявшегося в 2015 году в Переделкине.*

На этот раз командир дивизии решил не пускать дело на самотёк, а лично посетить, по устному докладу готовый к инспекции, полк накануне приезда комиссии. Черная “Волга” миновала ворота КПП\* и застыла возле шеренги командования полка. Из машины вышли генерал и сопровождающий его офицер.

— Ну, что, готовы к инспекции? — старший командир пожал каждому руку.

— Так точно, — заверил за всех командир полка.

— Ну, тогда показывай, что вы тут наготовили.

В первую очередь процессия направилась в расположенное неподалеку караульное помещение. Начальник караула бодро доложил высокому гостю, что “в отсутствие него не случилось ничего”. В караулке все было чин по чину: в пирамиде поблескивало вычищенное оружие, на пульте тревожной сигнализации светились лампочки, бодрствующая смена сидела и читала книги.

— Как служится, бойцы? Хорошо? — уточнил генерал.

— Так точно, — дружно ответили вскочившие солдаты.

— Как кормят в карауле? Неплохо?

— Так точно, — прозвучал уставной ответ.

— Выходит, неплохо, — сделал вывод комдив.

— Выходит неплохо, а входит не очень, — чуть слышно пробормотал старослужащий.

Но генерал уже заинтересовался наименованиями книг, которые минуту назад листали караульные. “Квантовая механика”, “Терапия внутриполостных инфекций”, “Философская парадигма Древнего Китая” значилось на корешках книг.

— Откуда здесь эти книги? — недоуменно взглянул он на офицеров.

— Шефская помощь университета, — доложил заместитель командира полка по воспитательной работе.

— Вы бы ещё книг на арабском языке набрали. Попроще шефов не могли найти? — И, уже обращаясь к солдату: — Сынок, ты хоть чего-нибудь понял в этой книжке?

— Так точно, — незамедлительно прозвучал ответ.

— Ну, тогда расскажи, о чём ты прочёл.

— Исходя из принципа относительности времени и пространства, можно гипотетически предположить...

Генерал ошалело смотрел на бойца, строчившего научными понятиями, как из пулемёта:

— И ты можешь всю книгу пересказать?

— Никак нет, — тянулся в струнку солдат. — Мне товарищ ефрейтор в этом месяце поручил выучить наизусть только первых десять страниц.

Генерал нахмурился и повернулся к притихшим офицерам.

— Начальник штаба, тебе что — ЧП\*\* в карауле не хватает? Как солдат на посту будет службу нести, если у него в голове время и пространство не совпадают? Да из-за таких книг разрыв мозга получить можно или грыжу мозжечка. Немедленно изъять эти книги. Пусть их вон замполиты, нарушителям воинской дисциплины читают в наказание. А в карауле солдат должен читать только устав. Днём и ночью. Зимой и летом. Всем понятно?

— Так точно, — дружно гаркнули солдаты.

Генерал отворил дверь с табличкой “Медицинский пункт полка” и шагнул внутрь. Пропахшее лекарствами помещение, как и полагается медицинскому учреждению, было светлым и чистым. Возле процедурной на лавочке сидели трое больных в подшитых белыми воротничками больничных пижамах. Проверяющий огляделся и, удовлетворительно хмыкнув, потянулся к ручке входной двери. Но его растопыренная ладонь застыла в воздухе. Медленно, словно боясь что-то вспугнуть, он повернулся к ожидающим приёма солдатам. Так и есть. Не причудилось. На ногах у солдат плюшевые тапки с объёмными мордами животных: заяц, собака и поросёнок.

\* КПП — контрольно-пропускной пункт.

\*\* ЧП — чрезвычайное происшествие.

— Это что? — генеральский перет указал на ноги застывших солдат. — Где начмед?

— Начмед, — громогласно разнёсся многоголосый крик офицеров полка.

Из-за ближайшей двери высунулась ушастая голова.

— Боец, где начальник? — тон заданного генералом вопроса не предвещал ничего хорошего.

— Я начальник, — вслед за головой в коридоре материализовалось тщедушное тело в белом халате.

— Так если ты начальник, то представляйся, как положено.

Начмед, печатая шаг, подошёл вплотную к генералу:

— Товарищ генерал! Начальник медицинской службы...

— Доктор! — оборвал его старший начальник. — Ты откуда такой взялся?

— Два месяца назад закончил медицинский институт и распределён в нашу... в вашу... в войсковую часть.

— Два месяца. Тогда понятно, — генерал обречённо махнул рукой. — Запомни раз и навсегда. Для доклада начальнику останавливаются за три шага до него, а не губы в губы, глаза в глаза. Если я тебя облобызать захочу, то сам подойду. Два шага назад шагом — МАРШ.

Хозяин лазарета сделал два шага назад, но его военные туфли остались на месте. Хорошие такие чёрные уставные туфли с обрезанными задниками. Броде бы военная обувь и в то же время шлёпки. Ну, это смотря с какой точки зрения смотреть.

— Это что? — генерал уставился на пару обуви.

— Туфли, товарищ генерал, — чётко отрапортовал начмед.

— Я вижу, что не валенки, — повысил голос комдив. — Почему в таком виде?

— Для того чтобы в покое ноги отдыхали. С медицинской точки зрения...

— Какая на фиг медицинская точка зрения, — не выдержал старший начальник. — Сынок, ты же в армии. А здесь всё делается по приказу. Дадут приказ обувь резать, значит, выйдет весь полк на плац и будет государственное имущество кромсать. Скажет тебе начальник кальсоны шириной на задку носить, так и будешь ходить. Ты понял?

— Понял, — медик топтался на месте босыми ногами.

— Ладно. С этим разобрались. Если по поводу тебя существует медицинская, то объясни, здесь какая точка зрения? — он указал на обувь лечащихся солдат.

— Заместитель командира по воспитательной работе на совещании сказал создать для больных приближенные к домашним условия. Вот я и подумал...

— Каким местом ты подумал? Это же солдаты. А ты здесь пионерский лагерь устроил. А как им завтра после этого в бой идти?

Начмед и бойцы стояли, одинаково понурились стриженные головы.

— Зайка, на укольчик, — раздался женский голос из процедурной.

Солдат в тапочках с заячьей мордой было дёрнулся к двери, но, передумав, остался на месте. Генерал, прикрыв глаза, тихо застонал.

— Нет, у тебя здесь не пионерский лагерь. У тебя — детский сад, — и уже обращаясь к солдату. — Как звать тебя, боец?

— Зайка, — пролетел болящий, зардевшись от внимания столь высокой особы.

Комдив зарычал и, сжав кулаки, повернулся к отшатнувшимся от него офицерам полка. Переполнявшие эмоции не позволяли ему выражаться членораздельно. Далее должны были начаться жертвы, разрушения и другие последствия необузданной стихии. На лице замполита воинской части мелькнула вспышка озарения, и, вспомнив комиссарский долг своих предшественников — принимать огонь на себя, он шагнул вперёд из общего строя.

— Товарищ солдат, представьтесь по полной форме, — обратился он к военнотружущему.

— Стрелок второго взвода первой роты рядовой Зайка Иван Михайлович, — оттарабанил солдат без запинки.

Командир полка и его замы облегчённо выдохнули. Генерал постепенно приходил в себя, но возможность внятно выразиться запаздывала.

— Командир... этот... цирк... нах... — и поняв, что озвучить мысль не получится, он жестом что-то разорвал в клочья и, махнув рукой, вышел из помещения.

Казарма встретила гостей чистой и молодцеватым докладом дежурного по роте. Взгляд военного человека радовали параллельность и перпендикулярность размещения мебели и иного имущества. На каждой вещи присутствуют таблички строго определённой формы, размера и цвета. Пост дневального укомплектован в соответствии со строгими требованиями: уставами, которые дневальному нельзя читать на посту; керосиновой лампой, запасной фитиль для которой можно найти только в краеведческом музее; флажками, подаваемые которыми сигналы в полку не знал никто. На подоконниках размещалось по два цветка в однообразных горшках (ни в коем случае не больше, иначе вся боеготовность подразделения рушилась напроць). К сожалению, комнатные растения не были однообразны, как и солдаты подразделения не являлись близнецами, но это допускалось в виде исключения. Плакаты со служебной документацией и наглядной агитацией размещаются на строго установленном от пола расстоянии. А то, что текст верхних документов можно прочитать только в бинокль, в армии не являлось проблемой. Никто же не запрещает солдату в личное время пройтись с табуреткой по казарме и почитать, о чём наверху мелким шрифтом написано.

Успокоенный общим благолепием, командир дивизии завершал обход казармы.

— Командир, — обратился он к командиру полка. — Хотя что-то хорошее наконец-то я смог увидеть.

Он остановился возле крайней кровати.

— Молодец ротный. И старшина молодец. Сразу видно, что готовились. Ну, что, старшина, готовились?

Не глядя, комдив открыл тумбочку и выдвинул ящик для туалетных принадлежностей. Каждый убеждённый сединой военачальник начинал военную службу юным лейтенантом, и с тех давних пор навыки проверки внутреннего порядка намертво впечатаны в его подсознание.

— Так точно, готовились, — старшина светился от похвалы. — Днём и ночью готовились.

Генерал потянул крышку мыльницы, чтобы проверить её содержимое. Крышка не сдвинулась с места. Тогда он приложил ещё большее усилие и... ящик со всем содержимым повис в воздухе.

— Молодцы, что готовились, — задумчиво произнёс проверяющий и, уже озарённый догадкой, добавил: — И что же это вы тут приготовили?

Более тщательное исследование прояснило, что все туалетные принадлежности намертво приклеены эпоксидной смолой к выдвижному ящику.

— И как вы это объясните?

Выдвижной ящик возник в непосредственной близости от старшинского носа.

— Товарищ генерал, иначе нельзя. Солдаты — свиньи, моются и моются, целый день плещутся. Во время проверки всё смылят враз. А так всё на месте, чинно и благородно.

— Так что, они у вас не будут умываться из-за инспекции?

— Никак нет, — отчеканил старшина и, чтобы не получилось двусмысленности, добавил: — Так точно.

Генерал, ничего не поняв из философского ответа старшины, решил лично разобраться во всём. В районе умывальника была отловлена жертва для ненаучного эксперимента. После команды старшины: “К утреннему умыванию приступить”, — солдатик ринулся к раковине. Из нагрудного кармана появилась зубная щётка в критической стадии облысения, из кармана штанов извлечён был завёрнутый в обрывок газеты обмылок хозяйственного мыла. Подопытный обильно намылл уши и стал возюкать щёткой по зубам. В процессе умывания выяснилось, что для чистки зубов на взвод была выдана банка с зубным порошком, который уже закончился. Утренняя гигиени-



ческая процедура завершилась вытиранием солдатского лица подолом майки. В ходе недолгого разбирательства по поводу использования элемента одежды не по назначению выяснилось, что все полотенца кольцами пришиты к спинкам кроватей “во избежание хищения, утери, падения” и прочих паранормальных явлений.

Итогом так хорошо начавшейся проверки внутреннего порядка в казарме стало устранение офицерами и старшиной роты недостатков работы по недопущению недостатков.

К полудню проверочные страсти накалились, и командир полка, дабы остудить эмоции, под видом проверки столовой решил гостя накормить. Любимое начальство повели в “греческий зал” — помещение для приема пищи VIP-гостями и проведения застольных мероприятий, где разносолы уже приятно радовали глаз обилием и разнообразием. Но своенравный генерал нарушил сценарий и, изъявив желание снять пробу из солдатского котла, направился к главному входу в столовую.

В это время прапорщик — начальник столовой, — проклиная себя за вчерашнюю лень и комдива за несвоевременность приезда, перетаскивал из “греческого зала”, который обычно служил ему личным кабинетом, хранилищем для припасов и местом для послеобеденной дремы, коробки с тушёнкой в зал для приёма пищи личным составом, дабы не попасть под надзирающее око. Курочка — по зёрнышку, прапорщик — по баночке... Вот и накопилось два ящика, которые давно надо было переправить в домашние закрома.

Двери основного входа в столовую были покрашены вчера вечером. Они радовали глаз глянцевым блеском и раздражали нос резким запахом. Красили их добросовестные солдатики. Сказали покрасить двери — они и покрасили. И полотно двери, и петли, и ручки. Сказали в два слоя — покрасили в два слоя. А то, что дешёвая краска три дня сохнет, то это проблема тех, кто краску покупал, и тех, кто за эти ручки будет браться.

“Засаду” с крашеными ручками первым просёк заместитель командира по тылу. Как-никак, столовая — это его вотчина. Ещё пара секунд — и генерал с испачканной масляной краской рукой будет громкогласно чехвостить “достоинства” возглавляемой им службы с последующими выводами. Надо принимать меры.

— Товарищ генерал! — крикнул он в широкую спину.

— Ну, что ещё? — генерал остановился на ступеньках столовой и обернулся.

— Разрешите доложить? В обеденном зале общее количество посадочных мест...

— Какое мне дело до твоих посадочных мест? — настроение комдива было испорчено, и он, хмурясь, протянул руку к двери.

— Товарищ генерал! — отчаянный вскрик заставил всех вздрогнуть. — За истекший квартал экономия хлеба составила 27%.

— И что теперь, подполковник? Мне тебя перед строем расцеловать за это?

Зампотыл наконец-то протиснулся к двери и, ощущая противную скользкость ручки, распахнул входную дверь. В дверном проёме возникла фигура начальника столовой, сжимающая в объятиях коробки с тушёнкой. Он был уверен, что всё начальство направилось в “греческий зал”, и нёс перепрыгивать своё, как он считал, добро. Не выпуская драгоценного груза, обалдевший от неожиданной встречи прапорщик на автомате отрапортовал об отсутствии происшествий. Встреча с генералом омрачила его. Но ещё больше он расстроился, увидев замыкающего процессию зампотыла с зелёной растопыренной пятернёй. Он даже интуитивно догадался, об кого начальник хозобоза жаждет вытереть испачканную руку.

— Куда идём? Чего несём? — поинтересовался генерал.

— Идём в варочный цех. Несём дополнительные продукты, — симпровизировал прапорщик.

— А что, у вас кашу на улице варят? — что-то заподозрил комдив.

— Никак нет. Решил в первую очередь вас встретить.

— Это что же, вы по полдня с охажкой продуктов ходите?

— Приходится ходить, товарищ генерал. Иначе солдаты всё спи... спрут... тьфу ты, сопрут. Они же вечно голодные.

— Так вы что, их плохо кормите, раз они голодные?

— Да нет, ну, что вы. Вот даже дополнительно продукты в котёл закладываем.

Пока офицеры во главе с генералом проверяли санитарию в варочном цеху, начальник столовой со слезами на глазах смотрел, как солдаты вскрывали банки и засыпали в котёл с кашей тушёнку. В общий котёл его, ставшую почти личной, тушёнку.

Ну вот, вроде чистота проверена, и все уселись за стол провести пробу солдатской пицци, а заодно и пообедать. Первая тарелка, естественно, гостю, тем более, что он отец родной для всей дивизии. Поэтому супа налили щедро, аж по бортик. И солдатик нёс тарелку аккуратно, аж язык высунул. Чтоб не расплескать ни капли, он крепко держал тарелку, опустив большие пальцы с траурными каёмками грязи под ногтями в её содержимое.

— Сынок, ты пальцы то в супе не обжжёг? — заботливо спросил генерал.

— Не-а. Я привычный уже, — засмутился солдатик и вытер испачканные супом пальцы о засаленные на заднице штаны.

— Ну, тогда тарелочку эту зампотыглу своему отдай, кормильцу нашему. Приятного аппетита, товарищ подполковник. А нам кашки принеси, да подносик какой-нибудь найди. Руки на службе обожжёшь, а мамка дома из-за этого расстроится.

Шмыгнув носом, солдатик убежал, и в варочном цеху послышались шлепки, сопровождаемые приглушёнными стонами. Остальные тарелки приносил уже лично начальник столовой на покрытом белоснежной салфеткой подносе. Все принялись за кашу, а зампотыглу уныло хлебал суп, держа ложку зелёными пальцами. Каша сегодня получилась знатная, сытная. Не гречка с волокнами тушёнки, как обычно, а куски тушёнки с крупинками гречки.

— Это что, нам всю тушёнку из котла выловили? — удивился генерал.

— В котле каша вся такая, — уныло отозвался начальник столовой из варочного цеха.

— Хороша каша, но чего-то не хватает, — вынес вердикт комдив.

Все вопросительно уставились на генерала. Внимательно лоящий каждое произнесённое в зале слово прапорщик семафорил зампотыглу бутылкой коньяка из окна хлеборезки. Тот сделал свирепую рожу подчинённому, чем обратил на себя внимание проверяющего.

— Что там такое? — генерал обернулся и увидел мило улыбающегося прапорщика.

— Интересуются, не желает ли кто-нибудь добавки? — вывернулся офицер.

— Я говорю, компота у вас не хватает. А добавки ты себе попроси. Пусть солдатик супчика ещё принесёт.

Покончив с трапезой, группа отобедавших пошла на выход. У дверей генерал заинтересовался необычной конструкцией. Из стены, разрисованной тропическими цветами и яркой растительностью, торчали сучки, а кое-где засушенные ветки с листьями. Всё это отгораживалось от остального помещения металлической сеткой.

— Это что за безумства в столовой?

— В целях психологической релаксации... — вперёд выступил замполит, так как это была его идея, — Создан вольер с имитацией тропического леса для экзотических птиц, дабы приём пищи проходил под их пение.

— А где экзотические птицы? — прозвучал резонный вопрос.

— Пока одна канарейка, но скоро будет больше, — обнадежил главный полковой специалист по морально-психологическому обеспечению. — Даже эта если запоёт — заслушаешься.

В самом верху клетки в углу сидела нахохлившаяся жёлтая птичка и подозрительно смотрела на людей. Комдив довольно хмыкнул и шагнул в дверной проём. Все устремились за ним. Птичка, очевидно, находившаяся на одной эмоциональной волне с начальником столовой, обрадовалась уходу гостей

и перепорхнула на другую ветку. “Чик-чирик”, — громко раздалось в пустом зале. Генерал медленно повернулся к замполиту.

— Говоришь, заслушаешься, когда запоёт? Ну-ну. Скоро специально приеду, чтоб её песни послушать. Или того, кто вместо неё чирикает будет.

Подсобное хозяйство в воинской части — приварок к солдатским казённым харчам. Лишнему куску мяса всегда будет рад и солдатик в карауле, и прапорщик дома. Хотя когда это кусок мяса был лишним?

С первого взгляда было видно, что в свинарнике порядок навели не за страх, а на совесть. Вольеры для животных побелены, дорожки присыпаны песком, да и сами местные обитатели были чистенькие, розовенькие. Вот свиноматка с многочисленным приплодом чинно разлеглась на душистых опилках. Вот хряк апшегитно чавкает в блестящем корытце. Искусшённый в парфюмерии нос даже мог уловить витающий здесь одеколонный запах. Любого умилила эта идиллия. И генерал подобрел, отлегло у него от сердца.

— Молодцы! Можете, когда захотите.

— Стараемся, товарищ генерал, — зампотыл выступил вперёд.

— Молодец подполковник, — комдив протянул руку для поощрительного рукопожатия, но, увидев зелёную ладонь растроганного офицера, неформально похлопал его по плечу. — Вот здесь и другим с тебя пример брать надо. Всё чисто, опрятно, даже таблички на вольерах уставные.

Надев очки и склонившись к надписи, генерал прочитал вслух: “Свиноматка капитан Гольтыба”. Свинья в ответ громко хрюкнула. Комдив изумлённо посмотрел на офицеров и шагнул к соседнему вольеру, где озвучил надпись: “Хряк капитан Бубнов”. Свин хрюкнул и вопросительно обернулся на проверяющего. Дело было в том, что солдаты, особо не заморачиваясь придумыванием кличек, называли животных по указанным на табличках фамилиям, и те со временем свыклись с ними.

— Это что такое? — генерал разводил руками, не находя подходящих слов для выражения эмоций.

— Товарищ генерал! Солдат на всё подсобное хозяйство один, и поэтому для ухода за каждым животным закреплено подразделение, командир которого обозначен на табличке.

— Подполковник, да ты сам понимаешь, что здесь написано? Я тебе поясню смысл, а их тут два. Либо у вас в воинской части хряк Бубнов дослужился до капитанского звания, либо капитан Бубнов — хряк, то есть свинья, а не командир роты. Что ты конкретно имел в виду, когда эти таблички писал? — И тут запас его терпения иссяк. — Убрать немедленно. А то вы и мне какого-нибудь борова в подшефные запишете.

Генерал попытался оторвать табличку, но та была прибита на совесть.

— Молоток сюда немедленно.

— Солдат, молоток сюда. Быстро, — гаркнул зампотыл.

Через пару мгновений зампотыл проклял всё и вся. Уж лучше бы он сам раз пять... нет десять... да хоть двадцать раз сбежал бы за треклятым молотком. Солдат — рабочий подсобного хозяйства — по командирскому зову появился моментально. Да лучше бы он пять минут шёл... нет — лучше бы проигнорировал команду... да хоть в самоволку ушёл, и то это был бы лучший его поступок, чем добросовестная исполнительность.

Обернувшись, генерал выпучил глаза и изумлённо открыл рот. Вы когда-нибудь видели неандертальца? Хотя нет, они же в шкурах ходили. Ну, тогда африканского туземца? Хотя они голые ходят. Может, тогда советского беспризорника, доехавшего в угольном ящике от Бреста до Хабаровска? Хотя уголь так не воняет. Короче, представьте себе африканского неандертальца, проехавшего через всю страну в ящике с навозом. Представили? Так вот, именно такое существо сейчас протягивало генералу молоток. А что вы хотите от солдата, если ему поставили задачу, чтобы все на хоздворе блестело, сияло и благоухало? Тут уж, извините, добросовестному бойцу не до себя.

— Это кто? — дрожащий палец указывал на чумазую фигуру с патлатой шевелюрой в камуфлированных лохмотьях и казарменных тапочках. Причём отличить по цвету, где были ремешки тапочек, а где — кожа ноги, уже не представлялось возможным.

— Рядовой Молодцов! — представился солдат, приняв строевую стойку.

— Командир полка, — тихо промолвил генерал, держась за сердце. — Я тебя очень прошу. Не как командир, а как отец. Сделай, пожалуйста, так, чтобы твой подчинённый рядовой Молодцов выглядел, как твои свиньи. Я тебя очень прошу.

В автопарке в стройном ряду застыла подготовленная к осмотру полковая автотехника. На правом фланге блестели наполированными кузовами числящиеся по предназначению командно-штабными, а по повседневному использованию — для персонального развоза командования полка машины. Далее возвышались строевые машины — “газоны” и ЗИЛы, со свежеекрасшенными белоснежными ободами и начернёнными гуталином шинами. В завершении строя стояли санитарка, хлебовозка, грузовик с цистерной — АРС\* — и химическая машина — ДДА\*\*.

Генерал с офицерами командования расположились перед фронтом строя техники, а в это время с тыльной части продолжала кипеть бурная деятельность наряда по парку. На задние борта грузовых машин прикреплялись только что нарисованные таблички “Люди”, обводились по трафарету цифры 60.

— Это вся техника? — сурово вопрошал комдив.

— Так точно, — шагнул вперед заместитель командира по технической части.

— Какой коэффициент технической готовности?

— 99 процентов, — отчеканил главный полковой технарь.

— Это как же? — удивился генерал. — У вас всего двадцать машин и если одна не готова, то коэффициент должен быть 95%. Откуда 99?

— У нас все готовы, — доложил подполковник и почему-то покраснел. А потом добавил: — “Уазик” РХБЗ\*\*\* на консервации и если его выгонять, то мало ли чего. Вот я один процент и скинул на всякий случай.

— Выгоняй свой “всякий случай”. Поглядим, мало там чего или много.

— Дежурный, выгоняй РХБЗ, — отдал команду побледневший зампотех.

За спиной генерала дежурный по парку стал разводить руками и делать удивлённые глаза: “Как же я его выгоню, если он... Вы же сами знаете, что... Может, всё-таки можно как-то объяснить...” Подполковник не мог вступать в дискуссии под носом у генерала, и ему пришлось мимикой убеждать прапорщика в необходимости выполнения распоряжения.

— Я надеюсь, инструментами и огнетушителями укомплектованы все автомобили? — генерал не собирался давать послаблений.

— Все, товарищ генерал, — на бледном лице зампотеха ярко запунцовели щёки.

— Ну, и чудненько. Сейчас проверим.

Генерал шагнул к первой машине. В это время дежурный по парку вопросительно смотрел на своего начальника. При этом он энергично махал головой, пожимал плечами и жалобно приседал. Если кто-то когда-то хотя бы листал книгу Алана Пиза “Язык телодвижений”, то без труда мог понять смысл его сигналов: “Инструменты я не могу родить, огнетушитель вместе с зажигалкой в кармане не ношу!” и “Лучше сразу застрелите меня, ибо магии и волшебству не обучен...” В эмоциональном бессловесном диалоге офицер всё же убедил подчинённого, и прапорщик убежал в глубины автопарка.

Внешний осмотр техники показал, что не всё так плохо, как ожидалось. Автомобили были старенькие, но ухоженные. Заботливые солдатские руки неоднократно продлевали ресурс живучести технических узлов и агрегатов. Всё железное было отполировано, деревянное — покрашено, а резиновое — навакшено. Дойдя до последних автомобилей, комдив даже подобрел, ибо его подспудные опасения не сбылись.

— Молодец, подполковник, — похвалил он зампотеха. — Можете, когда захотите.

---

\* АРС — автомобильная разливочная станция.

\*\* ДДА — дезинфекционно-душевой автомобиль.

\*\*\* РХБЗ — радиационная, химическая, биологическая защита.

— Рады стараться, товарищ генерал, — офицер козырнул, не веря собственным ушам.

— Так, а где ваш “всякий случай”?

Довольная улыбка угадала на лице офицера. Он молча указал на “уазик”, скромно притулившийся позади строя машин в начале автопарка. Генерал кивнул головой и двинулся к выходу, попутно отдавая распоряжения и рекомендации по обустройству территории. Дойдя до въездных ворот, он открыл рот, собираясь высказать итоговое одобрение технической службе, но внезапная мысль морщиной перерезала его лоб.

— А где “уазик”? Он же тут был.

“Уазик” так же скромно стоял позади строя, но уже в конце парка. Генерал насторожился и тихо отдал команду: “Всем стоять на месте. Машину подогнать ко мне, вот сюда, прямо сейчас”. После оживлённой жестикуляции зампотеха автомобиль двинулся в направлении группы офицеров. Машина плавно катила, но ничто не нарушало гнетущей тишины. Этакий “Летучий голландец” в стиле милитари. Когда автомобиль подъехал поближе, то стало слышно натужное сопение. Всё-таки по мощности лошадиная сила будет поболее, чем солдатская. Даже чем три добросовестные солдатские силы, катающиеся гроб на колёсах туда и обратно. Заскрипели тормозами, автомобиль остановился в двух метрах от фигуры с шитыми звёздами. Из-за руля вылез дежурный прапорщик и выполнил воинское приветствие.

— Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит? — взгляд старшего командира обводил лица офицеров.

— Наверное, бензина нет, — выдвинул версию замполит.

— Допустим, — голос генерала был тихим и спокойным, и от этого все присутствующие ещё больше напряглись. — Бензина нет, а огнетушитель есть?

— Так точно, — прапорщик открыл заднюю дверцу. В салоне лежал 50-литровый огнетушитель на колёсиках. Судя по габаритам, он мог очутиться внутри только до сварки кузова на автозаводе.

— Хорошо, допустим огнетушитель есть. А инструмент присутствует?

Прапорщик торжественно извлёк из салона хромированный чемоданчик и открыл его. На поролоновых подкладках в индивидуальных ячейках лежали различные ключи, отвёртки, пассатижи, трещотки, щупы и ещё масса всякой всячины. Всё это сияло никелированным блеском. Каждый инструмент украшала трёхлучевая звезда, свидетельствующая о пожизненной гарантии качества. Час назад этот чемоданчик лежал в багажнике зампотеховского “мерседеса”, который сейчас прятался в запертой на замок мойке.

— И инструменты есть, — голос генерала становился все добрей и добрей. — А теперь посмотрим на двигатель, для которого у вас есть такие замечательные инструменты.

Прапорщик тяжело вздохнул, хлопнул себя по ляжкам, что по пизовскому трактованию обозначало: “Я вас предупреждал, но котёнку пришел...” — и открыл капот. Генерал обессиленно оперся спиной о задний борт грузовика. Под капотом было непривычно просторно, ибо двигатель отсутствовал. А что вы хотели, если один “уазик” без дела годами простаивает, а его активных собратьев чем-то отремонтировать надо?

Шаркающей походкой командир дивизии вышел из автопарка на плац. На его спине четко просматривалась загадочная надпись “идюл” и чуть пониже цифры ноль и зеркально написанная шестёрка. Сзади беззвучно следовало командование полка и дивизионный штабист. Генерал поднял голову и, озираясь, тихо спросил: “Где я?” Сопровождающие офицеры переглянулись. Всем стало, мягко выражаясь, как-то не по себе. Одно дело — недостатки и недоделки, которые можно устранить, а другое дело — старшего начальника с ума свести. Это можно расценить как террористический акт. А в военное время за такие дела на месте расстреливают. Командир полка откашлялся и сделал шаг вперёд.

— Товарищ генерал, вы находитесь на территории воинской части...

— Да понятно, — начальник вяло отмахнулся. — Я спрашиваю, где я? Теперь на попытку разъяснить ситуацию решил начальник штаба.

— Товарищ генерал, в настоящее время воинская часть в составе вверенного Вам соединения дислоцируется на территории Северокавказского региона Российской Федерации.

— Да ты чё? — комдив сделал удивлённое лицо. — Я уже понял, что не в Германии. Куда ни сунься, везде бардак. Вы мне лучше объясните, где я?

Вперёд вышел офицер управления дивизии. Наступил его черёд сориентировать “потерявшегося” начальника.

— Товарищ генерал, мы с вами сегодня утром выехали проверять...

Генерал сорвал с головы фуражку и шваркнул ею о плац.

— Что вы все из меня дурака делаете! Я знаю, где я нахожусь. Я спрашиваю, где “Я”? — и он ткнул пальцем прямо перед собой. На противоположном краю плаца здание украшала надпись: “Столовая”, в которой отсутствовала последняя буква.

Все начавшееся когда-то заканчивается. Вот и командир дивизии, садясь в машину, позвал командира полка для напутственного слова. Дивизионного офицера он оставил в роли наблюдателя с поручением тщательной проверки устранения всех выявленных недостатков и последующим немедленным докладом в любое время дня и ночи.

Замы выстроились неподалёку для получения возможных ценных указаний, и к ним, изо всех сил сдерживая улыбку, обратился подполковник-наблюдатель.

— Пользуясь случаем, разрешите довести проект приказа командира дивизии по итогам сегодняшнего дня. Позволю себе сразу приступить к приказной части. Итак, всё командование полка зачислить в категорию “живые трупы” с последующим ежечасным расстрелом через повешение до устранения не только выявленных, но и успешно скрытых недостатков. В противном случае начальника штаба сдать в архив, замполтеха отправить на разукрупнительную, замполтыла утилизировать, а замполита предать анафеме.

Его речь прервал подошедший командир полка.

— Товарищи офицеры, больше говорить ни о чём не буду, ранее уже всё сказано. Помните, что и в мирное время всегда есть место подвигу. Каждому из вас дан шанс: до утра сотворить чудо! Время пошло...

СЕРГЕЙ КЛИМКОВИЧ



## ПОСЫЛКА

РАССКАЗ

Солдат Бабочкин получил извещение о посылке. На душе сразу стало как-то веселее. Даже забылся разнос начальника приёмо-передающего центра за беспорядок в дизельной, где Володя проходил службу в должности старшего дизелиста.

В присланном накануне письме мать сообщала, что постаралась учесть все пожелания сына при сборе посылки. Ну, или большую их часть, так как Вовкин список желаемого не умещался в коробку. Жила мать далеко, да и хворала часто, поэтому не могла навещать к нему, как другие родители, и провозить домашних вкусовостей тоже не имела возможностей. Разве что посылками...

Получив извещение, Бабочкин деловито и аккуратно сложил его и спрятал в бумажник. Он наивно думал, что информация о посылке — дело сугубо интимное, деловой секрет между ним и почтальоном, рядовым Захаровым.

Но понял, что ошибся, встретив в курилке Щербакова из второй роты.

— Ну, Бабочка, слышал, посылка тебе пришла, — начал издали рядовой Щербаков.

Вовка покосился на него, жестом попросил поделиться сигаретой и буркнул:

— Ну. И чего?

— Да вот я тут подумал... Я за тебя “на тумбочке” неделю назад отстоял. Значит, должок у нас с тобой образовался.

---

*КЛИМКОВИЧ Сергей Владимирович родился в 1972 году в г. Борисове, окончил Литературный институт им. А. М. Горького и курсы Военной академии Белоруссии. Автор повестей, рассказов, романов, член Союза писателей Белоруссии. Участник Всероссийского совещания писателей, пишущих на военную тему, состоявшегося в 2015 году в Переделкине.*

Деревенский, основательный и самолюбивый Бабочкин даже крикнул от досады. Он терпеть не мог долгов.

— Я ж сказал, что схожу за тебя.

— Не, дружбан. Меня послезавтра в учебный центр на три месяца отправляют. Так что никак. Сам понимаешь.

Бабочкин понял, что от долга не отвертеться.

— Ладно, завтра вечером подходи.

— Базара нет! Я конфеты очень уважаю. Шоколадные.

Посылка — такая возбуждающе таинственная и манящая, как учительница русского языка Валентина Георгиевна в их деревенской школе, — казалось, потеряла свою девственность из-за грубых домогательств Щербакова.

В казарме после обеда было тихо. Новый наряд по батальону уже дрых, завернувшись в одеяла с головой, и потому походил на огромных куколок. Вечерняя дежурная смена на радиоцентр тихо ковырялась в бытовой комнате, наводя марафет перед отбытием на техническую зону.

Бабочкин сунулся в каптёрку с целью выпросить у сержанта Добренького вещмешок для переноски драгоценной посылки.

— Вован! Друг! — встретил его Добренький, словно родного. — Как жизнь? Как настроение?

Бабочкин насторожился, потому что Добренький обычно устраивал ему выволочки за неаккуратное обращение с обмундированием и вообще недолюбливал за прижимистость и упрямство.

— Нормальное настроение, — нахмурился Вова и обречённо прислонился к косяку. — Мне бы вещмешок, Ген.

— А! Вещмешочек, значит? Зачем? — благодушно поинтересовался сержант, откинувшись на спинку стула.

Бабочкин ощутил, что с ним играют, словно кошка с мышкой.

— Принести надо кое-что.

— Что, откуда и куда? Не могу же я просто так, с бухты-барухты выдавать казённое имущество. Меня старшина за это живьём съест. И не подавится.

— Ну, посылку принести с почты.

— Посылку? Хоррррошее дело, Вован! Чудесное! Небось, салыце-то мамка прислала?

— Не знаю, — буркнул Вова. — Надо посмотреть.

— А скажи мне, Бабочка, помнишь ли ты тот солнечный день, когда ты слёзно просился в наряд по столовой, чтобы не ехать на разгрузку угля? И как я за тебя словечко старшине замолвил?..

Драгоценное содержимое посылки, которой он ещё даже не видел, таяло на глазах. Бабочкин делиться не любил, и все это знали. Но жить в коллективе совсем одному, совсем без чьей-то помощи — гиблое дело. Тонкое переплетение “долгов” и “услуг” казалось таким естественным, что почти никто ни о чём не напоминал. Просто оно сидело в памяти и побуждало к ответу по доброй воле.

Бабочкин видел, как другие ребята, которым приходили посылки, делили почти всё съестное в столовой между собратями-сослуживцами. И за это их не благодарили, а принимали, как подарок, — с радостью. Так было надо. И так было правильно. Рядовому Бабочкину это казалось глупым, хотя он и сам не отказывался от кусочка сухой колбаски, конфет, варенья, достававшихся от раздела чужой посылки.

А вот свою посылку Вове было жалко. Своё же! Кровное...

На следующее утро рядовой Бабочкин сходил на почту и получил весомую, хорошо упакованную коробку, на которой материным почерком был написан адрес его воинской части. Скрепя сердце, он “отоварил” должок Щербакову и Добренькому. А потом трусцой двинулся на техзону к дизельной. Имелась у него там “нычка” надёжная, никому, как ему казалось, не известная, — в кабельной шахте. Нашёл он её сам, приладил ящичек закрывающийся. Стоило только открыть люк, нырнуть туда, нашарить крышку и достать необходимое... Здрóрово!



В дизельной разморило Вовку от тепла. Пахло родной солжаркой, к которой Бабочкин был привычен ещё в совхозе на машинном дворе.

Поздоровавшись с салагой, которого ему следовало сменить вечером, Вовка пристроился в дежурке у окна и развернул письмо от матери.

“Дорогой сыночек мой Володенька! Сразу хочу спросить: как здоровье твоё, как кушаешь, не обижают ли тебя командиры? Напиши ещё, как дошла ли до тебя посылочка. Конфет “Мишки” у нас в магазине не было и “Грильяжа” тоже. Купила “Алёнку” и “Арахисовых”. Мыла хорошего дорогого тебе прикупила и одеколону. В город даже ездила. Такого, как ты хотел, у нас не было. Зарплату нам в этом месяце хорошо насчитали, и потратила почти всё. Сальце и колбаску передала тебе тётя Люба. Какое ты любишь. С тмином. Должны хорошо дойти. Не испортится. Печенье положила и пряников. Медку и малинового варенья уложила в старый дедов носок, чтобы не побились. Ты уж отпиши, не треснуло-то? Тётя Люба привет тебе большой передавала. Всё охает, что такой был маленький, а уж солдат...”

Дальше на двух страничках из ученической тетрадки шли мамкины всхлипывания, приветы от родственников и просьбы слушаться командиров. Читать их Вовка не стал. Всё одно и то же. Перечёл только список присланного в посылке. Мало ли. Почтари эти — народ ушлый. Глаз за ними да глаз... В маленьком конвертике нашёл и несколько купюр, которые с удовольствием спрятал в грязный старый бумажник.

Из экономии Бабочкин даже не покупал сигарет, предпочитая “стрелять” их у сослуживцев. Деньги все откладывал. Расписываясь в ведомости за солдатское своё немудрёное жалованье, тут же сдавал старшине на хранение. В долг не любил ссужать. Если просили, молча вытаскивал бумажник и красноречиво обнажал его пустое сальное нутро — на, мол, бери, сколько найдёшь. Да у него и не просили. “Жилка ты, Бабочка”, — легонько корили Вовку солдаты, частенько подтрунивая над невиданной его прижимистостью. У него даже мобильного телефона не имелось — всё просил позвонить у других.

...Время к ужину подкатилось быстро. Идя в строю к столовой, Бабочкин уже представлял себе, как вечером, когда останется один на дежурстве в дизельной, вскипятит чайку, вытащит из “нычки” баночку своего любимого варенья да заточит с горбушкой белого ноздреватого столовского хлеба. Ну, может, и колбаски чуток. Самую малость. Чтобы надолго хватило. Сальце-то уже ополовинил сержант Добренький...

Войдя в столовую и получив свою порцию, Бабочкин со своим подносом хотел уже было сесть за стол, но замер.

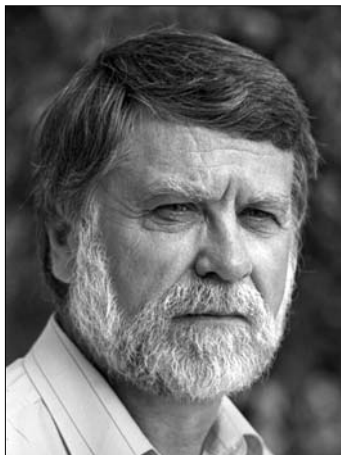
Щербаков и Добренький, посмеиваясь, делили на всех “должок”, который сами же истребовали с него утром. А на краю стола Вовка увидел... свою посылку. На коробку, которую он спрятал в дизельной днём, казалось, никто внимания не обращал. Но она бросалась в глаза так явно, так обличительно, что ярость устнула место жгучему, ядовитому стыду, которого Вовка не знал до сих пор.

— Садись, Вован! — подвинулся Добренький, похлопав по скамейке. — Классное сальце! И конфетки — самое то к чайку!..

Бабочкин медленно сел, вздохнул глубоко и полез в коробку. На столе появились домашняя колбаска, пряники, печенье, варенье. Угощение было встречено одобрительным рёвом солдат. Вовка, красный и молчаливый, кромсал ножичком колбасу и сало, чтобы всем досталось.

...Ему не припоминали потом эту злосчастную посылку. Но сам-то Вовка Бабочкин помнил. И всякий раз смуглые его щёки горели.

БОРИС БУРМИСТРОВ



## СВЕТ ИСПОВЕДАЛЬНЫЙ

\* \* \*

Не плачу, не рыдаю над судьбою,  
Все испытал: и радость, и беду.  
Как хорошо, что я люблю тобою  
Здесь, на земле, и там, куда уйду.

Всё испытав, к чему теперь стремиться?  
Куда ни глянь — пустые берега...  
Летит, летит над зимним полем птица,  
Роня тень на белые снега.

\* \* \*

Я родился на улице каменной,  
В доме каменном на окраине.  
Дом из красного кирпича,  
В доме — “лампочки Ильича”.  
Не одна была — целых пять!  
Раньше всех просыпалась мать,  
Выгребала из печки золу,

---

*БУРМИСТРОВ Борис Васильевич родился в 1946 году в городе Кемерово, член Союза писателей России, председатель Правления Союза писателей Кузбасса, секретарь Правления Союза писателей России, автор поэтических книг “Не разлюби”, “Душа”, “Поклонись земле русской”, “Лирика”, “Песочные часы”, “Живу, и радуюсь, и плачу”, “День зимнего солнцестояния”, “О чём не сказано ещё”, “Сквозь сумерки времён”. Живёт в Кемерово.*

Печь топила, звала нас к столу.  
Возвышались горкой блины...  
Мама, мама, теперь только сны  
Возвращают нас в каменный дом —  
Детство, юность оставлены в нём.  
И стоит на юру неприкаянный  
Отчий дом, что на улице Каменной.

\* \* \*

*Е. М.*

Вы говорите, что стихи грустны.  
Они теперь не могут быть иными...  
Ну, что поделывать, если даже в сны  
Приходят все трагедии земные.

Такое время нынче на дворе —  
Всё злее зреет мировая ссора.  
Горит уже не шапка на воре,  
А целый мир сгорает от позора.

Всё от того, что тает доброта,  
Как снег весенний, вглубь земли уходит,  
И жизни безоглядной суета  
Нас друг за другом строем гонит, гонит.

Чем ближе к краю, тем прозрачней даль  
И тем яснее перепуток дальний.  
Мои стихи печальны, но печаль  
Струит по миру свет исповедальный.

\* \* \*

Каждый сам по себе...  
Топором по судьбе,  
По своей, по живой,  
А потом по чужой.

Каждый сам по себе...  
Вой метели в трубе.  
На пригорке изба,  
Над избою труба.

Надо печку топить,  
Надо Бога просить,  
Чтоб на этой земле  
Жить в покое, тепле.

Каждый сам по себе —  
Только в общей судьбе.

## РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ

В этот день я с вами, вы со мной —  
Двери потаённые открыты,  
Здесь какой-то шёпот неземной  
И цвета закатные разлиты.

Здесь любовь, как синева, чиста,  
И разлуки ничего не значат.  
Здесь, по эту сторону креста  
И по ту — бесслёзно тихо плачут.

В этот день встречаемся мы вновь,  
Память наша, наша боль и радость.  
Неземная, вечная любовь  
Нам от Бога каждому досталась.

## ВОСПОМИНАНИЕ О 1953 ГОДЕ

Кожаная куртка,  
Золочёный зуб —  
Местный урка — Юрка,  
Не фигура — куб.

Высотой два метра  
От ушей до пят,  
Сапоги из фетра  
Вовсе не скрипят.

По району ходит,  
Стелет слов шелка,  
Кто-то не находит  
В доме кошелька.

Стянет в лавке бурку,  
Да не тот размер.  
И отправят Юрку  
В каменный карьер.

Через год в “Мозжухе”  
Под крутой горой  
От “простой” желтухи  
Сгинет наш герой...

А пока по свету  
Ходит не спеша,  
Улыбаясь лету  
Грешная душа.

ДМИТРИЙ ХОБОТНЕВ



## ОСТАНОВКА В НОЧИ

РАССКАЗ

Дороги словно не было. Её контуры смутно угадывались в чёрно-белой ку-терье по снежным отвалинам, оставленным грейдерами. Обычное дневное оживление не имело ничего общего с десятью часами вечера, когда ледяной ветер, надсадно завывая, хлестал по окнам автобуса тяжёлыми хлопьями.

За сорок минут пути один лишь раз из темноты вынырнули два злове-щих жёлтых пятна, подмигнули нам и сгинули.

Водитель с видом деревенского увальня-флегматика беспрестанно вор-чал, приводя в тихое бешенство не только ворчанием, но и манерой вожде-ния под стать своей внешности.

Чем дальше, тем отчётливее я понимал, что не успею. До Нового года оставалось два часа, а автобусу предстояло ещё сделать здоровенный круг по окраине, прежде чем развернуть облепленное снегом рыло в сторону мо-его дома.

Позади меня царило пьяное воодушевление. Звеньевой, комбайнёр и чет-веро рабочих пили дешёвый коньяк, заедая его шоколадом, и резались в ду-рака трое на трое, приспособив под карточный стол брошенный на поручни сидений кусок фанеры.

Впереди меня мастер и заместитель начальника дули баночное пиво, с важным видом болтая ни о чём.

Справа от меня, скрестив на груди руки, богатырским сном спал слесарь.

---

*ХОБОТНЕВ Дмитрий Николаевич родился в 1978 году. Учился в Сибирском госу-дарственном индустриальном университете. Окончил Кузбасскую государствен-ную педагогическую академию по специальности учитель русского языка и литера-туры. Работает шахтёром. Автор книги рассказов "Мост". Член Союза писате-лей России. Живёт в Новокузнецке.*

Закончился год, закончилась трудовая вахта, закончилась последняя смена этого года и этой вахты. И лишь окаймлённая снежными отвалами дорога, казалось, не кончится никогда.

Я прекрасно относился ко всем девятерым людям, однако осмысление того, что они, живущие на окраине, успеют к столу, а я вместо речи президента буду слушать ворчание увальня-флегматика, вызывало в сознании одну навязчивую картинку, как мы целых двадцать минут простояли у сельского магазинчика в ожидании, пока любители коньяка сделают выбор, будто в этой дыре можно купить что-то стоящее.

Ветер выл, раскачивая тяжёлую автобусную тушу, и дизель устало хрипел под этим натиском, точно вот-вот готов был зайти в последнем смертном кашле. Я, выставив голову в проход, пытался сквозь лобовое стекло, которое без устали скребли дворники, разглядеть какой-нибудь ориентир, чувствуя, как боль нарождается в глазах от безумной пляски непогоды.

Когда машина вошла в крутой поворот и со скрежетом сменила скорость на самую малую, мне показалось, что где-то за гребнем окаменевшего снега промелькнули отблески пламени.

— Ничего себе, — заорал водитель.

Впрочем, оговорюсь, заорал он несколько иначе и вообще всё, что прозвучало тогда, звучало несколько иначе, чем я описываю, потому как истинных выражений не стерпела бы даже бумага.

Автобус остановился, и на миг сделалось тихо и страшно.

А потом с пытанием отворилась автобусная дверь, и все, кроме продолжающего похрапывать слесаря, выбежали на дорогу.

Метрах в тридцати от обочины возвышалась массивная стальная опора линии электропередач, и возле неё под погребальное завывание ветра догорал искажённый остов легкового автомобиля.

Судя по следу, оставшемуся на отвале, и беспорядочно вспаханному, изорванному снежному полотну за ним, машина на большой скорости вошла в поворот и, потеряв управление, буквально улетела вниз, отчаянно при этом кувыркаясь.

Стальная вышка приняла на себя чудовищный удар спокойно и уверенно и теперь отрешённо и мрачно взирала на охваченный огнём бесформенный ком.

Несколько минут мы просто стояли и смотрели. Я хорошо запомнил лица. Особенно лицо зама: он улыбался, он вообще любил улыбаться.

Потом, словно по какой-то неозвученной команде, мы перелезли через отвал и не спеша, сгибаясь под свистящими порывами, двинулись к вышке, спотыкаясь в неглубоком, но необычно цепком снегу.

Странное и, боюсь, не совсем здоровое любопытство направляло наши ноги. Жуткое мучительное удовлетворение посещает порой людей при виде чужой смерти — удовлетворение непричастности. Радость от того, что это случилось не с ними.

Пока мы шли, кто-то без устали высказывал на все лады одну мысль. Дескать, понакупят права, а ездить не умеют, и пьяные, и лихие, и всё в том же духе.

Вблизи машина выглядела ещё хуже, чем с дороги. Невозможно было определить даже модель. Крыша сплюснута и разорвана пополам, и в том разрыве среди угасающих оранжевых лоскутков мы увидели чёрный оскалившийся череп с запёкшимися в коричневую массу глазницами.

Кого-то стошнило, судя по звуку. Я же ощутил себя на мгновение стоящим на верхушке этой громадной смертоносной опоры. Будто ветер качает меня, а внизу пропасть, и в голове точно крутятся маленькие бешеные лопасти, не дающие мыслям собраться воедино.

— Смотрите, — вдруг воскликнул самый старший из рабочих, указывая пальцем куда-то в сторону. Метрах в семи от машины что-то темнело.

Водитель достал карманный фонарик. Рука его дрожала, и луч упрямо не желал высвечивать цель.

Слева от меня что-то чиркнуло. Я повернул голову и в свете спички увидел раскрасневшееся от коньяка лицо звеньёвого.

— Вылетела, — коротко бросил он, раскуривая сигарету. Луч, наконец, остановился. Длинные светлые волосы разметались на снегу.

Совсем юная. Лет восемнадцати, должно быть. Тонкие струйки крови изо рта и носа стекают по белой щеке.

Мастер склонился над телом.

— Жива, — услышали мы через минуту. — “Скорую” надо вызывать и ментов.

— Какие здесь “скорые”? — скривился зам. — Они час будут ехать... Понажрут — и за руль, а потом “скорые” им вызывай... Ты Новый год в поле, что ли, собрался встречать?

— Ты её предлагаешь здесь бросить? — слишком спокойно спросил комбайнёр.

— Нет, хоровод вокруг неё водить будем. Из автобуса позвоните и вызовете.

— Замёрзнет здесь лежать, — сказал кто-то, и в ту же секунду я ощутил весь пронизывающий холод этих слов.

Девушка шевельнулась и открыла глаза. Огромные испуганные глаза. Первозданный страх плескался в них. Страх существа, оставшегося наедине с воем пурги среди бескрайних белых полей. Страх, подходящий на предощущение смерти.

— У кого есть телефон? — спросил мастер, обводя взглядом наши чёрные фигуры. Спустя мгновение восемь пар глаз внимательно смотрели на зама. Все знали, что по долгу службы он не расстанется с телефоном.

— Я не буду никуда звонить, — неприязненно выплюнул тот и поднял воротник дублёнки, пряча лицо то ли от ветра, то ли от наших глаз.

— Дай телефон, — с вежливой угрозой попросил комбайнёр.

— На кой чёрт она вам? — оцетинился зам, взгляд его растерянно бегал между подчинёнными.

— Дай телефон, — прозвучало вновь, но это был уже голос звеньевого.

Маленькая серебристая трубка появилась в руке зама. Комбайнёр молча принял её и, надев кашубон, встал спиной к ветру. Последний язычок огня вздрогнул и погас среди изорванного металла.

— Может, в автобус её перенесём? — предложил старший рабочий. — Замёрзнет девка...

— Ага... Сейчас, — окрысился молчавший до этого момента водитель. — Чтобы мне сиденья кровью испачкать.

— Слышь, ты, сиденье, — рявкнул с неожиданной злобой один из рабочих, здоровенный малый с добродушнейшим лицом. — Испачкать бы тебя!.. А если бы твоя дочь здесь лежала?.. Совсем уже обалдели.

— У меня сын... — попятился водитель. — У меня нет дочери...

— Кретин, — сплюнул рабочий.

— Опасно трогать, — рассудительно сказал мастер. — Вдруг позвоночник повреждён.

— Замёрзнет, — упрямо повторил старший, покачав седой головой.

Комбайнёр повернулся к нам и возвратил трубку хозяину.

— Едут, — коротко бросил он. — Минут двадцать, а то и полчаса. Дороги перемело.

— Ментов вызвал? — спросил мастер.

— Связь никакая... Еле дозвонился... Врачам сказал, чтоб вызвали.

Девушка надрывно закашлялась. Какое-то жуткое клокотание и бульканье послышалось в этом кашле. Изо рта у неё плеснуло кровью. Мы стояли и, словно замороженные, смотрели на пятно, расплывающееся на снегу около её головы.

Рабочий, приструнивший водителя, снял своё огромное пальто и расстелил его на снегу.

— Полчаса не протянет на холоде, — сказал он мрачно. — Надо в автобус нести.

Я взглянул на водителя. Тот стоял с вытянутым, кислым, как лимон, лицом, однако не решился возразить, понимая, что опасно играть с судьбой среди этих мёртвых ночных полей.

— Мать Тереза чёртова, — отвернулся зам, и мы увидели удаляющуюся в направлении автобуса, дышащую бессильной злостью спину.

Девушку положили на расстеленное пальто со всей нежностью, на которую были способны грубые шахтёрские руки. Она была совсем невесомая, но когда мы несли её сквозь снега, ветер точно почувствовал, что у него из под носа уводят добычу, и заверещал подобно обезумевшему чудовищу, сгибая и без того уставшие спины.

Помню, две вещи поразили меня, когда мы внесли её в салон: безмятежный храп слесаря и подчёркнуто равнодушное лицо зама, демонстративно зевающего на своём месте.

Девушку вместе с пальто положили на заднем ряду кресел. Звеньевой достал из пакета влажное полотенце и обтёр кровь с её лица. Глаза она больше не открывала, только дышала тяжело и силпо. Это было страшно. С каждым новым таким вздохом казалось, что следующего не будет.

Ничего для неё сделать мы больше не могли. Разговоры стихли. Каждый думал о чём-то своём, о чём-то невесёлом своём.

“Таблетка” с красными крестами на боках подъехала тихо. В этом мире хватало воя ветра, и незачем было добавлять к нему вой никому не нужной сирены.

Лишь по синему мерцанию проблескового маячка за окном мы поняли, что карета прибыла.

Спустя каких-нибудь пару минут столь же тихо появился милицейский “уазик”, небольшой фургон для перевозки тех, кому врачи уже без надобности, и эвакуатор.

Доктор, крупный лысый мужчина в очках, вошёл в автобус в сопровождении двух медсестёр и, ограничившись беглым осмотром, сказал:

— Несите её в “скорую”.

Мастер ушёл разговаривать с милицией.

В салоне остались только надувшийся зам и непостижимо продолжавший похрапывать слесарь.

В “скорой” девушку переложили на носилки. Я всё время смотрел на лицо доктора, но ничего не мог там прочитать.

— Всё, мужики, поехали, — слышался голос мастера, и тут же призывно заурчал дизельный двигатель.

Доктор уже хотел закрыть дверь, когда я тронул его за плечо. Глаза посмотрели на меня сквозь очки внимательно и строго.

— Она выживет? — спросил я тихо.

Пауза. Доктор будто обдумывал, стоит ли вообще обращать на меня внимание.

— Она будет жить? — повторил я настойчиво, но без нажима.

— Девяносто процентов, что не довезём до больницы, — последовал ответ, после чего хлопнула дверь.

— Ты едешь или нет? — кивнул комбайнёр, выставив голову из автобуса.

— Еду, — прошептал я, провожая взглядом кровавые кресты, растворяющиеся в снежной мгле.

Остаток пути ехали молча. Пили коньяк, правда, в карты больше не играли. Я попросил, чтобы мне плеснули немного, и они плеснули с тихим пониманием.

Высказывали надежду, что всё обойдётся, и я присоединился к ней, оставив слова доктора для себя.

Водитель вдруг скинул с себя плед флегматичности и с ожесточением давил на педаль газа, казалось, упиваясь протестующим хрипом дизеля. Автобус дребезжал и раскачивался на поворотах, точно судно во время шторма.

Мастер сидел с нами, оставив зама наедине со своим пивом и своей жалкой злобой.

Слесарь проснулся за минуту до своей остановки и, жизнерадостно поздравив тех, кто ещё не вышел, с наступающим, отправился отмечать — весёлый и отдохнувший.

Я открыл дверь своей квартиры за пятнадцать минут до Нового года. Спасло овладевшее водителем ожесточение. Все давно сидели за столом.



Они уже знали о случившемся. Не находившая себе места жена дозвонилась до зама.

Впрочем, по весёлым раскрасневшимся лицам гостей я видел, насколько далеки они от жутких ночных полей, яростного воя пурги и беззащитной девушки, истекающей кровью у догорающих остатков автомобиля.

Когда президент начал новогоднюю речь, все стали писать на бумажках свои заветные желания, вспомнив о дурацкой примете, говорящей, что пепел той бумажки, смешанный с шампанским и вышитый под бой курантов, гарантирует исполнение мечты.

Я взял авторучку и написал на белом клочке четыре слова: “Хочу, чтоб она выжила”, — понимая, что те девяносто процентов, скорее всего, уже сделали своё дело.

Куранты пробили двенадцать раз. Зажмурившись, я поднял руку и до дна осушил свой бокал.

Звенел хрусталь. Все кричали “ура”. Ветер не выл. В городе не было пурги.

Я тоже кричал “ура” и делал вид, что улыбаюсь.

## ОТНУ КУЗЬБАССА

Помню всегдашний упрёк поэтам Кузбасса, мол, живём в индустриальном крае, а вы пишете о природе, о любви, берёзках и цветочках. Где стихи о героической профессии, о шахтёрах? И действительно, отчасти вопрос и упрёк были справедливы. Но всё это происходило, по-моему, потому, что настоящие поэты, а они всегда были в нашем крае, не могут писать о том, чего не знают, или, зная, — неправду. Это недоехавшему или проезжему поэту из Москвы можно было бросить что-нибудь “нетленное” типа: “Через четыре года // Здесь будет город-сад!” Или совсем надуманное, как про детей в песочнице (о шахтёрах): “Порой копаться в собственной душе // Мы забываем, роясь в антраците”. И пошли-поехали строчки письменно и песенно колесить по стране.

“Нравственность есть правда”, — сказал наш современник, сибиряк, имея в виду и то, что писатель, поэт должен отвечать за написанное.

В нашем шахтёрском крае появились и окрепли своим словом поэты-шахтёры: Дмитрий Клёстов, Николай Бацевич, Александр Курицын. Причастность к делу даёт им право говорить открыто, с выстраданным знанием, с гордостью и горечью о шахтёрском труде.

Знаю, Дмитрий Клёстов шёл именно к этим стихам далеко не прямым, торным путём.

И нужно было время, чтобы наметился основной вектор в его поэзии — шахтёрский. О чём бы ни писал поэт Дмитрий Клёстов, работая в шахте или выйдя на пенсию, рубя баньку или часовенку в тайге, он остаётся шахтёром, современником, рабочим человеком — закваска такая.

“Здесь золото рыли мятежные предки”. Вот тесный штрек, вот тяжёлая тачка. А концовка стихотворения высвечивает, как во мраке, горькую нашу историю:

Балда деревянная, цепи, колодки,  
А всё остальное, как в нашей проходке.

А это уже наши дни, и опять они почему-то не слаще:

Камыш и осока, и бледный тальник,  
Фабричные грязные стоки...  
А я не волнуюсь, я как-то привык  
К иронии жизни жестокой.

Разные ипостаси лирического героя Дмитрия, но тоже связанные с землёй, земные, насущные:

Я копаю колодец насущный  
С недокучливой песней щегла.

И кто ему запретит сказать правду, выстраданную, как подземный стаж, но не только для пенсии.

Ущелье. Фабрика. И пруд.  
Рудой гружённые составы.  
И в шахту, словно в пасть удава,  
Шахтёры медленно идут.

Все теперь наперебой цитируют: “Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда...” Но давайте не забывать, что стихи также растут из ощущения нужности труда — для продолжения рода, искренности молитвы, физической радости. И слава Богу, что поэту Дмитрию Клёстову из старинного сибирского города Гурьевска хватает мужества сказать своё крепкое слово.

**Сергей ДОНБАЙ**

## ДМИТРИЙ КЛЁСТОВ



# САНИТАРНАЯ РУБКА

### ШАХТА “СЛЕПАЯ”

Она обижена судьбой:  
Служить в сырой земле.  
И обзывать её слепой  
Позволено молве.

Она состарилась впотьмах  
За много-много лет,  
И не способна, как-никак,  
Восславить божий свет.

Сиянье Млечного пути  
И утренней зари  
В ней имитируют, поди,  
Скупые фонари.

Вечерний клёкот пустельги,  
И ветер грозовой,  
И благовоние тайги  
Я привношу в забой.

За трудный опыт горняка,  
За радость хлебных дней  
Я канонадой взрывника  
Отсалютую ей.

А за колониальный гнёт,  
За много-много лет  
Она единожды рванёт  
На весь на белый свет.

## НА СПЛАВЕ

Бурлит и клокочет таёжный поток,  
Резвится и кружится в заводи вешней.  
Я клоун, мальчишка, я просто игрок  
В работе горячей, отчаянной, спешной.

Ослизлые брёвна — живые тела —  
Вскипают и дыбятся в тесном заторе.  
Азарт и бравада. Была не была —  
Фатальная пуля в ружейном затворе.

Осечка, промашка, и жабам на дно  
Утащат вериги — тяжёлые бродни.  
В лесную деревню прибудет кино,  
И спирт настоящий прибудет сегодня.

Девчат-скороспелок примчится гурьба  
Из дальних и ближних таёжных заимок.  
И первой любовью ошпарит судьба  
В порочно-пристойном кругу вечеринок.

В брезентовом фраке, с багром на плече  
Явлюсь я в деревню пред милые очи,  
Наполненный удалью русских мужей,  
И силой державы, и славой рабочей.

\* \* \*

Обильные, размашистые вьюги  
Легли лебяжьим пухом в тополя.  
Красивые, улыбчивые друзья  
Из чёрных рамок смотрят на меня.

В эпоху знаменитых пятилеток  
Из них по праву каждый знаменит.  
Забой последний пройден, напоследок  
Землёй и снегом ласково укрыт.

Мои друзья, как в раскомандировке,  
Сошлись рабочей силой поиграть.  
И наплевать друзьям на забастовки,  
На власть блатную тоже начихать.

До лампочки и гибнущее втуне  
Чахоточное чрево рудников.  
Они сошлись, как будто накануне  
Собрания былинных горняков.

## САНИТАРНАЯ РУБКА

Санитарная рубка в тиши  
Беззащитного бора,  
Санитарная рубка — афёра  
Низкопробной корявой души.

Мы нечаянно. Мы за чай  
Корабельные сосенки пилим

Могутным оборотистым “Штилем”  
Пряником в ненасытный Китай.

Наш кондовый, реликтовый лес  
Оборотистый Ванька спровадит,  
Сам на полном скаку пересядет  
В бронированный “Мерседес”.

Смажет Ваньку, как некую тлю,  
Бронебойная пуля-голубка...  
Чу! Идёт санитарная рубка  
В милосердном тишайшем краю.

\* \* \*

Я топором взмахну и крикну  
(Мне дело это по зубам),  
И годовые кольца кряжу  
Пересечёт глубокий шрам.

Крепись, увесистая чурка,  
Несокрушимый делай вид.  
Трещит игривая печурка,  
И банька русская дымит.

Окно обильно запотело,  
Вдыхаю и не надышусь.  
Задорно крякая, по телу  
Я свежим веником пройдусь.

До одури, молодецвато,  
Я исхлещу все мощи всласть,  
Водой холодной из ушата  
Я обольюсь, перекрестясь.

И тело розово обмякнет.  
Иду на воздух, чуть дыша,  
А стопку поднесут — и крикнет  
Достойно русская душа.

## БЛАГОВЕСТ

Синь морозная, воздух вольный.  
Бездна чистая, как слеза.  
Воздымается колокольня  
В Салаирские небеса.

Седину свою запрокину  
В переливчатый перезвон.  
Вековечную боль-кручину  
По-отцовски врачует он.

По холмам — разливанной негой,  
По распадкам — блаженный шум.  
Он посредник Земли и Неба  
И моих застарелых дум.

НИКОЛАЙ НИЧИК



ВКУС ЧЕРЕМШИ,  
ИЛИ  
СЕРЁГА ЗОЛОТОЙ НОС

РАССКАЗ

Опытные таёжники давно не припоминали такой ранней весны: на сме-ну трескучим февральским морозам не то что пришла — прямо-таки неожиданно свалилась сильная оттепель. После “женского праздника” снег вообще начал таять — ну, куда это?

В тайге на солнечных склонах запестрели проталины, а когда по оврагам стали пробиваться первые робкие ручьи, люди “старые да бывалые” начали усердней молиться — просить Господа Бога, чтобы не дал теплу разгуляться, иначе — беда!

Но той весной всё обошлось, и самое удивительное, что сбылись прогнозы синоптиков: сильного наводнения не было.

В один из тех “парных” мартовских дней, когда невооружённым глазом видать, как начинает подрагивать весеннее марево, мой напарник по ремонту горных выработок Сергей Золотой Нос после тяжёлой ночной смены предложил мне “заглянуть” в тайгу. Ох, как уже давно ему хотелось отведать первых росточков черемши!

Понял и оценил я всё это только потом, когда уже пообвык в Кузбассе и стал понимать, что тут почём, как говорится. А тогда он меня еле угово-

---

*НИЧИК Николай Николаевич — прозаик, публицист, родился в 1953 году в селе Пустовойтовка Сумской области (Украина). Автор книг “Другая упряжка”, “Как же мне не писать о шахтёрах?” и др. Награждён знаком “Шахтёрская слава”, областными и ведомственными наградами. Член Союза писателей России. Живёт в Новокузнецке.*

рил, потому что и на этот, “колбишный” счёт у меня уже было своё твёрдое мнение, сложившееся из разговоров с продавцами черемши на стихийно возникших весной “точках” — на оживлённых перекрёстках в центре города, а то вдруг и в тихих переулках на окраине — где только в середине мая они не возникают!

Каждый временный, посиневший от холода продавец в это время дружелюбен и разговорчив, каждый клянется, что, если возьмёшь у него два последних пучка, то он, “как только хоть чуть потеплеет”, прихватит тебя с собою в тайгу и покажет такое место, где черемша чуть ли не по пояс, остаётся только купить косу да три-четыре мешка и ждать урочного часа.

Но как только солнышко начинало к нам почаще заглядывать и задерживаться подольше, с новокузнецких улиц продавцов как будто сдувало теплевшим ветром и несло северней, где своей черемши пока не было и привозную можно было продать подороже...

Где только, рассказывали, не встречались тогда наши неутомимые колбозовы! Даже в Новосибирске, где своей черемши вообще маловато. Даже в Томске, где она давно занесена в Красную книгу.

Да что там, что там!

Говорят, что даже в летающих к нам самолётах, от старости насквозь продуваемых ветром, — и в тех, несмотря ни на что, от нескончаемых дружеских передач колбы в Москву устанавливается такой густой дух черемши, что держится потом осень напролёт и исчезает только тогда, когда начинается зима и ни с чем не сравнимый запах, по которому в столице тоскуют и вышедшие из Кузбасса большие начальники, и начинающие забывать родной город депутаты, и даже окончательно забывшие его бывшие вожаки рабочего движения, — сладко тревожащий душу кузнечанина этот запах тогда вымораживается.

Но это всё я тоже начал понимать много лет спустя, а тогда мои знания только тем и были ограничены, что, мол, слишком рано искать колбу по такому холоду, да ещё после такой почти непосильной смены, которая у нас тогда вышла.

Но Серёга горячился:

— Ничего ты не понимаешь! Когда же ещё тогда и искать?.. Устал, видишь. Да в том-то и дело, что она и мёртвого поднимет, а не то что устало-го или больного, ну?!

Чуть не по пояс в снегу, он брёл первым, я, хоть был намного моложе него, прилично отстал... Или как раз — неприлично? То и дело хватался то за ветку калинника, то за слабую берёзку, которая, всё ещё под тяжестью снега, и сама бы сейчас не отказалась от помощи.

Когда вышел, наконец, на проталинку посреди негустого пихтача, Сергей уже разговаривал с выводком шахтовых дворняг, честно сопровождавших горняков на многие такие ответственные мероприятия.

— Вот видишь, — сказал я, тяжело дыша. — Надо было за ними идти, они небось по сугробам не лезли...

И явно повеселевший отчего-то Золотой Нос руками развёл:

— Тут ты прав.

— А нам надо обязательно напрямик, — ворчал я. Но он только повеселел ещё больше:

— Молодой ты ещё!..

Наши чем только не измазанные кабыздохи вдруг дружно взлаяли, всей стайкой бросились к подножию высокой пихты, и Сергей тут же наклонился, выхватил из-под ног сухой дрын:

— А ну, бродяжня!.. Вы тут у него в гостях, а ведёте себя...

Отогнал собак и с умилением глядел теперь куда-то на вершину пихты.

— Чего ты там?

— Бурундучишка! — сказал он чуть ли не с восхищением и снова вдруг вернулся к моей персоне. — Эх, какой ещё молодой-зелёный...

Потом он туда-сюда прошёлся, глядя под ноги, махнул мне молча ладошкой, и оба мы присели на корточки, начали разгребать сухую листву и в сторону откладывать прошлогодний, ещё не оттаявший лесной хлам.

— А это что? — спросил я, увидев между листвой зелёную тонкую ботву. — Сохранилась, не померзла зимой...

— Я и говорю: как эта трава...

— Что — как эта трава?

Он дружелюбно рассмеялся:

— Зелёный!.. И слава Богу, пережил зиму. Загад-трава, вот это что! То же шахтёрская травка, между прочим.

— А почему?

— Сушат и в обувку кладут. Она и снаружи воду не пропускает, и пот внутри забирает...

— Прямо-таки забирает?

— Поверь.

— А почему так называется?

— Есть в ней и ещё тайна... не всё сразу!

— Не всё так не всё...

— Гляди!

Спорить готов, как говорится, что в руках у него тогда был ножик со ржавым лезвием и небольшой булыжник, который он только что припасливо приподнял с земли... Но вот по прошествии стольких лет кажется, что держал он отливавшее синевой зубильце и крошечный молоточек — так осторожно и так искусно обкалывал он ледок вокруг еле заметного росточка, который сперва показался мне какой-то крапинкой или тёмным пупырышком.

Только что мы вышли на-гора, поднялись из темени и глухоты, прерываемой вдруг стальным скрежетом, поскрипыванием стоек, тяжкими вздохами матушки-земли, а то вдруг отчаянными криками и скверной руганью, а тут... а тут...

Лицо у Сергея так и светилось — он как будто священнодействовал.

Впервые я видел, чтобы что-то росло прямо во льду, но ведь росло — упрямый остроносый побежек, который Серёга бережно освобождал из ледового плена, делался всё выше: на несколько миллиметров, на сантиметрик, на два...

— Поздравляю тебя; пробуй!

На что это было похоже? Смешанный запах молодого лучка с молодым чесночком в очередной раз припомнился мне потом, когда я уже самостоятельно пытался отыскать первую колбу и в очередной раз давил зубами и начинал обсасывать похожий на неё горьковатый росток кандыка... Говорят, вымирает, и так уже мало осталось, а тут ты ещё выцарапываешь его изо льда, чтобы потом безжалостно выбросить!

А тогда!

Сергей вдруг посерьёзней, лицо у него сделалось значительное:

— Запомни... — ты вроде парень ничего! — что говорил мой дед. Каменный уголь — шахтёрское дело, говорил он. А каменный лук — шахтёрская еда.

— “Каменный лук” — так он называл её? Колбу?

— Ну, “каменный чеснок”, если хочешь, — и чуть насмешливо улыбнулся. — Что же ещё, кроме этого драгоценного камня, через лёд и пробьётся!

Может, и в самом деле — драгоценный?

Потому что Серёга, выдалбливающий очередной стебелёк, и впрямь был похож на ювелира...

Я тогда многого не знал и сперва даже подумал: может, потому-то и звать его — Золотой Нос?

Тут, наверное, и в самом деле пора объяснить, откуда у моего напарника “по ремонту горных выработок” такое необычное прозвище.

Сергей был из тех, кому под землёй постоянно не везло: травмы его прямо-таки преследовали. Есть такие невезучие горняки, есть. Не успел бросить костыли — руку поломал. Руку вылечил, на очереди — другая нога. Если не та же, с которой недавно маялся. А у каждого есть ещё и пара ключиц, и вон сколько рёбер...

Но Сергей был в этом смысле “однолюб”: травму за травмой принимал на себя его нос, рассказы о котором уже занимали на нашей шахте чуть ли



не самое почётное место среди баек да анекдотов. И основания для этого были. Считай, — все.

Только пошла работа — вдруг крик:

— Стоп! Серёгу опять шшолкнуло!

Ну, “шшолкнуло” — это ясно. Куда ещё, как не в “рубильник”, можно щёлкнуть.

Но иногда вдруг кто-то кричал: мол, Серёгу царапнуло!

И тут начиналось: куда на этот раз?.. Как это куда — всё туда же! Ежели он — Золотой Нос, не по мягкому же месту!.. А кто-нибудь считал, мужики?.. Сколько раз с ним — одно и то же?.. Надо, надо считать!.. А то нет? Его ведь давно пора в книгу рекордов Гиннеса!.. Может, дали бы чего?.. Ага, в книгу Хренниса!.. Ребята уже повели наверх, сейчас в её и занесут, и дадут...

Может, потому-то все грубовато посмеивались, потому-то всякий раз не без явного облегчения потешались, что за этим стояло сидящее в каждом очень глубоко: а ведь могло быть иначе... И вовсе не с Серёгой, нет. С каждым. А то и со всей бригадой сразу. Недаром на многих кладбищах на юге Кузбасса ребята так и лежат: бригадами.

А с Серёгой шло по уже привычному кругу: “скорая” — больничный травмпункт — хирург, которого вся бригада уже знала по имени-отчеству, — бюллетень.

Если подсчитать, начинали подзаводить Серёгу, когда он возвращался на шахту, сколько ты получил по больничным листам да по всяким-разным страховкам, тебе бы уже давно хватило на золотой протез... или как там? На золотой колпачок, на буратинский нос, который бы твой “рубильник” прикрывал...

Рубильник — это так, к слову.

Нос как нос, самый обыкновенный, да и, благодаря искусству одного и того же, лучшего в городе хирурга-лицевика, следов от удара кровельной породы или какой железки на нём никогда не оставалось.

Ну, тут вот сразу придётся рассказать одну из многочисленных баек о Золотом Носе. Когда Серёга, давно ещё, раз и другой с ним подзалетел, хирург этот начинал в нашей шахтёрской больничке. Перевёлся в другой район — в шутку сказал Серёге: если что, мол, — всё равно ко мне. Сразу!.. Так и случилось: Серёга путешествовал за ним потом из больницы в больницу, из клиники в клинику. Это была, ну, прямо-таки его привилегия, потому что слава об этом хирурге уже облетела нашу Кузнию и принимал он уже не всякого. Времена тянулись лихие: сколько тогда в городе случалось разборок, сколько драк с поножовщиной. Да и все знаменитые на всю Россию стрелки, вся наша “пехота” стояла к нему в очереди. Однажды Серёгу привезли к “лицевiku”, когда на операционном столе уже устраивался чуть ли не самый главный в городе бандюган, и что бы вы думали? Пришлось ему срочно встать и выйти в коридор, а на его место Серёга лёг.

Можете себе представить, что тогда говорили на шахте?

Думали, мол, в городе один самый большой “авторитет”, а оказалось — совсем другой! Свой парень. Кликуха — Золотой Нос.

Кое-кто, правда, усмехался: мол, погодите-ка!

Носу нашему ещё “выйдет боком”, что главному бандюгану пришлось ему место уступить: хорошо, если голову не оторвут, но уж где-нибудь в тёмном переулке по шее накостиляют — уж это точно!

Однако ничего похожего не случилось. Более того. Поднакопивший в Кузне денег “лицевик” переехал сперва на Кавказ, а потом и в Сочи — там у него теперь, говорят, своя клиника. Тот самый “авторитет” ездит к нему туда почти постоянно, потому что у него такое ранение, что последствия его надо время от времени подправлять. И вот однажды возле нашего АБК — административно-бытового, значит, корпуса — останавливается самый крутой на юге Кузбасса японский “джип”, вылезают из него двое амбалов, бегут к директору, а потом в сопровождении третьего выходит и этот самый авторитет, не торопясь идёт в корпус, а там уже ждёт его Серёга: пря-

мо-таки выдернули его из штрека по этому поводу. Наши говорили потом: вот бы спасатели так работали, как в тот раз — начальство!

Садятся они у директора, и авторитет говорит: привёз тебе привет от общего нашего друга. Сказал: вдруг надо будет — всегда жду. А то давно не видались. Соскучился. На дорогу ко мне уж как-нибудь наскребёт, морда дорожке, а обратный билет — тут никакого базара! — за мой счёт! А я, говорит, ехал к тебе, продолжает авторитет, и вдруг пришло в голову: хотя бы только туда — да откуда у него такие деньги?.. Потому держи-ка, братан. Это тебе на самолёт до Сочи и там на недельку. А остальное — за нашим друганом... держи-держи!

Суёт Серёге новенькую пачку: оставь, говорит, эти “хрусты” на чёрный день!

Да только разве Серёга — не настоящий горняк?.. Недаром сам говорил: потомственный!

И вечером в бригаде был праздник, какого не было не только за последние несколько лет, — может, и вообще никогда.

Тут-то Золотой Нос и сказал свою знаменитую речь.

— Ребята! — говорит. — Мужики!.. Вот мы с вами болтаем: в бандитском государстве живём. Да нет!.. Какое оно на самом деле, это надо ещё раскумекать, но только не бандитское — факт!.. Было бы бандитское — вон бы как о нас обо всех заботилось! Ить поглядите на наш стол — чего только душа пожелает. Всё есть!

Тут кто-то его подкалывает:

— Килобзды нету!

Все грохнули: о Серёгином пристрастии к черемше, к колбишке-кормилице, все знали.

А он, и правда, вздохнул:

— Только вот её и нет, — точно!..

Колбу, он, конечно, любил... Может быть, даже мало сказать — любил... Тут речь скорее не о плотском чувстве — о каком-то одухотворении, если не сказать больше.

Поздновато я всё это, конечно, понял, что ж теперь, — поздновато!

А тогда он всё продолжал удивлять меня своими рассуждениями.

К этому времени я уже сделался не только заправским колбоедом, но и заядлым колбишником. Думалось иногда: может быть, с моим старшим другом, известным московским писателем, потому ещё и сошлись, что он, посмеиваясь, говорил о себе: колба — это его “пунктик”, и если у него однажды весной “поедет крыша”, то искать его надо на окатах Кузнецкого Алатау — будет собирать там колбу.

Вместе мы придумывали “Словарь колбоеда”, который, может, когда-либо ещё выйдет. Надо ли говорить, что считался я не только с его писательским мнением, но с колбоманским тоже: колбоман — это уже из будущего нашего совместного словаря.

И вот однажды в тайге, когда снова вдруг выпало пойти за черемшой вместе с Серёгой, сказал ему: вот ты, мол, тут мне про каменный лук толкуешь. А знаешь, как колба наша по-латыни называется?.. Алум викториалис — во!.. По-русски: лук победителей.

А он со вздохом сказал:

— Думал, ты уже побурел...

— Что значит — побурел?

— Ну, созреваешь. А ты вот: лук победителей!

— Я у друга у своего прочитал, он про колбу много пишет, хоть и в Москве живёт...

— Во-он оно! — протянул Серёга. — Тады ясно.

Была у него такая поговорка.

— И что тебе — “тады”?

Он дёрнул подбородком:

— Дак Москва! Она чего не придумает, лишь бы мы тут работали, а она там жила... Ну, подумай: какие мы с тобой победители?.. Хоть колбой от

нас, от каждого — на километр. Разве победители так живут?.. А Москва... Что Москва?

— Ну, что, что?

— Да прилетали тут ранней весной на медведя... Олигархи — не олигархи, но так видать — с большими деньгами люди. Теперешние хозяева. А я как раз — за первой колбой. Егерь, мой дружок, вывел точно, они зверя ранили да все поразбежались, ему и добывать пришлось, и их потом по тайге собирать — тут я ему и помогал. Ну, а вечером на грудь взяли, все снова порасхрабрились, вот один, кого я как раз еле нашёл и чуть ли не в последний момент из полыньи вытащил, приглашает меня: ты приезжай! И туда тебя свожу, и сюда. Я ему: да оно мне надо? В Москву. Но раз уж вы, такие умные, здесь, объясните мне, слепому кроту, что такое там у вас в Москве — “общечеловеческие ценности”? Почему-то в последнее время они меня прямо-таки достали... А он захохотал сперва, а потом вдруг так серьёзно: я с тобой как с другом. Запомни!.. Единственная общечеловеческая ценность — это, брат, “рыжий дьявол”. Он! Понимаешь?.. Спрашиваю: Чубайс, что ли?.. А он опять как захохочет. Какой, говорит, Чубайс! Бери выше!.. Так ещё с пиратских времён звали золото. Вот оно и есть эта самая общечеловеческая ценность. Самая главная. А всё остальное для того и придумано, чтобы таким, как вы, “тайге глухой”, мозги запудрить. Усёк?

Через недельку-две после общего похода в тайгу встретились в городе — работали уже на разных шахтах, — и Сергей прямо-таки бросился ко мне:

— Хорошо, что увидел тебя!.. Я потом думал всё... Может, твой московский друг не так тебе сказал, а ты не расслышал? Если парень нормальный, говоришь, и тоже соображает кое-что.

Я сперва не понял.

— О чём это ты? — спрашиваю.

А он:

— Как это о чём? О колбишке!.. Может, он тебе сказал: лук побудителей?

— Каких ещё “побудителей”? — спрашиваю.

— Да каких... Как в армии... или ты не служил? Побудку сыграли, взбулгачили народ, а сами потом чуть не первые — к ларьку. Люди за нами. Чуть не вся страна нажралась, и опять — в сон. Один так и спит до сих пор, другой с бодуна ничего не соображает, а умники-то... Умники, что нас побудку сыграть подбили, они за это время всё и расхапали... А нам, брат, только это и осталось: каменный лук!

И как-то всё это он печально говорил — ну, так печально.

— Меня всегда подбадривал, — попробовал я поднять ему настроение. — А сам голову опустил... Помнишь, ребята говорили, тебе нельзя, чтобы голова падала...

Он без интереса спросил:

— Почему это?

— Да как “почему”? Единственное своё золото беречь надо. Нос-то, нос...

— А-а, — протянул он.

И опять — ну, так равнодушно.

— Может, случилось что? — спрашиваю.

— Да так-то вроде и ничего, — говорит. — Только пенсию срезали...

— А как это можно?

— Дак теперь ить всё можно...

— Почему срезали? Должны же объяснить.

— Пробовал добиться, да так и не понял. Вроде слишком часто травмировался, и больничные у меня — чуть не липовые.

— Это задним-то числом?

— Кому-то понадобилось!

— А в теркоме был?

— Ты ещё веришь им там? В теркоме?

— А что ещё остаётся?

— Тады ясно...

— Может, тебе и ясно, — говорю, — а мне что-то не очень...

Он как-то так усмехнулся. Только и того, что, как раньше, не сказал: мол, молодой ты ещё. Молодой-зелёный.

Сказал другое:

— Рыба ищет, где глубже...

— А человек, где лучше... ну?

— Чего тут нукать, всё правильно. Только человек — не рыба. Ему, где глубже искать...

— Зачем тебе, где глубже?

— Как — зачем?.. Доработать до выслуги.

— Опять в шахту?

— Что-нибудь другое предложишь? Идти к тебе сменщиком на твой любимый Записб? Что там — намного лучше?

Я только вздохнул, а он как-то вразтяжечку сказал:

— Не хотелось бы, правда, снова нос подставлять... — И тоже вздохнул.

Было это, считай, полтора-два года назад, после этого мы не встречались. Как там и что у нашего Золотого Носа, я не знал, а когда случилась эта страшная беда на “Есаульской”, вчитывался в газете в фамилии погибших, искал, нету ли знакомых ребят, и вдруг наткнулся на фамилию Серёги... Может, сперва подумал, родня, и тут же вдруг понял: сам. Даже не потому, что фамилия-отчество те же... Понял по какой-то безысходности в Серёгинном голосе при нашей последней встрече... “Как же так? — думал я. — Все привыкли, что всегда — только нос, и сам он давно привык. Ну, “шшолкнуло”, ну, поцарапало... Или при этом всё равно в сознании пряталось: это сегодня — нос, это сегодня... Надо же ему было вернуться на шахту! Судьба как будто успокаивала его всякий раз, а выходит, — заманивала... Так долго! Ах, Серёга-Серёга... Ах, ты, Золотой Нос! Полез в земную утробу за выслугой... А как иначе прожить?”

И вспомнились наши с ним походы в тайгу, и тот поход — самый первый, вспомнились наши долгие разговоры и это его чуть насмешливое: “Молодой ты ещё!.. Молодой-зелёный”

“Общечеловеческие ценности! — подумалось. — Да разве сама жизнь — не самая главная из них?.. А чего она нынче стоит?”

“Лук победителей! — пришло в голову. — Может, прав был Серёга: мы — только побудители, всего лишь...”

Хотелось кому-то из общих знакомых позвонить, чтобы расспросить о Серёге, но час был уже слишком поздний, а утром снова стремительно началась эта наша суета-маета.

Через какое-то время встретил в городском трамвае бывшего бригадника — тот еле держался на ногах. Спросил его о Серёге, и он сквозь икоту взялся меня наставлять:

— Отбился ты от нас!.. Рази праильно?.. А я, между прочим, с этих самых поминоков. Ездили с мужиками на то место, где они как раз под землёй... Водяры было! Маленько и на травку плеснул: как на кладбище, на могилах... Что ж теперь? Земля пухом... А ты отби-ился, да!.. Ты и тогда отказывался. А это, чтоб ты знал, терком проводил...

И снова пришло, вроде совсем не к месту: “Тады ясно!”

— Знаешь, когда следующий раз? — искал мой бывший бригадник. — Ты черкани телефон, позвоню тебе...

А я подумал, что надо съездить туда одному.

Походить молча. Подумать.

Если всё не вытоптали, срезать несколько стебельков колбы — она уже как раз зацвела.

Поставлю, подумал, дома в стаканчике с водой под фотографией Серёги, есть у меня хорошая его фотография, снимали один другого в тайге...

Каменный уголь, он говорил, — горяцкое дело. Каменный лук — горяцкая еда.

И какие там ещё, подумал, потомственному горняку цветы?

АНАТОЛИЙ ИЛЕНКО



## ТЕНИ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

\* \* \*

Нелегко гармони на селе,  
Грустная лежит, людьми забыта;  
Полсела с утра навеселе,  
Хотя ест не всякий день досыта.

Брошенный гуляет огород,  
Редко голос где подаст корова;  
Каждый житель будто чуда ждёт,  
Жизнь кляня, что так к нему сурова.

В избах непотребство и ругня,  
Лай собачий виснет до рассвета;  
Кто-то добрый пожалел меня  
И увёл, чтоб я не видел это.

Увести — увёл, да вот душа  
Вслед за мною уходить не хочет,  
Тени прошлой жизни вороша,  
Перед небом обо мне хлопочет.

---

*ИЛЕНКО Анатолий Павлович родился в 1941 году в городе Таш-Кумыр (Киргизия). Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Публиковался в журналах "Наш современник", "Москва", "Сибирские огни", "День и ночь", "Огни Кузбасса". Автор пяти книг стихов. Член Союза писателей России. Живёт в Кемерово.*

\* \* \*

Твой дом, как дом,  
Таких в деревне много.  
Резные ставни,  
В окнах тёплый свет.  
Растёт сирень  
У самого порога,  
Где на любовь  
Я молча ждал ответ.

Он стал родным мне,  
Дом твой с низкой крышей,  
Хотя я в нём  
Ни разу не бывал  
И слов ответных  
Так и не услышал,  
Но он всю жизнь мне  
Душу согревал.

Грустит один  
Иссохший куст сирени,  
Из старых окон  
Не струится свет.  
Готов я встать  
Пред домом на колени,  
Пусть в нём давно  
Тебя — я знаю — нет.

\* \* \*

Возвращаюсь в деревню с покоса,  
Месяц медленно катится вслед.  
Вижу дом наш с крутого откоса,  
В окнах тёплый колыхается свет.

Ставлю трактор у дальней ограды,  
Потихоньку в окошко — тук-тук...  
Чует сердце, что ты будешь рада  
На знакомый откликнуться стук.

Мигом схлынет дневная усталость,  
Лишь мелькнёт твоя тень на крыльце.  
Не такая уж малая малость —  
Видеть радость на милом лице.

\* \* \*

Откуда-то издалека,  
Из невозвратного былого  
Меня несла к тебе река,  
Парнишку робкого, смешного.

В воде плескалась ребятня,  
И солнце ей улыбки грело,  
И ты стояла у плетня,  
Рукой прикрывшись, вдаль глядела.

Над лодкой полдень плыл, клубя,  
Твой берег я приметил сразу.  
Он мне помог найти тебя  
И не жалел о том ни разу.

Прошло, промчалось много лет,  
Нашли свои причалы внуки,  
Зарос травой первый след,  
И плеска волн погасли звуки.

Но почему-то всё сильнее  
Меня на давний берег тянет,  
А вдруг из тех далёких дней  
Из-под руки девчонка глянет?..

\* \* \*

Как же мало нам все-таки надо —  
Булка хлеба, стакан молока.  
И в душе чтоб покой и отрада,  
На болезни б смотреть свысока.

От детей чтоб хорошие вести:  
Есть работа, внучата растут,  
Собираться почаще бы вместе,  
Словом, жить, как все люди живут.

Только есть одна малая малость,  
Без которой житье не в житье.  
Чтобы место под сердцем осталось  
Для России... Куда без нее...

ВИТАЛИЙ КРЁКОВ



## ЦАРСТВО БОЖИЕ

РАССКАЗ

С пенсионки баба Тася перво-наперво брала пол-литра водки и серый зельц. И уже потом — пару пачек растительного сала, минтай и другие “деликатесы”, а картошка, капуста, помидоришки, выжившие в озверевших сорняках огорода, давали половину основы питания. Табак баба Тася курила самый дешёвый. Он был крепок, малодымен, плохо насыщал душу, поэтому курить его приходилось часто.

Последние две зимы баба Тася жила одна и была полновластной хозяйкой ветхой избы, которая стремительно уходила в небытие. Многие избы, что были покренче, и то смыло время. И всё примерно так, как у Шуры Гайнулиной. Сама умерла, сыновья — и старший, и младший — по тюрьмам сидят. А дальше сломали замки, развалили печь, выбили рамы, сорвали полы, разрушили стены, завалили мусором из больницы. Санитарки выбросили пару анатомированных собак с перевязанными бинтами лапами. Нижние Заречные снесли как-то враз и чисто. Всем дали новые квартиры в панельных домах и общежитиях-“семейках”. Провели центральную теплотрассу. Там, где кипела весь советский период жизнь, всё стало исчезать из памяти вместе с вопросом: “А были вы? А жили вы?” И ответом: “И не были! И не жили!”

Баба Тася открывала свои многолетние тайны сестре Анне. Говорила о своём последнем муже, Володеньке. Он у неё и в тюрьму не садился, и мастера не порубил, а просто бросил её тогда в Рубцовске. Рассказала про соседа Фёдора и про не любившую его тещу, которая ненавидела его и бабу

---

*КРЁКОВ Виталий Артемьевич родился в 1946 году в Бийске. Работал на стройках. Печатался в журналах “Москва”, “Наш современник”, “День и ночь”, “Огни Кузбасса”. Автор четырёх поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Кемерове.*



Тасю за то, что Фёдор заходил к ней и они вместе выпивали. Как-то баба Тася стала худеть и терять силы, всё поговаривая: “Я ем, а меня еда ест”. Мать девахи, которая в то время жила у Таси, заметила такое дело и сказала, что её “скурочили”, обещала поправить. И поправила молитвами да оберегом, который заставила носить при себе.

Однажды тёща Фёдора, копаясь в огороде, на котором не было избы, увидела Тасю и сказала ей:

— Смотри-ка, ещё жива!

— Да, вот живу, — смиренно ответила баба Тася.

— А я ведь тебе на год делала, — зло заявила тёща Фёдора.

И баба Тася вспомнила золу, насыпанную у крыльца, при выходе из калитки и в огороде.

Фёдор, приходивший совместно распить бутылку водки, хмелея, пел песни, а однажды, озверев, с пеной у рта нещадно изломал бабу Тасю и немедленно ушёл. Она обо всём мужественно молчала. И только когда не стало тёщи и затерялся Фёдор, проговорилась сестре о последней тайне, которая душила её. Это было и последнее лето её жизни.

Первые две недели сентября последнего в жизни бабы Таси года были сырыми и холодными. Уже не пойдёшь по-летнему в пиджачке, надевай свитер да плащ, лёгкое пальто да кофту. В пятницу второй недели сентября баба Тася ходила в продуктовый магазин “Русское поле” за суповым набором. Там и увидела свою родственницу Степаниду Бударину, тётку по третьей линии родства, ровесницу своего поколения. Тётка Степанида сообщила, что сын Юрка умер от сердечной недостаточности год назад, приглашала в субботу приходиться помянуть страдальца. Вы думаете, баба Тася отказалась? Да ничуть! Наоборот, позаботилась прийти пораньше, да и другие лица, которых позвали, никогда не опаздывали, а приходили, как и баба Тася, пораньше и ждали. Так как покойный Юрка жил с матерью Степанидой на первом этаже в однокомнатной квартире, то ждали на лавках во дворе, где накрапывал дождь и было холодновато. Баба Тася, ожидая приглашения к столу, не на шутку перемерзла и была уже не рада ничему. Хотела пойти на проспект да погреться в продуктовом магазине, но, наконец, позвали к столу.

Воскресным вечером приходил племянник Артемий с Гришей Тимофеевко, с которым вместе учились в далёком детстве. Гриша переживал капризы нынешней своей сожительницы, а так как у неё в настоящее время обитали только что освободившиеся братья-“тюремщики”, жить стало совсем невмоготу. Артемий упросил бабу Тасю оставить переночевать Григория, обещая вино и хорошую закуску.

В понедельник баба Тася заболела основательно. Ходила к ней жена Артемия, ходила его мать. Баба Тася говорила сестре, что теперь уже не до выздоровления, говорила, что раньше, сколько ни болела, да не так тяжело. Приходила врач, признала двухстороннее воспаление лёгких, но даже в больницу не отправила. Артемий решил попроведывать тётку по окончании рабочей недели. Он рассудил, что да, тётка болеет, кашляет, но ведь к больной ходят: протапливают печь, предлагают горячую пищу. Да и сама больная не хотела умирать внезапно: надо, на худой случай, недельку поболеть.

В четверг перед обедом на территории базы, где работал Артемий, появилась его жена. Артемий понял, в чём дело. На это время душа у него сразу ослабла, стала как у ребёнка от мысли о смерти.

— Что, умерла? — спросил он жену.

— Да, умерла, — ответила она.

Артемию хотелось по первому чувству побежать, засуетиться, дескать, помогите моему горю. Но голос в пространстве сказал: “У всех умирают, все хоронят и не кричат”. Это успокоило Артемия, и он, предупредив начальство и взяв отпуск на два дня, поехал с женой на Заречную.

В избушке на Заречной было тепло и уютно и как-то приятно по приходу с улицы, где сыплет дождь, осенние просветлённые лужицы и бедная смиренная красота. Склончалась баба Тася под утро, незадолго до прихода сестры. Когда сестра трогала, тормозила с вопросом — жива ли, мёртвая, — постель была ещё тёплой. Сестра ещё с вечера собиралась остаться с боль-

ной на ночь, но та стала отговаривать, мол, если умрёт, то что сестра ночью делать станет. Попросила только оставить открытой дверь.

Когда пришёл Артемий, соседки уже обмыли покойницу, одели в чистое, бедное, уложили на лавку. Казалось, что это не баба Тася, а причёсанная школьница, собравшаяся учиться жить по-новому. Артемий чуть всплакнул от мысли, что мало пожила баба Тася полноправной хозяйкой в этой ветхой избушке. Обмерив клеёнчатым метром покойницу, поехал к столяру, рядом с которым трудился, заказывать домовину. Доски просить не стали, а просто пошли со столяром к котельной, которая не работала, а угольный склад около неё был огорожен фрагментами забора. Его расхищали на мелкие нужды с тех пор, как перешли на центральное отопление. За наружной частью забора давили бездомных собак — на унты. То тут, то там валялись ободранные мумии. Доски от забора, прослужившие не менее полутора десятков лет, были серенькие, прокалённые солнцем. Домовина получилась мировая. Только вот Артемий размер взял с запасом, да и столяр дал прибавку, в итоге получилась широкая коротышка. Артемий рассчитался со столяром, попросил своего начальника отвезти домовину. Тот до самого вечера ходил по своим делам, а когда стало совсем темнеть, собрался ехать на своём прорабском грузовичке. Не было креста. Артемий просил выписать немного бруса, но завскладом объяснила, что лес на сторону не выписывают и даже не продают. Ещё за дерзкое хищение досок с забора мастеру не поздоровится.

Гроб и вправду оказался очень широким, необходимо было сужать, стёсывать с основного массива немалую часть. Но стало темно, и пошёл дождь, решили привести в порядок рано утром и заодно смастерить крест.

Делать крест Артемий пошёл в столярку областного худфонда, что на главном проспекте. Там была и древесина кедровой сосны — брус, толстые плахи значительной ширины. В столярной мастерской работали резчики, багетчики, рамщики. В то утро на месте находилось трое. Договорились: каждому по пол-литра водки с закуской. Послали в спецмагазин Артемия. За время, что ушло на стояние в очереди, благодетели спроворили крест — точную копию креста, на котором страдал Спаситель, а не какую-нибудь крест-часовенку. Артемий поднял крест. Он был немного легче кислородного баллона, а кислородный баллон в армии он всегда носил сам и никого не просил в помощники. Крест с проспекта на Заречную решил донести тоже сам, потихоньку, с передыхом. Бесплатно никто не повезёт. А деньги остались очень небольшие: на катафалк да на поминки. С тем и вышел, пересекая полотно проспекта. Подул ветер с мокрой сышью, крест, обёрнутый плотной бумагой, превратился в парус. Артемия водило из стороны в сторону. Сердце сильно стучало. Бумага, державшаяся на канцелярских кнопках, сорвалась крупными клочьями и уже не скрывала столь необычную ношу.

После обеда приехали сестры из Курагино, Нина и Зоя, по сластолюбию отца — с большим перерывом в возрасте: последняя моложе старшей сестры где-то лет на сорок. Курагинские привезли мёд, рыбу — крупного хариуса и озёрного линя. Спросили мясорубку накрутить мясо на фарш.

Сосед, шофёр Володя, договорился с машиной. Галя Шакулова твёрдо пообещала послать своих застоявшихся мужчин с утра копать могилу.

Ко дню похорон баба Тася свяла, как без воды полевой цветок, и Артемий молил хоть что-нибудь довести до погребения. Установилась тёплая — прощальной осени — погода.

— Место хорошее. Какой простор, — вслух сказала сестра Зоя, что на десять лет была моложе сестры Таси.

На сорок дней баба Тася предстала перед племянником Артемием, которого больше всех любила, в холодном водянистом эфире с такой пронзительной ясностью, которой никогда не было при её земной жизни. Она ничего не говорила, а только виделась.

— Ты чего здесь? — буднично спросил Артемий. — Мы ведь тебя похоронили. Как-то неудобно ходить к нам, маячить.

Видение исчезло. Избушку после сорока дней заняла дочь соседки с мужем. Соседка эта хорошо помогла на похоронах.

Прошло лет десять. Ниже по остаткам Первой Заречной начали строить добротные дома. На остатках Второй, что была ближе к забору областной больницы, всё хирело и ничего не возводилось. Только множились металлические гаражи, поставленные владельцами машин незаконно, нахально. В этих глухих местах вели себя, как дома, бродяги, наркоманы, выдирая всё огородное, выскивая незрелые головки мака. Дочь соседки уже в избе не жила. У неё ночью с перепоя не проснулся муж, а саму позднее забил зек-сожитель. Так и лежала мёртвая между грядок.

Артемию, племяннику бабы Таси, интересно было бы узнать, что снится по ночам олигархам, когда их мозги не в своей воле. Ведь всего у них в достатке: и детишкам на молочишко, и барбекю на земельных полянах, и бабья при саунах и бассейнах. Но не видел он их, олигархов, не вышло поспрашивать.

Одно дело — воцерковлённый народ. Там свет, бессмертное начальство, заслужившее свой чин духовными подвигами, там не речное течение жизни, а океан непреходящий. Кто это понимает, не станет завидовать толстосумам. Много нужно трудов, чтобы быть в этой единой семье, чтобы с упоением в душе перекреститься. И невольно скажешь: “Научи меня, Боже, молиться, научи Тебя, Боже, любить!”

Другое дело — Артемий. Всегда перед получкой, когда живёшь на копеечном существовании, когда грызёт нужда, снится работа грязная, неинтересная. Снятся по ночам ветхие избы, по которым плутает он из комнаты в комнату, из убогости в убогость, опасаясь быть захваченным хозяевами. В одном из печальных повторений этих снов и уж точно перед получкой Артемию привиделось погребное кладбищенское существование. И никаким здесь пляжем и не пахло, а люди бродили в непроглядной ночной темноте. Артемий признал бабу Тасю по тихому свету её лица. Она сказала, что все ищут своих, о ком вспоминают. На вопрос Артемия о том, как ей здесь живётся, она поведала, что приставлена к детям на послушание и нет никакого послабления от мучений.

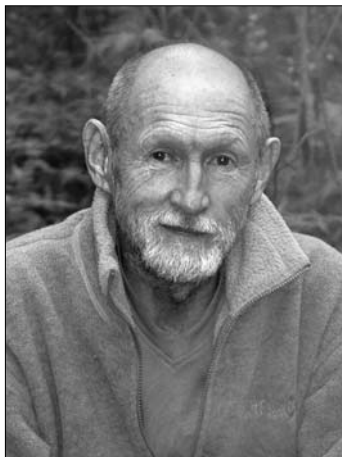
— Было бы легче, если бы Емелька Пугачёв помогал, а не бунтовал и не смущал людей разбойничать.

— А царство Божие не открывалось? — любопытствовал Артемий.

— Нет, — ответила баба Тася. — Редко, когда ангел пролетит высоко-высоко, вроде светлее станет. Я тебя попрошу, Артемий, молись за меня. Я ведь тебя всю жизнь любила. Молись!

И опять во время очередного беспокойства от неопределённости при задержании получки Артемию предстала Вторая Заречная. Идёт он по Заречной, где гаражи да редкие уцелевшие избы в непролазном снегу, сугробы сахалинские. Видит соседа Володю и просит у него лопату. Сосед молча принёс лопату, и Артемий по крепкому снегу прошёл до многострадальной избы — избы бабы Таси. Раскопал вход и, так как дверь была не на замке, вошёл в избу. В избе, судя по кружкам плиты, топились печь, морщинистые стены и потолок покрыты свежим набелом. На сундуке сидела чистая и спокойная баба Тася, будто школьница, готовая к познанию новой жизни. И не хотелось ни спрашивать, ни вспоминать, ни говорить. И хотя окна избы залеплены снегом, в комнате достаточно светло. Артемий зашёл в комнату и увидел под потолком узкую во всю стену щель от того, что где-то ещё держалось, а где-то осело от ветхости, от времени. Из щели исходила такая глупобоящая всечеловеческая лазурь, что у Артемия задрожали губы, и он заплакал. Только тогда баба Тася молвила: “Это ты отмолил мне у Бога благодать, племянничек”.

АЛЕКСАНДР ИБРАГИМОВ



## ОТБЛИКИ ВЕЛИКОЙ

*Валерию Казакову*

Колокола окали,  
Колокола акали,  
Вдовы во поле  
Полки оплакивали...

1

Река Великая — Ольголикая,  
Ангелоокая,  
Измедленно-глубокая —  
Белогранным лебедем выплывает к нам  
Троицеликующий храм,  
У ног мерца  
Заповедями рая...

2

А Пскова-река прозрачная до позвонка.  
Всю видать до дна —

---

*ИБРАГИМОВ Александр Гумерович родился в 1947 году. Выпускник Кемеровского государственного университета. Автор поэтических книг "Буквы одуванчика" (1976), "Пусть будет каждому любовь" (1983), "Моя трава зеленоглазая" (1994), "Стихи. Избранное" (2012), "Космоязычие" (2015) и др. Публиковался в журналах "Москва", "Наш современник", "Сибирские огни", "Огни Кузбасса", "После 12". Член Союза писателей России, редактор журнала поэзии "После 12". Лауреат литературной премии им. Святого благоверного великого князя Александра Невского.*

Чайке красноногой по колено она.  
Пескарями щиплет за щиколотки  
И мальчишие нянчит выводки.  
Огибает холм  
На облаке верхом...

3

А на склоне Псковы и Великой реки  
Камнелапые псы  
Кажут башни-клыки.  
Западу адову —  
Встречный меч!  
Забаву гадову — пресечь.

4

А мальчишка-рыбак  
Смотрит сквозь облака  
И не оторвётся никак от поплавка...

5

Ай, кремнистый зернистый песочек  
Тускло скрипит.  
Сыпь, Емеля, зерно в тусочек,  
Пока Псков спит.  
Тяжела алмазная дробь-картечь.  
Только бы вражий выдох засечь  
И на стругах — вверх по течению!  
Да сомлела Пскова  
По сучьему велению...

6

В колодезном князем черничном бору,  
Где в полдень видно звезду,  
Не место гулять бобру-топору,  
А время коня держать за узду.

Литые поблескивающие стремена  
Упёрлись в рёбра коня.  
Время взрывать над собой знамена,  
На ветре трепещущем — знай меня!

7

Ольгины волки вольные, окованные серебром,  
Вслушиваются в колокольный  
Клёкот лебязий...  
И гром  
Вражий,  
Ражий,  
Варяжий —  
Двурожьем над Русью горящий!

Ай, готов двуручный меч  
Для встреч-сеч!

Белоснежные храмы возле Ольги-реки  
Свиты-сбиты из Божьей и гранёной муки!

У незримой границы запекались хлебы,  
И вздыхали зарницы грудью каждой избы.

Рыцерылые вороги ржаньем рушили рожь —  
До Изборска бежала мужицкая дрожь...

Вот тогда и встречали когтеглазых гостей,  
И сверкал мукомол вихрем мельниц-мечей!

И спешила к Великой на помощь Пскова,  
И жевали железо скрежещущие жернова.

Смерч двуручный свистел и насвистывал — знай:  
От двурогого адства охраняется рай!

И стеной белогранной струилась мука...  
И Трисветлого лебеда  
Созерцала река  
Великая —  
Ольголикая...

А река Пскова —  
Всех убитых вдова.  
Вся до слёз проста.  
У лица Псковы вьются мушки.  
Ничего на ней, кроме креста  
Отражённой церквушки.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ



НА УГОЛЬЯХ

РАССКАЗЫ

— Что, Василич, не на лекции? — спросил председатель профкома, повстречавшийся на втором этаже административно-бытового комбината.

Экскаваторщик Иван Васильевич Морозов, тесть мой, поднялся после смены в расчётный отдел разреза уточнить размер начисленной зарплаты, но никого не застал.

— Какие лекции, когда весна? День год кормит!

— Ничего! У такого хозяина за час хозяйство не развалится! — шутиливо бросил комплимент председателю профкома. — Весь народ с интересом пошёл, и я сейчас подойду.

— То-то, гляжу, по конторе никто не шастает! О чём лекция-то?

— О социально-экономическом развитии нашего города.

— Ну, это тем, кто в центре живёт, — махнул рукой Морозов. — У меня частный сектор, считай, деревня, а не город.

— Иди, Василич, иди! Пока лекция не кончится, всё равно автобус не тронется. Я сейчас позвоню и тоже приду. Иди, весь народ в актовом зале.

Тесть тихонько вошёл в зал и сел на крайнее сиденье в последнем ряду.

— Наша область будет наращивать темпы угледобычи за счёт новых шахт и разрезов, — просвещал лектор, поблёскивая очками. — Для решения стоящих задач будут реконструированы старые и построены новые угольные предприятия. Немалая роль принадлежит вашему городу, в том числе и вашему предприятию.

---

*ИВАНОВ Владимир Васильевич родился в 1948 году на Урале. Окончил Уральский госуниверситет, учился в Литературном институте. Служил в армии в Забайкалье. Автор десяти книг, изданных в Москве и Кемерове. Поэзия печаталась в 13 российских журналах, в Венгрии и в Болгарии. Проза публиковалась в 14 московских и региональных журналах. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живёт в Кемерове.*

Общие слова! Уж лучше бы говорил, что конкретно для людей будет. Словно угадав мысли Морозова, лектор и в самом деле начал говорить о том, что ближе к людским интересам. Оказывается, в центральном микрорайоне, где пока лишь пятиэтажки, будут со временем девяти- и двенадцатиэтажные дома. Центральный микрорайон города прорезал лог, по нему раньше бежал ручей, а теперь протекают канализационные стоки. Лога этого не будет — его засыплют горной породой. Этого добра хватит — над тремя шахтами высятся терриконы. На месте лога построят стадион и кинотеатр. Построят в городе колбасный завод и, что уж совсем удивило, — появится чулочносочная фабрика. Правильно, что подумали о женщинах! Сейчас для них рабочих мест — раз-два и обчёлся. Куда им пойти работать? Особенно если в доме нет достатка. Ведь не в каждой семье мужик при хорошей зарплате. Василича лекция постепенно захватила, и до конца он слушал внимательно, как и вся аудитория.

После лекции зал поаплодировал. На сцену к лектору поднялся председатель профкома:

— Товарищи, вы уже выразили признательность лектору за его содержательный рассказ, давайте поблагодарим его ещё раз.

Он захлопал первым, зал его снова поддержал. Когда хлопки утихли, лектор что-то сказал председателю профкома.

— Может, к лектору вопросы будут? — спохватился профсоюзный лидер.

Вопросы были:

— Я так и не понял, сколько всё-таки у нас построят новых угольных предприятий?

— Две шахты и разрез.

— А где конкретно они будут?

— Шахты на Северо-Западе, в районе, где сейчас геологоразведочная партия.

— А новый разрез где?

— Извините, товарищи, на этот вопрос я не могу ответить, — честно признался лектор.

Наступило молчание.

— Может, кто из специалистов ответит на вопрос? — выручил председатель профкома.

Откликнулся главный технолог разреза:

— Угольные пласты в окрестностях нашего города характеризуются сложным строением, нарушением синклинали, чем вызван обрыв по простиранию...

— А нельзя попроще? — перебили его из зала.

— Проще? А проще будет так. Как ехать в областной центр, пласты угля, что залегают по правую сторону железной дороги, выходят к поверхности. Здесь предполагается добыча открытым способом. Это будет или вторая очередь нашего разреза, или отдельный разрез. Причем угольные пласты очень мощные.

Зал молчал, осмысливая сообщение.

— А людей куда же? — спросили из дальнего угла.

— Жилмассив придётся переносить.

— Так во что это обойдётся?

— Это же не город переносить! У нас на месте будущих разработок угля только частный сектор.

Ответив на вопросы, главный технолог сошёл со сцены. Затем на другие вопросы отвечал лектор. Когда выходили из административно-бытового комбината к автобусу, рядом с Морозовым вновь оказался председатель профкома.

— Ну что, Василич, интересная была лекция? — спросил он.

— Интересная.

— Ну вот! А ты не хотел слушать!

— О-очень интересная! Премного благодарен! Спасибо за лекцию.

Не желяя дальше разговаривать, он вошёл в задние двери автобуса.

На подворье к весне скопилось немало дел. Осенью при подтаске зарода сена на тракторах малы оказались даже широченные ворота в большой огород.



Прошлым летом Иван Морозов заготовил как никогда много сена. Раньше он косил вдоль обочины дороги, на небольших полянах. Два года назад подрылся обихаживать в лесхозе саженцы кедрача, а взамен лесхоз предоставил ему на своих угодьях покос. Добрый вышел зарод сена — из сорока копен! Его тащили домой с натугой два трактора. Но трактористы не сумели точно развернуться и в аккурат протащить сено в створ ворот — и снесли часть городьбы. Чтобы не лазила чужая скотина, Морозов сделал временную загородку, воткнув поваленные столбы прямо в сугроб. Но весной снег осел, столбы скособочились. Потом, конечно, придётся копать ямы и ставить их капитально, — когда земля оттаёт. А сейчас предстояло подпорками укрепить городьбу, этим делом Морозов и намеревался заняться сегодня после смены. Знакомые ребята с автобазы возят материалы в совхоз. Тесть договорился с ними, что обратным рейсом они подвезут ему навоз. Теперь этот навоз то там, то сям возвышается в огороде пирамидками. Нужно и навоз этот равномерно разбросать.

Хозяин оглядел своё подворье. Дед, приехавший в Сибирь по причине раскулачивания, в поисках лучшей доли кочевал с места на место, пока не осел здесь, куда, как оказалось, переселились родственники ещё раньше, в дореволюционные времена, в период столыпинских реформ. Деревня преобразовалась в посёлок, а посёлок в связи с добычей угля постепенно преобразуется в новый сибирский городок. Во дворе некогда стояла хибара, срубленная из брёвен в обхват, которую купил ещё дед на жильё. Хибара та была сработана на совесть, но как-то так, будто плотницкую работу исполнил медведь. Когда переселились в новый дом, она долго служила амбаром. А пятистенок выстроил дед на российский манер: со ставнями, с резными наличниками. Отец же после военных ранений особого здоровья не имел, и дом с дедовских времён не обновлялся. И все строения десятилетиями держались благодаря прочности, сработанной дедовской рукой, пока Иван не подрос и не взялся за хозяйство. Вслед за дедом снесли на погост и отца. От морозов, дождя и ветра побурели, растрескались и кое-где затрухлявились ставни и наличники. Морозов нанял столяров сделать точную копию этих резных украшений, выкрасил их в весёлый светло-зелёный цвет. Хозяйство Морозовых на отшибе шахтёрского посёлка. Дальше — места сколько хочешь! Вот и надумал он рядом поставить новый дом, чтоб внукам и правнукам хватило.

Такие виды на будущее держал в голове тесть да, видно, всё теперь пойдёт иначе. Не только хозяйство, но и это благодатное место, где родова обосновалась, сойдёт на нет. За огородом росли молодые осины вперемежку с акацией и черёмухой, околками зеленел пихтач. Раньше здесь начиналась черневая тайга. Потом, по мере застройки, обживания местности тайга отодвинулась дальше. Вместо неё остались вот эти островки разлапистого пихтача. А дальше, насколько хватал глаз, зеленела тайга. Вся жизнь с детства связана с ней! С дедом ещё в мальчишеские годы обошёл Ваня близкие кедрачи. Поначалу дед разрешал лазить только на кедры невысокие, с толстыми надёжными ветками, которые начинались почти от земли. Потом пошли кедры потруднее. Когда нижняя ветка была уж слишком высоко, дед вырубал шест с надёжной рогатиной, приставлял к стволу кедра, по этому шесту Ваня забирался вверх. Многому в лесу научил дед мальчишку. Вся таёжная его наука здорово сгодилась Ване в военные годы, когда отец был на фронте, а дед к тому времени ослаб и на промысел Ваня отправлялся с матерью. Тут он был беспрекословным хозяином. В каком направлении следовать дальше, где сделать привал — слово было за ним. Чтобы не попасть в просяк, решения принимал взвешенно, в лесу манерами старался походить на взрослого мужика. Иногда с ними просились вдовы. Тогда уж трудились артелью, и первым лицом был снова Ваня. Ещё бы! Ведь это он лазил на кедр и сбивал шишки! Женщины собирали их внизу в мешки и относили к заранее выбранному привалу под густой хвойной кроной старого дерева. Артелью можно шишкарить весь световой день и оставаться в лесу с ночёвкой. К вечеру набиралась гора шишек. Подкрепившись, начинали шелушить. В сумерки разводили костёр и продолжали работу при свете огня. Ваня лупил по шишке, она расплющивалась, потом резко проводил колотушкой по бревну,

которое предварительно стёсывали и ребрили на манер стиральной доски. Женщины на широкой холстине просеивали через железную сетку орехи от мусора, потом чашкой делили на равные части по числу людей. Зимой лежи себе, щёлкай орешки! А подслащённое кедровое молоко! Мать в чугунном казанке толкла орехи, пока не образуется вязкая каша, потом заливала тёплой водой, размешивала хорошенько и процеживала. Добавишь маленько сахару — и лучшего напитка не надо! Вот так тайга заменяла корову в хозяйстве. Тайга была кормилицей во все времена, но особенно она выручала в голодные годы, будто чувствовала — людям без неё не прожить. Откуда по весне первая свежая зелень? Из тайги! Уже перед Первомаем из-под снега пробиваются первые, чуть больше спички, росточки колбы — сибирской черемши. А потом с каждым днём идёт она стремительно в рост, теряя терпкость и острую горечь. Войди в эту пору в каждый дом — на столе пучок зелёных витаминов сдабривает приевшуюся за зиму картошку. Истосковавшиеся, изголодавшиеся по зелени глаза невозможно отвести от этого пучочка! И какая окрошка без колбы! Был Иван Васильевич в санатории, подавали окрошку с зелёным луком. Так она показала ему ненатуральную, лишь потом понемногу привык. А в июне уже поспевают другая улада — жимолость. Каждая хозяйка спешит тогда со своими ребятишками на заветное место, где дожидаются сизые, с вязким кисло-терпким вкусом ягоды. Отменное варенье из жимолости! Первое в новом году! Зачин есть, а там уже пошло-поехало! В поймах и по берегам водоёмов прозрачными гроздьями — даже семечки видны! — наливаются красная смородина — ягода-кислица. Вслед за ней в урёмах да на болотах и чёрная смородина начинает поспевать, потом черёмуха, рябина. И венец всему — кедровый орех! Хоть по кедром Иван Васильевич теперь уже не лазит, не те годы, но про ореховый сезон начинает думать загодя: сходит в таёжку к ближайшим кедром, поглядит на завязь: будет нынче урожай шишек или нет. В прошлом году мы ходили втроём: тесть, я и Лена. Я лазил на кедром, а они шишки внизу собирали.

Да... Молодые годы, когда занимался таёжным промыслом, отошли в прошлое, как уходит на нет и эта земля под наступлением угольного разреза. Тесть оббил сапоги о фундамент, почистил подошвы о скобу, взошёл на крыльцо под двускатной крышей и вошёл в дом. Дома были я с женой и престарелая мать тестя, Пелагея Ивановна. Тёща Анна Петровна по путёвке поехала подлечиться в санаторий, а то как отгаёт земля да начнутся огородные работы — до самого снега спину не разогнёшь.

Я сидел за столом, Лена хлопотала на кухне, а мать смотрела в окно.

— Как ты прошёл? — спросила мать, обернувшись к сыну. — Я тебя всё выглядываю, а не заметила.

— Я огородом прошёл, — сказал сын.

— Чё задержался-то?

— Лекция была.

— А-а, — протянула мать, скорее довольная возвращением сына, чем лекцией, которую он слушал.

— Интересная лекция? — спросила дочь, когда Иван Васильевич умылся и сел за стол.

— Интересная! В гробу б её видеть!

Я удивлённо поглядел на тестя — сроду не знал его вскидывающимся по таким пустякам.

— Видать, лекция в печёнки въелась, раз батя в гроб её загнал, — пошутил я.

— Это ты так со старшим говоришь? — повернулся ко мне тесть. От неожиданной такой реакции я смутился.

— Ну, папа! — укорила Лена.

— Ты знаешь, о чём лекция была-то? — примирительно обратился тесть к дочери.

Но Лена обиженно поджала губы.

— О чём? — как ни в чём ни бывало спросил я.

— О будущем города.

— Нашего, что ли?

— А то какого же?

— Дальше хуже будет?  
— Хуже!  
— Как это? Если о будущем, — значит, говорили о планах. А в планах у нас хуже быть не может. Планы — это же не жизнь! Это в жизни может хуже быть!

— Для других, может, лучше, а для меня хуже.

Лена угадала, что отца раздражают не я, и вступила в разговор:

— Чем, папа, хуже-то?

— Снесут нас с лица земли!

— Вот это да! — изумился я.

— По эту сторону дороги все снесут!

— И таёжку, выходит, подчистую сведут?

— И её!

— Это кто ж так распорядился?

— Запасы угля распорядились. Спасибо за лекцию — просветили!

— Жалко таёжку. Такая красота пропадёт! — заметил я.

— Красоту ему жалко! — усмехнулся тесть. — А людей тебе не жалко?

— Людям что — благоустроенные квартиры дадут! — вмешалась Лена.

— А вы и обрадовались!

— А что? Тогда нам и строиться не надо!

— Всё нажитое променять на какую-то казённую клетушку? — возразил тесть.

— Так за постройки деньги же выйдут! Двойная выгода!

— Вы-ы-года!

— Что в этом плохого-то?

— Врагу бы такой выгоды не пожелал!

— Вам под старость, наоборот, будет лучше в благоустроенном доме, — успокаивала его дочь.

— Ишь ты, какая заботливая! Ну, спасибо!

— Чего спасибо-то? И дрова не надо заготовливать, и уголь завозить, и вода под рукой.

— Легко так разбрасываться, когда сами на хозяйстве мозоли не нажили.

— А чё отказываться, если дадут?

— Мода пошла: не зарабатывая, получать готовенькое!

— Нам сколько ещё пластаться, пока дом поставим, — сказала Лена, не обращая внимания на колкости отца.

Я был за постройку дома. Мне, деревенскому, жизнь в своём доме в привычку. Но Лена, живя пока со мной в общежитии, непременно хотела благоустроенной квартиры.

— Правильно, — сказал вслед своим думам тесть. — В своём хозяйстве упираться надо, на диване у телевизора не шибко полежишь. Но, видно, будет по-вашему: всё равно нас снесут.

— Кого снесут? — спросила вошедшая бабушка, успевшая ухватить обрывок разговора.

— Улицу нашу снесут, — ответила Лена.

Отец поглядел на неё и покачал головой — не надо бы матери всё это знать.

— Улицу? — спросила она. — Почто так?

— Уголь будут добывать, — пояснил сын.

— Вот тут, что ли? — старуха постучала клюкой по полу.

— Да это, бабушка, когда ещё будет! — сказал я.

К тому времени, бабушка, лет полста пройдёт, — исправила внучка свою оплошку.

— Слава Богу! Не увижу разора, — сказала старуха. — Буду уж в могиле.

— Нет, бабушка, тебе ещё жить да жить, — подбодрила её внучка.

— Не приведи, Господи, дожить до этого!

— Не до этого, а вообще поживите, правнуков поняните, — поддержал я.

— А могилки тоже снесут?

— Кладбище трогать не дадим, — успокоил её тесть.

— Улицу, значит, снесут, а кладбище оставят, — рассуждала вслух мать. — И горы кругом наворочают. Видала эти горы, как в церкву ездила. Завалят, и будешь лежать под землёй-то!

— Бабушка, ведь мёртвые в земле и лежат, — сказала Лена.

— Лежат-то лежат, да по-людски лежат, — возразила старая. — А тут так завалят — и следов не останется! Как вы к нам в Родительский день или на Троицу придёте? Могилок-то не будет! Так снесут или нет? — строго обратилась старуха к сыну.

— Ну, что ты, мать, ей-Богу: снесут — не снесут! — ответил он. — Когда это ещё будет, если и снесут.

— Выходит, снесут, — заключила бабушка. — Ты, значит, экскаватором своим кладбище порушишь, прах отца своего из могилы вытолкнешь и вон его! А меня похоронишь — потом тоже откопаешь? Погрузишь кости в машину — и в овраг! Вот как теперь родителей почитают. Ну, спасибо, сынок!

— Бабушка, тебе нельзя волноваться, — сказала Лена.

— Тогда уж и деда своего Евдокима, и бабу Глафиру в овраг один с нами, чтоб вместе! Гляди, не раскидай родову в разны стороны! Вместе на погосте, вместе и в овраге чтоб!

— Не тревожься, мать, — снова успокоил её тесть. — Что мы, такие уж супостаты?

— И роют, супостаты, и роют! Уж сколько земли раскурочили! Грех-то какой! Угроздило поселиться на чёртовых угольях! Вот теперь на угольях этих черти и жарят. Не к добру это, ох, не к добру — подымать мёртвых и губить живое. Восплачете, да поздно будет!

Не притронувшись к еде, она удалилась в свою комнату. Ужинали молча. Потом тесть вышел на крыльцо и долго курил. Видно, слова матери ещё пуще растревожили его душу. Я его понимаю. Вот тебе ещё забота! Одно дело — вести вскрышные работы экскаватором на разрезе в стороне от жилья, другое — когда на своей родимой сторонюшке, где на земле и в земле — всё своё, кровное, родное. И как теперь руками рвать кровные узы, вырывать родимые корни! Тесть сошёл с крыльца и пошёл к сруб. Что с ним теперь делать? Думали, отгрохаем дом, возведём пристройки, а вот как всё оборачивается! Но ведь не завтра здесь начнут уголь брать, — может, жизнь человеческая пройдёт! Но такое самоутешение разве поможет? Что толку строить дом, если нет надёжного фундамента? Из жизни уходит главное — уверенность в будущем.

Как раз назавтра, в выходные, тесть, я да давний знакомый тестя Гриша Шилкин договорились продолжать рубить сруб. Тесть пару раз стукнул сапогом о землю и прислушался. Внизу пролегал угольный пласт, который выбил почву из-под ног, лишил душевного покоя...

Ночью тесть видел сон. Будто он мальчишка, они с дедом вдвоём пошли шишковать. Возле высокого гладкоствольного кедра дед вдруг снял котомку. Раньше он никогда не понуждал Ваню лазить на такие могучие нелазовые кедры.

— Залазь! — приказал старик внуку.

— Дед, я боюсь, — ушрался Ваня.

— А-а-а, боишься! — злорадно крикнул дед. — Копать глубоко не боишься, а лазить высоко боишься?

Под жёстким взглядом деда тесть полез на кедр. Руки соскальзывали, трещали сухие ветки под ногами, порой казалось — вот-вот оборвётся. Но всё-таки добрался до кроны, где на сизых шишках белыми точками проступала смола. Тут он пригляделся и увидел, что шишки пустые, склёваны птицами.

— Дед, орешки-то склёваны! — крикнул вниз. — Только зря меня сгонял!

— Выше погляди, выше! — донеслось снизу.

Вскинул голову — там, на самой макушке, тройчатками висели крупные шишки. Хотел было полезть вверх, но поднялся ветер, стал раскачивать макушку. Оглянулся вниз и ахнул: это не ветер раскачивает, а экскаватор старается вывернуть кедр и повалить наземь. Что же дед-то такое позволяет, подумал, дед же знает, что я на вершине!

— Дед, а дед! — стал окликать.

Но деда и след простыл. “Что же это я кричу? Ведь он в могиле лежит!” — подумал тесть, просыпаясь и выходя из тревожного сна. Давно уже не видел он себя во сне маленьким, таким беспомощным. Он долго лежал с открытыми глазами.

Наутро, как и договаривались, пришёл Гриша Шилкин. Принялись плотничать. Тесть любил хозяйскую работу ещё и потому, что в делах забывались душевная сумятица, житейские неурядицы. Вот и сейчас, пока ошкуривали брёвна и подгоняли их друг к другу, отошла вчерашняя хмарь. Весело перетюкивались топоры, работа шла споро.

— Слышь, Гриша, нас-то переселять будут, — сообщил хозяин, когда присели на перекур.

— А что так?

— Уголь будут здесь брать.

— Может, не тронут.

— По нашу сторону дороги всё снесут.

— Угля кругом вон сколько! Что под посёлком-то рыть?

— Коли уж начнут, нас не спросят.

— Откуда известно?

— Лекция вчера была на разрезе.

— Чему быть, тому быть! Благоустроенную квартиру дадут.

Морозов недовольно промолчал. К вечеру прекратили работу и вошли в дом.

— А где мать? — спросил тесть у Лены.

— Бабушка? Говорила, схожу к бабке Агафье.

— Ты нам сготовила что-нибудь?

— Картошку с мясом стушила. На плите.

— Вот ты, Гриша, говоришь: чему быть, того не миновать. Это что же — так за здорово живёшь нас и сгонят со своей земли? — спросил Морозов, когда за столом пропустили по первой.

— Да брось ты, Иван, — махнул рукой Шилкин, закусывая. — Когда это мужика о земле спрашивали! Нагонят техники и начнут копать — не отступятся. Сам же видишь, уголь тут под ногой, копнёшь — и вот он! Самый дешёвый, на него много тратиться не надо.

Залежи каменного угля и в самом деле кое-где выходили прямо на поверхность. Дед ещё до строительства шахт привозил из тайги на лошадях уголь. Да и не только он один! В кои времена наткнулись мужики в пойме речки Каменушки на блестящие сколы угольного пласта, вынесенные со склона горы весенним паводком; с тех пор, кто имел охоту, ездил в лес к прорубленной штольне. Потом эти штольни забросили, а после пуска шахт стали выписывать уголь в конторе. Да и во время войны уже мало кто ездил: в домах, считай, одни старики, бабы да пацанва. Зачем им, маломощным, было кожилиться, когда лес рядом?

— Оно, конечно, тут угля непереворот, — сказал тесть. — Но почему из-за него людей переселять и срезать с земли всё живое?

— Вот ты как заговорил! А что же сами-то экскаваторами да бульдозерами у себя на разрезе землю живую похабите? Мы-то у себя в шахте этого не делаем!

— Наш разрез — на бесплодьё, ничьего хозяйства не трогаем.

— Вот видишь, — сразу нашёл себе оправдание! Вот так же и государство. У него, может, тоже свои резоны. Что, с его точки зрения, наша земля? Так, ключочек мизерный, пятачок. А там, между прочим, миллионы, даже миллиарды тонн угля. Вот и выходит: уголь перетягивает потерю земли. Вот как оно, с государственной-то колокольни!

— А ещё бы с государственной колокольни-то — каждому бы во дворе свою живность держать! — поддел Шилкина Морозов.

Шахтёр Шилкин жил в двухэтажном деревянном бараке, где хоть и были предусмотрены стайки для домашней живности, но он, как и многие, живность не держал.

— Я своё на производстве отдаю, пусть они свой долг передо мной выполняют, — возразил Гриша.

— Кто это “они”?

— Кто кормить меня должен.

— А кто должен?

— Кому уголёк добываю.

— А ты, значит, пришёл со смены и лежи?

— Что мне делать?

— Вести своё хозяйство.

— Я в казённом бараке живу.

— В бараке-то каждому своя стайка есть.

— А я вот не желаю.

— Мыслить государственно мы можем, а крутиться по хозяйству — нет.

Ты мог бы себе и дом давно поставить

— Зачем? Мне теперь квартиру вырешат, — сказал Шилкин.

— Какая квартира! Ты же видишь — пояс всё туже затягиваем.

— Брось-ка, Иван, свою душу беречь, — примирительно добавил Шилкин. — Я тебя понимаю. Кому охота наживать, наживать и остаться в дураках.

— Так, так! Держим хозяйство — потому дураки, а вы, значит, умные?

— Да не заводись ты! Прикинь — кто внакладе, а кто в выигрыше. Снесут — каждому квартиру дадут. И барачным, и частникам.

— Ха! Наивный человек! Думает, он будет в выигрыше!

— Кто хозяйство теряет, ты или я? — спросил Шилкин.

— Кто на боку лежал — будет смеяться, а кто вкалывал — плакать?

— Ну, вам компенсацию дадут, за дом, за постройки.

— На хрена мне компенсация? Мне силы и годы кто скомпенсирует?

Ком-пен-са-торы!

— Да продай ты сруб! Вот завершим — и продай! Раз снесут — зачем горбатиться?

Тестю весь строй рассуждений Шилкина — поперёк души.

— Вот, вот! — сказал он. — Можно не делать — зачем же делать? И опять в выигрыше!

Тут тесть, видно, опомнился. Разговор безнадежно пошёл мимо чего-то главного. Сказать о главном мешало какое-то необъяснимое раздражение, какое бывает, когда несколько суток подряд не высыпаешься.

— Зачем раньше времени голову забивать? — сказал он примирительно. — Как-нибудь всё уладится.

Шилкин вначале хотел было обидеться всерьёз, но был отходчив и откликнулся на дружеский тон друга:

— Ведь в самом деле! Не пропадём же, в конце концов!

— Верно, — примирился хозяин, разливая остатки по стаканам. — На наш век хватит, не пропадём.

— Точно! Не пропадём! — согласился Шилкин, поддевая вилкой шляпку чёрного груздя.

Покончив с ужином, вышли на крыльцо. Закурили. Поговорили о том о сём, но как-то скудно, вяло. Попрощавшись, Гриша ушёл. Мы остались вдвоём, по лицу тестя было видно, что вновь наплыли невесёлые думы. То ли ставить дом, то ли нет? Сруб-то, конечно, надо завершить в любом случае. Может, и построиться надо. В самом деле, когда ещё снесут? Да и снесут ли?.. Теперь голову под крыло, как гусак, не упрячешь. Прежнего покоя теперь уж не видать — на угольях живём...

## ДВЕ СУДЬБЫ — ОДНА ВОЙНА

### 1

Я ушёл добровольцем на фронт после школы в июле сорок второго. Через год мы победно наступали на Запад. Но на подступах к Брянску дальше стремительно на плечах врага продвигаться не удалось — противник оказался в заранее подготовленной, хорошо укрепленной оборонительной системе, да и наших бойцов из-за непрерывных боёв поубавилось. Наступление при-

остановилось, мы закрепились на промежуточном рубеже. Разведка боем, захват “языка”, постоянное наблюдение за противником — для разведчиков в таких случаях обычное дело.

Местность заболоченная. В таких местах деревенские кладбища — на возвышении. Здесь и сделали наблюдательный пункт. Выбрали точку, где к потемневшему кресту склонилась рябина. Выкопали и оборудовали блиндаж для наблюдения. Под прикрытием рябины замаскировали трофейную стереотрубу, прикрепив её к кресту. Днём вокруг нашей секретной точки — мёртвая тишина. Смена только ночью.

Уже больше недели мы не наступаем. Соваться к немцам без тщательной подготовки — себе дорожке. Кругом болота, подёрнутые ряской. Если атака захлебнётся, в землю не окопаться — всюду вода. У врага — укреплённая бетоном позиция. Недаром так тщательно готовится наше наступление. Судя по оживлению, ждать осталось недолго. Всё больше прибывает техники, всё больше пополнения.

Мы продолжаем отслеживать и выцеливать противника. Задача разведчика-наблюдателя — изучать распорядок дня неприятеля, места установки орудий, передвижения живой силы, определять координаты дзотов, блиндажей, систему траншей, места и время наиболее частого скопления солдат и офицеров... Сведения нужны не только нам, пехоте, но и миномётчикам, расчётам артиллерийских орудий, да и другим подразделениям. Я проинструктирован об этом перед своим первым заступлением на пост.

Пост принял перед рассветом. Спускаюсь в блиндаж. Через стереотрубу в ночной мгле ничего не видно. Но всё же то и дело всматриваюсь в темноту: не ведут ли немцы скрытно какие работы, нет ли передислокации. Но пока всё тихо, никаких огней.

Светает. Густой болотный туман сползает в низину. Обозначился вражеский передний край. По-прежнему никакого движения. На склоне видны изгибы ходов сообщения, угадываются замаскированные пулемётные точки. За траншеями, на первый взгляд, ничего нет, лишь трава и кустарники на возвышенности. Но кое-где дёрн сполз и обнажил серый бетон. Горизонтальный обзор позволяет засечь щели амбразур. В течение дня в поведении неприятеля не заметил ничего особенного, никаких активных действий. Лишь звучали редкие выстрелы с их и с нашей стороны. Первое моё дежурство прошло без происшествий.

Через двое суток в сумерках снова заступил на пост. Между нашей высотой и вражеской обороной — лощина, переходящая в заболоченный овраг. Я это знаю. Пять дней назад через него ходили брать “языка”. С такого наблюдательного пункта, в каком я сейчас, просматривается лишь передний край обороны противника. А что там, в глубине, какова численность главных сил, какой резерв, где штаб, командный пункт, склады, сколько какой военной техники, — это может расказать лишь захваченный живой противник. “Языка” мы достали, привели. Оказался он с ценными сведениями. Меня представили к медали “За отвагу”. Всё собираюсь сообщить об этом отцу, да всё не удаётся. Постараюсь написать, как в роту вернусь. Да и от него что-то давно нет вестей. Видать, замотался с колхозными делами. Интересно, пользуется он собранным мной радиоприёмником? На фронт отец не попал — ногу на производстве потерял. Вот и выходит — я воюю здесь за двоих. Уже больше года воюю, обстрелянный боец. Слышу везунчиком. Лишь однажды ранило — и то легко. Пуля коснулась правого бока. Так что и в госпиталь не пришлось направлять. Привели в строевую годность в медсанбате.

Через заболоченный овраг проложена дорога, можно сказать, сооружён мост из брёвен в несколько накатов. Справа и слева — зыбкая топь. Ни бойцам, ни подводам, ни технике для флангового обхода путей нет. На совесть, с немецкой аккуратностью исполнена та дорога. Каково это — гатить болото по всем правилам военной науки — испытывал на себе: отводили грунтовые воды, зыби укрепляли брёвнами, на местах уплотнения грунтов били сваи — усиливали грузоподъёмность дороги. В сапогах чавкает, сам весь мокрый, в грязи, в нос шибает запах болота. Силы на пределе, а брёвна сырые, тяжёлые. Смола хвойных стволов липнет к рукам, гимнастёрке. А сейчас

если бы не эта подготовленная немцами дорога, то пришлось бы и тут выполнять такую тяжкую работу в ходе наступления.

Вглядываюсь в окуляры — та же картина, никаких перемещений. Ближе к рассвету замелькали огни. Усилил бдительность. Вскоре при рассеивающемся тумане стало заметно передвижение немцев по ходам сообщений. Неужели готовятся к атаке? С нашей стороны внезапно заговорила артиллерия. Одно из двух: или немцы решили начать атаку, а наши упредили, или же наоборот — мы наступаем, а немцы разведали об этом и готовятся к отражению атаки. Скорее второе. Мы наступаем. Наша артиллерия бьёт в основном в глубину обороны противника. Несколько снарядов ложатся ближе — за окопы в район вражеского дота. Включились в артподготовку наши миномёты, и мины стали разрываться подле немецких блиндажей и окопов. В стереотрубу видно, как засуетились серо-зелёные вражеские фигуры, а также где недалёт, перелёт и насколько в сторону от цели ложатся мины и снаряды. Сообщаю об этом по связи в закодированном виде в штаб батальона.

— Докладывай открытым текстом! Теперь можно — переходим в наступление! — слышу голос командира.

В открытую продолжаю корректировать огонь. Вижу, как блиндаж взлетает на воздух, как самоходка накрывается вместе с расчётом. Стали отвечать орудия с вражеской стороны, снаряды рвутся позади в районе нашего сосредоточения. Ложатся взрывы и возле меня. Сюда-то зачем? Голое пустое кладбище. Засекли мой наблюдательный пункт, не иначе. Одна из таких точек была уничтожена на прошлой неделе. Теперь, выходит, и мою засекли. Очередным взрывом сломало крест и со стереотрубой отбросило в сторону. Я выбрался установить трубу на место. Другой взрыв вздыбил землю. То ли от тяжести обрушившейся на меня земли, то ли оглушённый взрывом, я не почувствовал боли. Попробовал пошевелить руками. Вроде целы. Где же автомат? Пошарил руками вокруг — не обнаружил. Что-то сдавливает горло. Это ремень автомата. Вспомнил: когда выбирался из блиндажа, автомат был перекинут через плечо и лишь потому его не отбросило в сторону. Пытаюсь ослабить натяжение ремня и вытащить оружие. Но не могу. При каждом усилии острая боль в правом плече. И в живот будто разогретую сковороду сунули. Чувствую: двигаться нельзя. Подкоплю сил — выдерну автомат. Без него никак. Без него я — беспомощный и будто голый. Беззащитный. А вдруг наша атака захлебнётся, и немцы попрут вперёд? Как тогда без автомата? Отдышался и с усилием дёрнул. Ремень ослабился, дышать легче.левой рукой определяю местоположение автомата. Он у меня за спиной. Не только земля, но и сам я придавил его своим телом, потому и не выдёргивается. Приподымаюсь, что есть силы дёргаю за ремень. Холодный ствол упирается в затылок. Замираю. Когда выбирался, автомат был на предохранителе. Но при взрыве он мог переключиться в боевое положение. Осторожно отвожу ствол от затылка, резко дёргаю вперёд, одновременно нагибаясь и помогая телом, — и мрак. Очнулся — в животе сковорода будто разогревается ещё больше. Автомат выдернулся, положил его перед собой — теперь хоть какое-то чувство защищённости. Снаряды с гулом уходят в сторону вражеских укреплений. Вот в атаку пошли первые цепи. Зачем же так рано кричать “Ура!” До боестолкновения ещё ведь далеко. И зачем кричать так тихо? Нет, это не “ура”. Это “гу-га”. Значит, первой идёт штрафная рота. Они при атаке так кричат. Заградотряд следует за ними. Назад нет пути. А раз так, то и мы не будем от вас отличаться — будем кричать не “ура”, а “гу-га”. Этот крик нагоняет страх на немцев. Мы — штрафники, нам терять нечего! Только вперёд! Пусть погибну, но и вас прихватчу на тот свет. А живым буду — волю добуду. Таким мне представляется это “гу-га”. Этот крик действует на немцев гипнотически, парализует волю. Они знают: штрафники не повернут назад и пощады от них не будет.

“Гу-га!” слышится уже далеко впереди. Чем дальше уходит от меня первая цепь, тем согласованнее и громче крики атакующих. Мало кто из штрафников останется в живых. Недаром проштрафившихся наказывают сроками нахождения в штрафроте лишь на один-три месяца. Но кто уцелеет — искупил вину, а с первой кровью, с ранением — чист независимо от срока, восстановлен в правах.



Вот и наш батальон пошёл. Основной поток атакующих следует по дороге, а я лежу у придорожной могилы. Машу им, кричу и стреляю в воздух. Но меня не слышат и не замечают. Я знаю: они нацелены только вперёд. Сам ходил в атаку и понимаю их состояние.

Я один. Лежу недвижно в стороне от боя. Спихватятся ли меня? Не знаю. Батальонные санитары, вернее, санитарки, здесь вряд ли будут искать раненых. Их место впереди, на поле боя. Надежда на штрафников. После выполнения задачи они не последуют дальше с действующими частями, а вернутся назад, к назначенному месту сбора. Но уцелеет ли хоть кто из штрафников? А если и уцелеют, вернутся ли назад именно этой дорогой? Хотя тут вроде никаких других дорог и нет. Как пойдут, заметят ли меня? Не факт, что заметят. Смогу ли им дать о себе знать? Не истеку ли кровью? Не покинут ли силы?..

Хорошо, хоть дожди прекратились. Тело какое-то затекшее, онемелое, будто не моё. Пошевелиться, чтобы не затекло? Но мне не следует двигаться. Всё остальное не от меня зависит. А от кого?.. От Бога?! Ну, почему я, такой молодой, должен умирать?!.. Господи, сделай так, чтоб я остался жив! Я ведь и не жил-то ещё. Я ещё по-настоящему никого и не любил, у меня ни жены, ни детей, у меня всё впереди, я у родителей один. Мне нельзя умирать! Господи, сделай так, чтоб я остался жив! Не допусти моей гибели!..

Не знаю, что на меня нашло. До мозга костей комсомолец, кандидат в члены партии... Раньше ведь и не помышлял о Боге... Вспомнил себя маленьким мальчиком в гостях у бабушки. Вспомнились её иконы в переднем углу, её молитвы...

Забывтьё придало сил. Когда очнулся, впереди гремел бой, слышались, как размытое эхо, голоса. Губы пересохли. Солнце в зените. Больше всего тревожит, что впадаю в безразличие. Гаснет воля. В животе — будто жидкая каша. Она стекает в правый бок и дальше по ноге. В сапоге хлопает. Об этом стараюсь не думать. Лишь бы сознание не отключилось. Вперёд изредка проезжают машины. Вот проехала медико-санитарная с красным крестом. Поздно её заметил. Да если бы и вовремя, что я могу сделать, чтоб и меня заметили? Ничего. Закрываю глаза, считаю до десяти, открываю. Снова и снова. Не знаю, сколько времени так продолжается...

Идут. Их шестеро.

— Братцы! — кричу. — Братцы!

Не обращают внимания. Скоро пройдут мимо.

— Братцы, я здесь!

Не слышат. Вспоминаю про автомат. С напряжением ставлю прикладом на землю, нажимаю на спуск. Обернулись. Взяли оружие наизготовку. Снова кричу, машу свободной левой рукой и стреляю в воздух. Заметили, переглядываются. Стали приближаться. Неужели плачу? Влага стекает по щекам. Подошли. Сказал им, что ранен. Разгребли землю. Один приподнял гимнастёрку и, глядя на живот, удивлённо присвистнул:

— Да он и не жилец!

Молча переглянулись. Мне страшно. Закрыв глаза.

— Нужны нам проблемы? — спросил другой. — Сами еле уцелели, а с ним неизвестно, чем дело обернётся. Лишняя морока.

— И правда, — поддержал третий.

— Так он же нам зачтётся! Мало ли какая выйдет закавыка, — возразил другой.

Я открыл глаза поглядеть на своего заступника. Не определил. Вижу только, что все они смотрят на того, кто в центре. Видно, старший. Всё от него зависит. Он сказал, что надо транспортировать. Но как? Говорю им, что в блиндаже есть плащ-палатка. Сделали подобие носилок, понесли. “Да он не жилец” не выходит из головы. Вспомнил про разговор двух бывалых бойцов в походном госпитале при своём первом ранении. Говорил один другому про какую-то секретную инструкцию — будто запрещено хирургам оперировать раненых в живот, если со времени ранения прошло более шести часов. Как перешла наша армия в наступление, стало больше раненых, а хирургов и медикаментов не хватает. К тому же у тех, кому запоздало штопали внутренно-

сти, процент выздоровления крайне низкий. “Как же медики вывели именно этот срок — шесть часов?” — удивлялся я тогда. Поудивлялся и забыл, почитав, что такого со мной-то уж точно не случится. Забыл, потому что кто же заранее собирается получить пулю или осколок в живот? А сейчас вот вспомнилось. После моего ранения уж точно прошло более шести часов.

Остановились спасители мои поменяться. Опустили меня в плащ-палатке на землю.

— Братцы! — говорю. — Не сообщайте, где меня подобрали, скажите, что вынесли с поля боя. Очень прошу.

— Опять двадцать пять! — недоволен тот, кто говорил о лишней морске со мной. — Скажи “спасибо”, что вообще несём.

— Спасибо, — шепчу я.

— Ладно, не скажем, — успокаивает старший. — А какая разница?

— Так надо, — шепчу. — Прощу.

— Хорошо. Принято.

Может, просьба моя была излишней. Нас нагнала медико-санитарная машина. Штрафники подняли меня к остальным раненым. С ними и попал в полевой госпиталь.

— Когда ранило? — привычно спросил хирург.

Сказал, что в полдень, на поле боя. Он осмотрел живот.

— Когда ранило? — снова наклонился надо мной хирург, пристально вглядываясь в глаза и допытываясь правды.

Я повторил и добавил, что взрывом засыпало землёй. Не могу определить: или он сомневается, или совсем не верит. Если не верит, не станут оперировать, а сразу направят в палату для умирающих. Вот, несут. В операционную! Но после операции всё равно положили к безнадежным. Люди в белом приходили, уходили, наклонялись надо мной — всё это сквозь забытие помнится смутно. Но я и в самом деле оказался везучим. Выжил! Ранение в плечо, в голень по сравнению с животом можно считать пустячными царапинами — кости не задеты. А вот кишки промывали и штопали, как потом сказали, основательно и долго. Спасибо хирургам! Сделали своё дело на совесть, хоть и не верили в меня, раз отнесли потом к безнадежным. Когда убедились в моём спасении, перевели в палату для выздоравливающих. Тут на меня смотрели, как на вернувшегося с того света. Удивлялись, говорили, что при моём случае не выживают. Я и сам удивлялся. Кто-то слышал мою предсмертную просьбу!? Немного поправился — списали подчистую, пожелав успешно полного выздоровления. Земляк-отпускник был провожатым моим до самого Кемерова. Был рад, что сопровождает. Отпуск он давно заслужил, только кто ж его даст в такое время! Если бы не твоё ранение, говорил он, отпуска мне не видать. Приехали, доставил меня в госпиталь, а сам уехал к себе на краткосрочную побывку в Тисуль.

Удивили два события. Пока я воевал, нас отделили от новосибирцев и создали свою, Кемеровскую область. А госпиталь, где долечивался, оказался размещённым в моей родной школе.

Отец на фронт мне уже писал, что трудится председателем колхоза. После выписки из госпиталя он повёз меня на своё новое местожительство — набираться сил и здоровья на свежем воздухе и парном деревенском молоке.

В деревне мы и встретили Победу.

## 2

Я на фронте не был. Ногу в шахте потерял, протез вместо неё. Мужики, здоровье кто, вроде сына моего, — на войне, а тут старики, бабы да ребяташки, ну, и кто вроде меня — непригодный к фронту.

Раз вызывают в райком: “Ты коммунист? В прошлом деревенский? Вот тебе участок фронта — будешь председателем колхоза!” Приехали в город за мной на серой кобыле Ласточке — хорошая такая, худая только, забитая. Антон Кончилов приехал. Собрание. Выбрали председателем. Кончилов меня определил временно к себе. Так я опять начал деревенскую жизнь. Там, в Марчихе, раньше был один колхоз — имени Коминтерна. Теперь хозяйство поделили на два колхоза. Мой колхоз назвали “Зелёный луг”.

Ну, и что мне досталось? Двадцать восемь колхозных семей. Восемь человек из них бездомных. У Антона Кончилова домишко вот-вот развалится. Коней с жеребятами — тридцать четыре, из них рабочих лошадей — двадцать две. Сбрую сами ладили, мешковинами хомутыны обшивали. Коров — одиннадцать, двенадцатый — бык. Четыре свиньи, пятый — боров. Двадцать курей, двадцать первый — петух. Десять овец, одиннадцатый — баран. Пятьсот сорок гектаров зерновых, двадцать — картофеля, три — капусты, гектар — моркови, гектар — огурцов, луку — соток тридцать. Из построек что было? Сушилка начатая, построен корпус. Телятника нет, только стали строить. Конюшня, свинарник были. И коровник — крыша без потолка.

Управились с посевной — занялся строительством. Послал за лесом в тайгу вверх по Томи — нарубили, приплавил. Нанял людей — давай срубы рубить. В первый год телятник поставили, свинарник подремонтировали и удлиннили на два заплота. Под курятник часть старого свинарника приспособили, сушилку начатую доделали. Себе домик поставил. Измотался совсем!

Колхозники три года деньгами не получали зарплату. Люди задолжали, обнищали, изголодались — спасу нет! Колхозников обдирали как липку. Если у тебя живность есть — за неё налог плати, ещё и мясом потом сдавай. Корова-то живая, от неё ведь не отрежешь кусок. У кого вырос бычок, люди складывались — сдавали мясо за двоих, за троих. Так натуральный налог платили. Купишь и сдашь, коли деньги есть. А если нет? Им же три года не платили! Не уплатил — приезжают милиционер, финагент и забирают корову. В первый год председательства у троих вот так забрать коров хотели. Ну, что делать? Колхозными заплатил. Тайком, конечно. Как узнают, по головке не поглядят. Но как я, председатель, не выручу колхозника! А до меня не одну корову со двора свели.

Жали колхозника со всех сторон — уполномоченные по займу, финагенты... Один финагент — по совхозу, другой — по колхозам. Их бывало до пяти человек — смотря какая территория сельсовета. Тогда что делали? Обкладывали сельхозналогом картошку, табак, лук, капусту и прочее. Как только возшло, они приезжают, обмеряют — сколько у кого, потом накладывают налог. Вырастет, не вырастет — это их не касается. Так вот, я людям давал садить картошку на колхозном поле, чтоб голодные себя обеспечивали. Но делянки маскировали. Глянешь со стороны — сплошной колхозный массив, никаких делянок. А если узнают? Страшно подумать!

Тогда как было? В мае месяце после посевной давали наряд-задание по военному займу. А в конце июля выкладывай деньги. Когда займы получаешь — расписываешься, уплачиваешь, если денег нету — должен остаёшься. На колхоз план по займам был отдельно, а на колхозников — другой список. Ну, за колхоз я платил аккуратно — тут попробуй не уплати. А как начнёшь задание по займу среди колхозников распределять — хоть караул кричи. Распределяли председатель колхоза, уполномоченный, члены правления — какой колхозник сколько может вытерпеть. Это очень, очень было сложно. Вот даём, скажем, займу на тысячу двести или полторы тысячи рублей. А где он возьмёт? Чем ему платить? Имеет он корову, свинью, куриц. Ну, поросёнка, может быть. Вот и всё! У нас колхоз-то бедный был. Восемь человек бездомных. Не то что коров — избы своей не имели! А заём плати! Мне как председателю колхоза — десять тысяч, а то и больше платить. Потом прикинул — за всю войну в фонд обороны за займы я пятьдесят две тысячи уплатил. С колхозников было меньше.

Как стал председателем, стал знакомиться с хозяйством. В амбаре у них просо! Они просто не знали, что с ним делать. Но я в деревне рос, после гибели отца от колчаковцев двенадцати годов остался старшим в семье, пахал и сеял. У нас тогда крупорушка была. А тут нет у них. Деревня Сормолотная — в километрах четырёх от нас — имела крупорушку, лошадьми там жернова крутят. Съездил, договорился. Мы обрушили это просо. Создали комиссию в правлении колхоза — продавать пшено на базаре, документ выписали. Всё как положено. После посевной поехали, продали. А просо ценилось, каша да картошка людей и выручали. Кто продавал — привезли деньги, мы в правлении опять создали комиссию — деньги считать. Посчитали и оприходовали. И в сельсовет — извещать район: завтра приезжайте

к нам с финагентами, чтоб, значит, с вами моим людям рассчитаться за заём, за налоги.

Первый год вышли из положения, на второй полегче стало. Съездил в инкубатор, купил цыплят — пятьсот только колхозу, вдобавок колхозникам. Крупу опять на базар — деньгами обзавёлся. Потом яйцами стали торговать на базаре. Уже есть чем дыры латать.

Шеф “Сантехмонтаж” людей нам из Кемерова вырешил. Двадцать мужиков — краше в гроб кладут! — приехали. Конечно, хороших работников кто даст. Самим нужны. Бессемейных, неустроенных, бракованных не только на войну, но и на производство — покойники уже! — шефы нам в подмогу. Они помирать собрались, а я их откормил. Помаленьку-потихоньку вдовы да одинокие колхозницы их по домам поразобрали. Без мужиков-то плохо! Там, глядишь, забор повалился, дров опять же надо нарубить. Ну, нужен мужчина. Разобрали их, значит. В этом деле шибко нам и сосед помог — колхоз Коминтерна. Мы же в одной деревне с ним. А потом военкомат всех на комиссию, мужиков этих отозвали обратно в город. Откормили мы их, значит, можнo забирать. Только кузнец Сидоров остался, МТС на него бронь наложил.

И опять мы при своей малой живой силе. Подошла уборка. У меня кто? Два тракториста, один комбайнёр, один штурвальный, учётчик, водовоз и повариха. Вот и весь штат на уборке. А транспорт — лошадиная сила. Колымаги, парой лошадей запряжённые. Две-три такие брички обслуживают комбайн. Помню, овёс жали. Четыре пары лошадей не успевали отвозить на колхозный ток! Вот такой овёс был. Сорту “Победа”. Самый хороший овёс, тридцать центнеров с гектара. Но мы половину этого овса потеряли. Приехали на эту полосу, когда солнце уже закатывалось. И вот начали. Две брички нагрузили — комбайн стоит, бункер полон. Не успевают подводы оборачиваться с тока. Я послал ещё две брички. А возить было километра три — расстояние порядочное. Два раза объехали — четыре пары лошадей не успевают! Вот так овёс! Ну, мне тракторист и говорит: “Давай оставим. Завтра придём, каких-то три-четыре часа — и поле сжато”. Я и послушался. Погода днём стояла хорошая, а ночью — дождь, ветер. Утром приезжаем на поле — метёлки пустые стоят и вся земля овсом усыпана, страшно смотреть! Вчера четыре брички на круг не хватало, а тут круг дали — всего полбрички. Всё на земле. Как жалко было! Только овёс нас и выручал. Без него гибель. В соседних колхозах по сто да сто двадцать лошадей, у меня рабочих — всего двадцать две, а задание нам дают одинаково. Колхозные работы — само собой. Но ведь ещё отвлекают чистить аэропорт городской и на другие работы. Дорожное строительство с Кемерова на Новокузнецк который год мучило. Мы должны были гравий возить с Томи, укладывать, утрамбовывать. Ну, а сколько там лошадёнка может вывезти? С полкуба, не больше. Целое лето держи на этом строительстве четырёх человек и две лошади. А ведь это нам бесплатная работа. Однажды приезжаю с совещания из Кемерова, а у меня — ни одной лошади! Всех забрали на дорогу. Мастер доротдела как-то пристал ко мне: дай лошадь да дай, ездить не на чем. Я дал молоденького жеребчика. Так он два года с него не слезил. Правда, в благодарность наш колхоз мало дёргал — жеребчик выручил.

Как зима — начинаются мучения с лесозаготовками. Это нам тоже ведь бесплатная работа! У меня пять лошадей в тайге на лесоповале, а десять возят корм для них. От нашей Марчихи до лесоповала километров девяносто. Из дома везёшь воз, а туда привезёшь полвоза. За один день не доедешь. Ночевали в Ермаках. Везут сено пять лошадей — их же в пути кормить надо! Обратно едешь — опять корми. Эти пять, да там пять. Так вот и получается: пока туда сено доставили, готовь в путь следующих пять лошадей. Двенадцать человек и пятнадцать лошадей у меня постоянно заняты на лесозаготовках. А на все остальные колхозные работы где взять людей и лошадей? Доказывал, доказывал — на мой малый колхозишко надо и план ниже! — но ничего не добился. Выполный — и всё. Измотались — спасу нет! Это ещё благодаря овсу лошади держались. У меня возле конного двора амбар был, в него и засыпали. Неучтённый, конечно. Если кони совсем дойдут — пиши пропало. А кто же на них столько овса отпустит! Вот тайком и запасался. Каждый день

поутру, только напоили лошадей, засыпаем по четыре килограмма на голову, на этом и держались. Но донесли, что кормлю лошадей овсом! Сколько этих сигналов на меня поступало! Сын в старших классах увлёкся радиолюбительством. Выписал детали, собрал ламповый радиоприёмник. Направили меня в деревню — взял его с собой, слушал иногда. Так прознали и про это! Забрали. Зачем было забирать-то! Боялись, что буду слушать вражеское радио, что ли? Не положено, говорят, после войны вернём. Так и не вернули.

Сколько комиссий разных было, сколько проверяющих! Ну, и с овсом — приехали проверяющие. А я на всякий случай и это предусмотрел. С заведующим подсобного хозяйства “Сантехмонтаж” договорился, будто у нас в амбаре лежит их семенной фонд, — у них тут двенадцать гектаров посева. На самом деле их овёс лежал в колхозе имени Коминтерна. На случай чего один ключ — у него, второй — у меня. Ладно, приехали из райзо проверять. Говорю: “Нет у нас никакого овса. Есть, правда, у конного двора в амбаре, его мы раньше под овёс занимали, а теперь наши шефы хранят там свой семенной фонд”. Пригласили заведующего подсобным хозяйством, пошли посмотрели. Там уж половина осталась, остальное скормили, — ровно как на семена. Заведующий подтвердил, что это их овёс.

Хоть овёс и выручает, но лесозаготовка — одно разорение нашему колхозу. Мы там двух лошадей, самых лучших, уже угробили. Люди поизносились, одежды нет, пимы поразвалились. Столовая плохая, кормят из рук вон. Ну, никак, никак не по нашему колхозу дело! Посылаю Антона Кончилова как парламентаря с предложением договориться. Привозит он весть: “Пусть председатель сам приедет”. Можно, значит, договориться! Собираю правление колхоза. Говорю: для питания колхозников на заготовке и вывозке леса надо столько-то мяса, хлеба. Цифру обозначил с запасом, чтоб маленько продать на базаре и спирту купить. Ладно. Утверждаю решение правления на общем собрании. Я всё официально делал, а то загремишь без суда и следствия. Зарезали свинью, пару баранов, загрузили муки, спирту купил в городе, — поехали. Приехали, стали на квартиру, посылаю Антона Кончилова к ним. Они говорят, мол, пусть вечером после работы приходит. В таёжной деревне Суэта был пункт заготовки. Как стемнело, взял, что полагается, и пошёл. Познакомились. Трое их там было. Говорю, давайте договоримся, чтобы для нас было хорошо и для вас тоже. Не возражают. Как мы будем оформлять всё? Давайте так, говорят, сразу вы всех не забирайте. Оставляйте лошадку и двух работников. На недельку, не больше. А потом мы их потихоньку отправим. У нас каждый день вывешивается, кто сколько заготовил и вывез. Так что сразу всех нельзя. Дадим квитанцию, что вы полностью свои объёмы выполнили, а число поставите сами, какое нужно. Ну, мы посидели, выпили. Наутро лошадку запрягли, я отправил Кончилова, отвёз он им всё наше привезённое добро. Позже я подошёл, похмелились. Взял квитанцию и уехал. Через неделю у меня все лошади и люди были в колхозе.

Каких только заданий тогда не было! Сдача хлеба по государственному плану. Дальше — натурплата МТС, машинно-тракторной станции, значит. Да ещё пятьсот центнеров должен был сдать в фонд обороны. Колхозникам ничего не остаётся. А им тогда можно было выдавать только пятнадцать процентов от сданного государству.

Во время уборки продавал мужик с Пинигина быка хорошего. Мяса-то у нас нет, а работаем от зари до зари. Решили вскладчину купить этого быка за хлеб. Правление колхоза вынесло решение, отдали колхозное зерно мужику. Привели быка, закололи, мясо разделили, составили ведомость — с кого сколько потом удержат зерна за мясо.

Закончили мы уборку, сдали хлеб и положенные пятнадцать процентов надо людям выдавать. На эти пятнадцать процентов колхознику причитается с гилькин нос. Да ещё за быка надо отдавать. Да ещё, кто совсем с голоду помирал, раньше хлеб в долг выписывал. Выходит, кое-кто совсем зерна не получит. Про то я уже наперёд знал. Ну, и обеспечил заначку — рожь и просо. Это был у меня скрытый намолот. Из неучтённого хлеба я и выделил колхозникам дополнительно по трудовням. Сказать только легко. Тогда такие строгости были! Сразу припишут врага народа и пойдёшь куда следует. Если, конечно, жив останешься.

Я уже говорил: по государственному плану зерно сдал, МТСу натурплату сдал, в фонд обороны сдал. Потом добавили ещё пятьдесят центнеров — сдал, ещё сорок добавили — сдал. А когда ещё пятьдесят центнеров накинули, я и отказался. Откуда берутся эти дополнительные задания? Мы ведь тоже не дураки. Понимаем. У начальства под боком какие есть колхозы — им заниженное задание. От них всё себе тащат — молоко, масло, яйца, хлеб, мясо. Вот за это им побрякка. Да ещё из города шахтёров или ещё кого по разрядке на подмогу. Раскидают остальным их задание, а ты кожьлись. Так самоуправно можно вытрясать зерно без предела. Потому и заявляю, что хлеба больше нету. А вдруг проверять придут! Вот и надо мне скорей хлеб колхозникам раздать.

Приезжаю в контору. Счетоводу:

— Ведомости составил?

— Составил.

— Покажи.

Я просмотрел на выбор. Оба расписались.

— Передашь ведомости кладовщику, — говорю. — Бригадир организует вывозку. Они знают. Отпускайте зерно всем по списку.

Запрягли мне жеребца, и поехал я со своей Марчихи в Маручак. Это километра три. Когда свою уборку закончили, мы туда в помощь послали двенадцать человек. Надо мне узнать, как у них дела идут. Возвращаюсь домой, а к нам в Марчиху, оказывается, уже приехали прокурор районный и бухгалтер райзо. Днём мы раздали хлеб, а к вечеру они приехали. Сидят в конторе, ждут меня. Ну, думаю, пропал! Уже разузнали, труба дело! Кто-то успел сообщить, сейчас начнётся. Прокурор мне:

— Как так получилось, что вы быка за хлеб колхозный людям взяли? Кто разрешил?

Я объяснил: это отдали не хлеб колхоза, а зерно колхозников в счёт трудодней. Я кладовщику ещё раньше сказал: “За мясо, кто сколько взял, обязательно удержи под расписку в ведомости”. Потому спокойно прокурору говорю:

— Мы сегодня хлеб на трудодни раздавали и с каждого за мясо удержали.

Прокурор сразу:

— А документы где?

— У кладовщика.

— Документы чтоб тут были!

Ну, думаю, пронесло. Кладовщик у меня мужик надёжный, всё сделает, как положено. Значит, они только по быку приехали. Отлегло от сердца. Но тут бухгалтер райзо:

— Что вы понаделали? Безобразие! Растащили хлеб, разворовали!

Опять внутри заняло. Выходит, и про это докопались. И так тоскливо стало. Вспомнил я, как мальчишкой в гражданскую с отцом от колчаковцев спасался — на волосок от гибели были. Тогда ведь всё от случая зависело. Не знаешь, какой шаг куда ведёт. Не раз мне эти страхи снились. И сейчас такое же чувство. Ничего не поделаешь, надо идти до конца, не сознаваться же!

— Мы хлеб не воровали, — говорю, — а брали, что положено.

— Отправляй кого за кладовщиком, — говорит прокурор. — Пусть документы принесёт.

— Зачем отправлять? — говорю. — Мигом на лошади сам обернусь.

Мне-то надо узнать, как раздача хлеба прошла. Сел, поехал. А мне к кладовщику мимо дома своего. Когда проезжал, меня и окликнули. Кладовщик и бригадир пришли ко мне домой, сидят, меня ждут. Я кладовщику:

— Рожь раздали?

— Раздали.

— Просо раздали?

— Раздали.

— За мясо удержал?

— Удержал.

— Обе ведомости здесь?

Забрал ведомости и говорю:

— Теперь можете идти домой.

Кладовщик мне:

— А если прокурор нас пригласит? Давай соберём у колхозников хлеб, пока всё в наличии!

Я говорю:

— Ты забудь об этом. Забудь! Мы хлеба лишнего никому не давали. Понятно? Было отпущено, сколько положено по трудодням.

С этими словами взял и порвал вторую ведомость, которая незаконная. Приезжаю, вручаю ведомость прокурору. Он мне:

— Выдели посыльного, надо вызывать людей.

Техничка конторы поступила в распоряжение прокурора.

— А теперь мне надо отдельное помещение.

— Тут чем не глянется?

— Тут вы с бухгалтером райзо будете другим вопросом заниматься.

— А вы разве не по одному вопросу?

— Нет, не по одному.

Выходит, в самом деле им известно про рожь и просо. Но тогда почему сам прокурор не взялся за это дело? Думай, не думай, а деваться некуда. Поехал к председателю колхоза имени Коминтерна. Мы с ним хорошо ладили. Он предоставил прокурору свою контору, техничка ходит за колхозниками, прокурор с ними там беседует. А я, значит, с бухгалтером райзо отдельно.

— Почему дали разную сводку по пшенице в райком, МТС и нам в райзо? — спрашивает он.

Тут душа стала на место. Картина ясная. Убирали мы пшеницу. Был я в то время на районном совещании, приехал, спрашиваю у весовщика, сколько намолота. Он сказал. Вижу, там нету столько. Заставил заворoshить, взял рулетку, замерил, высчитал в кубатуре, превратил в вес. Четырнадцать тонн намолоты приписали мои грамотей! И уже отправили сводку! Показал я свои расчёты бригадиру, весовщику, а они только головами кивают. Зачем, говорю, вы приписали? Подождали бы меня! А теперь сводка пошла в райзо. Там отчёт один, а тут вес другой, там одна цифра, а тут — другая. Я вам не подпишу, говорю, столько тонн намолоту. Та бумажка, что пошла в райзо, не переделана. Получился разрыв. Вот бухгалтер и приехал. Я ему объяснил, в чём дело. Он попросил вызвать бригадира тракторной бригады, весовщика. Они и подтвердили — получилось так-то и так-то. На этом всё у нас и уладилось.

А кого прокурор спрашивал, никто лишнего не сказал. Подтвердили, что за мясо зерно с них сегодня удержали — и всё.

Дождались, наконец, Победы, кончилась война. Хоть не все, но пришли мужики с фронта. Есть кому работать на земле. И у меня радость. Сын вернулся. Хоть покалеченный, но живой. На участке трудового фронта я свой долг исполнил. Попросился обратно в город. На протезе в деревне не то, что в городе. Да и сыну надо постоянно в городе подлечиваться. Колхозники уважили мою просьбу, решением собрания отпустили. С дозволения райкома, конечно. Как же без него!

Подготовка к этому дню начинается загодя. Отец с сыном составляют список продуктов к празднику и всего остального, что полагается. Их обслуживает женщина — социальный работник. Постепенно она делает покупки. День Победы отец и сын встречают в праздничных одеждах. Живут в центре, неподалёку от площади Советов, где пройдут парад и демонстрация. Парада ещё нет, с площади в форточку доносится бодрая музыка. Стол застелен новой скатертью. Но выставлять на стол ещё рано. Это потом, когда завершится демонстрация и с площади народ пойдёт по домам. К ним обязательно с демонстрации зайдут родственники. Так заведено.

А пока с началом парада им надо ощутить праздник вдвоём. На столе — две стопки для фронтowych ста граммов и нехитрая закуска на двоих. Сын, помолвившись, крестится. Подняв стопки, смотрят друг на друга.

— Отец, живём?! — прерывает молчание сын.

— Живём, сынок!..

ВИКТОР КОВРИЖНЫХ



## НАИВНОГО СЧАСТЬЯ КЛЮЧИ

### ПРЕДЗИМЬЕ

А в деревне опять молодая зима  
правит праздником, жизнью и волей.  
Нынче колют свиней, и встречает с холма  
тёрпкий запах дымов и подворий.  
Словно время моё покатилося назад  
вдоль румяных домов и заплотов.  
Под навесами лампы пальные гудят,  
как заоблачный гул самолётов.  
...Завалили свинью на приземистый стол,  
дикий вопль заметался под крышей,  
узкий нож безошибочно сердце нашёл,  
дух с дымящимся лезвием вышел.  
Дым палёной щетины синее в щелях,  
дышит инеем сумрак оконца.  
Кровь очнётся и вспомнит себя в именах,  
озарённых языческим солнцем.  
Гулко цепи звенят и скрипят воротá;  
чует мясо собака утробой:  
дрож истомы — волной от ушей до хвоста,  
и язык — словно пламя озноба!

---

*КОВРИЖНЫХ Виктор Анатольевич родился в 1952 году в посёлке Старо-Бачаты Беловского района Кемеровской области. Автор поэтических сборников “Я, наверно, родился не зря...”, “Непонятно куда мы спешим...”, “Зелёная дудка”, “По токовинской дороге” и “Избранное время”. Член Союза писателей России. Живёт в селе Старобачаты Беловского района.*



Ритуально хозяин сдирает нагар —  
точность рук и наследственный опыт.  
Из распахнутой туши — клубящийся пар  
и Велеса оттаявший ропот.  
Шёпот жёлтых страниц — у хозяйки слова,  
ей хозяин отвечает хмуро.  
Смотрит в небо из снега свињи голова  
сквозь глаза деревянного Чура.  
Тёмный смысл совпадает со всей суетой.  
В доме жарко натоплена печка...  
Вот и мясо на крючьях висит в кладовой  
и янтарная желчь над крылечком.  
Свежина на столе! Тёртой редьки куржак,  
млеют грузди под шапкой сметаны.  
В запотевшей бутылки мерцает первак,  
и гремят нетерпеньем стаканы!  
За здоровье хозяев, достаток, уют,  
чтобы рожь не сгубили морозы!..  
И старинную песню по-русски спюют,  
утирая украдкой слёзы...

### СТАРУХА

Старухе этой — девяносто с лишним...  
Уж немощна она, да и слепа.  
Но, видно, бережёт её Всевышний —  
для смерти не протоптана тропа.  
Живя в квартире дочери и зятя,  
свободная от кухонных забот,  
она молчит в каморке виновато,  
что век чужой давно уже живёт.  
Ей совестно за немощность и кашель,  
и потому, украдкой от родных,  
она на ощупь протирает кафель,  
передвигаясь робко вдоль стены.  
И по ночам к Всевышнему старуха  
взывает все грехи её простить.  
И — умереть, пока тепло и сухо,  
чтоб нам зимой могилку не долбить...

### ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Стихает зной, как пчёлы в ульях.  
Покой задумчивый настанет.  
И в тишину вечерних улиц  
выносят свет ладони ставен.  
На всплеск ведра во мгле колодца  
собачий лай взлетит ответно,  
цепочкой длинною прольётся  
от крайних изб до сельсовета.  
Блеснёт звезда росой небесной,  
примолкнет речка в дымке белой.  
Стволы берёз с холмов окрестных  
струят свой свет во все пределы...

## СТАРАЯ КУЗНИЦА

Копоть и сажа погасших огней.  
Вход занавесил подрост тальниковый.  
Не оседлать здесь воскресших коней —  
ржой изошли стремяна и подковы.  
Звон наковальни полынью сокрыт,  
зябко несёт из дверей пустотою.  
Так просветлённой прохладой сквозит,  
будто под кузней колодец с водою.  
Льются протяжно сквозь щели лучи  
цветом вечерней щемящей печали.  
Словно наивного счастья ключи,  
счастья, которое не доковали.  
Полуистлевшие спицы колёс,  
мохом покрыты венцы и стропила.  
Ветхую крышу прошила насквозь  
жгучим дремучим побегом крапива...  
В полночь под лай деревенских собак  
скорбная тень кузнеца оживает.  
Тяжко вздыхает и курит табак,  
в горне остывшем огни раздувает.  
Глухо меха проворчат, и огни  
вспыхнут на время и тут же погаснут.  
Словно хотел осветить наши дни,  
но убедился, что это напрасно...

ВЕРА ЛАВРИНА



## БОСОЙ БОГ

ПРИТЧИ

### МАЛЕНЬКИЕ ДЕЛА

Одна женщина по любому поводу обращалась за помощью к Господу. Пойдёт на рынок и просит:

— Помоги мне, Господи, хороших горшков купить, чтоб не трескались и не текли.

Начнет кашу варить и приговаривает:

— Дай Бог, чтобы каша не разварилась да не подгорела.

Станет носки вязать и опять:

— Помоги, Господи связать в срок хорошие носочки.

Как-то взялась она кудель прясть, перекрестилась на икону и говорит:

— Помоги мне, Господи, кудельку мою ладно спрясть, чтоб как раз к Покрову управиться.

Вот ей муж и говорит:

— Что ты, мать, часто Господа тревожишь, с куделью да с горшками ему досаждаешь, отвлекаешь по всяким пустякам. На себя больше надейся. Что ты, без Бога кудель свою не спрядёшь? Сказано же было: “Не поминай Господа нашего всеу”.

— Какая же это всеуя?! — всплеснула руками женщина. — На себя только чёрт надеется. Мне Бог во всякой работе помогает.

— Бог, Он работник, что ли, чтоб звать его кудель прясть да люльку качать?

— Бог — великий работник, — отвечает.

---

*ЛАВРИНА (ПРАВДА) Вера Леонидовна родилась в Казахстане, в с. Лавровка Кокчетавской области. Окончила исторический факультет Томского университета. Автор шести книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живёт в Кемерово.*

— То-то и оно, что великий, а ты его ко всяким своим маленьким делам призываешь, — покачал головой муж.

— На моём веку великих-то дел и не будет вовсе: всё горшки, да каши, да кудель, да люлька. Значит, Господь судил мне маленькими делами спастись. Неужели только те, кто большие дела делают, имя Господне призывать могут и о помощи его просить? Бог милосерден, Он всякого слушает и в маленьких делах помогает, и через маленькие дела спасает.

— Смотри-ка, речиста стала, разумные речи говоришь, — подивился он.

— Не я — Господь мне помог. Ведь я сижу да приговариваю про себя: “Помоги мне, Господи, по уму и по истине мужу ответить”. Хоть и маленькое это дело, а Бог помог, вразумил меня.

## МОЛЧАНИЕ

Старый монах Паисий принял обет молчания ради постоянной умной молитвы. Видели иноки, как через эту молчаливую молитву он просветился зримо. Лик его сиял: посидишь рядом с ним — и будто в благодать окунёшься.

Юный послушник Никодим, глядя на него и желая стяжать такую же благодать, тоже принял обет молчания. Слова не скажет, все дни в молчании проводит. Утром придёт к настоятелю за послушанием: молча стоит, ждёт; получит урок, поклонится и уйдёт работу свою делать. Братия с уважением к обету инока относилась. Только блаженный монах Савва, как увидит Никодима, руками замашет, закудахнет, закричит громко: “Клушка-пеструшка молчала-молчала, пока яйцо не снесла, а снесла — закудахтала! Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!” — и начнёт он прыгать вокруг Никодима да головой вертеть, руками махать, будто крыльями. В другой раз, как встретит Никодима, поклонится ему низко и скажет важно: “Слышал ли, болтливая кума молчать решила да вдруг залаяла?” — и залется лаем. “Подь ты совсем!” — злился про себя Никодим, но обета своего не нарушал.

Блаженный Савва был прозорливцем, к его речам всегда прислушивались. “Это он меня так испытывает, — думает Никодим, — а всё равно молчать буду. Господь для смирения мне его посылает”.

И вдруг однажды пришла иноку в голову великая мысль, такая важная, что грех не поведать её миру.

“Я, — думает Никодим, — только одному монаху её скажу, а потом опять молчать буду. А то вдруг я умру завтра, и не узнает никто о великой истине, которую мне Господь открыл молчания моего ради”.

Побежал он к своему сопостнику Симону:

— Симон, пришла ко мне великая мысль, чтоб передать её, нарушаю я обет молчания, запомни её крепко, я потом опять молчать начну. Мысль сия такова: “Если хочешь спастись, то будь мёртв, не принимая ни бесчестия человеческого, ни чести”.

Улыбнулся Симон и говорит:

— Это не твоя мысль, а Макария Великого.

Достал книгу и показал Никодиму эти слова Макария в его сочинениях.

— Как же так, — сокрушался инок чуть не до слёз, — она мне в голову пришла, ради неё я обет молчания нарушил.

Пошёл он в унынии в свою келью. Навстречу ему блаженный Савва идёт.

— Отче Савва, всё ты про меня знал наперёд. Клушка я и есть. Думал, что великая мысль ко мне пришла, ради неё нарушил обет молчания, а мысль эту давным-давно Макарий Великий высказал.

На сей раз Савва не стал подсмеиваться над Никодимом.

— Не печалься, брате, — говорит он, — рано ты за этот трудный подвиг взялся.

— Но ведь старец Паисий уж третий год молчит да благодать стяжает.

— Повод к молчанию у вас разный. Паисий молчит потому, что ему уже нечего сказать. Уразумел он, что истина глубже слов. А ты взялся молчать оттого, что ещё нечего сказать. И вдруг — на тебе! — мысль появилась. Испытание это было. Не гордись, Никодим, трынди покуда.

Молчание — это речь Бога, далеко нам до него.

## У ПОДСВЕЧНИКОВ

Усердную женщину благословили служить в церкви на свечах. Во время службы она стояла у подсвечников, убирала сгоревшие свечи, счищала капли воска, тёрла пол. Работала она с большим радением и ничего не хотела от своей службы получить, только молила Бога об одном: чтоб сподобил её Господь увидеть Ангела небесного. Всякое служение начинала она с молитвы, молитвой заканчивала и всегда в конце молитвы добавляла: “Господи, сподоби меня, грешную, увидеть Ангела Твоего благого”.

Подходили к ней люди, спрашивали, куда свечку поставить, как молиться перед образом, какой святой поможет им в таком-то деле. Поначалу, пока она не шибко истово служила, подробно объясняла людям, куда свечи ставить, как молиться. А потом решила, что разговоры эти отвлекают её от служения и непрестанной молитвы. Спросят её, она головой тряхнёт, рукой махнёт и дальше с усердием свою работу делает и молится. А потом уж и слышать никого не слышала, видеть не видела — так истово делу своему служила, молитвы шептала. И подсвечники у неё всегда в полном порядке — чистотой сияют. Люди к ней уже перестали подходить — знают, что недосуг ей разговоры вести, что великая она молитвенница и праведница.

И вот однажды стояла она, как обычно, у своего подсвечника, тёрла, скребла, молилась. Вдруг кто-то её легонько тронул за плечо, женщина и не подумала повернуться. “Клавдия, Клавдия!” — тихо окликнул её голос. Женщина ничего слышать не хотела — она никогда не отвлекалась от своего служения, не прерывала молитву.

А если б она обернулась, то увидела бы, что за спиной её стоял Ангел Господень. Это он коснулся её плеча и позвал по имени. Но Клавдии недосуг было отвлекаться на всякий зов.

Посмотрел Ангел с грустью на женщину, взмахнул крыльями и растаял в золотом сиянии.

## НЕВСТРЕЧА

Зиновия уверовала в Бога. Она молилась дома и никак не могла решить-ся пойти в храм, робела. Но слышала она, что храм — тело Христово, и там все истинно верующие в великом благолепии пребывают.

И она решила пойти в Церковь. В воскресный день Зиновия принарядилась и, волнуясь, отправилась в храм на встречу со Спасителем. В притворе купила свечи и несмело переступила церковный порог. Солнечный свет стоял под куполом, золотые блики играли на иконостасе, на строгих ликах святых.

Зиновия потянула тонкую свечку к подсвечнику.

— Стой! Стой! — схватила ее руку послушница, стоящая на свечах, и суровым взглядом окинула Зиновию. — Сейчас нельзя свечи ставить. Не слышишь, что ли, шестопсалмие читают! Все свечи погашены!

Зиновия в замешательстве отступила от подсвечника. Она долго держала свечи в руках, не решаясь больше подойти к подсвечнику, свечи расплавились в ее ладонях. Зиновия смяла их в кулачке.

Женщина отошла в сторонку, встала у столпа и стала внимать молитвенному пению. Вдруг кто-то сзади больно дернул ее за волосы:

— Почему голову платком не покрыла?

Зиновия в растерянности оглянулась: перед ней стояла сторбленная старуха с клюкой и злобно выговаривала:

— Пришла в святую Церковь, как на рынок.

— Бабушка, я не знала, что надо платок надевать, я первый раз в храм пришла, — чуть не плача оправдывалась Зиновия.

Закончилась служба, прихожане потянулись к амвону, где стоял батюшка с крестом. Все подходили по очереди и целовали крест и руку батюшки.

— Спаси, Господи, — говорил он каждому.

Зиновия пристроилась в конец очереди.

Когда она подошла ко кресту, батюшка вдруг помрачнел и отвёл крест от её губ:

— Как ты накрашенными губами будешь животворящий крест целовать? — с укоризной произнёс он.

Зиновия повернулась и вышла из храма, роняя слёзы.

“Как же так? Шла на встречу с Богом, а встретила с недобрыми старухами и какими-то пунктами...”

С иконостаса влед ей с любовью смотрел босой Бог.

## БОГАТЫЙ ГРЕШНИК

Один богач, ленивый и несклонный к исправлению грехов и молитве, пришёл в монастырь к игумену и говорит:

— Я вашу обитель достойно награжу, коли дадите вы мне, владыка, самого лучшего молитвенника и прозорливца, чтобы он все мои грехи распознал и замолил их.

— Как же я вам его дам? — удивился владыка.

— Пусть он у меня с месяц поживёт, мои грехи все узрит, запишет, да и потом отмаливает их. Спасение души — дело богоугодное, верно, владыка.

Подумал игумен и согласился, дал богачу прозорливого молитвенника.

Приехали они в дом богача. Тот ему и говорит:

— Ты везде за мной ходи, что увидишь неправильного и грешного, записывай. Вечером показывай мне мои грехи. А потом проси у Господа за меня прощения, отмаливай.

Праведник так и делал: все грехи записывал и вечером показывал хозяину. Несколько листов были исписаны грехами.

— Что-то слишком много грехов получается у меня, — злился богач, — и то грешно, и это грешно.

— Да, так оно и выходит, — отвечал праведник.

— Ты как-нибудь там короче пиши, без фанатизма, а то ведь игумен не похвалит тебя за то, что обитель ваша щедрой награды лишится.

На следующий вечер богач спрашивает:

— Много сегодня понаписал?

— Да нет, один грех только.

Богач обрадовался:

— Ну, покажи!

— А вот:

“День прожит во грехе”.

АЛЕКСАНДР КАТКОВ



РОССИЯ,  
МОЯ БЕРЕГИНЯ...

\* \* \*

*А. Иленко*

Поэт исповедан — потому Поэт.  
И нет уже такой беды печальней,  
Чем родины его многострадальной  
Прощальный, негасимый свет.

Поэт — он виноват во всём  
Среди разрухи, горестных открытий,  
И жизнь его бежит за окоём  
В последний раз,  
по Божьему наитью.

Поэт виновен в том,  
что он Поэт,  
Что разговаривал и с Господом, и с небом.  
И та страна, которой больше нет,  
Как саваном, его укроет снегом.

---

*КАТКОВ Александр родился в 1950 году на хуторе Зайцево Ставропольского края. Учился в Пятигорском институте иностранных языков. Продолжил учёбу в университете имени Карла Маркса в городе Лейпциге (Германия). Защитил дипломную работу на факультете германистики. Работал переводчиком, преподавал немецкий язык в вузах города Кемерово. Автор поэтических книг “Синие ставни”, “Чаша”, “Ветер славянства”, “Путь на Итаку”, “Сирень”. Член Союза писателей России. Живёт в Кемерово.*

## ЖЕНЩИНЕ

Прими же покаянные слова:  
“Ты женщина, пусть не всегда права,

Но ты права уже хотя бы в том,  
Что за тобой очаг, надёжный дом,

И если я беспутной головой  
Тревожу долгожданный локон твой,

Ты знай, я никуда не уходил,  
Среди сомнений я одну любил.

На твой укор я говорю в ответ:  
“На всей Земле тебя дороже нет”.

\* \* \*

Разрушилась страна,  
А я остался цел.  
Меня они не взяли на прицел,

Но я с тех пор живу на той войне  
С разрушенной страной наедине.

Я до сих пор кричу от немоты:  
“Ужель была неправедною ты?”

Ужели ты, пропавшая страна,  
Была так непригожа и срамна?

Ну, почему тебя не заслони́л?  
Да с чем я жил, да где я раньше был?”

Я просыпаюсь, до утра курю,  
В сырую тьму печально говорю:  
“Любимая моя, подай же весть!”  
И мне с небес доносится: “Я здесь...”

## ПОГРАНИЧНОМУ ПСУ (граница Россия — Казахстан, 2009)

По вагонам проходишь, как свой,  
Поводок натянут упруго.  
Не надейся, мой дорогой,  
Никогда не полюбим друг друга.

Понимать — работа твоя,  
С твоим нюхом и вздыбленной шерстью,  
Никогда не обнимемся вместе,  
У меня своя колея,

По которой мой поезд пойдёт  
Дальше, дальше, на родину к маме.  
Ничего у тебя не пройдёт,  
Ты не прядай своими ушами.



Если б знал ты, как жил я в грозу,  
Потому не страшны мне угрозы.  
На могилу мамину слёзы  
Контрабандой я пронесу.

### ВРЕМЯ ЕЛЬЦИНА

Как дрожали Кремлёвские стены —  
До пределов, до крайней точки.  
Даже Спасская башня время  
Нам показывала неточно.

Кто бы знал, как мы в эти годы,  
Пригорюнившись, бедовали.  
На виду, при честном народе  
Мы такой беды не видали.

Всё-то чудится, всё-то кажется,  
Всё-то слышится пьяный рык:  
Над Россией моей куражится  
Заплетающийся язык.

Православные люди отпели,  
Закопали и разошлись.  
Неужели же в самом деле  
Так закончилась наша жизнь...

**ДМИТРИЙ МУРЗИН**

\* \* \*

Не давай мне, Боже, власти,  
Чтоб тираном я не стал,  
Да избави от напасти  
Капиталить капитал.

Ниспошли смягченье нрава,  
Всё, что будет — будет пусть,  
Но не дай отведать славы,  
Потому что возгоржусь.

Ничего не надо даром,  
Для других попридержи  
И большие гонорары,  
И большие тиражи.

Дай мне, Господи, остаться  
Аутсайдером продаж  
И блаженно улыбаться,  
Раздаривши весь тираж.

Но дрожат от счастья пальцы,  
В голове — мечтаний дым:  
Сколько же сорву овец  
Я смирением своим.

**ВИКТОР КИСЕЛЁВ**

\* \* \*

Скажи, скажи, зачем мой стих  
Любовь прошедшую лелеет?  
Мы не пройдёмся по аллее,  
Ты не прочтёшь стихов моих.

Мы рук касаемся других...  
А раньше — было ли милее?  
Как жаль, что став чуть-чуть мудрее,  
Я не увижу глаз твоих.

И ты стареешь не со мной...  
Седым я для тебя не буду:  
Другой хранит тебя как чудо,  
Другая — стала мне судьбой.

И мы — по разным городам,  
И незнакомы наши дети...  
Но чудо, что случилось нам  
Жить всё же на одной планете!

И Солнца свет для нас един  
И освещает нас с тобою:  
Тебя, идущую с другим,  
Меня, идущего с другою.

## ИРИНА ТЮНИНА

\* \* \*

Научите детей английскому,  
Чтобы легче покинуть Родину!  
Пусть забудут горы скалистые  
И дурманящий дух смородины!  
Наше яблоко пахнет яблоком,  
И весна, как стрела летящая.  
Но милее удобство дряблое,  
Словно не было настоящего.

Стать безвестным, ничьим отродием:  
То “планктоном”, то клубным выжигой.  
А на Родине, в огороδικе  
Пашет мама, чтоб как-то выжилося.  
Нет на свете печальней повести,  
Чем Отечества тяжкий камень.  
Вот бы нам прививку... от совести,  
Чтоб не путалась под ногами!

## ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО

\* \* \*

У края зыбкого простого дня,  
что не приметен чем-то необычным,  
стою одна, и радует меня  
полоска света в облаке пшеничном.  
И так светла огромная луна,  
она решила выйти до заката  
и посмотреть, как я стою одна  
и провожаю взглядом её брата.  
А солнце катится к невидимой черте  
уверенно, размеренно, лениво;  
там, за чертой, оставшись в пустоте,  
оно продолжит путь неторопливый.  
Но светом зацепившись за края,  
за контуры домов, событий, судеб,  
неволью оглянётся, не тая  
бескрайней нежности к Земле и к людям.

*Олесь Бузина — самый известный современный украинский писатель. Знаменитый фрондёр, остроумно и беспощадно критиковавший местечковый украинский национализм. Был убит 16 апреля 2015 года в Киеве. Публикация вдовы писателя Наталии Святодух.*

ОЛЕСЬ БУЗИНА

## КАРМА УКРАИНЫ

**“За что?” — повторяют наши люди. А спрашивать надо: “Почему?”**

На свете есть два народа, у которых страдание возведено в культ: евреи и украинцы. У первых есть Стена Плача. Вторые плачут без всякой стены и так. По любому поводу. С библейских времён евреи были убеждены, что Бог, любя свой “избранный” народ паче всех остальных, карает его за нарушение Божественного закона, торжественно врученного Моисею. Так сказать, из великой любви. Желая только добра. Украинцы, напротив, считают, что небеса невзлюбили их просто так. И карают ни за что. Из вредности.

Оба этих мироощущения абсолютно иррациональны. Мир знает множество успешных евреев. Некоторые даже считают, что все деньги принадлежат им и за всеми богачами стоят тоже они. Лично я не разделяю этот предрассудок. Я видел богатых евреев, бедных и даже очень бедных. Умных, талантливых и абсолютно бездарных. Даже евреев-сумасшедших, с блаженной улыбкой перевозивших на тачках бумагу на полиграфической фабрике, куда раз в неделю мы, киевские школьники, ходили на УПК (учебно-производственный комбинат) получать “рабочую” профессию.

Не меньше знает история и одарённых самореализовавшихся украинцев, имена которых известны на весь мир. Непревзойдённый Гоголь — мистик и юморист, овладевший русским языком лучше любого уроженца так называемой коренной России. Богдан Хмельницкий, рискнувший бросить вызов самой могущественной державе тогдашней Восточной Европы — Речи Посполитой — и победивший её. Великий режиссёр Сергей Бондарчук, снявший лучший фильм всех времён о Наполеоне — “Ватерлоо”. Непобедимый фельдмаршал Паскевич, одержавший победы над Персией, Турцией и Польшей. Плеяда блистательных советских маршалов, вышедших из Украины, — Малиновский, Рыбалко, Черняховский, Гречко. Прекрасные актёры — Гринько, Ступка, Брондуков...

И, тем не менее, выражения “еврейская тоска в глазах” и “тужлива українська пісня” говорят сами за себя. Повторяю, оба народа любят пострадать. Есть в их психологии что-то неистребимо мазохистское. Недаром Ющенко копировал культ Голодомора с культа Холокоста. И то, и другое, естественно, имело реальные причины. Я специально расспрашивал у своей бабушки, родившейся в 1920 году, о голоде 33-го. Голодали страшно. Один из их соседей убил мальчика, выкапывавшего в его огороде клубни недавно посаженного картофеля, а тело прикопал на меже. Другой сосед раскапывал могилы на кладбище и снимал с покойниц, похороненных в хорошие времена, золотые и серебряные украшения. Все село это знало и говорило ему:

“А как же Бог?” Тот отвечал с иронией: “Бог-то Бог, а сам не будь плох!” Прапрабабка по мужской линии умерла в нашей семье именно в 33-м.

Но возводить всё это в культ? И отмывать деньги на памятниках умершим в то время, когда сегодня население Украины сокращается ударными темпами и без всякой войны с 1992 года лишилось 6 миллионов человек?! По-моему, это чудовищно. Поверьте, я физически не мог выносить Ющенко с его танцами на костях. Концентрироваться на страданиях — это притягивать их к себе снова.

Все народы в той или иной степени страдали. Франция вытащила на своей крови Первую мировую войну. В процентном отношении она понесла тогда самые высокие потери. Больше России, Германии, Италии, Австро-Венгрии. Демографические потери её были так высоки, что на Вторую мировую французского “эллана” (боевого пыла) уже просто не хватило. Достаточно немцам было обойти в 1940 году линию Мажино, и вся французская армия бросилась наутёк.

Но вы не встретите в истории Франции болезненной зацикленности на этих утратах. Французский военный музей в Париже буквально набит памятью о победах. Там даже Наполеона, не раз битого русскими, англичанами и немцами, всё равно воспринимают как непревзойдённого полководца! Забудь неудачи, помни только о хорошем — первое правило сохранения здоровой психики. Для плача достаточно носового платка. Стена заставит вас изойти на одни слёзы. Лучше плакать украдкой. Чтобы никто не видел. Недаром говорят: Москва слезам не верит.

Будучи до недавнего времени преимущественно крестьянской страной, Украина никогда не задумывалась об отдалённом будущем. Крестьянин живёт годичным циклом: вспахал, посеял, собрал урожай, расслабился зимой. И так до бесконечности. Тучная украинская земля могла прокормить всех без излишних усилий. Иностранцы, посещавшие страну в XVII веке, не замечали особого трудолюбия у “народа казаков”. Украина так плодородна, писали они, что множество фруктов и осыпавшегося зерна просто пропадает в садах и полях. Реки кишели рыбой. Леса — зверьём. Интенсивное развитие просто не требовалось в этих условиях земного рая.

**Выживать в одиночку.** Сильная черта украинца — его индивидуализм. Если присмотреться к нашему крестьянину, он умеет всё. Или почти всё. Наши заробитчане, строящие дома в Европе и России, преимущественно такие же крестьяне. Их жены дома занимаются хозяйством, а мужья добывают живые деньги на заработках. Кризисное время снова вызвало эти способности у среднего украинца. Когда колхозы развалили, а фермы растащили по кирпичу, работы просто не осталось.

В этом смысле украинский крестьянин, несомненно, сильнее потомка чернокожего плантационного раба из США — у того никогда не было своего хозяйства. Он работал на плантации латифундиста, выполнял простейшие операции — например, собирал хлопок — и ни о чём не думал. Недавнее банкротство Детройта — города, заселённого потомками негров-рабов, блестящее тому свидетельство. Чернокожие рабочие выполняли простейшие операции на автосборочном конвейере точно так же, как их дедушки собирали хлопок на плантациях. Закрутить гайку, подсоединить проводок, прикрутить зеркало, получить зарплату в конце недели. И никаких мыслей о будущем, кроме танцев и пьянки на выходных.

Когда крупные компании из-за засилья профсоюзов вынесли автомобильные заводы из Детройта сначала в Мексику, а потом в Европу и Азию, Детройт умер. Подсоединение проводка заменила доза героина. И никто не перестроился! Такова сила косности, передающаяся по наследству из поколения в поколение.

Наши, если не считать тех, кто просто спился и умер после закрытия предприятий и исчезновения государственного контроля за поведением граждан, предпочитают выкручиваться любыми способами. Но в одиночку. Или мелкими группами. И обычно никогда не думая о том, что будет дальше, чем через год. Отсюда — слабая коллективная память. Одному и тому же красноречивому проходимцу будут верить из года в год просто за его обещания. Чем слаще говорит, тем лучше. Всё, что не получается, всегда можно сбросить на козни врагов. А жить не реалистичными планами, а иллюзиями. Объявим независимость, и всё наладится. Протащим Ющенко на майдане — и всем будет счастье. Вступим в Евросоюз — и станем богатыми и культурными

европейцами, а моча в подворотнях Львова и Киева испарится сама собой. Чудом! Не успев долететь до земли из переполненного пивом живота.

**Горе от избытка “поэтов”.** “Пересічний” украинец, о котором так много говорят, — существо глубоко эмоциональное. Эмоции в нём перевешивают рас-судок. Иллюзии — чёткость зрения. О чём, к примеру, говорит обилие поэтов и кобзарей в украинской истории? О повышенной эмоциональности народа.

Но поэты — люди не конструктивные. Даже самые выдающиеся. Гениаль-ный Франсуа Вийон сгинул без следа в молодом возрасте. Пушкин и Лермон-тов буквально нарвались на пули. Шевченко сам убил себя водкой и триппе-ром, который тогда лечили ртутью. Это самоубийственная профессия. Если народная поэзия слишком богата, значит, нация обладает повышенным про-центом неуравновешенных импульсивных индивидуумов.

В Украине поэтов всегда было в избытке. Зато не хватало инженеров и менеджеров. Не “манагеров”, как их сегодня презрительно называют, а именно МЕНЕДЖЕРОВ — то есть организаторов производства, толковых уп-равленцев. Для крестьянина-индивидуалиста никакие менеджеры были не нужны. Он сам был себе на хуторе директором. Но время маленьких хозяйств на клочках земли стало кончатся уже в начале прошлого века. Крестьяне-единоличники проигрывали крупным помещичьим хозяйствам, построенным на научной основе (с агрономами, зоотехниками, машинами и правильном севообороте). Крестьянин думал, что все его проблемы в нехватке земли. Но когда после революции землю поделили, зерна больше не стало — его про-изводство, наоборот, уменьшилось по сравнению с 1913 годом — последним перед катастрофой Первой мировой войны.

Советские колхозы (фактически возвращение к государственным “помес-тям”) были попыткой выйти из этого кризиса. То, что от них отказались после Перестройки, — трагедия, а не прогресс. Достаточно посмотреть на современ-ное вымершее украинское село, куда бригады трактористов приезжают весной из города пахать, а комбайнёров — летом убирать. В этом одна из причин сни-жения рождаемости в стране. А если нет рождаемости, не будет и потребите-ля. Некому станет даже памперс продавать! Экономика может развиваться только за счёт людей, производящих и потребляющих товары. Как она может расти, если люди умирают или эмигрируют из страны?

Показателем силы нации всегда была армия. На данный момент она на-считывает в Украине меньше 200 тысяч человек. Боевой состав не дотягива-ет даже до 100 тысяч. Всё остальное — это военкоматы, училища и оркестры. Есть жуткая статистика. В бюджете 2010 года — его заложили ещё при Ющен-ко — на содержание военных оркестров и ансамблей песни и пляски выделя-лось денег больше, чем на боевую подготовку! Это был, так сказать, симво-лический финал майданной эпохи.

Сегодня эта диспропорция изменилась в обратном направлении. Но новые виды техники не разрабатывают или не закупают. В передовых армиях основ-ным видом боя становится ночной. Американцы оснастили свои войска прице-лами ночного видения и тепловизорами. То же самое сейчас делает и Россия. А для украинца престижным стало не служить. “Нащо нам та армія, — сказал мне на днях один молодой человек. — Зараз армії нічого не вирішують”.

Тогда почему же американцы несут “демократию” в Ирак и Афганистан именно военными методами, а энергетическую независимость для своей страны добывают с помощью завоевательного похода на Ближний Восток? Почему Фран-ция упорно содержит свой авианосец, который позволил ей свергнуть прави-тельство в Ливии? Почему в израильской армии служат даже девушки? Потому что армия — это кулаки и мышцы нации. Без них здоровое тело невозможно.

Если бы наше правительство нашло в себе силы достроить тот же крейсер “Украина”, это обеспечило бы работой множество людей, показало способ-ность государства содержать хотя бы один крупный корабль и позволило вме-сто “эскадры разнородных кораблей” создать хоть одно действительно боеспо-собное, а не декоративное соединение под украинским флагом. Ведь даже возвращение в строй устаревшей подводной лодки “Запорожье” позволило не угаснуть навыкам подводного плавания на Украине.

**Чуда не будет.** В мире нельзя выжить без друзей. Исторически так по-лучилось, что Украина вызрела в составе России и Советского Союза. Побе-ды Румянцева и Суворова дали возможность освоить Дикое Поле — нынешние Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Донецкую и Луганскую области. Нужно

уметь быть благодарными. Это Империя присоединила к Украине Закарпатье, Галичину, Крым, Новороссию. Ничего этого у Украины не было во времена Богдана Хмельницкого! Это Империя построила тут мощнейший промышленный потенциал, который пилили и разбазаривали на протяжении 22 лет независимости. Южмаш в Днепропетровске, судостроительные заводы в Николаеве, авиационный завод в Киеве, огромное количество НИИ, разрабатывавших до 1991 года передовые технологии, – наследие именно советского и российского имперского прошлого. Всё это не нужно Западу – у них такое своё есть. Оживить эти производства можно только в теснейшем союзе с Россией. А производства – это рабочие места и семьи, в которых рождаются дети. Никакие ассоциации с Евросоюзом не принесут нам счастья. Там всё поделено. Там богатый север в виде Германии и Франции эксплуатирует бедный юг, указывая, что кому сеять и в каких количествах.

История показывает, что украинец процветал только, когда находил общий язык с Москвой и чувствовал себя частью общего русского мира. Никаких других дорог к процветанию у Украины нет. Двадцать два года “многовекторности” и “евроинтеграции” это прекрасно доказали. Если кому-то нужно ещё десять или двадцать лет биться головой об дерево, чтобы убедиться в этой элементарной истине, пусть бьётся. Но поправить карму Украины можно, только вернувшись в Русь.

### **КАК ЛАЗАРЬ МОИСЕВИЧ С ИЗРАИЛЕМ ЮДЕЛЕВИЧЕМ УКРАИНУ УКРАИНИЗИРОВАЛИ**

У нас обожают говорить о “русификации”, насаждавшейся царской Россией и СССР. Но очень не любят вспоминать о насильственной украинизации 20-х годов, проведённой советской властью. Историки хорошо знают о ней всё. Но на официальном уровне в нашей “свободной” стране их не слышат.

Специально возьму для примера очень известную книгу “Украина: история” канадского профессора Ореста Субтельного. В начале 90-х она была бестселлером. Выдержала несколько изданий огромными тиражами. Так что найти её и проверить мои слова – проще простого. Достаточно заглянуть в любую библиотеку или на книжный рынок “Петровка”.

“У 1923 р. на XII з’їзді партії, – пишет Субтельный, – її керівництво покляло початок політиці коренізації. Воно закликало спільними зусиллями добитися, щоб у партію та державний апарат йшли не росіяни, щоб службовці вивчали і користувалися місцевими мовами, щоб держава підтримувала культурний і соціальний розвиток інших народів. Український різновид цієї політики називався українізацією.

Перш ніж братися за українізацію, належало провести зміни в партійному керівництві України. Це керівництво переважно складалося з присланих із Москви радянських урядовців чи місцевих євреїв. В основній масі вони не вивчали великого розуміння необхідності українізації й ще менше були схильні втілювати її”.

Субтельный не особенно распространяется о причинах такого непонимания в украинских партийных кругах. Но оно заключалось в следующем. До революции украинцы считались частью единого русского народа, состоявшего официально из трёх ветвей: великорусской, малорусской и белорусской. Жители городов разговаривали на русском языке. И даже крестьяне предпочитали читать написанные по-русски книги.

Революция показала, что подавляющая масса населения Украины не подержала курс Центральной Рады на отделение. Большинство украинцев сражались или в красной, или в белой армиях, или у батьки Махно и других атаманов. На Грушевского, а потом Петлюру ориентировалось меньшинство.

Победив в гражданской войне, красные создали Украинскую социалистическую советскую республику, включив в неё, кроме традиционных “малороссийских” областей (бывшей Гетманщины Богдана Хмельницкого), ещё и три новороссийские губернии – Таврическую, Екатеринославскую и Херсонскую, отвоёванные в XVIII веке у татар Екатериной II, а также Донбасс, относившийся до этого времени к Области войска Донского.

Сделано это было, чтобы наказать донских казаков, поддержавших в гражданской войне белых, и разбавить крестьянскую массу украинского народа

рабочим классом востока и юга. Но разговаривал этот рабочий класс, естественно, по-русски. На это справедливо указывали московскому руководству некоторые местные коммунисты, например, видный деятель компартии Дмитрий Лебедь, который говорил, что русская культура связана в Украине с прогрессивным пролетариатом и городом, а украинская — с отсталым крестьянством.

“...ряд інших визначних партійних чиновників-неукраїнців відкликали, — продолжает Субтельний. — На їхні посади призначили таких лояльних і дисциплінованих представників Москви, як Лазар Каганович (український єврей, котрий очолив партапарат України й був готовий проводити лінію партії на українізацію), або українців, які щиро зичили успіху українізації”.

Сегодня у Лазаря Моисеевича в Украине плохая репутация. Ультранационалисты регулярно называют его “катом українського народу”. А ведь какая несправедливость! Именно этот “кат” и взялся со всей свойственной ему энергией за воплощение в жизнь политики украинизации — то есть переучивания горожан, независимо от их происхождения, на украинский язык села.

Дело это было в высшей степени непростое. Ведь никакого выработанного литературного языка, понятного большинству “украинцев”, которых срочно в массовом порядке создавали по приказу из Москвы, не существовало! Помните, как тужил по этому поводу Евгений Чикаленко?

Но то, что приводило в ступор просвещённого украинца Чикаленко, совершенно не смущало еврея Кагановича. Если эти так называемые украинцы не желают говорить на этом никому не понятном, новоизобретённом украинском языке, мы их заставим! Заставим со всей большевистской энергией и энтузиазмом! И горе тем, кто нам не подчинится, — партия ему покажет кузькину мать!

Кагановичу деятельно помогал бывший комиссар юстиции Николай Скрыпник, переквалифицировавшийся в наркома просвещения. В 1923 году партийным и государственным чиновникам приказали пройти спецкурс украинского языка. Через два года его ввели в государственную переписку. А в 1927-м Каганович постановил, что всё партийное делопроизводство будет вестись только по-украински.

Скрыпник добился того, что более чем в 80% общеобразовательных школ преподавали на украинском языке. Пик украинизации совпал, как ни странно, с голодомором 33-го года, когда кулачество стали уничтожать как класс. Именно в этом году из 426 газет республики 373 выходили на украинском языке. А если мы посмотрим на снимки этого периода, то обнаружим, что все лозунги, призывающие уничтожать кулаков, написаны на украинском языке.

В городах, где традиционно разговаривали по-русски, а также в Новороссии, в которой разговорным исконно был только русский язык, политику Кагановича и Скрыпника воспринимали когда с иронией, а когда и с откровенным раздражением. Профессор Толстой из Одессы даже высказался с полной откровенностью: “Я считаю всех товарищей, которые перешли на чтение лекций на украинском языке, ренегатами”.

Постепенно и в Москве начали понимать, что перегнули палку, заставив украинизироваться, а словно стричься под горшок. Официально считается, что с середины 30-х курс на украинизацию стали сворачивать. На самом деле это не так. Его просто смягчили, добавив в школы вторым языком русский. Но большинство книг, газет, а в 50–70-е годы и телепередач продолжали выпускать только на украинском языке.

Сложилась удивительная ситуация. Народ хотел читать по-русски, а Спілка письменників впаривала ему свою продукцию на украинском по принципу “лопай, что дают”. Партия и правительство поддерживали эту политику. Хорошо помню, как в середине 80-х я ходил в литстудию при Киевском доме учёных. Почти все участники её — городские молодые люди — писали по-русски. Но публиковаться было нигде! В УССР выходил только один русскоязычный литературный журнал — “Радуга”. Самодовольные члены Союза писателей, иногда заглядывавшие к нам, важно надувались в ответ на наши претензии: “От напишите щось путне, тоді й опублікують!” Нас они не слышали — ведь их защищала советская государственная монополия.

У нас любят рассказывать о жестокости советского режима по отношению к сознательным украинцам в 20-е годы. На самом деле это не так. Разбив Петлюру, большевики сразу же стали переманивать бывших петлюровцев на свою сторону. В Украину из эмиграции приехал Юрко Тютюнник — бывший генерал УНР. На родине он занялся литературной деятельностью. Советское



государственное издательство в Харькове уже в 1924 году выпустило его мемуары “С поляками против Украины”.

Его судьбу повторили и многие другие известные по школьным хрестоматиям “письменники”. Например, популярный юморист Остап Вишня. При царском режиме он окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве. Но медициной занимался недолго. Во время гражданской войны пописывал юморески для петлюровских газет, а потом занялся тем же в газетах советских. Между прочим, откликнулся в свойственном ему сатирическом стиле и на убийство Петлюры в Париже. Не сдержался! А мог бы! Ведь служил когда-то головному атаману!

Бывший офицер русской армии Петро Панченко оказался сначала в петлюровской артиллерии, а потом... в советском Союзе писателей Украины. Петлюровскую молодость он вспомнил в повести “Голубые эшелоны”, описав режим УНР как республику на колесах. А потом сочинял для детей – о хороших красных и плохих петлюровцах и белых. Как он так перестроился – уму непостижимо! Я б не смог!

Но самым знаменитым экс-петлюровцем на службе советской литературе был Владимир Сосюра. Совсем молодым мальчишкой он дослужился до бунчужного – по-нынешнему, сержанта. Потом вместе со своим командиром – атаманом Волохом – перешёл к красным. Как утверждал впоследствии, по убеждению. А дальше пошло-поехало: поэмы про Мазепу вперемежку с поэмами, восхваляющими советскую власть. От перенапряжения и внутренней раздвоенности чуть не сошёл с ума. Даже сидел в харьковской “дурке”. Несмотря ни на что, оставил очень талантливую книгу “Третья рота” – о своих приключениях в 1918–1920-м годах. Советую почитать – замечательно описано, как петлюровцы расстреливали пленных. Вышла книжка уже при независимости. В советские времена цензура не пропускала её из-за натуралистических сцен.

Служил в молодости у Петлюры и автор фильма “Щорс” – кинорежиссёр Довженко. Попал в плен к красным. Но те его не съели и не порезали его кожу на кобуры для наганов, а выучили на “кіномитця”. Выучился так славно, что в разгар голодомора снял классический фильм “Земля” – о сытых наглых кулаках, убивающих на селе коммунистов. В действительности всё было наоборот, но Довженко предпочитал этого не замечать: жить же надо было! Числился он и по Союзу писателей – как автор сценариев.

Всеми этими бывшими головорезами из петлюровских банд, неожиданно превратившимися в деятелей культуры, надо было кому-то руководить. В 1934 году образовали Союз писателей Украины. Его главой назначили Израила Юделевича Кулика – уроженца города Шпола на Черкасщине. В независимой Украине ему не повезло из-за национального происхождения. Очень уж не любят вспоминать у нас, что первым председателем украинского Союза писателей был еврей. Тем не менее, это факт, против которого, как говорится, не попрёшь.

Большинство уроженцев Украины, до революции окончивших гимназию и занимавшихся литературой, бежали от политики украинизации в Москву. Так поступили Валентин Катаев, Ильф и Петров, Бабель, Булгаков, Нарбут. А согласившимся украинизироваться литераторами рулил из Харькова Кулик. Это было его “болото”.

Человек этот имел необычную биографию. Родившись в 1897 году, он поступил в Одесское художественное училище, а потом в 17 лет эмигрировал в США. Работал там на шахтах Пенсильвании и пописывал на русском языке в социал-демократическую газету “Новый мир”. Узнав о революции, бросился в Россию и уже в октябре 1917-го руководил в Киеве ревкомом. А в декабре того же года стал самым молодым членом Советского правительства Украины – наркомом иностранных дел. В 20-е годы работал консулом в Канаде. И только потом наставлял на путь истинный писателей. Кончил плохо – расстрелян в 1937 году. Между прочим, как украинский националист. В книге “Писатели Украины – жертвы сталинских репрессий” цитируется его признание на следствии: “Я настільки зрісся з українськими націоналістами, що коли... запропонували мені – єврею – вступити до української націоналістичної контрреволюційної організації, я розцінив це як висунення мене на роль “рятувальника” українського народу”.

Жаль, что этот человек, так много сделавший для “украинизации”, теперь несправедливо забыт.

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

## ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Роман-биография Валентина Катаева\*

### Москва

Переезду в Москву способствовало новое возвышение Владимира Нарбута, которого перевели в столицу в отдел печати ЦК РКП(б). Следом потянулись его подопечные, первым из которых был Катаев. Но в Москву поехал и Сергей Ингулов — поступил в Главполитпросвет на должность зам. завгитотдела.

В Москву отовсюду, из родных мест и тех, куда были заброшены гражданской войной, съезжались молодые литераторы, например, Михаил Булгаков — из Батума через Киев в 21-м; Николай Асеев в 22-м — с Дальнего Востока; почти в то же время, что и Катаев, из Харькова перебрался Георгий Шенгели. “Едущих в Москву можно было распознать по блеску глаз и по безграничному упорству надбровных дуг”, — наблюдала Вера Инбер. Они ехали оттуда, где только кончилась война и всё время менялась власть, туда, где давно шла мирная жизнь.

“Я мечтал раскусить Москву, как орех, — признавался Катаев. — Я мечтал изучить её сущность, исследовать, осмотреть, понять, проанализировать. Я мечтал увидеть наркомов и Кремль, пройтись по Тверской, снять шапку перед мелкими куполами арбатских часовен (о, Бунин, Бунин!)”. Приехал он в марте, в потёртом пальтишке, перешитом из солдатской шинели, с плетёной корзинкой, “запертой вместо замочка карандашом, а в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья”. “Как сейчас помню только что появившегося в Москве молоденького В. Катаева в какой-то пелерине вместо пальто”, — писал артист театра оперетты Григорий Ярон.

Это была Москва храмов, бульваров, переулков, голых садов, деревянных домиков, извозчиков и громыхающих среди талого снега трамваев. Столица нэпа. Время *разгульного мещанина* — обилие торговых лавок, частных магазинов, закусовых, пивных, кабаре и ресторанов, где выступали артисты-куплетисты и цыгане. Начался журнальный бум: множество изданий с юморесками, пародиями, карикатурами, фельетонами, весёлыми зарисовками из обыденной жизни.

“Помню, я в первую ночь после приезда ночевал на десятом этаже дома Нирнзее”, — делился Катаев. Увиденное с этой высоты он обрисовал че-

\* Продолжение. Начало в №1 за 2016 год.

рез год в еженедельнике “Красная нива”: “Внизу шумела ночная Москва. Там ползли светящиеся жуки автомобилей и последних вагонов трамвая. Из ярких окон пивных и ресторанов неслась музыка, смешиваясь с гулом толпы и треском пролёток. Светящиеся рекламы были выбиты на крышах электрическими гвоздями”.

Он встретился с поэтом и драматургом Андреем Глобой, который, извинившись, сказал, что должен идти к портному. Катаев, отвыкший от комфортных условий, был шокирован. К портному!

В Москве он сначала жил у Андрея Соболя. Но совсем недолго: сильно стеснял, да и многие атаквали жилище москвича. Переехал в Мыльников переулок (ныне улица Жуковского) в районе Чистых прудов, снял квартиру у Ляли Фоминой, как посоветовал ему знакомый литератор. По всей видимости, “великая блудница” из рассказа “Фантомы”, приторговывавшая самогоном, и была та самая Ляля: “Универсальные брошюры по всем вопросам литературы, техники, философии, этики, социологии и животноводства сыпались из этой мрачной дамы, как из взломанного шкафа полковой библиотеки. Она уничтожала меня цитатами, зловеще хохотала, высывала из-под одеяла толстую голую купеческую ногу, вращала облупленными яйцами глаз, чесалась под мышками, забивала в рот куски хлеба и жрала столовой ложкой сахарный песок”.

Точный адрес в Мыльниковом переулке был: дом 4, квартира 2.

Арон Эрлих, приехавший в Москву из Тбилиси, расценивал катаевский быт как вполне сносный по сравнению с тем, что выпало другим гостям столицы: “Квартира из двух маленьких, но настоящих и вполне благоустроенных комнат с гардинами и занавесками, с мебелью, с чайным и обеденным сервизами, даже с домашней работницей”. Конечно, домработница появилась со временем, да и обстановка стала меняться постепенно, когда жилец начал неплохо зарабатывать.

На следующий же день после приезда Катаев отправился в Главполитпросвет. “Здесь был Ингулов, работал одним из заместителей Крупской... Он меня встретил словами:

— Да вы как будто с неба свалились. Мы хотели телеграмму вам послать, ищем для журнала “Новый мир” ответственного секретаря”.

Там Катаев познакомился и с самой Надеждой Константиновой.

Тот “Новый мир” просуществовал совсем недолго, вышло два номера, и всё же, говорил Катаев, “отсюда и пошли мои литературные связи”, завязалось знакомство с ЛЕФовцами. Журналом в основном занимался Александр Серафимович, живший в “Национале”, где прямо в его номере велась вся работа. Другим редактором был Нарбут.

Но главное — талант, бравший разбег ещё из детства. По замечанию Знайки Шишовой: “Юношеские катаевские рассказы, перевезённые в Москву, не стали от этого хуже. А многие ли провинциалы могут этим похвалиться?”

“Новый мир” опубликовал рассказы Катаева “В осаждённом городе” и “В обречённом городе”. Последний — переименованный “Опыт Кранца”, который ещё в 19-м дважды выслушал Бунин, был отредактирован Серафимовичем. Тот упрекнул Катаева в “одностороннем, условно-романтическом изображении жизни Одессы в годы острой классово-борьбы” и сам дописал последний абзац. Изначально у Катаева всё завершалось эффектным изложением: “В ушах стоял оглушительный колокольный звон, и красными буквами гремела фраза, сказанная чьим-то знакомым и незнакомым голосом: “Вы держите папиросу не тем концом”. Правовёрный Серафимович решил добавить суровых слов, создающих революционно-пролетарский контекст: “А в это время на тёмных и глухих окраинах рабочие уже смазывали салом пулемёты, набивали ленты, выкапывали ящики с винтовками, назначали начальников участков, и новый день, обозначавшийся светлой полосой за чёрными фабричными трубами, был последним днём Вавилона”.

В другом рассказе — “В осаждённом городе” — студент лирично откровенничал перед пьяным матросом: “И представляешь себе Россию, как шкуру огромного белого медведя, по которой во все стороны ползут поезда”, — и тянулся почитать свои стихи, но тотчас, распознанный как контра, полу-

чал пулю. В этом рассказе, где на месте не убийцы, но убитого легко увидеть Катаева, был тот странный привкус авторской философии, который возник уже в текстах первой мировой: кажется, Катаев совсем не сожалел о злом повороте житейского сюжета, ощущая особый трагичный цинизм...

“Выпускали его в противовес нэповским журналам”, — вспоминал позднее Катаев о “Новом мире”, подразумевая, что руководили журналом назначенные ЦК партии писатели-коммунисты. “Так начиналась борьба с нэпом в печати”, — объяснял он, но это не мешало ему печататься и в изданиях нэповских, то есть кооперативных, не государственных. В журнале “Рупор” (всего вышло пять выпусков) он опубликовал несколько стихотворных фельетонов на “бытовую тему”, а в журнале “Москва” (вышло семь выпусков) — автобиографический рассказ “Сэр Генри и чёрт”.

Уже через год стихийное искусство и, прежде всего, сатира начали стремительно сужаться до “общественной пользы”. Надежда Мандельштам, не жаловавшая оглушительный юмор одесситов и футуристов, полагала, что в начале двадцатых всплеск “шуточек” означал и их оскудение, и в дальнейшем шутка “использовалась как хорошо оплачиваемый агитационный приём”. Однако “шутка Мильникова переулка была безобиднее, пока она существовала в устном фольклоре Катаева”.

В Москве, как до того и в Одессе, и в Харькове, Катаев с первых дней был не прочь заработать на “общественной пользе”. По заказу Главполитпросвета он начал сочинять стихотворные агитки, которые визировала Крупская, требовавшая “ультразлободневности”. Иногда она вызывала его в кабинет, делала замечания, а заодно рассказывала о своём муже, о жизни в эмиграции и почему-то об Инессе Арманд. Однажды Крупская передала Катаеву пожелание Ленина литераторам “поменьше заниматься трескотнёй”, а “рассказать народу в популярной форме о новой жилищной политике”. Ободрённый её замечанием, что у него “бойкий язык”, Катаев за несколько дней накатал брошюру под названием “Новая жилищная политика”, которая тут же вышла в издательстве Главполитпросвета.

В одну из встреч с Крупской он не преминул попросить её о знакомстве с Лениным. Она будто бы согласилась как-нибудь “повезти вечерком выпить чаю”, чтобы Владимир Ильич послушал о “молодой художественной интеллигенции”, но сослалась на то, что тот хворает за городом.

Вскоре после приезда Катаева в Москву Серафима Суок заявила со своим новым возлюбленным Нарбутом (Олеша был оставлен в Харькове).

Приехавший в том же 22-м Олеша стал жить у Катаева. Страдальческая ревность, испытанная им в то время, передана в его романе “Зависть”. Этого не скрывал и сам Олеша, указывавший, что главный прототип его Андрея Бабичева — Владимир Нарбут: “Если бы он был не “колбасником”, а, скажем, заведующим издательством, — это было бы пресно”. В новой версии жизнь повторыла сюжет с одесским состоятельным бухгалтером.

Осенью 23-го Олеша ненадолго вернулся в Харьков, откуда писал в Москву: “Будь проклят тот день и час, когда я решил ехать в Харьков. Это было так же безрассудно, как если бы дали брюшнотифозному, который поправляется, свиную отбивную. Боже мой, как ужасно! Я живу в собственной могиле. Все те ужасные чувства, которые мучили меня в Харькове в прошлом году, повторились с удвоенной силой. Это страшный рецидив... Я был в своей комнате у Фаины, у себя, у мертвого в гостях. Ничто не переменялось, всё осталось, как будто я вчера заснул... Только там, где жил Нарбут, в этих трёх заветных окнах теперь учреждение, и над главным окном горит огромный фонарь. Здесь я снял шапку и стоял очень долго... Теперь я вижу, что ничто во мне не прошло, что только Москва заглушила, как наркоз. Я только второй день в Харькове, завтракаю сейчас (Валя!) там, на Екатеринославской, где каждое пирожное стонет от тоски по прошлому... Оказывается, что проездом из Крыма Нарбуты жили в Харькове. Фаина видела Симу. Она страшно загорела и страшно худя. Фаина спросила её: “Жив ли Олеша?” И Сима весело и доброжелательно с улыбкой ответила: “Живёт, живёт, и очень хорошо живёт...” Не знаю, вероятно, сбегу — здесь так мучительно, так трудно, здесь переживаешь дважды собственную смерть.

Это не слова — вы видите, я не мог обойтись без участия, я сразу написал к друзьям. Я не могу, я содохну в этом городе на гнилых реках...”\*

А вот письмо Олеси бывшей жене: “Милая Симочка! Мне очень хочется тебя увидеть. Семь месяцев я тебя не видел. До меня доходили только слухи о тебе. Ты понимаешь, как мне интересно увидеть тебя теперь, — как ты выглядишь, как одета. Много воды утекло, многое переменялось, а я даже голоса твоего не слышал целых семь месяцев! Если ты ничего не имеешь против, сделай так, чтобы можно было тебя увидеть. Мой телефон 42-20 (от П — 5 ч.). Стараюсь узнать и не могу номер твоего телефона. Помню, что твоё рождение 1 июня по ст. стилю, помню ещё одну чудесную дату, о которой ты, вероятно, уже забыла. Всё это не важно, важно твоё самочувствие, здоровье, о котором я очень беспокоюсь, твои наряды, твои симпатии. Обо всём этом мне очень хочется знать, без всяких надрывов, а просто, товарищески. Ты всё-таки и теперь для меня — самый дорогой, самый близкий человек. Разлука с тобой — большое горе. Ты это знаешь. Поэтому очень прошу тебя: не оставь без внимания этой моей записки. Крепко жму и нежно целую руку”\*\*.

По Катаеву, на время Олесе удалось переманить Симу к ним в квартиру в Мыльников, но вскоре во двор явился бледный Нарбут и, называя всех по имени отчеству, обещал застрелиться из нагана, если Сима к нему не вернётся. И она вернулась.

Тогда же в 22-м Катаева стала печатать в своих “Литературных приложениях” единственная несоветская газета в советской России — “Накануне”.

Её издавали в Берлине “сменовеховцы”, предлагавшие эмигрантам примириться с новой властью и вернуться домой. Катаева впечатлял десятиэтажный дом в Большом Гнездиновском переулке, казавшийся “чудом высотной архитектуры, чуть ли не настоящим американским небоскрёбом”. В этом доме Ниризе на первом этаже и располагался московский филиал “Накануне”.

Эмилий Миндлин, работавший в “Накануне” секретарём, так вспоминал о визите Катаева и Олеси: “Как ни убого выглядели наши, молодых “накануневцев”, наряды, однажды появившиеся у нас Катаев и Олеса вызывающей скромностью своих одеяний смутили даже нашего брата. Не знаю, приехали ли они из Харькова поездом или пришли пешком, но верхнее платье на них выглядело ещё печальнее, чем в Харькове! А ведь и в Харькове они походили на бездомных бродяг! Наш заведующий конторой редакции Калменс возмутился появлением в респектабельной редакции двух подозрительных неизвестных.

— Вам что? Вы куда? — Полами распахнутой шубы он было преградил им дорогу. Но маленький небритый бродяга в каком-то истёртом до дыр пальтеце царственным жестом отстранил его и горделиво ступил на синее сукно, покрывавшее пол огромного помещения.

Катаев насмешливо посмотрел на Калменса и очень вежливо сказал ему “здравствуйте”... Ну, и попало же мне, когда мои харьковские знакомцы ушли! По словам взбешённого Калменса (особенно взбешённого тем, что они выудили у него аванс!), я чёрт знает кого приглашаю в редакцию!”

“Сменовеховцы”, группировавшиеся вокруг “Накануне”, надеялись, что идеи коммунизма потерпели крах, нэп — это признак естественной эволюции, смягчения режима после гражданской войны, неизбежного перехода от воинственной утопии к рынку, а там и к политической демократизации. Одновременно с этим звучали тезисы оправдания большевизма. Например, главред “Накануне” Юрий Ключников полагал, что пролетарский интернационализм — псевдоним имперского собрания народов, а Россия снова становится великой державой. Алексей Толстой редактировал воскресное “Литературное приложение” к “Накануне”, в котором печатались и писатели-эмигранты, и — в основном — писатели, оставшиеся в России. Вскоре Ключникова сменил Григорий Кирдецов, и газета стала более просоветской. По этому вопросу мнения Сталина и Троцкого разделились. Если Троцкий приветствовал “по-

\* Из личного архива Людмилы Коваленко.

\*\* Из личного архива Людмилы Коваленко.

краснение”, то Сталин продавил постановление Политбюро, написанное им лично: “Цека считает, что полевение “Накануне” является минусом для нас, ибо оно замедлит процесс расслоения эмиграции, отгалкивает нейтральных, а самое газету превращает в подделку под коморган”.

В “Накануне” среди прочего в 22-м появился катаевский рассказ “Рыжие крестики” — красивый, лиричный — о некоей Наталье Ивановне и её давнем поцелуе в грозовом саду на юге возле дачи: теперь “сердце, опустошённое войной и революцией”, просило самоубийства, но в живых удерживали тот давний сад с поцелуем и неотправленное когда-то любовное письмо; со слезами она “вспомнила свою любовь к мужу, смерть ребёнка, расстрел брата”. Не привет ли это так занимавшей его эмигрантке Зое Корбуд? Гибель брата-белогвардейца, смерть ребёнка... Рассказ как будто нарочито был далёк от всякой “идейности”, просто женщина поняла, “что в жизни равны и счастье, и горе, и любовь, и смерть, что нет в жизни ни взлётов, ни падений”.

В 23-м в “Накануне” вышел “рассказ мрачного романтика” (так гласил подзаголовок) “Железное кольцо” (по словам Катаева, при знакомстве Есенин назвал его замечательным), написанный ещё в 20-м. Бессмертный доктор в берете, с пледом и со зловещим пуделем скитался по всему миру, ко всему безразличный. Лишь однажды он оживился, встретив на диком побережье неподалёку от Одессы кудрявого голубоглазого поэта с влагой вдохновения в голубых глазах. Доктор-демон решил одарить Пушкина-счастливица “грубым железным кольцом с бирюзой”, приносящим счастье окружающим. Волшебное кольцо спустя долгое время “пропало в дыму десантов и в пыли реквизиции 1920 года”. Но вот уже рассказчик встретил на базаре “старую ведьму” гречанку с тем самым кольцом на костлявом пальце мумии, пушкинскими вещами (“клетчатые панталоны, складной цилиндр, подозрная труба и кружевной платочек”) и даже соединёнными тесёмкой каштановыми бакенбардами. Он хотел всё это приобрести, но началась базарная облава, засвистели милиционеры, налетели “всадники эскадрона внутренней охраны республики”.

Эпизод с ускользнувшим кольцом (и прочим наследством Пушкина) можно прочитать как метафору катаевской судьбы, когда он, так рано и прекрасно сложившийся художник, был вынужден выживать, приспособливая свой дар к “требованиям времени”.

Ведь писатель — это ещё и судьба. Советских писателей можно увидеть через игру “угадайку”: кем бы они стали, если бы не Октябрьская революция. Катаев выделялся среди лавочников и аптекарей, а порой рабочих и крестьян: был бы писателем и, наверняка, не менее знаменитым (кстати, как и почти все герои его “Алмазного венца”). Рассказчик в “Железном кольце” поспешил скрыться: “Однако я думаю, что не много проиграл, в конце концов. Верно?... Над нами всегда будет влажная, высокая голубизна, и сливы на рынках будут всегда покрыты бирюзовою пылью. Впрочем, к чёрту бирюзовую пыль! Были бы только сливы, а украсть их при известной ловкости всегда можно”. Сладкие сливы важнее литературного первородства, буду ловчить в агитпропе, красота мира никуда не денется...

В 1924-м в “Накануне” был напечатан рассказ “Переворот в Индии”: поэт Жак Пусьен “не может жить без славы, денег и любви” и ловко обманывает капиталиста, социал-демократа, и женщину, получив все желаемое: деньги, славу, любовь.

В “Накануне” появилось и стихотворение “Самогон” о реалиях, обступавших Катаева в квартире Фоминой:

*Неповоротливая, как медведь,  
Зима обсасывает лапу тут,  
Где примусов пожарных блещет медь  
И розы синие, гудя, цветут...*

...  
*Царевна Софья, самогон готов,  
Тащи бидоны, вёдра волоки!*

В Мельниковом не только гнали самогон, но и нюхали кокаин.

Катаев в “Алмазном венце” упоминал о двух подружках, уступчивых и нежных, в белых платьицах, которые иногда по вечерам навещали квартиру в Мыльниковом. Олеша называл их “флаконами”. “Я помню, Катаев получал наслаждение от того, что заказывал мне подыскать метафору на тот или иной случай, — писал Олеша. — Он ржал, когда это у меня получалось”.

Вероятно, в редакции “Накануне” в 22-м Катаев познакомился с Михаилом Булгаковым. Не удивительно, что они пошли в это издание. Занятно другое: не успевшие сбежать белогвардейцы теперь участвовали в агитации к сбежавшим: “Возвращайтесь!”

В марте 22-го в Петрограде недолго выходил “первый беспартийный литературно-общественный журнал” “Новая Россия”, который был закрыт Григорием Зиновьевым, но заново открыт Лениным, возродившись в Москве под названием “Россия”. Главным редактором был Исая Лежнёв, проповедовавший “консервативную революцию”. Журнал охотно печатал Булгакова (в “Театральном романе” он назвал его прообраз дорогим для сердца словом “Родина”), печатался со стихами и Катаев\*.

Вскоре после знакомства с Булгаковым Катаев посетил его квартиру: “На стене перед столом были наклеены разные курьёзы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовки газеты “Накануне” с переставленными буквами, так что получалось не “Накануне”, а “Нуенака”. Булгаков относился к изданию, пожалуй, не столько с идейной, сколько с экзистенциальной брезгливостью (в нём мешалось упрямство “контры” и жажда привиться к новому строю) и в дневнике записал: “Компания исключительной сволочи группируется вокруг “Накануне”. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придётся впоследствии, когда нужно будет соскребать грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собою. Железная необходимость вынудила меня печататься в нём. Не будь “Накануне”, никогда бы не увидели света ни “Записки на манжетах”, ни многое другое”.

Благодаря “Накануне” на Западе впервые узнали о Катаеве.

Автор газеты эмигрант Роман Гуль вспоминал о писателях, которым разрешили погостить в Берлине и которые по преимуществу составляли её советский костяк: “Я познакомился с Константин<sup>ом</sup> Фединым, Юрием Тыняновым, Борисом Пильняком, Евгением Замятиным, Николаем Никитиным, Ильёй Груздевым и другими. Всё это были писатели не только беспартийные, но и настроенные враждебно к режиму. С некоторыми я близко сошёлся, и они были со мной откровенны. От них я узнал многое о советском режиме и тамошней жизни. В разговоре со мной ни один из них не посоветовал мне вернуться в Россию”.

А вот как на страницах “Накануне” Гуль писал о Катаеве: “В творчестве Валентина Катаева есть две стороны: от “Валентина” и от “Катаева”. В православных святцах “Валентин” — самое неславянское имя. Валентин — благородный брат Маргариты. Валентин — романтик. Валентин — звучит западно. Но — “Катаев”! Где на “аев” найти ещё столь русскую фамилию? Даже не русская — какая-то специально московская фамилия. Так и вспоминается: “Катаю на рязов!””

Гуль, участник Ледяного похода генерала Корнилова, не вернулся, но другие “сменовеховцы” возвращались один за другим. В 30-е годы они, не исключая главредов Ключникова и Кирдецова, были уничтожены. Показательна судьба одарённого писателя, автора газеты Георгия Венуса. Он, как и Катаев, воевал в Первую мировую, получил Георгиевский крест, а в гражданскую был дроздовцем. Вернулся в 26-м, вступил в Союз писателей, его книги имели успех. Пережив несколько арестов, умер в 39-м, избитый, больной гнойным плевритом, в тюремной больнице, откуда писал родным: “Я ни о чём не жалею, если бы жизнь могла повториться, я поступил бы так же”.

\* Весной 1926 года журнал был закрыт, Лежнёв (1891–1955) арестован по обвинению в создании “антисоветской группировки в журнале “Новая Россия” и выслан из страны. В 33-м получил разрешение вернуться в СССР, 22 декабря был принят в партию по личной рекомендации Сталина. Работал журналистом “Правды” и литературным критиком.

У Катаева успели пожить все перебивавшиеся из Одессы в Москву (поэтому Надежда Мандельштам писала об этом жилище не как о персонально катаевском, а как о “ранней богемной квартире одесситов”).

С одной стороны, их пригрел нэп, с другой — сальность и приниженность нэпманов были им чужды, с третьей — темперамент жителей тёплых краёв удачно совпал с лёгкими жанрами, востребованными тогда, так что всё-таки само время авантюры, трагикомедии и фантазмагии пропитало множество литературных произведений.

Эрлих вспоминал, что дом Катаева был местом “вечерних сборищ”. “Многие из нас приходили сюда с рукописями — почитать новое произведение, обсудить с товарищами свою удачу или неудачу. Вскладчину покупали пиво или вино... на закуску — тарань, козий сыр, колбаса, солёные огурцы. Начиналось чтение, после чтения пили и закусывали, а затем приступали к нелюбимому разбору рукописи. Суровой критике подвергались и сюжет, и тема, и стиль, правда замысла и правда исполнения. Однажды я принёс сюда пьесу — первую пробу свою в драматургии. Конечно, блин этот вышел комом. Да и вообще весь тот вечер складывался крайне неудачно. Денег ни у кого не оказалось — мы сообща едва наскребли около трёх рублей. Хозяин дома распорядился:

— Три бутылки пива и одну тарань пожирнее!

— Только? — презрительно усмехнулась домработница; она уже успела привыкнуть к нашим разговорам, наслушалась наших выражений и словечек, поэтому с заметными нотками сочувствия в голосе высказалась так:

— Пиво да вобла? Это — не тема!

— Ничего-ничего, сойдёт...

— Да как это сойдёт? Вон вас сколько народу... Кагеру надо бы бутылочек минимум пять, ну, и сыру швейцарского, икорки красной, свеженькой ветчинки — вот это тема! Поворот действия получится...

Но не было у нас средств “для поворота”.

Я привёл обширную цитату, прежде всего, из-за реплики “привыкшей” домработницы. При перечислении желанных яств, кажется, заговорил сам Катаев! Наступательная интонация, наивно-циничная связка между хорошей закуской и качеством текста... Определённо он имел влияние на эту женщину.

14 июня 1923 года Катаев послал в Коктебель Максимилиану Волошину (с которым у него никогда не ладилось) “самый сердечный привет и братство”. Он сообщал, что с Толстым, отбывшим в Берлин “за женой и ребятами”, много вспоминали и самого Волошина, и “великолепные и нелепые дни, проведённые в 19 году в Одессе”, и призывал приехать в Москву и примкнуть к их кругу. “Я устроился очень хорошо, много пишу стихами и прозой... Москва ждёт Волошина. Он не должен обмануть её ожиданий. Москва — изумительный город. Десятки салонов работают на пользу отечественной поэзии... Правительство, при восторженной поддержке армии, флота и вооружённого населения, с минуты на минуту готово объявить поэтов вне закона. Москва ждёт вас. Старые мастера нужны Москве. Приезжайте. В Охотном ряду в рыбных магазинах висят громадными брёвнами фантастические осетры, которые сочатся и благоухают. Винторгуправление за небольшую плату отпускает желающим неплохое грузинское вино. В пивных подают очаровательное пиво, чёрное и белое, окружённое тарелочками с мокрым горохом, тонко нарезанной “глупой воблой воображения”\* и сухариками. На мраморных столиках, покрытых пивной влагой и пеной, покоятся локти лучших и интереснейших людей современности”.

### Катаев и Хлебников

На Мясницкой неподалёку от катаевского дома в кирпичных корпусах расположилось общежитие ВХУТЕМАСа — образованных в конце 20-го года Высших художественно-технических мастерских. Многие вернулись с фрон-

\* Цитата из Маяковского.



тов и ещё носили будёновки, папахи и шинели. Здесь преподавали Родченко и Татлин, Фаворский и Кандинский, под началом которого расцвёл абстракционизм. Стены общежития были увешаны картинами, где сплетались причудливые фигуры и линии. Во ВХУТЕМАСе реализм тщетно пытался сопротивляться новым течениям. Ленин, посетивший мастерские с Крупской, был огорчён, когда на его вопрос: “Должно быть, боретесь с футуристами?” — студенты ответили хором: “Нет, Владимир Ильич, мы сами футуристы!”

В этом общежитии в конце 1921-го поселился вернувшийся из Персии и других странствий Велимир Хлебников. Художник Сергей Евлампиев рассказывал: “Он без всяких лишних слов тихим голосом попросил его принять в нашу коммуны, так как ему негде жить и питаться”.

Голодный, лохматый, беззубый, мучимый лихорадкой Хлебников занимался стихами и трактатом “Доски судьбы” с математическими формулами, который был издан крошечным тиражом в конце 22-го. В Москве он почти не печатался, не считая появившегося в “Известиях” антиэнимановского стихотворения “Не шалить”:

*Не затем у врага  
Кровь лилась по дешёвке,  
Чтоб несли жемчуга  
Руки каждой торговки.*

В доме во дворе ВХУТЕМАСа жил футурист, “заумник” Алексей Кручёных. Кручёных был маниакальным литературным коллекционером, благодаря чему сохранились творческие автографы многих писателей, включая Катаева. В письме “дорогому товарищу Кручёных” зимой 22-го Катаев делился “наблюдениями в области звукообраза”, в качестве удачного примера переключки созвучий приводя стихи Пастернака и собственное стихотворение “Бриз”.

Той зимой, вспоминал Катаев, Велимир Хлебников, “странный гибрид панславизма и Октябрьской революции”, жил у него несколько дней в комнате в Мильниковом, беспорядочно читал стихи, которые, как известно, хранил небрежно и часто терял. “Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель”.

После выхода “Алмазного венца” недоброжелатели пытались поставить под сомнение их знакомство. Тем не менее, в альбоме Кручёных, составленном в 20-е, есть фотография “председателя земного шара”, к которой Катаев приписал с будетлянским оттенком: “Встречался с Хлебниковым в 1922 году в Москве. Гениальный человек. И ещё более гениальный поэт-речетвор. Валкатаев”. А в записях Олеси — другое свидетельство: “Я Хлебникова не видел. У меня такое ощущение, что я вошёл в дом и мог его увидеть, но он только что ушёл. Это почти близко к действительности, так как он бывал в квартире Е. Фоминой в Мильниковом переулке, где жил Катаев и где я бывал часто. Катаев его, например, видел, и именно у Е. Фоминой. Из рассказа Катаева создавалось впечатление, во-первых, о человеческой кротости того и всё же такой сильной отрешённости от материального мира, что казалось: это идиот”.

Надежда Мандельштам вспоминала, как перед самым отъездом из Москвы Хлебников “приходил есть с нами гречневую кашу в Дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами”. Она же рассказала о том, что её муж потащил Хлебникова к Николаю Бердяеву, который в тот момент был одним из руководителей Всероссийского союза писателей — подчеркнуто меньшевистского объединения авторов “старой формации”, имевшего, тем не менее, хозяйственные возможности. “Мандельштам набросился на него со всей силой иудейского темперамента, требуя комнаты для Хлебникова... Представляю себе, как испугался не подготовленный к буре Бердяев. Со слов Мандельштама я знаю, что такого приступа тика, как во время этого разговора, он у Бердяева никогда не видел”. В комнате было отказано.

Хлебников покинул столицу и скончался в том же году в селе Санталово Новгородской губернии. Сам же Бердяев в том же 22-м был отправлен из страны на “философском пароходе”.

Тогда же Катаев приютил у себя “банду поэтов-ничевоков” из Ростова-на-Дону.

В калужском журнале “Корабль”, выходившем всего год и охотно печатавшем писателей “старой формации”, появился его рассказ “Восемьдесят пять” с пояснительной сноской “Из эпохи гражданской войны и борьбы с контрреволюцией”: чекист разоблачил чекиста, как оказалось, когда-то агента царской охраны. Именно здесь впервые исподтишка Катаев передал свои предсмертные переживания в застенках: “Он уже видел себя введённым в пустой гараж”, — и так же исподтишка убил героя, словно бы с облегчением, с мучительным, но освобождающим приятием такого финала. По сути, провидчески возник мотив взаимного истребления новых властителей. Катаев как будто бы вновь (и на этот раз тоже исподтишка) пробовал ответить на свой вопрос времён Первой мировой: можно ли превратить ужас в красоту природы, труп — в музыку. “Бобров мечтательно курил, устало глядя в окно на приливавший рассвет, и зевал. Стоявший у двери сделал два шага вперёд и выстрелил Боброву в затылок... Пороховой дым тонкими ниточками вытягивался в окно, смешиваясь с кисельным запахом лип”.

Тем временем он пытался издать книгу.

В мае 1922-го предложил в Госиздат сборник рассказов “В осаждённом городе”. Издательство отдало рукопись критику Петру Когану (уже знакомому с Катаевым, пытавшимся пристроить у него стихи Хлебникова). Коган отозвался одобрительно: “Автор наделён наблюдательностью. Рассказы написаны человеком, пережившим то, о чём он пишет, и потому подкупают той особою искренностью, какая свойственна очевидцам. Автор несомненно талантлив, хотя сюжеты выбирает негравидозные и неглубокие. Но тем не менее это хотя и миниатюры, но законченные. Достоинство и то, что содержание современно: наша революционная эпоха и события освещены в духе революции”. И всё же в Госиздате приняли решение рукопись “временно отложить”.

Затем Госиздат в лице Михаила Столярова отказал Катаеву в публикации книги сонетов о гражданской войне “Железо”: “Автор — читатель и поклонник Эредия\*, мастера декоративного сонета. О гражданской войне он пишет только потому, что это тема любопытная и благодарная. Он зарисовывает её эпизоды, оставаясь сам равнодушно-внимательным наблюдателем”.

Столяров жёстко отрецензировал и пьесу “Героическая комедия”: “Пьеса Катаева производит то же впечатление, что и сонет его. Только она гораздо слабее технически... Почему она комедия — неизвестно: в ней ровно ничего комического. Это, скорей, мелодрама на революционную тему. Сын казнённого революционером короля предводительствует революционными войсками против белых. Устроенный им заговор не удаётся, приходится спешно снимать королевский плащ... но его уже видела в плаще влюблённая в него “товарищ Анна”. Пламенная революционерка, секретарь, она застреливается, а принц, видя своё поражение, переходит на сторону революции. Всё это удивительно “психологично”. Добавим к этому, что рабочие представлены как смутный фон... Нет, совершенно неудачная пьеса”.

А вот уже сборник стихов, зарубленный в 23-м: “Книги, просмотренные политотделом по выходе из печати. Распространение задержано. В. Катаев. “Первое, огонь!” Содержание крайне убого. Материал стар, есть нездоровая эротика. Ненужная книжка”.

### Катаев и Булгаков

Всего вероятнее, с Булгаковым Катаев познакомился в “Накануне”. То, что в 22-м они бывали вместе в редакции, явствует из сохранившихся документов.

Они стали приятельствовать, и называли друг друга Мишунчик и Валюн.

Катаев приходил в комнату в коммуналке в доме на Большой Садовой, том самом, где обосновался Воланд: там Булгаков жил со своей первой женой Татьяной Лапшой, не давшей погибнуть ему от морфинизма и выходив-

\* Жозе Мария де Эредиа (1842–1905) — французский поэт кубинского происхождения.

шей от тифа. У них всегда можно было получить тарелку наваристого украинского борща и крепкий чай с сахаром внакладку. Сама Лапа в конце жизни вспоминала: “Пирожков напекла, а пришли Олеша с Катаевым — всё полопали”. “Нас он подкармливал, — подтверждал Катаев. — У Булгаковых всегда были щи хорошие”.

Детский писатель Владимир Лёвшин, который в начале двадцатых был соседом Булгакова по “нехорошей квартире”, спросив себя: “Кто у него бывал?” — отвечал: “На моей памяти чаще всех — Валентин Катаев... С приходом Катаева почти всегда появляется на столе любимое обоими шампанское”, — и вспоминал, что Катаев в то время продолжал боготворить далёкого Бунина, “переводя на него разговор”: “Бунин для Катаева то же, что Париж для Эренбурга”.

Лёвшин был одним из позднее облагодетельствованных Катаевым, впрочем, под шампанское он выслушивал критику своих тогдашних литературных опытов и от соседа (деликатно), и от гостя (напрямик): “Катаев более категоричен. “Вы не умеете писать для детей!.. Вот как нужно: “Тёлочка, тёлочка, на хвосте метёлочка”. Образно и ничего лишнего”. И, очень довольный своим двустижием, улыбается по обыкновению хитро и ядовито. Ничего, впрочем, ядовитого в его отношении ко мне нет. Это ведь ему я обязан первой публикацией моих сатирических стихов в “Красном перце”. Он ввёл меня на так называемые “темные” (от слова “тема”) заседания “Крокодила”. Он же трогательно утешал меня после неудачной попытки пристроить один из моих рассказов в какой-то журнал: “Не унывайте! Бунин говорил мне: всякая рукопись непременно дождётся, когда её напечатают”.

Поначалу в Москве Булгаков бедствовал, но дела его стали выправляться (непрерывно писал для прессы). В комнате стоял настоящий письменный стол, заваленный бумагами, хозяин рассказывал в байковой клетчатой пижаме, а позже стал являться в редакцию в шубе без застёжек под названием “русский охабень” (по уверениям Катаева, отмечавшего провинциализм друга, однажды он пришёл в “Накануне” в шубе поверх пижамы).

Булгаков, как было сказано, с неудовольствием стал сотрудничать с примиренческой “Накануне”, которую не любили эмигранты и презирали коммунисты. До конца дней он сохранил в домашнем архиве вырезку, указывавшую на его радикально антибольшевистскую статью “Грядущие перспективы” 19-го года. Но главным для него было выживание при той власти, в прочности которой он не сомневался. В “Накануне” он был встречен “на ура”, печатался в каждом номере, очаровал сотрудников и читателей, а Алексей Толстой требовал из Берлина: “Побольше Булгакова!” Миндлин называл Булгакова и Катаева “самыми любимыми авторами читателей “Накануне””.

Булгаков сильно старше и, безусловно, консервативнее Катаева, всё же затронутого левым романтизмом, богемным бунтарством, пафосом ниспровержения авторитетов. Равнодушный к современной литературе, Михаил Афанасьевич с ровным жаром любил классику. “У него были устоявшиеся твёрдые вкусы. Он ничем не был увлечён, — вспоминал Катаев. — Тогда был нэп, понимаете? Мы были против нэпа — Олеша, я, Багрицкий. А он мог быть и за нэп. Мог... Вообще он не хотел колебать эти струны (это Олеша говорил: “Не надо колебать мировые струны”) — не признавал Вольтера”.

Катаевское неприятие нэпа носило, прежде всего, эстетический характер, но вновь уточним: и материально, и стилистически нэп пригодился всей его компании. Существенно, что неприятие атмосферы нэпа не было узязано исключительно с “левой идеей”. Так, православный писатель Иван Шмелёв, ещё не уехавший из страны, отмечал: “Москва живёт всё же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрёт, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного”. Да и катаевская эстетика бывала весьма противоречива — так, РАППовская критика злорадно подмечала за ним “социально-характерное” любование тем самым “уголком жизни”: “В частнокоммерческих магазинах висели брёвна осетров, которые сочлились жёлтым жиром. Восковые поросята лежали за стеклами Охотного ряда... Да, это была Москва. Это был нэп” (рассказ “Фантомы”).

В то время Катаев воспринимал Булгакова не как писателя, а как фельетониста, но нечто сближало их помимо литературы. Они, что называется, были “социально близки”. В альбом Кручёных вклеена общая фотография Катаева, Олеси и Булгакова 20-х годов с шуточным катаевским пояснением: “Это я, молодой, красивый, элегантный. А это обезьяна Снукки Ю. К. Олеся, грязное животное, которое осмелилось гримасничать, будучи принятым в такое общество. Это Мишунчик Булгаков, средних лет, красивый, элегантней”.

Катаев и Булгаков то и дело ночами ходили в казино (в напманской Москве действовали два игорных дома). “Судьба почти всегда была к нам благосклонна, — вспоминал Катаев. — Мы ставили на “чёрное” или на “красное”, на “чёт” или на “нечёт” и почему-то выигрывали”. Катаев, очевидно, ходил в казино и в одиночку. “Однажды я выиграл 6 золотых десятков, — делился он с литературоведом Мариэттой Чудаковой. — Две я проел, а на 4 купил в ГУМе прекрасный английский костюм. Ну, прекрасный... Цвета маренго... Но не было ни рубашки, ни галстука, ни ботинок. (Смеётся). Ну, ничего, я носил свитер!”

Павел Катаев вспоминал: “Слушая папины рассказы о том, как можно было прийти в казино, поставить деньги — крепкие советские червонцы, выиграть и на выигрыш купить еды и выпивки на всю компанию, я испытывал чувство восторга и зависти. Как это ни странно (а может быть, вовсе и не странно, а вполне естественно), эти истории дышали свободой”.

## Лёля

Накануне нового 23-го года Катаев, зайдя к Булгаковым, звал их встречать вместе Новый год. Булгаков сказал, что приглашён к Коморским, в просторную квартиру адвоката, где бывали разные литераторы и всегда хорошо угощали. Тогда Катаев обратился к Татьяне Лаппе: “Если он приглашён — пойдёте в нашу компанию!”, — что Булгакову, конечно, не понравилось: “Вот ещё, какие глупости, ты ещё туда пойдёшь!”

А через неделю Катаев познакомился с Лёлей, двадцатилетней синеглазой студенткой, сестрой Булгакова.

Лёля — Елена Афанасьевна Булгакова — родилась 2 июня 1902 года в Киеве. Она училась в Киевском институте народного образования.

Булгаков пригласил Катаева в Сочельник. Характерно, что собрались “по старинке” встретить праздник Христова Рождества. Там и состоялось знакомство с девушкой, впервые приехавшей в Москву на каникулы. В углу стояла ёлочка. Катаев читал стихи.

Кстати, диссонансом с этими посиделками была демонстрация, прошедшая по улицам Москвы 7 января 23-го. Впервые отмечалось “комсомольское рождество”. Ряженые несли пятиконечные звёзды и плакат: “До 1922 Мария рожала Иисуса, а в 1923 родила комсомольца”. Между тем, Булгаков и Катаев были близки и по “религиозной генеалогии”: у обоих деды — священники, а отцы — очень набожны и даже внешне похожи на “духовных лиц” (Афанасий Булгаков — богослов и историк церкви).

Начались свидания с Лёлей: “Мы смотрели в театре оперетты “Ярмарку невест”, и ария “Я женщину встретил такую, по ком я тоскую” уже отзывалась в моём сердце предчувствием тоски”.

Был лютый мороз. Там, у Патриаршего пруда, где однажды возникнет Воланд, “возле катка у десятого дерева с краю”, зачем-то обмотанного “колочкой”, они целовались.

“Это дерево — моё, — написал он по свежим следам. — Возле него она сказала мне: “Люблю”. За последние пять лет никто не говорил мне ночью, в снегу, возле колочей проволоки, у чёрного ствола дерева “люблю”. Мне кричали “стой”, меня расстреливали, раздевали, били рукояткой револьвера... Но “люблю”...”

“Наши губы были припаяны друг к другу морозом”, — написал он спустя больше полувека.

Он просудился на этом свидании возле бешеного катка, который температурно сверкал и кружился в нескольких стихотворениях 23-го года:

*Готов! Навылет! Сорок жара!  
Волнение. Глупые вопросы.  
Я так и знал, любовь отыщется,  
Заявится на Рождестве...*

Лёля, пробыв в Москве около недели, должна была уезжать. “В последний раз её синие глаза отразились в моём холостом зеркале... В последний раз она сидела у меня на коленях в сереньком мохнатом свитере, и в последний раз я целовал её полное горло”.

Катаев провожал Лёлю на Брянском вокзале, ожидая её возвращения через несколько месяцев, и твердил: “Не уезжай”. “Не уезжай. Мне нужна хорошая жена и добрый друг. Я устал. Не уезжай”.

В отсутствие Лёли он пошёл к “Мишуку” и сообщил, что желает взять её в жены.

“Катаев был влюблён в сестру Булгакова, хотел на ней жениться, — вспоминал писатель Юрий Слёзкин. — Миша возмущался. “Нужно иметь средства, чтобы жениться”, — говорил он”.

Вот как Михаил Афанасьевич (“Иван Иванович”) показан у Катаева в рассказе того времени: “Он гораздо старше меня, он писатель, у него хорошая жена и строгие взгляды на жизнь. Он не любит революции, не любит потрясений, не любит нищеты и героизма”.

В сущности, этот ретроград бессердечен: “Он хватает ручку и начинает быстро писать на узенькой бумажке рецепт моего права на любовь. Он похож на доктора. Две дюжины белья. Три пары обуви (одна лаковая), одеяло, плед. Три костюма, Собрание сочинений Мольера, дюжина мыла, замшевые перчатки, бритва, носки и т. д. и т. д. и Библия.

— Два года минимум. Вот-с выполните этот список, и тогда мы с вами поговорим.

Да, ещё одна вещь. Он совсем и забыл. Золото, золото. Золотые десятки. Это самое главное. О, я преклоняюсь перед золотом. Купите себе, ну, скажем, десять десятков. Тогда с вами можно будет поговорить даже... о сестре. Он уверен, что это невыполнимо.

Бедняга. Он мечтает об Америке и долларе”.

Но Катаев не обличал приятеля: “Посмотрим, кто из нас американец. У меня нет ничего, но у меня будет всё... Я разночинец, у меня нет быта и правил, нет семьи, нет ничего, кроме молодости, закалённой дочерна в пламени великого пятилетия...”.

Он как бы подтверждал желчный бунинский диагноз, но высвечивал не наглость, а драму “разночинцев”, которых эпоха перемен закрутила и “закалила дочерна”.

Любопытно, что Булгаков рассуждал так же, как десятью годами ранее противники его собственной женитьбы: беспечность, легкомыслие...

По Катаеву, он писал письма и слал телеграммы Лёле. Потом отправился к ней. Они гуляли по Киеву, посетили Лавру, спустились в пещеры. И сожгли написанное друг другу:

*Затвор-заслонка, пальцы пачкай.  
Пожар и сажка вечно снись им.  
Мы разрядили печку пачкой  
Прочитанных любовных писем.*

Другое стихотворение так и называлось “Киев”:

*Перестань притворяться, не мучай, не путай, не ври,  
Подымаются шторы пудовыми веками Вя.  
Я взорвать обещался тебя и твои словари,  
И Печерскую лавру, и Днепр, и соборы, и Киев.*

Рассказ о неудавшейся любви заканчивался ледяным обращением к Булгакову: “Иван Иванович, не беспокойтесь, опасность пока миновала. Ваше-

му семейству не угрожает разгром. Спите спокойно, мечтайте о долларе, а в свободное от этих занятий время американизируйтесь. Кстати, у вас уже починили крышу? Только, пожалуйста, не учите меня больше жить. Отныне я буду жить сам”.

Та же история в интерпретации Татьяны Лапы: “Был у неё роман с Катаевым. Он в неё влюбился, ну, и она тоже... Стала часто приходиться к нам, и Катаев тут же. Хотел жениться, но Булгаков воспротивился, пошёл к Наде (другая сестра. — С. Ш.), она на Лёльку нажала, и она перестала ходить к нам. И Михаил с Катаевым так поссорились, что разговаривать перестали. Особенно после того, как Катаев фельетон про Булгакова написал — в печати его, кажется, не было, — что он считает, что для жениться у человека должно быть столько-то пар кальсон, столько-то червонцев, столько-то ещё чего-то, что Булгаков того не любит, этого не любит, советскую власть не любит... ядовитый такой фельетон...”.

Татьяна путала — рассказ напечатан был. Впервые под названием “Печатный лист о себе” он вышел в литературном приложении к газете “Накануне” 15 апреля 1923 года, а под названием “Медь, которая торжествовала” был включён в сборник рассказов Катаева “Сэр Генри и чёрт” (Книгоиздательство писателей в Берлине, 1923).

Но есть все основания полагать, что на этом отношения Катаева с Лёлей не прекратились.

Летом 24-го, окончив свой институт, она переехала в Москву, поселилась у сестры Нади, устроилась библиотекарем в школе, познакомилась с преподавателем Пединститута Михаилом Светлаевым, приятелем и коллегой сестриного мужа. Лёля стала Светлаевой в 25-м. Катаев женился ещё в апреле 23-го, через несколько месяцев после разрыва.

Похоже, его встречи с Лёлей продолжались, и это ей он писал поэму “Вторая молодость”:

*Я шпагу свою оставил в плену,  
И сердце под клёном лежит в плену...  
Не шпагой клянусь и не сердцем клянусь,  
А жизнью своей клянусь:  
Я буду любить до потери себя  
Твои голубые глаза.*

Лаппа, с которой Булгаков решил развестись в апреле, а окончательно расстался в ноябре 24-го, вспоминала: “А на другой день вечером пришёл Катаев с бутылкой шампанского — в этот день должна была прийти сестра Михаила Лёля, он за ней ухаживал”. Кстати, о годах катаевского романа с Лёлей Татьяна тоже говорила, называя 23-й и 24-й.

В катаевском романе 24-го года “Остров Эрендорф” американец Джими пытался вернуть возлюбленную по имени Елена, одурманенную опытным гипнотизёром, напоминая ей пережитое в городке Нью-Линкольне: “Мне снилось замерзшее озеро и косые фаланги конькобежцев, выбегавших из грелки... Мне снилось десятое дерево, если считать от калитки в глубине сада... Возле этого дерева... если вы помните... мы однажды с вами...” Девушку расколдовывали именно эти слова. И вот уже: “Джимми нежно обнял Елену и положил её голову себе на плечо.

— Елена не надо ни о чём думать. Елена... Елена... Как я люблю повторять это милое имя”.

А в пьесе “Квадратура круга” 28-го года женатый Вася говорил замужней Тоне: “А то дерево на Патриарших прудах помнишь? Десятое с краю, если считать от грелки?... Я ведь потом всю ночь напролёт... Ты знаешь... А на другой день, как ошалелый, по всей Москве... А ты — такая самая, как была... Куда ты пропала?”

Такая вот фетишизация дерева с Патриарших...

Ясно одно: любовный роман завершился неудачей, и это испортило отношения Катаева с Булгаковым, помешавшим его “личному счастью”.

Зато в 30-е Катаев не без мстительного удовольствия демонстрировал

“Мишунчику” (а через него и Лёле) свою большую житейскую удачливость: слава, благополучие, красавица жена.

Американская мечта!

В 29-м Лёля родила дочку. С начала войны, с 41-го по лето 43-го она жила в Новосибирске, где с утра до вечера работала педагогом в нескольких местах, в конце 40-х получила инвалидность с диагнозом “устойчивая гипертония”. Елена Афанасьевна умерла в Москве 3 мая 1954-го на пятьдесят втором году жизни от мозгового кровоизлияния.

### Мадам Муха

Ранней весной 23-го года Катаев датировал встречу с Маяковским, наконец-то перешедшую в общение. “Целый год до этого я прожил в Москве и ещё не знал его”.

Олеша вспоминал: вскоре после переезда в Москву они уже встречали Маяковского на Рождественском бульваре, но не окликнули и до конца не понимали, он это был или нет. По словам Эрлиха, Катаев “настораживался при виде каждого высокого и энергично шагающего человека: вдруг это Маяковский!” Теперь он столкнулся с Маяковским в районе Лубянки лицом к лицу. “Я решился и остановил его: “Вы Маяковский? Я ваш поклонник, я поэт”. Он дал мне свой адрес, пригласил к себе. Когда я пришёл, хорошо принял. Познакомил с Асеевым, Пастернаком”.

Всех их сближала одна территория, которую Катаев уже нагло называл своей “вотчиной”.

Маяковский жил на два дома, но в одном районе: в Водопьяном переулке, ныне не существующем, — с Лилей Брик, там, где свили гнездо ЛЕФовцы, — и в Лубянском проезде.

Асеев жил на Мясницкой, на девятом этаже, во дворе ВХУТЕМАСа, с золотисто-рыжей женой Оксаной, одной из пяти харьковских эксцентричных сестёр Синяковых, дочерью черносотенца и “прогрессистки”<sup>\*</sup>.

Пастернаку ВХУТЕМАС был родным домом: с 1894-го долгие годы они обитали там — во флигеле, а затем в казённой квартире при тогда ещё Училище живописи, ваяния и зодчества вместе с отцом-преподавателем (между прочим, уроженцем Одессы).

Итак, в апреле 1923-го Катаев женился. Как полагали некоторые — спешно и в отместку Лёле Булгаковой.

Анна родилась 8 июля 1903 года в Одессе на Коблевской улице в семье коллежского секретаря Сергея Сергеевича Коваленко и Анны Николаевны Филипповой.

Анна Сергеевна говорила на четырёх языках, стала художницей. В 19-м году её родители слегли с тифом в одну больницу. Отец умер, мать выжила.

За Анной ухаживал брат Ильфа — художник Михаил Файнзильберг. Была она строга, с колючим характером, но он говорил: “Я точно знаю, кто тебе подойдёт”. У неё было прозвище Муха. Ещё её называли Мусей.

Она участвовала в “красном” “Коллективе художниц” и помогала украшать плакатами город. С подругами в 20-м они замотали кумачом памятник Екатерине, превратив в своего рода коммунистическую мумию.

Брат Сергей, ставший механиком, то и дело передавал провиант — хлеб, колбасу, сыр — для её друзей-богемцев, как он выражался, “босяков”.

На вопрос: “Как вы революцию пережили?” — Анна отвечала: “Танцевали...”

Перебраться в Москву её уговаривали настойчиво... Катаев помогал ей. Как она вспоминала, передавал гонорары от одесских публикаций через Бабеля.

---

<sup>\*</sup> Лиля Брик писала: “Во всех них поочередно был влюблён Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев”. Асеев был уже верным “соратником” Маяковского (по определению Катаева), отдалившись от Пастернака, “соратником” которого был до того.

По многу раз призывные послания в Одессу отправляла тройка друзей: Катаев, Олеша, Ильф\*.

18 марта 23-го года Ильф писал: “Дорогая Муся, Ваше время настало. Не отнеситесь к тому, что Вы сейчас прочтёте, легкомысленно. Ибо это важно по многим причинам для меня, а Вам будет полезно. Дорогая Муся, кидайте Коблевскую улицу, на которой Вы живёте, ибо нет смысла на ней жить, если есть Чистые пруды. Нет расчёту жить на юге, если Москва расположена в центральной полосе России. Прекрасное настоящее и изумительное будущее Вам обеспечено. В этом порукой линии Вашей и моей руки. Я не напишу ничего больше того, что написал. Соберитесь с мыслями и езжайте”. К письму был приложен его рисунок с объяснением: “Муся, это Страстной монастырь\*\*. Самый лучший в мире”. В том же конверте находилось письмо Олеша: “Милая Муся! Нет спасенья: нужна помощь, нужен друг, кусок прошлого, кусок Одессы, сердца. Муся Коваленко, чудесная свидетельница моих лучших дней, милая современница самой счастливой поры моей жизни, — приезжай к нам в Москву. Что тебе терять в Одессе? Приезжай к нам... Здесь Катаев, Ильф и я. Только ты осталась, больше никого нет в мире. Это всё серьезно. Это настоящая просьба. Приезжай, утешительница. Ждём. Ждём. Просим. Целую ручку. Юра”.

А вот и жених: “Дорогая Муся. Пишу от имени троих. Твоё письмо получено 5 минут тому назад. Решение твоё приветствуем. 2 миллиарда, которые тебе необходимы, будут высланы не позже пятницы 6-го апреля по телеграфу. Покупай только самое необходимое, остальное устроится здесь. День приезда телеграфируй точно — встретим. Лирическую часть откладываем до встречи. Сейчас торопимся: Маяковский читает новую поэму “Про это” (об отвергнутой любви). Целую лапы. ВалКатаев”.

Когда Анна перебралась в Москву, сразу и поженились.

В начале мая Катаев сообщал её матери в Одессу: “Честное слово, я не знаю, как в таких случаях надо писать, в общем, я женился на Мусе. Как это произошло, я до сих пор не могу как следует понять. Не знаю, известно ли Вам, что года 2 тому назад я был страшно влюблён в Мусю. Муся тоже была ко мне в достаточной степени нежна. Сейчас эта старая нежность развилась с такой силой, какой ни я, ни Муся от себя не ожидали. Я уверен, что Муся будет мне хорошей женой и добрым другом, а я её очень люблю. Сейчас мы счастливы всерьёз и надолго. Мне хочется быть Вашим нежным сыном — ведь у меня нет ни отца, ни матери. Хорошо?”

“Я привязалась к Вале и люблю его, — в июне писала матери Муха. — Если бы ты знала, какой он милый, он совсем как большой ребёнок”.

Катаев стал посылать Анне Николаевне шуточные отчёты о налаженности их быта, сопровождая выразительными картинками: ножи, вилки, ложки, щётка, шкаф, кушетка, этажерка, “завёл себе текущий счёт в Госбанке”... “Теперь, если вы, мамаша, хотите узнать за свою дочку, многоуважаемую Мусю, — юродствовал он, — то прошу вас убедиться в этом”. Под изображением рта и зубов было написано: “Что это т-т-такое?” — и следовала перевёрнутая разгадка: “Мухины грязные зубы”. “Впрочем, — уточнял зять, — Муха только что побежала чистить зубы несмотря на то, что мы ей клялись, что сегодня будний день и вообще ничего похожего на двенадцатый праздник”.

“Муха лежит, — сообщал он Анне Николаевне в другом письме. — У неё болит животик, и она сейчас будет пить слабительное. Она ужасно морщится и капризничает, а потому написать не может. Мы счастливы вполне, сильнее, чем вчера и позавчера, а завтра и послезавтра будем ещё счастливее. Даже удивительно, за что нам такое счастье”. “Живу под боком у семейного счастья”, — вторил Катаеву Олеша.

В другом письме Анне Николаевне Катаев превращался в персонажа какого-нибудь своего фельетона: “Хочу пальто с большим выдровым воротником. Хочу большие и красивые боты. Хочу перчатки. Хочу синий костюм. Хочу костюм маренго. Хочу часы. Хочу портсигар. Хочу визу в Италию. Хо-

\* Письма из личного архива Людмилы Коваленко.

\*\* Разрушен в 1937-м.



чу телефон. Хочу пианино. Хочу самовар. Хочу выкраситься в рыжий цвет. Хочу спать”.

Анне Николаевне жилось трудно. “Сейчас у меня большие неприятности с квартирой, опять обложили не по силам как нетрудовой элемент, — жаловалась она дочери. — Говорят, если вы не можете платить, идите жить в подвал и освободите нам квартиру, я буквально не в состоянии бороться...”

Гонорары от своих не только одесских, но и киевских, и харьковских публикаций Валентин Петрович отдавал теще: “Вообще я решил, что все деньги с провинции будут идти на Ваш счёт”.

Муся же фигурировала в нескольких письмах из Москвы Семёна Гехта. 22 ноября он сообщил своей подруге, тоже из “Коллектива художниц” Генриетте Адлер\*: “Милая, дорогая, родная Генриетта, ваше последнее письмо доставило мне много радости. Я получил его 19-го. Я как раз был у Катаева. Сидели: Катаев, Муся, Иля и я. Катаев захлёстывал Мусю экспансивными поцелуями (он это делает с 4-х часов дня до часу ночи — публично). Иля сидел мрачный — нет писем, и всё такое. Я сидел тоже мрачный — день был чересчур неприятный. И вот — лёгкий стук в передней комнате. Письмо грохнуло о жесть, ящик свистнул, почтальон ушёл. — Друзья, письмо! — сказал Катаев. — Это от мамы! — крикнула Муся. — Это мне! — процедил сквозь зубы Иля. А я молчал. Иля бросился к ящику, выловил письмо и произнёс вяло:

— Это для Гехта”.

“Я женился на своей старой любви — Анне Сергеевне Коваленко, в которой нашёл доброго товарища и нежную жену”, — писал мастер “экспансивных поцелуев” в автобиографии 1924 года.

Вскоре он поселил у них Мухину сестру Тамару, приютил надолго и Анну Николаевну.

В Москве Муся нарисовала автопортрет в воображаемой пышной шубе. На эту шубу копили. Летом они жили в съёмном домике в Тарусе. У соседки, матери четырёх детишек, подохла корова-кормилица. И Катаев предложил отдать бедной бабе накопленное: “А шубу ещё купим!” И отдали...

Временами Анна возвращалась в Одессу.

5 июня 1924 года Катаев писал ей: “Ты себе не представляешь, что делается! Везде мечутся писатели, у которых абсолютно нет монеты. Жалкое зрелище. Я буду по возможности чаще переводить тебе деньги, но не ручаюсь. Мне бы ужасно хотелось поцеловать твои родинки на спинке. Целую тебя всю, всю, всю... Тамара — знаменитая хозяйка. В тысячу раз лучше тебя. Она делает солянку на сковородке и окрошку, и расстегаи, и вагон других вкусных вещей. У нас есть много клубничного варенья. Сегодня к нам, наверное, придёт Танюша ех-Булгакова, которая будет рыдать в жилетки”.

“Дорогая и самая красивая! — писал ей Олеша. — Твой муж начал курить плохие папиросы, заводит подозрительные знакомства, в котором обществе и пьёт “трёхгорное”. Увязался за моей девочкой (Нюрка, ты её не знаешь, это из прошлого) и тратится на неё, продавая последние стаканы. Дурак! Ты не веришь, но это горькая правда. Тамара угощает отвратительной солянкой, в которой тараканы трещат, как кости, и бегают гулять на Чистые. У меня романчик с Вашей новой прислугой. Я на ней женюсь. Целую тебе глаз. Приезжай поскорее, если хочешь застать хоть какие-нибудь крохи с таким трудом налаженным хозяйства. Твой верный друг Юра”.

“Боже, Мухачка, не верь ни одному слову, он всё врёт, — на том же листе взывала к Анне её сестра. — Валя не курит, знакомства ни с кем не заводит, не пьёт, и совсем он не дурак. Я тараканов не варю (и больше ему обедать не дам), на Чистые не хожу и посторонним мужчинам ухаживать за моей прислугой не позволяю. И потом, какая ты ему дорогая? С тем, что ты самая красивая, я с ним солидарна. Ой, Боже мой, ещё Женя хочет писать, не верь миленькая ни одному слову”.

“Тебе передают знакомые, что я пью, — вскоре писал и Катаев. — Это очень мило с их стороны. В своё время те же самые знакомые передавали

---

\* Будущей жене литератора Сергея Бондарина (1903–1978).

в Одессе о нашей безумной роскоши и кутежах. Тебе бы, кажется, пора привыкнуть к тому, что 1/2 фунта голландского сыра и бутылка пива, проделав 1400 верст, превращаются, по крайней мере, в 5 фунтов рокфора и дюжину шампанского... Три фельетона в неделю — это приводит меня в отчаяние. В лавку мы должны к сегодняшнему числу 100 рублей. Ты отлично знаешь, что если я получаю одновременно: 1) от тебя унылое письмо с требованием денег на костюм + 2) записку от лавочника, что больше в долг не даёт; 3) счёт за свет; 4) счёт за воду и квартиру, то писать я не могу... Да, пью. Иногда. Бутылочки три на всю компанию. Удовлетворена? Ты видишь меня “бледного и с головной болью”. Бывает. Особенно, когда получаю твои мучительные письма... То, что я редко пишу тебе, понятно. Ведь за эти писания мне ни один издатель до моей смерти или юбилея не заплатит ни копейки”.

Муха, отчитываясь Валентину о жизни в Одессе, передавала разговоры с “пышной свитой”: “Я узнаю, что я москвичка, художница, богачка и что у моей приятельницы и у меня “богатый бюст”. Кроме того, я узнаю массу интересных новостей о себе, о Москве, о моём муже”, — и сообщала, что на пляже к ней подошёл Остап Шор (в будущем вероятный прототип Остапа Бендера): “Я всем ответила, как поживает знаменитый Катаев и когда он приедет”.

Московские постояльцы, конечно, утомляли и разоряли. К Петрову литературный успех пришёл не сразу, и Валентин даже подумывал отправить Женю восвояси. 27 июля 24-го года в письме жене он предлагал решительно “попросить” и её сестру, и своего брата: “Я сделался, не заметив этого, мелкой газетно-журнальной сошкой. Я за последний год ничего не написал настоящего. Меня это так мучит, что нельзя передать, ты должна понять меня, это так больно. Сейчас я чуть не плачу от этого. Видишь — я с тобой откровенен до конца. Максимум, что я могу зарабатывать в месяц, — это 150 рублей, и это при невероятном напряжении (и отчаянной халтурой!). Значит, вопрос стоит так: Тамару и Женю надо ликвидировать. Я их очень люблю, но тебя и себя я люблю больше. Тут ничего не поделаешь. Ах, если бы ты знала, как мне хочется, чтобы мы с тобой были одни. Ты понимаешь, как это чудесно. А то мы любим друг друга, как мыши. Я уверен, что оттого мы и ссоримся, и бываем недовольны друг другом. Муха, дружок мой, ответь мне сейчас же, что ты думаешь на этот счёт. Но имей в виду, что никаких компромиссов тут быть не может. Я измучился, измотался. Я не могу даже читать. А ведь время идёт, и возвратить его нельзя. Ведь ты не хочешь, чтобы я сделался злым, желчным, грубым “отцом семьи”, вытягивающим на своей шее много народу? Я предлагаю такую вещь: при первых же крупных деньгах Тamarу — в Одессу, а Женю — в Полтаву. Тут нельзя сентиментальничать... Я ни Жене, ни Тамаре об этом не говорил, и мне трудно говорить об этом. Пока буду молчать. А потом, когда будут деньги, — само устроится. Это категорическое моё решение”.

Видимо, не случайно тогда же тревожная тётя Лилия писала Евгению из Полтавы: “Если бы ты почему-либо захотел уехать из Москвы, то приезжай к нам, где ты найдёшь всегда любовь, уют, ласку и заботу... Я опасаясь, что Москва окончательно обескровит тебя и возьмёт все силы. Целую тебя, будь здоров, сыт, весел (и не забывай ходить в баню)”.

Но изгнание так и не состоялось.

В другом письме жене Катаев давал бой её тревогам, высмеивая некогда любимую “синеглазку”: “Вчера был хорошенький номерок: у нас была в гостях Лёля Булгакова вместе с Татьяной Николаевной Булгаковой. Фурор был необыкновенный. У Лёли лупится нос. Она очень толстая, красная, некрасивая и усатая. Она очень хотела посмотреть на тебя хоть одним глазком. Я ей посоветовал специально съездить в Одессу. Лёлин визит показал мне достаточно наглядно, что от прошлого не осталось даже пепла. Лёля флиртует направо и налево с какими-то лётчиками, летает и вообще режется на авиационную даму. Татьяна Николаевна мучительно разводится с Мишунчиком. Сегодня, кажется, Лёля уезжает в Киев. Мне бы не хотелось, чтобы ты, Муха, хоть на волосок ревновала. Не надо. Я люблю только тебя. Это как новая экономическая политика — всерьёз и надолго”.

(“Я совершенно развинучен, — напишет он спустя пять лет жене, отдыхающей в Тарусе. — Хотя бы влюбиться в кого-нибудь! Кстати, Лёля Булгакова, мне говорили, или родила, или должна рожать, или что-то в этом роде”.)

Тётя Лиля приезжала часто и надолго; от неё у Коваленко осталась настольная лампа с тремя мраморными ангелочками. В голодную Полтаву Елизавета Ивановна возвращалась с огромными мешками.

В 1982-м во время тяжёлых родов под наркозом внучка Катаева Тина увидит женщину в старинном платье и шляпке. Потом по описаниям она поймёт, что это была Елизавета Бачей, и назовёт дочку Лизой.

В 26-м в Одессе у брата Анны Сергея в браке с гречанкой (из семьи зажиточного кондитера) Марией Харламшиевой Триандафилиди родилась дочь Мила. Гречанка умерла, когда девочка была совсем маленькой. “Ходить меня научила собака Фрина”, — с горьким юмором говорила она.

Катаев и Анна приняли решение забрать её к себе (Валентин увидел Милу в 27-м, когда остановились в Одессе проездом из Сорренто, и шутливо предложил её отцу: “Продай мне эту девочку”).

Почти десять лет Катаев воспитывал девочку и заменял ей отца.

“Валя” называла она его, как сверстника.

По утрам он ел любимую овсянку, мокрый от умывания, в сыром свитере, от которого пахло собакой после дождя, а она сзади обнимала его за шею. “Валя, как ты можешь есть эту гадость?” — спросила девочка. Он отправил в рот ещё две ложки, отодвинул тарелку и больше при Миле к каше не при-трагивался.

Мадам Муха хорошо готовила, как и её мать. Та вообще со временем затеяла “кухмистерскую”, где питались литераторы, в их числе её стол ценил Алексей Толстой, заявлявший: “Никто в Париже не умеет так готовить рябчиков!”

“Хлебосольная тёща и симпатичная Аннушка, безропотная его супруга, всегда были рады гостям”, — поделился очевидец\*. В романе “12 стульев” Мусик — жена инженера Брунса, суровая, но заботливая, а муж её, у которого “наливные губы” и “голос шаловливого карапуза”, восклицает ставшее афоризмом: “Мусик!!! Готов гусик?!”

Она есть и в “Фантомах”: “Сейчас второй час ночи. Слева от моего стола, свернувшись калачиком, спит жена. Под розовую щёку она положила ковшиком обе руки и, уткнув круглый, детский нос в подушку, обиженно сопит и сладко жуёт губами”.

Этот рассказ был напечатан в январе 24-го в трёх январских номерах “Накануне”. Катаев вспомнил, что вначале пытался напечатать его в журнале “ЛЕФ”. “Я читал его у Бриков, в присутствии Маяковского. Было это вроде заседания редакции. Планировали в номер, маленькие поправки сделали”. Но не пошло — возможно, отсюда взялась взаимная неприязнь Катаева и жильцов Водопьяного. Видимо, для эмигрантского “Накануне” “декадентский” рассказ годился больше, нежели для радикального “ЛЕФа”, который обещал “давать образцы литературных и художественных произведений не для услаждений эстетических вкусов, а для указания приёмов создания действительных агитационных произведений”. Впрочем, Асеев упоминал “Валентина Катаева, печатавшего в “ЛЕФе” свои стихи, которые он потом превратил в прозу”, например, в 4-м номере “ЛЕФа” за 23-й год была напечатана не самая типичная для Катаева “Война” (“Ночь передёргивала карты у судорожного костра...”), на которую близкий к акмеизму литературный критик из Берлина Вера Лурье отозвалась так: “Честные акмеистические стихи Катаева напоминают Гумилёва, сдобренного Пастернаком”. Маяковский (вопреки теориям и декларациям) всё же старался привлечь к журналу самых ярких авторов, даже Есенина.

Катаев и Коваленко расстались в середине 30-х...

Мила-Людмила рассказывает, что однажды летом, приехав в Москву с дачи, Анна Сергеевна обнаружила в каждой комнате “вертеп разврата”, и будто бы тогда, будучи “дамой кругого нрава”, вопреки всем просьбам мужа, с ним порвала...

Расставались тяжело, вслед в окно летела медвежья шкура... Основную часть вещей забирал для Катаева Кручёных. Правда, золотое кольцо с бриллиантом навсегда осталось с ней. Она работала ретушёром, и родные запо-

---

\* Из рассказанного художником Владимиром Роскиным (1896–1983).

нили её постоянно согнувшейся над столом. Катаев отдал ей квартиру (тогда уже другую, из пяти комнаток в Малом Головином переулке, 12, куда переехали из Мыльниково). Хотел помогать материально, но она упрямо отказывалась. Стала сдавать половину квартиры молодым архитекторам.

(Дочь Катаева Евгения рассказала мне, как в 50-е гуляла с отцом и возле “Елисейевского” он приветливо пообщался с какой-то женщиной, а потом сообщил: “Моя бывшая жена”. Дома Женя принялась расспрашивать мать: “У папы была другая жена? Почему же они развелись? — Она была жуткая зануда. Что ни случалось, она только и ныла: “Все плохо”, “Ой, бедный”, — вот ему это всё и надоело”).

Первые два года после развода Анна была совершенно без сил, по выражению её племянницы, *никакая*... В 39-м вышла замуж за верного ухаждёра — художника Владимира Роскина, оформлявшего советские выставки за рубежом, который в 1919–1922 годах вместе с Маяковским принимал участие в создании “Окон РОСТА”. Роскин влюбленно кружил возле неё с момента её появления в Москве.

Однажды Катаев пришёл в Головин переулок на рассвете, пьяный, постучал в окно, но мать Роскина Вера Львовна не пустила: “Уходите, у неё есть муж”... Анна, узнав об этом, не смогла простить свекрови, навсегда перестала разговаривать с “ведьмой”... “С этого всё пошло наперекосяк”, — говорит Мила Коваленко, — отношения Анны с Роскиным начали рассыпаться, хотя брак их продлился всю жизнь...

В сборнике “Отец” 1928 года поэтическая подборка открывалась посвящением “Анне Катаевой” стихотворения о бронепоезде гражданской войны:

*И только вьюги белый дым,  
И только льды в очах любой:  
— Полцарства за стакан воды!  
— Полжизни за любовь!*

Среди этой же подборки был цикл стихов “Любовь”, посвящённых Лёле, и там, в стихотворении “Возвращение”, под цифрой V присутствовала “другая”:

*Чиркнула спичка: зажгётся глаз,  
Цыганское пламя и платье. Тьма.  
Другая спичка: серьга зажглась,  
И ухо, и рот. Она сама.*

*Третья спичка: шея и шёлк.  
Ожог поцелуя. Колода карт.  
— Зачем забыл? Зачем пришёл?  
На что тебе Петровский парк?*

*Я знаю всё: ты уезжал,  
Любил другую, изменил...  
Огонь, как зубы, уголь сжал  
И тлел сквозь зубы: и-з-в-и-и-и.*

*— Задуй огонь. В окне луна.  
Старухи нет. Постель для двух.  
Ты мне жена, ты мне нужна.  
Мне нужен сон и нежный пух.*

*И до зари вzasос укус,  
И до зари — укус вzasос.  
И до зари — цыганский вкус  
Солёных глаз и сонных слёз.*

Быть может, это Анна предстаёт здесь в образе цыганки: “Ты мне жена...”. Ну а в Петровском парке находился “Яр”, куда он был не прочь смотаться. Кстати, стихи Катаева (в том числе и посвящённые Лёле), написанные его рукой и напечатанные на машинке с его правкой, Анна хранила всю жизнь.

Людмила Коваленко вспоминает, что в детстве её мучили страхи: “Хотелось сжаться в комок, быть незаметной и никому не мешать, поэтому и моё любимое слово было “нет”. Валя даже написал глупый стишок: “Наша Милка, как кобылка, надоела она мне, что ни спросишь, отвечает она: “Не””. Ну, и потом, когда мы остались одни, без Вали, вся наша жизнь изменилась, до сих пор ещё больно...”

В свои девяносто она с необычайной ясностью, затягиваясь сигаретой и поблёскивая бриллиантами того самого золотого кольца, рассказала мне про Валу, который развлекал её стихами, держал шкуры в разных комнатах (тигриной она боялась), катал её на извозчике, водил на Страстной бульвар, где сажал на верблюда, который однажды, чем-то разгневанный, оплевал его с ног до головы. И весь в верблोजей зловонной и тягучей слюне Валя бежал с девочкой по бульвару... Отмывшись, он сидел в кресле, вытянув ноги к печке, а она сидела на его ногах, и они, хулиганы-заговорщики, разбирали по деталькам небольшие настенные часы... Катаев выкинул несколько колёсиков в огонь, потом Анна Николаевна понесла часы к мастеру чинить...

“Милка” пришла к нему на юбилей — 50-летие. Обнялись, заплакали. Повисла на нём, вдыхая знакомый запах одеколона, который помнит всегда... Анна Сергеевна Коваленко умерла 26 августа 1980 года.

### Возвращение Толстого

22 мая 1923 года в Москву из эмиграции на короткое время приехал Алексей Толстой и в тот же вечер отправился к Катаеву.

Другой, тоже майский, торжественный приём Толстого изображён Булгаковым в “Театральном романе”: “Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взглядом пиршественный стол:

— Га! Черти!”

“На Мыльниковом было большое пьянство, — сообщал Ильф в письме своей возлюбленной Марии Тарасенко, — и когда все сильно перепились, и Алексей Толстой стоя рычал что-то, ко мне приполз Катаев и серьёзно и трогательно пил со мной, и неожиданно и мило пил твоё здоровье и твою любовь...”

Олеша вспоминал о Толстом: “Он первых посетил именно нас... Я помню, он стоит в узенькой комнате Катаева в Мыльниковом переулке, грузный, чем-то смешавший нас... Вероятно, подвыпивший, получает информацию, неправильно её истолковывает, подлизывается слегка к нам...”

Возвращение Толстого (в августе он вернулся насовсем) и всё дальнейшее пребывание его на родине часто толкуют как проявление сплошного конформизма. Считается, что привыкший жить в своё удовольствие, он приехал обратно за богатством и комфортом и превратился едва ли не в эталон циника. Он стремился жить хорошо, это правда, но его *хождение по мукам* идейных противоречий почти не обсуждается или выдаётся за что-то несерьёзное. Литератор-эмигрант Фёдор Степун признавался: “Мне лично в “предательском”, как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда”, — и добавлял, что Толстой, несмотря на большой риск возвращения в Россию, “бежал в неё, как зверь в свою берлогу”. Родная земля держит...

Именно тогда, в начале 20-х, по мнению историка Михаила Агурского, тщательно изучавшего “сменовеховцев”, сформировалась и окрепла выстраданная, пускай для кого-то и идеалистичная, позиция Толстого, которой он был верен до конца. “Толстой призывает делать всё, чтобы помочь революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго, справедливого, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесённого той же революцией и, наконец, в сторону укрепления великодержавности”. Да, подчас у Толстого наивность идей мешалась с барственностью манер, но отрицать искренность его упований тоже неверно. Идеи Толстого были выражены в романе “Аэлита” (1923), где противопоставлялись дух и пресыщение, простолюдины и элитарии, Зем-

ля — “красная Россия” и Марс-Запад с пауками в подземельях, ждущими своего часа, чтобы покорить деградирующую цивилизацию.

Ещё в 22-м Толстой писал белоэмигранту Николаю Чайковскому, возражая против упреков в предательстве: “Задача газеты “Накануне” не есть, как Вы пишете, борьба с русской эмиграцией, но есть *борьба за русскую государственность*... восстановление в разорённой России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета “Накануне” видит ту реальную, — единственную в реальном плане, — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления её иными странами”.

После возвращения Толстой осваивался, пытаясь опереться на “родственные души”, и уже не столько организационно, для каких-то дел, сколько для себя самого, психологически. “Что бы я там (в “Окаянных днях”) ни писал, однако я всё же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как рекомендовал в ту пору в одной из своих статей Алёша Толстой”, — бросил ему вслед Бунин. Но при исключении Толстого из белоэмигрантского “Союза русских литераторов и журналистов” Бунин воздержался (Куприн, который вернётся в советскую Россию в 37-м, единственный был против!), ну, а спустя почти двадцать лет, перед самой войной Толстой направил в Кремль письмо с такими словами: “Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей: мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?”

27 августа 1923 года Булгаков записал в дневнике: “Только что вернулся с лекции сменовеховцев... Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева”.

“Должно отметить большой успех Толстого, выступившего с докладом и повестью в Политехническом музее”, — сообщал “Оливер Твист” (то есть Катаев) в “Накануне”.

“Алексей Толстой был крёстным первой книги Катаева, — писал Миндлин. — Из всех московских “накануневцев” Катаев более, чем кто-либо другой, сблизился с Алексеем Толстым”. Вспоминая первый визит графа в московскую редакцию “Накануне”, Миндлин спрашивал себя: “Кто был тогда с нами?” — и первым называл Катаева: “Толстой вообще не отпускал Катаева от себя”, — затем Булгакова и литератора Михаила Левидова.

Берлинское “Книгоиздательство писателей” выделило Толстому деньги на сборник московских авторов. Но вместо этого он решил издать одного Катаева. У того не хватало прозы на десять листов — разве что на восемь. Но Толстой только фыркнул: наберёте. Катаев взял деньги.

“Недель через шесть я встретил его на Тверской сияющего:

— Миндлин! Смотрите! — Он вытащил из-за пазухи берлинское издание книги. — Первая книга! Теперь будет и вторая, и третья. Самое главное — выпустить первую!”

Книга, выпущенная в Берлине, называлась, как и включённый в неё рассказ, “Сэр Генри и чёрт”.

В связи с этим названием Миндлин вспоминал о писателе О. Генри, чуть было не рассорившем его с Катаевым. В то время влияние сюжетной (с неожиданными развязками) прозы этого американского писателя было велико, особенно на Катаева. Как-то вечером, шагая с приятелями, Катаев, хвастая освоенными им приёмами литературной техники, воскликнул:

— Режусь на О. Генри, ребята!

Вскоре Миндлин написал статью в “Накануне”, где критиковал молодых литераторов за поверхностное увлечение О. Генри и привёл катаевскую фразу, не уточняя, правда, кто её выкрикнул. Тот сильно рассердился и, придя в редакцию, возбуждённо скандалил с Миндлиным, обещая вообще перестать с ним разговаривать, потому что тот не имел права разглашать сказанное на улице. “Да ведь я не назвал вашу фамилию, Катаев!” — успокаивал автор, и так объяснил для себя это возмущение: Катаеву не нравится, что свидетели реплики узнают его в персонаже статьи.

Но ведь можно предположить другие причины истерики. В том для кого-то ещё безоблачном начале двадцатых Катаев, уже побывавший “где надо”, слишком хорошо усвоил, что такое письменно (да ещё и публично) зафиксированные слова из частного разговора, потому и пригрозил Миндлину стеной молчания. Мало ли чего ещё могли натрепать... Он ноздрями и шкурной зверя-подранка почуял эту тошнотворную угрозу — донос! — и прибежал, зарычал: “Заткнись, не смей!”

2 сентября Булгаков записал в дневнике: “Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому (Иваньково). Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно общаться с молодыми писателями. Всё, впрочем, искупает его действительно большой талант. Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звёздный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать неореальную школу. Он стал даже немного тёплым: — Поклянёмся, глядя на луну...

Он смел, но он ищет поддержки и во мне, и в Катаеве”.

Происхождение этих контактов так очевидно, что при желании уже в 30-е не составило бы труда сварганить дело о “заговоре белогвардейцев”, замаскировавшихся под “неореалистов”.

Толстой первое время пребывания на родине не только тесно общался с Катаевым, но и был с ним в переписке. Он поощрял его прозу, а в январе 24-го советовал взяться за драматургию: “Вы думаете, неприглядно, когда хвалят? Очень приглядно. Возьмите в Госиздате “Аэлиту” отд<ельное> изд<ание>, прочтите и напишите мне по совести. Мне нужно Ваше мнение... Театр, театр — вот угар! Из Вас выйдет **очень** хороший драматург, если только Вы серьёзно возьмётесь за работу... Всё, что пишу, — это найдено, много из своего опыта. Может быть, Вам пригодится... Присылайте рассказ. Передайте Булгакову, что я очень прошу его прислать для <<“Звезды”> рукопись... Обнимаю Вас, целую мадам Мухе руки”.

К этому письму, вклеенному в альбом, составленный Кручёных, Катаев позднее сделал приписку: “Спасибо! Научил на свою голову”.

Толстой не просто подталкивал Катаева к театру, но и ясно понимал его желание туда попасть (что означало настоящий успех и большие деньги), хотя до написания пьес ему оставалось ещё несколько лет.

И Толстой, и, конечно, Булгаков, да и Катаев оставались в значительной мере людьми “дореволюционного стиля жизни” (“роскошь” была для них важна и эстетически — имитация дореволюционного барства как своего рода “внутренняя эмиграция”).

Многое из наступившего времени они принимали вынужденно. Сторонились партийности. Им был важен успех, пусть бы и под речитатив новых лозунгов, хотелось окружения красивых женщин и антикварных вещей, чтобы, быть может, так чувствовать связь с той, былой, как будто бы отменённой Россией.

В 24-м Катаев написал рассказ “Товарищ Пробкин” про “красного барина” — богача, директора треста “Красноватый шик”, вместо “товарищи” норовившего сказать “господа”. “На нём была грубая, засаленная блуза, из-под раскрытого ворота которой выглядывало хорошее бельё и полосатый галстук бабочкой”. Он музицировал на пианино, читал старые книги (“марксистская литература — издательство Маркса”), но всё переименовал на строгий социалистический лад: персональный повар — “секретарь ячейки наршита” — жарил ему котлеты а-ля Коминтерн.

... Позднее Катаев с Толстым не были так близки.

Впрочем, уже в 1932-м в Париже поэт и критик Георгий Адамович, размышляя о Катаеве, связывал его с Толстым: “Немногие из современных беллетристов — не только советских, но и вообще всех пишущих на русском языке, — владеют такой интуицией, как он, таким “нюхом” к жизни, таким острым её ощущением. В России — Алексей Толстой, больше, пожалуй, никто. Как и Толстой, Катаев — писатель менее всего “интеллектуальный”, и там, где без помощи разума обойтись невозможно, он довольно слаб. Но в тех областях, где не столько надо понимать, сколько чувствовать, Катаев достигает правдивости почти безошибочной. Конечно, с Ал<ексе-

ем> Толстым сравнивать его ещё рано: он не соперник Толстого, он его ученик... Но ученик способнейший”.

Это писалось после “Растратчиков” и “Времени, вперед!”, но до романа “Белеет парус одинокий”...

В 35-м Катаев замечал в “Литгазете”: “Мало и плохо написано о таком замечательном писателе, как Алексей Толстой. Между тем, на его примере следовало бы показать начинающим писателям, как надо работать...”

Он не взял его в звёздный пантеон “Алмазного венца”. Почему? Из опасений утонуть в жирной толстовской тени? Или из-за поколенческой, в четырнадцать лет, разницы? Или из стремления щегольнуть перед “прогрессивным читателем” дружбой с роковыми художниками, но не высвечивать отношений со слишком родственным “баринном”, имевшим репутацию приспособленца?

Вернее, один раз он упомянут — как “некто”: “А где-то неподалёку от этого священного места (памятника Пушкину в Царском Селе. — С. Ш.) некто скупал по дешёвке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приёмы в особняке...”

Действительно, в летние месяцы 1924–1927 годов Толстой жил в бывшем Царском Селе (тогда Детском), куда в 28-м переехал насовсем.

Катаев не то чтобы осуждал “господина некто” за эту основательную, мощную роскошь, сколько сопоставлял его запредельный образ жизни со своими “набегами” на Ленинград и шампанскими кутежами “по-купечески” в обществе “знакомых, полужзнакомых и совсем незнакомых красавиц”...

Между тем, он общался с Толстым и во время загульных визитов “к брегам Невы”. В июне 25-го Толстой благодарил его в письме за “чтение прекрасного рассказа” и зывал на дачу в Сиверскую: “...ягоды, грибы, в речке сомы по пол-аршина... половим раков на воблиную голову”.

В августе 28-го Валентин Петрович сообщал жене: “Получил письмо от Толстого. Этот старый и толстый бандит написал оперу, пишет оперетки и комедию. Сукин сын! Усиленно зовёт к себе на дачу. Может быть, смотаюсь...”

Катаевское дистанцирование от Толстого ничуть не помешало в 69-м году поэту Борису Чичибабину записать два их имени подряд в небезызвестном стихотворении “Сожаление”, которое правильнее было бы назвать “Обличение”:

*Я грех свячу тоской.  
Мне жалко негодяев,  
как Алексей Толстой  
и Валентин Катаев.*

*Мне жаль их пышных дней  
и суетной удачи:  
их сущность тем бедней,  
чем видимость богаче.*

*Их сок ушёл в песок,  
чтоб, к веку приспособясь,  
за лакомый кусок  
отдать талант и совесть.*

Стихи искренне-размашисты. Но что-то они напоминают — звонкие, как пощёчины... По-моему, это всё тот же пафос “передовых пролетариев”, которые обвиняли Катаева и Толстого в “буржуазности” и “попутничестве”. Всё та же листовочная рапповская прямота, по поводу которой, пронизируя над морализаторами в литературе и периодической сменой “общепринятого”, ещё в 29-м году в анкете журнала “На литературном посту” Катаев замечал: “Горе писателю, если он, пересмотрев вопрос о “хорошо” и “плохо”, общепринятое плохое назовёт хорошим. Тогда критик-мещанин спешно подвязывает к своему угреватому подбородку внушительную марксистскую бороду и хватает дерзкого за штаны”.

(Окончание следует)



## РУССКАЯ БОЛЬ

**Беседа Валерия СДОБНЯКОВА с заместителем главного редактора журнала “Наш современник” Александром КАЗИНЦЕВЫМ**

**Валерий СДОБНЯКОВ:** В 2016 году “Наш современник” отмечает 60-летие. Вы работаете в журнале 35 лет – более половины этого срока. Застали не только В. Распутину и В. Белова, но и Г. Троепольского, В. Солоухина. Что за атмосфера царила в редакции в начале 80-х годов прошлого века? Ведь это были такие разные люди – разные характеры, пристрастия, мировоззрения. Как же их удавалось объединить на страницах “Нашего современника”?

**Александр КАЗИНЦЕВ:** Да уж характеры были! Взрывной, не признающий авторитетов Виктор Астафьев и сдержанный Гавриил Троепольский, который морщился от громогласных заявлений. Певец и идеолог крестьянства Василий Белов и публицист Иван Васильев, сам выходец из крестьян, подзревающий, однако, односельчан в частнособственнических настроениях – в прямом соответствии с марксистской догмой. Я помню, как они собирались на ежегодную редколлегию, рассаживались за огромным столом в кабинете главного. Самые языкастые Астафьев и Евгений Носов нарочно садились в разных концах и постоянно “катали” друг другу остроумные реплики и увлекательные, подчас непечатные байки. Подчёркнуто, в удовольствие окая, вставлял слово Владимир Солоухин. Распутин и Белов сидели тихо – младшие по возрасту. А сухенький Троепольский, похожий на учителя дореволюционной гимназии, со стопкой журналов, сплошь проложенной закладками, недовольно постукивал по столу тонко отточенным карандашом, ожидая, пока утихнет гам.

Но ведь сидели-то вместе! Во-первых, тогда ещё не знали политической борьбы. То, что вскоре станет политической позицией, не совместимой с другими, являлось всего лишь частным мнением. Чтобы снять напряжение, достаточно было похлопать собеседника по плечу: “Ну, брат, ты загнул!” Во-вторых – и это главное – всех объединяла русская тема. И даже так: русская боль. Сергей Викулов, возглавлявший журнал в 70–80-е годы и превративший “Наш современник” в знамя национального движения, не был интеллектуалом и даже безупречным художественным вкусом не обладал. Но как никто другой чувствовал боль и надежды русского человека и этим чувством русского сумел объединить очень разных и очень талантливых людей.

**В. С.:** Кто из писателей того периода был для Вас наиболее интересен? Я имею в виду не только авторов “Нашего современника”.

**А. К.:** В молодости мне посчастливилось познакомиться с Арсением Тарковским – другом Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Беседы с ним о поэзии, музыке, о его великих современниках, которые представляли не автора-

ми из хрестоматий, а живыми людьми, существенно расширили мой кругозор.

Огромное влияние на меня оказало творчество и сам образ Василия Шукшина. В юности я не читал современную русскую литературу. Знал о существовании цензуры и был убеждён: она вымарывает всё правдивое и живое. Читал Бёлля, Камю, Сартра, латиноамериканских магических реалистов и не подозревал о существовании Шукшина, Распутина, Белова. Переломным стал просмотр фильма “Калина красная”. Увидев лицо Шукшина, я понял – это брат мой! Он так же смеётся, так же печалится. И ещё почувствовал: я русский. Никогда об этом не задумывался, а тут ощутил всем существом. Потом, став литератором, поездив по стране, узнал, что такие же чувства “Калина красная” вызвала у многих людей – от академиков до колхозных механизаторов. Я заинтересовался Шукшиным. Оказалось, что он не только актёр и режиссёр, но и писатель, член редколлегии “Нашего современника”. Так я познакомился с журналом, а когда окончил аспирантуру МГУ, пришёл работать в редакцию.

Главное впечатление в “Нашем современнике” – Валентин Распутин. Самый обаятельный, самый деликатный, самый талантливый из всех, кого я знал. Он писал о деревне, как и большинство авторов журнала, но не так, как все. У писателей “деревенской прозы” человек дан в народном коллективе, “эпическом хоре”, если воспользоваться определением выдающегося теоретика литературы Георгия Гачева. Герой Распутина выделится из коллектива. Либо выпал из него, как Андрей и Настёна в “Живи и помни”, либо коллектив, не выдержав испытаний, распался, как в “Прощании с Матёрой”, где Дарья, олицетворение родовой мудрости, чувствует себя брошенной, никому не нужной. Вот этот болезненный слом, отражающий переломный характер времени, делает судьбы героев Распутина особенно драматическими и по-особому трогает душу.

Как видите, на меня влияли писатели, представлявшие разные, даже противоположные традиции. Кто-то увидит в таком перекрёстном влиянии недостаток, ущербность: “Не до конца наш”. Я же считаю эти различные влияния залогом плодотворного развития. Идя в “Наш современник”, я видел альтернативный путь. Постарался взять лучшее из другого “лагеря” и сделал выбор сознательно.

К сожалению, многие приходят к патриотам просто потому, что не знают куда пойти. А многие, скажем честно, потому, что так называемые “либералы” их к себе не пустили. Такие “союзники” резко снижают художественный и интеллектуальный уровень патриотики. К тому же они нестойки: их выбор не был сознательным. Убеждён, патриотизм – это не “культурный собес”, куда прибиваются все сирые и убогие, это высшее проявление духовных и интеллектуальных сил человека.

**В. С.:** Вы начинали как критик. Много писали о русских классиках. Я помню Ваши статьи в журналах “Москва”, “Наш современник”. Они выдавали в авторе человека, склонного более к академическому, спокойному и углублённому анализу литературного процесса, чем критика, стремящегося “засветиться” в обсуждении произведений текущей литературы, о которых говорят все. Хотя и подобных обсуждений Вы никогда не избегали. И всё-таки не эта ли Ваша основательность, погружённость в мир отечественной классики была причиной, что Вас пригласили работать в самый русский литературный журнал?

**А. К.:** Полемической энергии, Валерий Викторович, мне всегда хватало. Сергей Сергеев, бывший главред журнала “Москва”, вспоминал, как он познакомился с моим творчеством: прочитал статью “Простые истины” (это 1983 год), где я спорил с дюжиной критиков одновременно и вышел победителем! Другое дело, что и тогда и, особенно, сегодня темперамент у нас путают с крикливостью. Тут, конечно, вне конкуренции телевидение: кто громче всех орёт, тот и прав. Но и литераторы стараются не отстать. В самом начале моего пути я высказался о подобной манере, напомнив коллегам, что критика – не драка, а диалог. Именно так я озаглавил статью, опубликованную в “Литгазете”.

Такая позиция оказалась близка выдающемуся русскому критику и мыслителю Вадиму Кожинову. Вадим Валерианович поддержал меня в начале 80-х и рекомендовал в “Наш современник”. Позднее в предисловии к моей книге “Россия над бездной” Кожинов подчеркнёт: “Злободневность, постановка самых животрепещущих проблем сочетается в его произведениях с широким пониманием всего исторического развития России и мира”.

Вадима Валериановича самого не раз обвиняли в академичности, суховатости манеры. То было внешнее впечатление. Кожинов писал обстоятельно и доказательно, но сама постановка проблем в его статьях была революционной, а зачастую и провокативна. Его работы о славянофилах, о Достоевском вызвали оживлённые дискуссии, а в последнем случае и крутые оргвыводы ЦК.

И последнее — о полемичности и академизме. Раскрою секрет: и Кожинов, и я начинали как поэты. Вадим Валерианович стихов никогда не публиковал, а меня недавно соблазнили главреды “Юности” и “Дня поэзии” В. Дударев и А. Шацков, образовавшие нечто вроде тайного общества по “воскрешению” поэта Александра Казинцева. К ним присоединились С. Беляков из “Урала”, главные редакторы журналов “Берега” и “Новая Немига литературная” Л. Довыденко и А. Аврутин.

Поэтическая закваска ощутима в наших с Кожиновым статьях. Разумеется, у критики свои законы: она убеждает не эмоциями, а рациональными аргументами. И всё же... Из всех моих литературных премий я более всего горжусь премией имени Николая Гумилёва. Я получил её за статьи. Статьи, одушевлённые поэзией.

**В. С.:** В 1987 году Вы становитесь заместителем главного редактора “Нашего современника” и с этого времени полностью погружаетесь в публицистику. Скажите: Вы лично и те авторы журнала, что встали на защиту Отечества, уже тогда видели, что весь этот разгул “демократии” может привести к развалу государства? Что же выходит: русские писатели не смогли найти те слова, которые убедили бы народы нашей страны остановиться у пропасти?

**А. К.:** Вспомните “Пожар” Валентина Распутина. Повесть-предупреждение, проецирующая бедствие районного масштаба на всю страну: “Горит, горит село родное, горит вся родина моя”. “Наш современник” напечатал “Пожар” в последнем номере 1985 года. Успел к началу перестройки. Вспомните “Письмо писателей” — его организовал и опубликовал наш журнал. Тысячи людей подписали протест против разрушительных перемен. Явление в России небывалое!

Почему же этот текст — в отличие от чешской “Хартии-77”, от документов польской “Солидарности” — не стал поворотным? Почему не убергли от распада выступления Белова и Распутина на съезде народных депутатов? Доказательные статьи В. Кожинова, И. Шафаревича, К. Мяло, Г. Литвиновой, Ю. Бородая, А. Проханова?

Со словом всё было в порядке. Непорядок был с обществом. Оно фрагментизировалось, распалось на группы. “Архаровцы” — их первым заметил и отобразил в “Пожаре” Распутин. Понятно, не они планировали и проводили перестройку. Но они стали одним из её ударных отрядов. Порождение человеческого дна, хищники мелкого калибра. Пройдитесь по улицам небольших городов и деревень: до сих пор у заборов стоят грузовики со спущенными шинами, раздербаненные трактора — всё, что успели растащить с заводов или колхозов. А как вам распиленные ракеты в качестве резервуара для полива огурчиков? Каждый хапал, что мог! Смутой воспользовались миллионы.

Вторая группа — цеховики, хозяева подпольных фабрик. Они рвались отоварить колоссальные суммы, скопившиеся в их руках. Купить “заводы, газеты, пароходы”. И эти своего добились!

Ещё одна группа — номенклатура. Да, те самые люди, кто призваны были отстаивать государство и социалистическую идею. Эти изменили первыми! Пытались превратить СССР в конфедерацию, передав власть в руки местных элит, а потом и вовсе развалили Союз. Вот на ком главная вина!

И наконец, самый широкий круг — ротозеи. Случайно ли именно в 80-е годы приобрела невиданную популярность глуповатая песенка из мультфильма:

*Прилетит вдруг волшебник  
В голубом вертолёте  
И бесплатно покажет кино.  
С днём рожденья поздравит  
И, наверно, оставит  
Мне в подарок пятьсот эскимо.*

Детскую песенку распевали взрослые. И не просто пели – ждали халявы: бесплатного кино, подарков, праздника нон-стоп. Эти следили за разрушением Союза, удобно устроившись в креслах перед телевизором. Депутатов, витийствующих на съезде, оценивали, как персонажи другой популярной песни (на песенном материале тех лет диссертацию по социологии защищать можно):

*Ой, Вань, умру от акробатиков.  
Гляди, как вертится, нахал...*

Жили мелочами, ничтожными интересами. Не забыть репортажа по Первому каналу в дни ГКЧП. Корреспондент спрашивает прохожего об отношении к происходящему. Тот, с хитринкой прищурившись, отвечает: хотел носки купить (они в ту пору были в дефиците), да решил повременить: установится порядок – цены снизятся. Вот что волновало население, когда решалась судьба СССР.

**В. С.:** В предисловии к антологии публицистики “Нашего современника” Вы писали, что последние десятилетия в литературе – время публицистики. И это, безусловно, так. Я выскажу даже такую, быть может, кощунственную мысль, что не две чеченские войны, а именно патриотическая публицистика отстояла единство России после распада СССР. Но почему же за это время не возникло художественного произведения, которое потрясло бы души людей, заставило их осознать произошедшую трагедию как духовный, нравственный катаклизм, что будет иметь последствия для многих поколений?

**А. К.:** Благодарю за высокую оценку нашей публицистики. Чтобы читатели могли понять, какого масштаба это явление, перечислю всего несколько имён: Вадим Кожин, Александр Зиновьев, Сергей Кара-Мурза, Станислав Говорухин, Игорь Шафаревич, Александр Панарин, Наталья Нарочницкая, митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Иоанн. Я бы не стал противопоставлять чеченские войны и русскую публицистику. Скажу по-другому: патриотическая литература мобилизовала общество на отпор бандитам в Чечне. Свой скромный вклад внёс и я. За что экстремисты грозили отрезать мне голову. Но были и приятные моменты. После выхода моей работы “Чечня. Первый несданный рубеж” в 1995 году Вадим Кожин на праздновании дня Победы в редакции сказал, что статья ставит автора в тот же ряд, что и бойцов Великой Отечественной.

Вы правы – масштабного произведения о русской катастрофе конца XX века до сих пор не написано. Но ведь и “Война и мир” появилась полвека спустя после 1812 года. Первыми на катаклизмы откликаются поэзия и публицистика. Они схожи по степени открытости и откровенности авторской позиции. Для более обстоятельного осмысления произошедшего должна возникнуть временная дистанция. И глубже, точнее – должен найти новое равновесие потрясённый мир.

**В. С.:** Со всей России в “Наш современник” присылают стихи и прозу. Вы всё-таки видите возможность появления масштабного художественного произведения о последних десятилетиях?

**А. К.:** Гадать, что будет, – занятие неплодотворное. Но первые подступы к осмыслению произошедшего намечены в поздних рассказах Валентина Распутина и его повести “Дочь Ивана, мать Ивана”. Своё слово о смуте сказали и молодые – Захар Прилепин в “Саньке” и “Патологиях”, Сергей Шаргунов в романе “1993”.

**В. С.:** Многие годы Вы пишете свой “Дневник современника”. Это широчайшее публицистическое полотно, охватывающее мировую политическую историю первых десятилетий XXI века. Статьи “Дневника” вошли в книги “Симулякр, или Стекольное царство”, “Возвращение масс”, “Имитаторы”. Вы участвовали во многих спорах с теми, кто с противоположных позиций оценивает происходящее. Скажите, наши противники искренне верят в то, что говорят, или это выполнение некоего заказа?

**А. К.:** Многие материалы “Дневника” полемичны, но ничто не сравнится со сшибкой лицом к лицу с оппонентом, как это происходит на телевидении. Был период, когда меня часто приглашали на ТВ, выступления вызывали отклик, люди подходили на улице, иной раз останавливали машину, чтобы пожать руку. Думаю, такая реакция объяснялась тем, что я говорил искренне, горячо. Запомнил споры с Гарри Каспаровым и Ириной Хакамадой. Она ска-

зала: надо “хлестать” чиновников, но как-то ловко повернула мысль, так что вышло — “хлестать” надо русского человека. Я вскочил с места и воскликнул: “Если бы Вы не были женщиной, я бы поступил с Вами так, как Вы хотите поступать с нами”. Тогда передачи шли в прямом эфире, и зрители услышали наш диалог. Но вряд ли они заметили, что Хакамада ближе к концу передачи ушла, чтобы не столкнуться со мной лицом к лицу. А ведь она в то время была вице-премьером, её наверняка сопровождали дюжие охранники.

Верят ли такие люди в то, что говорят? Почему нет? Либеральная догма — одна из самых деспотичных. Она порабощает своих приверженцев. А вот журналисты, политехнологи — те, по-моему, ни во что не верят. Когда я бился с ними на ТВ в 90-е, они превозносили Америку. Сейчас они же в первых рядах борцов с американцами. Изменится политическая конъюнктура — снова затянут им хвалу. Не покраснеют! Профессия такая.

**В. С.:** Очень хотелось бы расспросить Вас о Дмитрии Балашове, Валентине Распутине, Владимире Солоухине, Вадиме Кожинове, Александре Панарине, Татьяне Глушковой. Ваши впечатления о них как о личностях. Как состоялись публикации их произведений? Особенно “Пирамиды” Леонида Леонова, “Дневников” Георгия Свиридова, “России распятой” Ильи Глазунова, “Русофобии” Игоря Шафаревича, работ Кожина и Панарина.

**А. К.:** Каждый из названных Вами авторов — целый мир. Не случайно в “Нашем современнике” ввели рубрики “Мир Кожина”, “Мир Леонова”. Проще рассказать о публикациях. “Пирамиду” Леонова и книгу Глазунова готовил к печати Геннадий Гусев, другой заместитель главного. Одно время он работал в ЦК и, кажется, ко всему привык, но даже такому человеку с Леоновым и Глазуновым было непросто. Леониду Максимовичу было за 90. Он жил один, почти ничего не видел и, не зажигая света, бродил ночами по дому. Время от времени что-то записывал. После чего в квартире Гусева раздавался звонок — в два, три, четыре часа ночи: “Геннадий Михайлович, на странице 564 третий абзац сверху (Леонов диктовал по памяти) вместо слов... впишите...”

Отрывки из “Дневников” Свиридова подбирал главный редактор Станислав Куняев.

“Русофобию” Шафаревича, статьи Кожина и Панарина готовил я. Впрочем, что значит — готовил? Сначала нужно было привлечь этих выдающихся мыслителей, завоевать их доверие, только тогда вставал вопрос о публикации. Шафаревич появился в редакции в 1988 году. В мой кабинет вошёл человек лет пятидесяти, с красивым умным лицом. Никогда прежде я не видел такой выразительной интеллектуальной красоты. “Игорь Ростиславович Шафаревич”, — представился вошедший. Я встал с кресла. Конечно, я знал о нём. В моём книжном шкафу стояла 10-томная Малая советская энциклопедия, где в статье о математике в СССР говорилось о Шафаревиче. К моменту выхода энциклопедии ему было всего 36 лет. Тогда же он получил Ленинскую премию.

Игорь Ростиславович предложил в журнал повесть своего друга Леонида Бородина, русского диссидента, только что выпущенного из заключения. Повесть — это была “Третья правда” — я взял и попросил материалы самого Шафаревича. Я назвал “Русофобию”, которую читал в зарубежном издании. “Да что Вы, — он даже рукой взмахнул, — кто же её напечатает!” Но я настоял, и знаменитая работа двумя подачами (это особая история) в 1989 году вышла в “Нашем современнике”.

Александра Панарина я привлёк в журнал поздно — за три года до его смерти. Каюсь — до этого я не знал работ этого выдающегося философа и политолога. Мне рассказал о нём Леонид Бородин, ставший главредом “Москвы”, где печатался Панарин. Мы с Бородиным ездили по Китаю, выступая в крупных университетах. Он рассказывал о своём журнале, я о “Нашем современнике”. Конечно, я говорил о Валентине Распутине, Василии Белове, Евгении Носове. “Но это же и наши авторы, — кипятился Бородин, — почему Вы присваиваете их?” Что ответишь? Что все свои повести, кроме одной, самой ранней, Распутин опубликовал у нас, а в “Москве” — лишь несколько рассказов? Что именно в “Нашем современнике” Белов напечатал романы “Всё впереди”, “Час шестой”? Что лучшие произведения Евгения Носова — “Красное вино Победы”, “У святские шлемоносцы” — вышли в нашем журнале? Историю не перепишешь, литературную в том числе. К концу поездки отношения с Бородиным накалились. Леонид Иванович решил нанести последний удар.

“Ну, что у вас за публицистика? – запальчиво произнёс он. – А вот у нас Панарин, Неклесса, Фурсов”. “Кто самый талантливый?” – спросил я. Бородин не раздумывал: “Панарин”. “Уведу!” – запальчиво пообещал я. И, вернувшись в Москву, позвонил философу. Вскоре Панарин стал нашим ведущим автором.

Кожин привёл меня в “Наш современник”. Но после грандиозного скандала с публикацией его спорной статьи в нашем журнале Викулов вычеркнул его из числа авторов. Я продолжал общаться с Вадимом Валериановичем. Узнал, что он написал развёрнутый отклик на нашумевший роман Анатолия Рыбакова “Дети Арбата”. Мы уже напечатали две статьи о романе, к тому же главный слышать не хотел о Кожинове. И всё же мне удалось убедить Викулова и статью опубликовать. Она принесла Кожинову славу ведущего политического публициста.

**В. С.:** Вы много работаете с молодыми – читаете рукописи, разбираете произведения на семинарах. Кого из наиболее интересных авторов Вы могли бы отметить?

**А. К.:** Недавно в редакцию пришло письмо. Автор, учительница, благодарит меня за то, что я познакомил читателей “Нашего современника” с рядом молодых авторов, начиная с Захара Прилепина. Признаюсь: был тронут. Как правило, никто не задумывается: как, в результате каких усилий в журнале появляется тот или иной автор. А ведь пробить публикацию молодого писателя – огромный труд! План свёрстан на много месяцев вперёд, в очереди люди известные и, что немаловажно, знакомые редакторов: с каждым обговорены сроки. И тут на тебе – молодое дарование! Значит, надо ломать план, объясняться со знакомыми, да ещё править текст (как бы ни был талантлив новичок, стилистических шероховатостей у него заведомо больше, чем у опытного писателя). А если “дарование” сказанёт что-то не соответствующее линии издания! Вот интересно, публикуем множество ярких материалов – в ответ тишина. Но стоит автору высказать спорную мысль (даже не на наших страницах), тут же письма, звонки: “А вы знаете, что сказал ваш хваленый?!” Это сейчас “Наш современник” законно гордится сотрудничеством с Захаром Прилепиным. А сколько крови испортили у него бдительные товарищи! Сразу – не просто письмо в редакцию, а персонально на топ-главному: “Так, мол, и так. Просьба принять меры”. Приходилось защищать в спорах, иной раз чрезвычайно резких.

Молодых надо не только напечатать. Ну, будет у них одна публикация, две. Это раньше: напечатали – “и наутро проснулся знаменитым”. Так было во времена, когда у журналов тиражи переваливали за миллион. А сейчас – печатайся сколько сможешь, головы не повернут, не заметят. Поэтому я лоббирую нашу молодёжь: заказываю критикам статьи, вывожу на семинары, выдвигаю на премии. Кто-то цедит: “Хвалит своих!” Отвечаю: хвалю не потому, что “свои”, они “свои” потому, что лучшие.

Конечно, хотелось бы видеть в молодых продолжателей моего дела. Как писал замечательный эстонский прозаик Арво Валтон в романе “Лекарь”: “Наконец пришло время, когда я серьёзнейшим образом озабочился тем, что мне надо где-то найти юношу или девушку, кому можно было бы передать свои знания и навыки”. Но вслед за эстонским мастером должен признать: эти надежды иллюзорны. Молодые ищут собственную дорогу, их не прельщает перспектива идти проторённым путём.

И всё же... С гордостью упомяну об октябрьском номере “Нашего современника” за 2015 год. Я сам от начала до конца составил подборку молодых прозаиков и поэтов. Номер выпустили фантастическим по нынешним временам тиражом – 26 тысяч экземпляров! На Вашу просьбу назвать интересных молодых перечислю авторов этого номера: прозаики – Андрей Антипин, Платон Беседин, Андрей Тимофеев, Елена Тулушева, Дмитрий Шушарин; поэты – Марина Волкова, Антон Метельков, Кристина Кармалита, Полина Кондаурова, Елизавета Мартынова. Убеждён – Вы не раз услышите эти имена.

**В. С.:** Расскажите о своих корнях, родителях, преподавателях. Кто из профессоров МГУ оказал на Вас особое влияние?

**А. К.:** Я рос среди книг. В нашей семейной библиотеке было несколько тысяч томов: дореволюционные издания Пушкина, Фета, Блока. Советские собрания классиков, книги по искусству, мемуары. В десять лет я просил отца взять меня с собой в научный зал Ленинки. Детей не пускали, отец говорил: “Оставить не с кем”. В четырнадцать я обходил букинистические

магазины в поисках мемуаров. Литература, которую теперь называют нон-фикшн, всегда интересовала меня больше и представлялась куда занимательнее, чем романы.

Моя матушка всю жизнь писала стихи. Неплохие, на мой взгляд. В 40-е – начале 50-х она ходила в знаменитую литературную студию при издательстве “Молодая гвардия”. Среди завсегдатаев – Семён Гудзенко, Александр Межиров, Наум Коржавин, звавшийся тогда Манделем. Отец, крупный чиновник авиационной промышленности, тоже был не чужд искусству.

Я окончил литературный класс школы при Академии педагогических наук. Поступив в МГУ, целыми днями сидел в Горьковке – университетской библиотеке, чьё собрание книг не слишком уступало Ленинской, но было не так прорежено идеологической цензурой. Там я прочёл поэтов Серебряного века, русских философов – от Николая Бердяева до Льва Шестова, книги отцов Церкви. Не жалею, что променял факультет на библиотеку. В 70-е годы на журфаке оставалось не так много настоящих профессоров. Настоящими я называю тех, кому посчастливилось слушать дореволюционных лекторов. Хотя и у нас были выдающиеся преподаватели – Дитмар Розенталь, автор хрестоматийных учебников по русскому языку, Анна Абрамович, замечательный лектор, автор учебников по стилистике, Эдуард Бабаев, знаток поэзии XIX века, друг Анны Ахматовой, – у него я писал диплом. К сожалению, диссертацию я готовил уже у другого руководителя.

Мог бы стать академическим учёным. Но тогда бы не пришёл в журнал. А без “Нашего современника” моей жизни не представляю.



*Фотография начала 90-х. На переднем плане: В. Клыков, В. Балабанов, Э. Лимонов, А. Казинцев, Г. Зюганов, А. Проханов, Ст. Куняев.*

.....

В издательстве “Алгоритм” вышла книга Александра КАЗИНЦЕВА “Имитаторы. Иллюзия Великой России”. Книга продаётся в редакции журнала. Цена – 300 руб. С пересылкой – 370 руб.

**МИХАИЛ ЛЕМЕШЕВ**

*доктор экономических наук*

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕРЕВНИ – АЛЬТЕРНАТИВА УРБАНИЗАЦИИ

### **Экологический кризис и его причины (вместо предисловия)**

Углубление противоречий между человеком и природой в условиях технократической цивилизации привело к стремительному нарастанию экологического кризиса во всём мире. Особо опасный уровень его разрушительного воздействия в нашей стране обусловлен либеральными рыночными реформами, в результате которых было уничтожено централизованное планирование и управление развитием экономической и социальной жизнью общества. Насаждаемый либеральной властью в России дикий рынок обусловил хищническое использование природных ресурсов, катастрофическое загрязнение окружающей природной среды и опасный ущерб здоровью населения.

В попытке выйти из критической ситуации властями было создано множество так называемых экологических фондов федерального, регионального, муниципального, отраслевого, группового и индивидуального уровней. Однако их функционирование не принесло ожидаемого результата. Причина в том, что задачи этих фондов сводились в основном к пропаганде бережного отношения к природе посредством организации конференций, симпозиумов, семинаров, чтения лекций, публикаций, общественных экспертных оценок опасности реализации конкретных строительных проектов. Эти коллективные усилия не дали существенных положительных результатов. Более того, они породили иллюзию активной деятельности, а бедственное положение в нашей экологической системе лишь усугублялось.

### **Вспомним историю**

На протяжении веков Россию в мире считали “страной городов”. И это не случайно. Такое определение существовало не только потому, что городов было очень много, но и вследствие того, что русские города были самыми большими по численности населения и отличались высоким уровнем благоустройства. Подтверждением этому служат письма французской королевы Анны, дочери великого князя Ярослава Мудрого (978–1054).

Занимая трон в Париже, она писала своим близким в Киев, что Париж по сравнению с её родным городом представлял собой довольно грязное захолустье. Это и неудивительно, поскольку Киев был столицей процветающей Руси.



Более впечатляющим было то, что наряду с Киевом на Руси были сотни небольших, не менее благоустроенных городов. Только в моей родной Брянской области имеется более 10 городов, история которых превышает тысячу лет. Среди них такие древнейшие, как Трубчевск, Стародуб, Почеп, Севск. Не уступают им по возрасту и города Юрьев (Тарту), Нарва, построенные Ярославом Мудрым на территории, ныне принадлежащей никогда не имевшей государственности Эстонии, которая, по мнению нынешних её руководителей, была «оккупирована» русскими в 1940 году.

Города на Руси строились и в последующие века, однако большинство русского народа проживало в сельских поселениях. Многовековой опыт организации городской и сельской жизни имеет бесценное значение для решения современных экономических, социальных и экологических проблем.

Нарастающая экологическая катастрофа требует практического решения задач по восстановлению гармонических отношений между Человеком и Природой как неперемennого условия жизни общества в соответствии с достижениями современной науки в области биологии, медицины, электроники и информатики. **Речь должна идти о реализации проектов, которые соответствуют шестому и седьмому технологическим укладам, обеспечивающим разработку стратегии охраны окружающей среды и, прежде всего, жизни и здоровья людей от урбанизации.**

### Оценка стартовой ситуации

XX век в жизни России характеризуется интенсивным ростом численности населения и радикальным изменением его структуры по месту проживания и сферам приложения труда, о чём свидетельствуют приводимые сведения.

Таблица 1

#### *Динамика и структура населения России (млн человек)*

Годы	Общая численность	В том числе городское население	Доля городского населения (%)
<b>1897</b>	67,5	9,9	15
<b>1926</b>	92,7	16,4	18
<b>1959</b>	117,2	61,1	33
<b>2010</b>	142,9	105,3	74

Источник: Российский статистический ежегодник. М., 2011. С. 77.

В 1926 году в России было 460 городов, в 2010 году их численность возросла до 1130. Важно отметить, что до начала XX века в жизни горожан и селян практически не было больших различий. И те, и другие в полной мере пользовались благами природы, их жизнь была непосредственно связана с использованием созидательной энергии Земли и Солнца. На эту неразрывную связь всегда указывали выдающиеся русские учёные: М. В. Ломоносов, В. В. Докучаев, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский.

Характерной особенностью производственной деятельности в городах и в сельских поселениях была **диверсификация** (разнообразие и взаимообусловленность производства потребительских благ). В деревнях и сёлах наряду с производством сельскохозяйственных продуктов широко практиковалось самостоятельное строительство жилищ, изготовление мебели, посуды, одежды, обуви, транспортных средств, с/бури, хозяйственного инвентаря, велась домашняя переработка сельскохозяйственной продукции. В свою очередь жители городов, будучи заняты в промышленности и торговле, имели значительные приусадебные земельные участки, занимались огородничеством, садоводством, содержали продуктивный скот и птицу. То есть здесь также наблюдалась диверсификация производства. Показательно, что даже Москва в XVI–XIX веках была застроена в основном двухэтажными домами, при которых имелись усадебные земли средним размером 10–11 соток, занятые садами и огородами.

В связи с индустриализацией не только резко возросла численность городского населения, но и его чудовищная концентрация, о чём свидетельствуют следующие данные.

Таблица 2

*Численность и плотность городского населения (2010 год)*

№	Города с населением	Число городов	Численность населения (млн)
1	До 10 тыс.	135	0,9
2	От 10 до 20 тыс.	280	4,1
3	От 20 до 50 тыс.	357	11,0
4	От 50 до 100 тыс.	158	10,1
5	От 10 до 500 тыс.	160	28,2
6	От 500 тыс. до 1 млн	28	21,0
7	Свыше 1 млн	12	30,4
ИТОГО:		1130	105,7

За это время резко изменилась структура городов по численности проживающего в них населения. В 1926 году было всего два города (Москва и Ленинград), в которых население превышало 1 млн человек. В них в общей сложности проживало 3,8 млн, а к 2010 году число жителей в этих двух городах возросло до 17 млн человек. Появились ещё 10 “миллионников” с общей численностью населения 14 млн человек.

Возникли города с населением от 500 тыс. до 1 млн. В 1926 году таких городов не было, в 2010 году их стало 28 с населением 21 млн. Таким образом, в так называемых “миллионниках” и городах, приближающихся к ним по численности населения, официально проживало 51 млн граждан России. Кроме того, по оценке специалистов, занимающихся демографией, в указанных городах обитает 15 млн мигрантов. К этому следует прибавить ещё не менее 5 миллионов приезжих, временно находящихся в этих городах. Следовательно, в 40 крупнейших городах обитает 71 млн человек, то есть без малого 3/4 всего городского населения России.

На остальные 1090 городов приходится лишь 34,7 млн человек. В сельских поселениях живёт ещё 37,6 млн человек. Именно в этих поселениях сохраняется относительно гармоничное отношение человека с живой природой, с Землёй и с Солнцем. Здесь сберегается традиционная культура сельской жизни, диверсификация производства, а главное – сохраняются условия для организации здоровой и осмысленной жизни людей. Как видим, налицо впечатляющие результаты урбанизации жизни. Попробуем оценить здесь её положительные и отрицательные воздействия на жизнь людей.

### **Урбанизация: благо или бедствие?**

В Большом энциклопедическом словаре даётся следующее определение: “Урбанизм – направление в градостроительстве XX века, считающее **неизбежным и необходимым** (выделено мной. – М. Л.) создание городов-гигантов с крупными зданиями”. Что касается “неизбежности”, то это – явное преувеличение, граничащее с фатализмом и обречённостью, поэтому она здесь не обсуждается. Другое дело – “необходимость”. В реальной жизни складываются такие обстоятельства, которые вынуждают осуществлять урбанизацию.

Приведём пример из практики социалистического строительства в СССР в первой половине XX века. Первая мировая война, революционные потрясения, гражданская война нанесли огромный ущерб экономике страны: промышленность и сельское хозяйство находились в жестоком упадке. Возродить их и обеспечить дальнейшее развитие было невозможно без форсированной индустриализации. Осуществлялась она в экстремальных условиях. Не хватало инженерно-технических специалистов, квалифицированных рабочих. Промышленные предприятия возможно было создавать только в ограниченных точках

страны, преимущественно в относительно крупных городах. Так, например, авиастроение концентрировалось в Москве, тракторостроение – в Сталинграде, выпуск энергетического оборудования – в Ленинграде, металлургическое производство – в Магнитогорске, тяжёлое машиностроение – в Екатеринбурге и т. п. Эти производства требовали огромных трудовых ресурсов, которые формировались за счёт миграции населения из малых городов и сельских поселений.

Согласно проводившимся переписям, общая численность населения страны с 1926-го по 1959 годы увеличилась на 12%, а городского населения – в 3,5 раза. За годы форсированной индустриализации произошли крупные изменения в уровне образования и профессиональной подготовке работников. В 1926 году число студентов в расчёте на 1000 населения составляло 12 человек, а к 1959 году оно возросло до 107, опередив по этому показателю все страны мира. Если в 1926 году численность лиц, имеющих высшее и среднее специальное образование, составляла 290 тыс. человек, к 1959 году эта категория возросла до 11,6 млн чел. При этом число занятых в народном хозяйстве преимущественно умственным трудом достигло 21%. За это же время число инженеров и техников возросло в 18 раз, а научных работников – в 23 раза.

В стране была создана разветвлённая сеть академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, лабораторий, конструкторских бюро, благодаря чему Россия одержала победу в Великой Отечественной войне и заняла ведущее положение в мире науки и техники, о чём свидетельствовали запуск первого искусственного спутника Земли в 1957 году и первый в мире триумфальный космический полёт Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 года.

Для достижения этих феноменальных успехов было оправданным сосредоточение производительных сил общества в городах в ущерб развитию сельских поселений. Достигнутый уровень развития науки и техники позволял обществу перейти к более целесообразному расселению людей посредством создания производственной, жилой и социальной инфраструктуры в малых городах и сельских поселениях, обеспечивающей гармоничные отношения между Человеком и Природой.

Однако сугубо технократическая идеология партийно-государственного бюрократического аппарата не позволила решить эту историческую задачу. Она была заменена механическим состязанием с США в области промышленного производства. За последующую четверть века в этом состязании СССР достиг ошеломляющих успехов, опередив США по производству нефти, природного газа, железной руды, стали, цемента, станков, тракторов, комбайнов, по темпам роста городского жилищного строительства. С одной стороны, это можно расценивать как большой успех, поскольку за счёт ускоренного роста тяжёлой промышленности создавалась мощная материально-техническая база страны, на основе которой появлялась возможность гармонического развития всех отраслей народного хозяйства, включая лёгкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, науку и образование. К несчастью, эту возможность реализовать не удалось.

Централизованное планирование и управление экономикой страны в 90-е годы было уничтожено. По рекомендациям армии западных консультантов было организовано чудовищное разграбление национального богатства. Под видом перехода к рынку проведена воровская приватизация государственной собственности. К власти в стране пришли частные владельцы либерального толка – аморальные выходцы из разложившегося руководства КПСС и комсомола. Созидательный потенциал страны был разрушен. “Рынок” обернулся массовой безработицей, чрезмерной концентрацией людских масс на ограниченной территории больших городов. Скопление автотранспортных средств обусловило критическое загрязнение воздуха, воды, почвы, наносящее невосполнимый ущерб всему живому и, прежде всего, человеку. Города-миллионники превратились в рассадники болезней, преступлений, духовного и нравственного неблагополучия.

### **Урбанизация разрушает вековечный союз Человека и Земли**

“Миллионники” и приближающиеся к ним по населённости города – это продукт капитализма. Они живут по своим агрессивным антисоциальным законам, называемым либеральными идеологами **рынком**. В действительности

рынка в капиталистическом мире давно уже нет. Здесь царят ростовщичество, спекуляция, диктат банков и монополий. Знаменитая формула кругооборота капитала К. Маркса “товар–деньги–товар” заменена формулой “деньги–деньги–деньги”. Крупнейшими банкирами США и Англии от имени Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития в качестве **основного показателя экономического роста предложен валовой внутренний продукт (ВВП)**. На самом деле он отражает лишь виртуальную, расчётную величину, что подтверждается тем фактом, что денежное выражение мирового ВВП в 10 раз превышает его объём в материально-вещественном выражении. Так, в современной РФ на протяжении последних пятнадцати лет официальная статистика отмечает рост ВВП в размере 5–7% при одновременном разрушении промышленного и сельскохозяйственного производств, здравоохранения, образования, науки и культуры.

“Миллионники” в изобилии продуцируют загрязнение окружающей среды, болезни людей, преступность, лживую информацию, безнравственную поп-культуру, жажду обогащения любой ценой. Физические и нравственные силы проживающих здесь людей расходуются впустую. Предъявлять к ним какие-либо претензии грешно. **Они – жертвы. У этих людей разрушен создательный потенциал, поскольку они лишены энергетического взаимодействия с живой землёй и благодатным небом.**

Представим себе трудовой день работника в Москве. Он вынужден вставать в 6, а то и в 5 часов утра, у него нет достаточного времени для гигиеничного туалета и рационального завтрака. Ему нужен час, а то и два, чтобы добраться до места работы. Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро в это “пиковое” время переполнены. В них часто нет возможности войти с первой, второй, а то и с третьей попытки. Везде царит беспорядочное движение, суета, нервно-психическое напряжение людей.

Не в лучшем положении оказываются и те, кто из-за ложного престижа и снобизма пользуется личным автотранспортом. Они часами стоят в “пробках”, парализуют движение общественного транспорта, дышат отравленными выбросами бензоперилла, опаснейших тяжёлых металлов: свинца, ртути, цинка, никеля, кадмия и других, разрушающе действующих на физиологическое здоровье людей.

В не менее тяжёлой ситуации оказываются миллионы тех, кто вынужден ехать на работу из Александрова или Можайска, из Малоярославца или Коломны и других городов, отстоящих на сотню, а то и более километров от Москвы. Им приходится затрачивать на дорогу по 4, а то и по 5 часов в один конец. Изменить этот убийственный образ жизни люди не могут, потому что в местах их проживания практически все производственные мощности разрушены, царит безработица.

Житель крупного города уже с начала рабочего дня подвержен стрессовому состоянию, отнюдь не способствующему творческому и производительному труду. Более того, он утрачивает способность реально мыслить – принимать разумные решения.

Опасная социальная, экономическая, экологическая ситуация складывается не только в самих “миллионниках”. Это бедствие ими **транслируется на обширную территорию и многомиллионное население агломераций** – так называемых мегаполисов.

Механизм чрезвычайно опасного воздействия осуществляется посредством интенсивных транспортных потоков, необходимых для удовлетворения безудержно возрастающих потребностей горожан в продовольственных и материально-вещественных товарах.

Покажем действие этого механизма на конкретном примере. Москва и Санкт-Петербург связаны автомагистралью М-10, представляющей собой транспортный коридор, который разрезает город Солнечногорск, расположенный в красивейшей местности на Клинско-Дмитровской гряде, на берегу озера Сенег. Ранее существовавшее здесь село Солнечная Гора превращено в город с населением более 50 тысяч человек. Через этот город день и ночь движется поток легковых и грузовых автомобилей. При этом в грузовом потоке более 2/3 составляют большегрузные машины, так называемые фуры. Число их на этой трассе исчисляется десятками тысяч в сутки. Вдоль указанной трассы ранее располагались леса, колхозные и совхозные поля, добротные избы с усадьбами, заполненными садами и огородами. Ныне всё это уничтожено, их место занято гигантскими складами и торговыми павильонами.

Подчеркнём, что такое положение характерно не только для автотрассы М-10, оно типично и для других федеральных трасс. В районах их пересечения с Московской кольцевой дорогой ежесуточно обслуживается более 200 тысяч большегрузных автомобилей. Стихийная урбанизация оборачивается реальной экологической катастрофой, угрожая здоровью и жизни людей. Проведённые санитарно-медицинские обследования населения Солнечногорского района показали, что за период с 2000 по 2010 годы заболеваемость людей увеличилась в два раза. Среди заболевших число выявленных новообразований составило 84 случая в расчёте на 1000 жителей района, то есть этим недугом страдает каждый 12-й человек (*“Нетерпение проблемы Москвы и Подмосковья”*, М., 2012. С. 343-344).

Это трагическое положение не только не преодолевается, но усугубляется. В “Программе развития транспортного комплекса Московского региона (2010–2015)” намечалось сооружение платных дублёров автотрассы М-10, их прокладывают по лесам водосборного бассейна реки Клязьмы, водные ресурсы которой используются для снабжения Москвы. Уже вырублен 371 га лесных угодий. В Солнечногорском районе одновременно намечено построить дополнительную, по счёту уже третью взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Под неё будет вырублено ещё 210 га водоохранного леса, а реку Клязьму строители планируют заключить в бетонную трубу.

Подобное катастрофическое положение наблюдается и в агломерациях других крупнейших городов России. Вот лишь несколько примеров.

В 20 км от Санкт-Петербурга расположен гигантский полигон Красный Бор, куда вывозятся на хранение особо опасные отходы. Он занимает площадь в 73 га. В настоящее время здесь скопилось более 2 млн тонн отходов, в том числе шлаков от химической, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. Сооружения, предназначенные для их хранения, переполнены. Утечки из них попадают в местные ручьи и малые реки, которые несут их в Ижору и Неву, угрожая здоровью и жизни миллионов людей. На территории регулярно вспыхивают пожары, вызывая опасные загрязнения воздушного бассейна на территории всей агломерации.

В окрестностях Челябинска сосредоточено множество свалок не только отходов металлургического производства и городского хозяйства. Так, в Ленинском районе города Челябинска экологами обнаружена свалка, на которой скопилось 18 тысяч отслуживших свой срок ламп, содержащих ртуть, представляющую серьёзную опасность для здоровья людей.

Стремительное наступление урбанизации можно проиллюстрировать историей жизни современного города Тольятти. В 1737 году одним из “птенцов гнезда Петрова” – сподвижников Петра I, – управителем Уральского края, автором фундаментального труда “История Российская с самых древнейших времён” Татищевым Василием Никитичем на берегу Волги была организована крепость под названием Епифания, позже получившая статус города и имя Ставрополь-на-Волге. На протяжении почти трёх веков численность его населения колебалась от 6 до 10 тысяч, жители занимались производством зерна, рыбным промыслом, торговлей.

Судьба города резко изменилась в связи со строительством Волжской ГЭС. В 1954 году город был перенесён из зоны затопления на более возвышенное место. По завершении строительства ГЭС здесь были созданы крупнейшие промышленные предприятия: “АвтоВАЗ”, “Трансформатор”, “Волгоцеммаш”, Судоремонтный, Электротехнический и другие заводы. В 1964 году город получил название Тольятти. В 1970-е годы по инициативе американского дельца Арманда Хаммера, владельца фирмы “Оксидент Петролеум”, был возведён крупнейший химический комбинат “Тольяттиазот” – предприятие отнюдь не безопасное в экологическом отношении. Если в годы Советской власти соблюдались жёсткие требования по предотвращению опасного загрязнения окружающей среды, то с проведённой в 1990-е годы приватизацией наступил полный беспредел. Собственником предприятия стал его директор Владимир Махлай, который вошёл в группу “крутых” олигархов. У хозяина возникли проблемы с законом, и он уехал в Великобританию, откуда продолжал руководить заводом до тех пор, пока не передал управление своему сыну Сергею, гражданину США. Ныне Сергей Махлай – президент “Тольяттиазота”, вице-президентом по финансовым вопросам является гражданин США Дональд Кнапп. Основная часть продукции предприятия поставляется в США, и дохо-

ды остаются там же. Жители современного Тольятти, число которых приближается к миллиону, с горечью заявляют, что они – гастарбайтеры на родной земле, вынужденные трудиться за гроши на экологически вредном и взрывоопасном производстве.

### Социальные последствия урбанизации

Обратим внимание на сложившуюся географическую систему расселения в нашей стране. По переписи населения 2010 года число жителей в расчёте на 1 кв. км территории составляло:

РФ в целом –	8,4 человека
Центральный федеральный округ –	59,1
Московская область –	155,0
г. Москва –	10588,1
Северо-Западный федеральный округ –	8,1
Ленинградская область –	20,4
г. Санкт-Петербург –	3480,0
Сибирский федеральный округ –	3,7
Красноярский край –	1,2
Дальневосточный федеральный округ –	1,0
Магаданская область –	0,3

Необходимо подчеркнуть, что разрушение природы и среды обитания людей – это не произвол отдельных проектировщиков и местных чиновников. К несчастью, это политика нынешнего либерального правительства РФ. По моему мнению, Минэкономразвития, Министерство финансов и Центробанк ведут системное разрушение природного, экономического и социального потенциала, здоровья и жизни миллионов граждан России.

В стране сложилась трагическая демографическая ситуация – идёт вымирание населения страны, о чём свидетельствуют следующие данные.

Таблица 3

#### *Рождение, смертность и естественный прирост населения России* (в расчёте на 1 тысячу человек)

Годы	Рождение	Смертность	Прирост
<b>1926</b>	31,3	18,1	13,2
<b>1959</b>	25,0	7,6	17,4
<b>2010</b>	12,5	14,2	-1,7

Источники: Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник. М., Госстатиздат ЦСУ СССР, 1961. С. 60.

Российский статистический ежегодник. М., Росстат, 2011. С. 84.

Не останавливаясь на достигнутом, либеральные власти РФ ищут новые формы разрушения страны. Такой “эффективной” формой, по их замыслу, и является идея создания 20 гигантских агломераций вместо многих сотен малых городов. В основе разработки этого опасного для жизни страны проекта лежит лживое утверждение о том, что в городах с населением менее 100 тысяч человек из-за **“отсутствия ресурсов”** (в их понимании – денег. – М. Л.) якобы невозможно создавать новые рабочие места и объекты социально-бытовой инфраструктуры. Другими словами, утверждается невозможность проживания людей в таких городах.

Наиболее активным автором этой акции была и остаётся поклонница гайдаровской шоковой терапии Набиуллина Э. С., которая ранее возглавляла Министерство экономического развития РФ, а теперь – Центральный банк. Именно под её руководством, как я полагаю, вместо **развития** осуществлялся **развал** экономической и социальной жизни страны. Будучи советником президента РФ, она проталкивала вредную идею “мегаполизации” страны.

Её логика примитивна: “В мегаполисах (урбанизированных резервациях – городах-миллионниках. – **М. Л.**) создание инфраструктуры обходится **дешевле**, чем в городах и весях, разбросанных по стране”. Э. С. Набиуллина не дано понять, что вождеденные ею миллионники – это **раковые метастазы** на прекрасном природном теле России. Ныне она продолжает гайдаровскую шоковую терапию, лишает финансовых средств предприятия и организации реальной экономики страны с помощью удушающих кредитных ставок, достигающих 15% годовых.

Последствия раскроем следующим конкретным анализом реальности.

Таблица 4

*Число малых городов в Российской Федерации*

Размер городов по численности населения	Число городов	Общая численность населения (тыс. человек)
До 5 тысяч	34	118
До 10	101	777
До 20	280	4122
До 50	357	11615
До 100	158	10831
<b>Итого</b>	<b>930</b>	<b>27463</b>

То, что нет ресурсов для обеспечения благоустроенной жизни в этих городах, – это явная ложь. В них на протяжении веков, а то и более тысячи лет проживают трудолюбивые талантливые люди, эти города размещены в самых благодатных природных ландшафтах, по берегам судоходных, богатых рыбой рек, их окружают плодородные земли, леса со своими несметными богатствами, заливные луга. В них создана многовековая уникальная материальная и духовная культура, сложился исторически проверенный уклад жизни. Но для нынешних российских реформаторов эти блага не являются ресурсами. Для них единственным ресурсом являются деньги. Ныне у этих городов денег действительно нет, так как они ограблены этими самими реформаторами.

Теперь ими ставится задача уничтожения малых городов посредством переселения проживающих в них людей в города-миллионники, жизнь в которых становится всё более тяжёлой и опасной из-за экологического и социального неблагополучия. **По решению Министерства экономического развития РФ 462 города объявлены бесперспективными и нежизнеспособными.** Таким образом, уничтожается **самая созидательная часть** российского общества, где ещё сохраняются православная вера, доброта, трудолюбие, взаимопомощь, любовь к родной земле, к Отечеству.

Посредством реализации этой чудовищной идеи замышляется решить две взаимосвязанных задачи. **Первая из них – согнать русских людей с родной земли, которую они с любовью обихаживали на протяжении многих веков, превратить их в бродяг и нищих, обречь их на ускоренное вымирание, а оставшихся в живых вынудить к миграции в непригодные для здоровой и созидательной жизни существующие и вновь создаваемые города-миллионники.** Вторая – захваченную таким путём русскую землю распродать зарубежным миллиардерам и банкам.

Что же ожидает русский народ, если проект разрушения его исторического расселения будет реализован? Миллионы русских людей, согнанные с родных земель, вынуждены будут искать прибежища в городах-миллионниках, где их никто не ждёт, поскольку все рабочие места будут уже заняты мигрантами. Здесь они утратят свои этнические и духовные особенности и потеряют исторический статус государствообразующего народа. Думаю, что просвещённому читателю нет нужды объяснять, что это явится концом Российского государства.

*Нашему обществу необходимо осознать масштаб грозящей ему смертельной опасности, объединить усилия в защите исторически сложившегося образа жизни и родного Отечества.*

## Радикальный путь к спасению и процветанию России

Как путь и средство преодоления разрушительной практики, проводимой либеральной властью РФ, мною предлагается *стратегический авторский проект сохранения и умножения русского народа на основе его генетического кода*. В этих целях проектируется создание 50 тысяч экологических деревень, представляющих собой исторически оправдавшую себя систему расселения людей не в урбанизированных гетто, а на родной земле, веками дарившей человеку незаменимые блага жизни

В экологических деревнях должен быть воспроизведён традиционный уклад сельской жизни, предусматривающий более высокий по сравнению с городским уровень благоустройства, обеспечивающий здоровые условия труда, отдыха и быта их обитателей. По замыслу предлагаемого мной проекта, в каждом таком поселении должно быть построено в среднем по 100 благоустроенных деревянных домов усадебного типа, общей жилой площадью не менее 100 квадратных метров, с русской печью, с баней, с подворьями. При каждом доме должен быть личный земельный участок размером 30 соток (0,3 гектара) для ведения огородного хозяйства, для возделывания плодового и декоративного сада, устройства цветников, газонных площадок, беседок, при желании владельца — зарыбленных прудов и прочих элементов благоустройства с учётом фантазии каждой семьи. В каждом доме предполагается проживание одной семьи, состоящей в среднем из 8 душ трёх поколений: 4 детей, 2 родителей и 2 представителей старшего поколения.

Попутно отмечу, что четыре ребёнка в семье — это вовсе не предел. Сошлюсь на конкретный исторический пример из русской жизни. 28 октября 1944 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении матерям, имеющим 10 и более детей, почётного звания «Мать-героиня». Матери, имеющие 7 и более детей, награждались орденом «Материнская слава». За период с 1944 по 1990 год звание «Мать-героиня» получили 430 тысяч женщин и более 5 миллионов награждены орденом «Материнская слава».

Важным требованием устройства такой деревни должно быть обеспечение работой всего её трудоспособного населения. Основной хозяйственной деятельностью должно быть коллективное (артельное) сельскохозяйственное производство: в полеводстве — возделывание ржи, овса, клеверов, льна-долгунца, гречихи, посевной конопля; в животноводстве — разведение рабочих и спортивных лошадей, молочных коров со шлейфом молодняка, овец и птицы.

Особое внимание должно быть уделено возрождению пастбищного и лугового хозяйства — не только источнику высокоценных и дешёвых кормов, но и условию сохранения здоровья животных.

В сельскохозяйственном производстве не должна использоваться тяжёлая техника — крупногабаритные тракторы и комбайны, а также минеральные удобрения и ядохимикаты. Полевые и транспортные работы целесообразно выполнять с помощью малогабаритных машин, преимущественно работающих от электропривода или на конной тяге.

В структуре хозяйства должны получить развитие промышленная переработка скота, птицы, молока, овощей, мёда, воска и сельскохозяйственных отходов. Соответственно созданы современное складское и холодильное хозяйство, а также разнообразные мастерские: плотницкие и столярные, кирпичные, льнообрабатывающие, прядильные, ткацкие, швейные, сапожные, художественные промыслы и т. п.

### **Сельское поселение как многофункциональная социально-производственная структура**

В экологических деревнях получают развитие специализированные дочерние фирмы в виде небольших творческих коллективов (артелей), специализирующихся на разработке и реализации **инновационных программ, информационных и научно-технических центров, конструкторских бюро, лабораторий, вузовских филиалов и кафедр, соответствующих требованиям шестого и седьмого технологических укладов**. Достижения в области информатики и электроники позволяют непосредственно в экологических деревнях организовать выпуск наукоёмкой продукции, включающей новейшие



приборы и материалы для радиотехники, электроники, здравоохранения, оборонной и космической техники, охраны окружающей среды. Это позволит организовать разветвлённую сеть рабочих мест для использования творческого труда и таланта учёных, инженеров, конструкторов, архитекторов, писателей, художников, артистов и других специалистов – выпускников лучших вузов страны, вынужденных ныне искать работу за рубежом.

Приведу лишь один конкретный пример. Пятеро выпускников Московского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева и пятеро выпускников Московского медицинского университета имени И. М. Сеченова получают льготный (нулевой) кредит, организуют лабораторию и налаживают производство экологически чистых лекарственных препаратов, заменяющих дорогие импортные лечебные средства весьма сомнительного свойства.

Из объектов соцкультбыта обязательно должны работать современно оборудованные школа, детские дошкольные учреждения, поликлиника, библиотека, дом культуры, банно-прачечный комбинат, почта, пекарня, универмаг. Должны быть восстановлены или вновь построены православные храмы. Для успешного функционирования жилых, производственных и культурно-бытовых объектов в поселении желательно иметь надёжный и дешёвый источник энергоснабжения – автономную экологически чистую теплоэлектростанцию, работающую на природном газе, а также ветроводородные и солнечные электростанции.

Особо следует сказать о развитии культуры в экодеревнях. Организуемые либералами “фабрики звёзд” – это сущее издевательство над подлинным искусством. Бескультурью и пошлости шоу-бизнеса должно быть противопоставлено развитие художественной самодеятельности – колыбели истинных талантов. Сошлюсь на конкретный пример.

В послевоенные годы я обучался в сельскохозяйственном техникуме, расположенном в селе Кокино, в 25 километрах от города Брянска. Техникум был создан на базе комсомольской сельскохозяйственной школы в начале 20-х годов прошлого века. Бессменным директором техникума в течение пятидесяти лет был Герой Социалистического Труда Пётр Дмитриевич Рылько. Его заботами в техникуме был создан студенческий художественный ансамбль, который долгие годы с блеском выступал на главных сценах Москвы, Ленинграда, Киева и множества других городов СССР, с громким успехом гастролировал во многих странах Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, Австралии и везде получал высшие национальные награды.

Именно в экологических деревнях может получить развитие народное художественное искусство – хоровое, песенное, танцевальное, драматическое, противостоящее пошлости и халтуре.

Поскольку деревня экологическая, то вполне логично запрещение въезда в жилую зону легковых автомобилей. Коллективный гараж должен располагаться за её пределами. И никаких дорожных асфальтов и бетонов, уродующих территорию. В этом случае вместо шума моторов и отвратительного запаха недожжённого бензина будут царить чарующая тишина, пение птиц, стрёкот кузнечиков, божественный аромат трав и цветов. Детвора сможет свободно гулять, а мамы и бабушки не будут истошно кричать: “Ваня, смотри: машина!”

Итак, в каждой таким образом устроенной экологической деревне в среднем может проживать 800 человек. В их общинной собственности будет находиться примерно 2000 гектаров сельскохозяйственных, лесных, водных и других угодий. Соответственно, общая численность населения “экологических деревень” в целом по стране составит 40 миллионов человек, которые на основе общественного характера производства и артельной организации труда будут обихаживать 100 миллионов гектаров плодородных русских земель. Это будет главным исходным рубежом, с которого начнётся реализация мудрого завета гения русского духа Михаила Васильевича Ломоносова “О сохранении и размножении российского народа”.

Идею необходимости строительства миллионов индивидуальных домов на селе и в малых городах разделяет один из самых деятельных губернаторов России, доктор экономических наук Савченко Евгений Степанович. Эту идею он изложил, в частности, в своём докладе на **Государственном совете** Российской Федерации 18 сентября 2014 года.

## Ресурсы для реализации проекта

Читатель, разумеется, понимает, что авторский проект носит пока виртуальный характер. Скорей это основа разрабатываемой автором принципиально новой теории решения жизненно важной социально-экономической, демографической и геополитической проблемы сохранения России и её государственного суверенитета. Здесь обоснованы лишь эскизные параметры проекта, его масштабы, структуры и капиталоемкости. Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО) может быть выполнено специально созданным творческим коллективом учёных и специалистов разного профиля. Создание такого коллектива целесообразно поручить Совету по изучению производительных сил Российской академии наук. В число разработчиков проекта должны быть включены учёные экономических, сельскохозяйственных, энергетических, машиностроительных, биологических, почвенных, лесных научно-исследовательских учреждений, проектных организаций и конструкторских бюро.

Очевидно, что такое поручение разработки проекта может быть дано только высшим законодательным или исполнительным органом власти, то есть или президентом, или правительством РФ.

Разработка и реализация проекта даст возможность здоровой и плодотворной жизни 40 миллионам граждан на опустошаемых ныне землях, которые веками служили основой благополучия людей. Из этого многомиллионного контингента несомненно нашлись бы квалифицированные специалисты, желающие работать в сфере АПК.

В заключение подчеркну, что *научно обоснованное развитие АПК в форме новых эколого-социальных структур – экологических деревень – в современных условиях способно стать мощным локомотивом оздоровления всей экономики страны*. Но это возможно лишь при условии изменения самой парадигмы управления страной.

Реализация проекта создания разветвлённой сети полифункциональных социально-экологических структур – *экологических деревень* – способна пробудить дремлющие силы народов России, соединить их энергию с неисчерпаемой энергией Земли, Солнца и Космоса, внести весомый вклад в восстановление гармонии между Человеком и Природой в масштабах всей нашей планеты.

## Литература

1. Михаил Лемешев. Экономика и экология: взаимосвязь и зависимость. “Коммунист”, ноябрь 1975.
2. Михаил Лемешев. Спят и видят мир без России. “Отечественные записки”, № 29 (231), май 2011.
3. Михаил Лемешев. Стратегия восстановления жизнеспособности России (к развитию цивилизации в XXI веке). М., “Наука-Бизнес-Паритет”, 2013.
4. Оксана Дмитриева. Нельзя было принимать бюджет-2015. “Советская Россия”, 25 ноября 2014.
5. Евгений Савченко. Как восстановить рост экономики. “Национальный контроль”, ноябрь 2013. С. 48–53.
6. Ю. Крупнов. Индустриализация 2.0. “Завтра”, № 12 (1113), март 2015.

**ТАТЬЯНА МИРОНОВА**  
*доктор филологических наук*

## ЗАКОНЫ РУССКОГО НАРОДОПРАВСТВА

По каким законам живёт русский народ? Большинство из нас законов, принятых Госдумой, попросту не знает, отродясь их в глаза не видывало, да если бы и увидало, толку от того было бы немного, потому что разобраться в нагромождении юридических терминов и статей под силу только юристам. Но ведь без правил мы не живём, нет анархии в стране. Так по каким законам живут русские люди в России? Эти законы, диктующие нам правила и порядок жизни народа, живут в национальной памяти, в научной терминологии именуются юридическими обычаями, а в народной традиции – русским порядком, неписаными правилами жизни. Впервые на эту проблему обратило внимание этнографическое отделение Русского географического общества в середине XIX века: “Целые поколения между поселянами изживают, не зная свода законов, не обращаясь к писанным и учреждённым верховной властью законам. В кругу своих нужд и потребностей они живут своей юридической жизнью, своей правдою. Так, в сфере гражданского права они вступают между собой в разнообразные отношения: заключают сделки, меняют имущества, покупают и продают их, нанимают имущества и личные услуги, дарят, берут займы и ссуды, заключают брачные договоры, наследуют и т. д. Точно так же, независимо от писаных законов, они действуют и в сфере уголовного права. Судят виновных и карают их...” Ныне, когда законы государства Российского как никогда далеки от наших понятий о праве и справедливости, мы снова вспоминаем народные юридические обычаи – свой русский порядок жизни.

### **СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВЫШЕ ЗАКОНА**

Сегодняшняя власть убеждена, что народ будет жить, подчиняясь тем законам, которые штампует Государственная Дума. Это убеждение, по меньшей мере, наивно. Законы, по которым живёт любой народ, и русские не исключение, неписанные. А всё, что придумывает власть в виде указов, законоустановлений, циркуляров, – не более, чем тонкая корочка льда на мощной стремнине народной реки. Корочка эта может постоять хрупким стёклышком, но ширь и сила народных обычаев и обрядов непременно взломают её. Вот отчего бытует в России афоризм, авторство которого приписывается М. Е. Салтыкову-Щедрину: “Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения”. Необязательность подчинения законам возникает потому, что народ не может исполнять противное его природе, то, что не

отвечает русскому национальному духу и мировоззрению, складывавшемуся веками.

Древнейшие русские юридические постановления и вся их внешняя обрядовая сторона складывались из коренных народных представлений. Рассмотрим важнейшие понятия права в русском языке, того истинно национального права, которое создано не в угоду сегодняшним потребностям олигархического капитала, а существовало тысячи лет, выражая национальное видение русского порядка. Обратим внимание на терминологию — не латинские юридические термины, а исконные русские слова, — выясним, какие законные принципы жизни в нас заложены русским языком в его коренных значениях.

Само слово **закон** имеет в своем корне *кол-* в значении возвещённого свыше божественного установления. Именно такой смысл развился у праиндоевропейского корня *\*kwl-*, изначально понимаемого как *трубить, возвещать*. К этому корню восходят такие разные, но на самом деле близкие слова, как *начало* и *конец*. Установленный свыше — искони — порядок жизни, именуемый законом, и философские понятия начала и конца всякого явления, происходящего по воле Божьей и по Его законам, показывают, что наши предки были мыслителями, что они понимали и чувствовали великий круг движения Вселенной, и жили, повинувшись именно высшим законам Творца, установившего этот круг, где начало и конец рано или поздно сходятся в одной точке — они в воле Всевышнего.

Представление об устоях, на которых зиждется жизнь народа, о неписанных русских народных законах, формирует слово *ряд*. Не случайно оно породило современное выражение *русский порядок*, что так раздражает сегодня инородцев, живущих рядом с нами. **Ряд** — это и управление народом, распределяющее наряды и подряды, и общественный строй — порядок, и суд с расправой, где судят-рядят. Отсюда и понятие **народные обряды** — неписанные, но ставшие законом жизни ритуальные действия. Управленец именовался *нарядчик*, *подрядчик* или *урядник*. Человек, соблюдавший установленный порядок, числился рядовым, у нас до сих пор живы эти выражения — рядовой гражданин, рядовой солдат. Общественное или деловое поручение называлось и по сей день называется *наряд*, и тем же самым словом именуется красивая, праздничная одежда — в память о том, что всякая одежда имела в древности строго ритуальный характер, и каждая её деталь служила защитным покровом для тела.

Одежда-наряд всегда являлась статусным признаком человека. Русским порядком было установлено, что человек голый, лишённый одежды, исключался из мира людей, переходил в мир животных. Причём к наготе приравнивалась и полуодетость, неполнота наряда. Вот почему голый или полуодетый человек вызывает у нас смех или чувство оскорблённости. Ведь с точки зрения нашей национальной психологии, прилюдное обнажение — нелепица и абсурд, неполнота наряда есть нарушение порядка, и мы интуитивно смеёмся над человеком, превратившимся в животное, или возмущаемся его скотским состоянием.

Наряд до сих пор содержит множество сведений о человеке, который его носит. По одежде мы всю жизнь определяли, кто перед нами: свой — русский, или чужой — инородец. Наряды мужской и женской подчинялись жёстким правилам. Ношение мужчинами женской одежды, а женщинами — мужской, как и нагота, вызывали шок. Русские обряды определяют и цвет одежды. При погребении исключается красный цвет для всех участвующих в похоронах, допускается лишь черный и белый. На свадьбах, напротив, чёрный цвет является вызовом всему обществу, оскорблением хозяев праздника. В народном костюме ритуально значимы даже детали одежды: ворот, полы, рукава. Они украшались вышивкой со священными символами жизнестойкости и плодородия — птицами, конями, цветами, свастиками. Для мужской одежды узаконены и необходимы рубашка, шапка, штаны и пояс, для женской — рубашка, пояс, фартук и юбка-понёва. Пояс, отделявший верхнюю — святую — часть тела от нижней — нечистой — также обязательная часть наряда, без которого ни в пир, ни в мир не появишься: засмеют или выгонят взашей. То есть наш русский наряд — в полной мере законная необходимость жизни. Без наряда, в котором должно быть всё в своём порядке, человек становился животным, скотиной, исключался из мира людей. Так что русский порядок начинался с одежды, но он пронизывал и регламентировал все сферы народной жизни.

Ещё одно краеугольное понятие русского порядка обозначается словом **право**. Оно соотносится с прилагательным *правый*, означающим не только правую сторону, правую руку, правую половину чего-либо, но и *прямой, простой, правильный, справедливый* путь или порядок действий. Вот и выходит, что **право** – это всё правильное и справедливое в жизни человека. От него произведено слово **правда**, а к правде на Руси особое отношение. Правду у нас называют *маткой*. На правду опирается всякий, кто надеется на Божью помощь: “*Не в силе Бог, а в правде*”, “*Правда всесильна*”, “*Деньги могут много, а правда – всё*”, “*Правда всепобеждающа*”, её не высказывают, её “режут”. А ещё – “*Правда глаза колет*”. И потому она является мерилom человеческой совести.

Почему возникло такое представление о *правом*? Учёные-лингвисты установили, что древние народы, видя в Солнце верховное божество, управляющее Вселенной, через призму солнечного движения созерцали окружающий мир. Это очевидно из совпадения понятий: левого – с северным, правого – с южным. Человек всегда обращался для молитвы лицом к востоку, откуда появлялось поутру солнце, и, следовательно, с правой руки каждый имел юг, а с левой руки – север. Свет, тепло и весна приходили с юга, то есть справа, а тьма, холод и зима являлись человеку с севера – слева. Поэтому с *правым* соединялось всё благое, прекрасное, светлое, а с левым нераздельны представления о злом, тёмном, враждебном. Такая противоположность юга и севера сочеталась в народных поверьях с правой и левой сторонами. По народному убеждению, с правой руки человека стоит добрый ангел, а с левой – злой бес. Так рождались суеверия: спать на правом боку почиталось за грех, потому что можно придавить ангела-хранителя. Вставать с постели следовало с правой ноги: встанешь с левой – весь день пройдёшь не в духе. Вот почему по сию пору ритуально вопрошают раздражённого человека: “Ты что, не с той ноги встал?”. Ещё верили в народе тому, что входящий в дом должен вступать на порог правой ногой, тогда его ждет хороший приём. Крик вещей птиц с правой руки принимался за добрую примету, а с левой – за предвестие беды. Под влиянием этих воззрений слово *правый* получило значение всего нравственно хорошего, справедливого, способного к власти и заслуженно обладающего властью, причём юридическая древность требовала, чтобы всякое право передавалось и принималось правой рукой и всякий договор скреплялся соединением правых рук. До сих пор в международной дипломатии соблюдается это правило обязательного рукопожатия.

Взглянем на другие основы русского порядка. Русский порядок, по народным представлениям, основан на Воле Божьей, о чём свидетельствует слово **вещать** как изречение Божьего решения. Корень этого слова присутствует во многих юридических терминах: *завещание, ответчик*, а в древности существовала – *поветь* (область, подведомственная суду), а ещё мы знаем древнерусское **вече** – народный собор, выносивший общее решение в согласии с Божьим законом. Слово **вещать** соединялось с близким ему по смыслу *ведать*, означавшим высшее, от Бога дарованное *ведение*, в отличие от знания, получаемого человеком из наблюдения за внешним миром. По-русски *ведать* – получать откровения Бога, а *вещать* – изрекать откровения Бога. Из этого следует, что законы, по убеждению славян, исходят от Божества, а суд обязан быть вещанием Его правдивой воли. Именно таким в идеале и сегодня хочет видеть суд каждый русский человек – по справедливости решающим судьбу человека.

Славянское слово **судьба** – буквально “суд Бога”. Судьбу мы, русские, ставим выше любого приговора, вынесенного нам людьми. Судьбу вершит Бог, а всё, что случается в этой жизни с человеком, есть решение о нём божественной силы. Оттого возникли древнейшие способы решать дела жребием, испытанием водой и огнём, поскольку стихии природы – целиком во власти Божьих сил, они и выражают Его святую волю. А ещё раскалённым железом, поединками и клятвами над мечом – знаменем молнии, языческим символом бога-громовержца, карателя всякой неправды, испытывали судьбу наши предки. Да и само выражение “испытывать судьбу” значит, что мы всякий раз подсознательно спрашиваем, пытаем Бога, что Он думает о нас, не отвернулся ли от нас, благоволит ли к нам.

Вот так – Божьей волей, мерилom Высшей правды – русский порядок оправдывал и оценивал судьбу каждого человека. И оттого важнейшим архети-

пом русского самосознания является убеждение, что справедливость — Божья правда — выше человеческого закона. Людской же закон — что дышло...

Все правовые понятия русского народа облечены в древние символы. Рука как основное орудие человека стала символом власти, права, силы. Чтобы овладеть предметом, присвоить его себе, в старину надо было взять его рукой и таким образом заявить о своём господстве над вещью. Отсюда происходят ключевые русские понятия — *дерзать* и *держать*.

**Дерзать** — значит попытаться дотянуться, постараться ухватить вещь. Вот почему *дерзкий* человек воспринимается нами чаще в положительном смысле, мы судим о нём как о смелом и рисковом удалце. А слово **держать** означает достичь желаемого и удерживать его в руке. Древнее это воззрение отражено в русском “держись!”, что значит “стой, где стоишь, крепись, удерживая то, что сумел взять”. Исконный этот взгляд отражён в слове *удерживающий* — такой библейский образ, определяющий царственного носителя добра, который своей властью удерживает разгул зла на земле и саму Вселенную бережёт от конечной гибели. Древнее это суждение хранится в слове **держава**, означающем государство под единоличной сильной властью.

Воззрения, связанные с юридическим значением руки, принадлежат отдалённой старине и ярко сказываются в юридических обычаях разных этносов. В русском народе они многочисленны. С *рукополаганием* связаны религиозные действия посвящения в священнический сан, в епископы христианской церкви, оно и называется *рукоположением*.

И в русском быту рука была символом власти и силы. До сих пор существуют расхожие выражения “У него там рука”, “Своя рука — владыка”, *подручный*, то есть подвластный. Велика роль *руки* в наших официальных юридических терминах. Русское название **тяжба** говорит о том, что в древности спор о вещи представлял собой борьбу, когда и истец — тот, кто ищет правды, — и ответчик тянули спорную вещь к себе. И тот, кто осиливал эту тяжбу — борьбу на суде, получал её себе в собственность — в своё *стяжание*.

В судопроизводстве и в деловой жизни Руси известно такое понятие как **круговая порука** — коллективная ответственность, когда все — за одного, когда выручали своих из беды, пуская “шапку по кругу” в помощь бедствующему или вместе выкупали виноватого сородича, сообща давали отпор обидчику своего ближнего.

Уже простое пожатие рук есть символ связи, согласия, поэтому у нас существует рукопожатие не только как дружеское приветствие, но и как символ всякого договора. Когда стороны сходились в цене или соглашались на прочие условия сделки, дело венчалось *рукобитием* — так дело вершили и про то говорили: “ударил по рукам”. Тот, кто принимал на себя ответственность за другого на случай неисполнения им обязательства, назывался *порукою*, *поручителем*, потому что *ручался*, буквально давал руку на отсечение. Давать руку на отсечение — древний обычай клятвы, и таким священным обрядом — клятвою *поручительства* — по сей день вступают в России в договорные отношения. При этом принято всегда подавать правую руку, а не левую, потому что принято считать, что правая рука важнее, она главное орудие человеческой деятельности — по связи слова правый с понятиями право, правда и справедливость.

В свадебных обычаях, а свадьба не что иное, как народный юридический акт, главенствует обряд *обручения*, в сути этого слова — не один лишь обмен кольцами, а взятие руки жены в руку мужа, потом жена поступала под руку мужу — вспомним выражение *ходить под рукой*. И шли муж с женой по жизни *рука об руку*.

Есть и другие русские юридические слова-символы. Все гражданские договоры именовались **обязательствами** — от глагола *обязать*. Каждый русский и поныне, дав обязательство, чувствует себя повязанным, пока не выполнит обещанного.

Наши действия мы привыкли называть поступками, у нас в обычае говорить: *войти в сделку, вступить в договор*. Нарушение называется *проступком* или *преступлением*, когда переступают границы дозволенного — именно в таких образах воплощаются идеи совращения с настоящей дороги и переступания законных границ.

Понятие *голова* — символ жизни как правовой термин тоже возникло из юридических обычаев русского народа. Согласно “Русской правде”, древнейшему письменному своду русских законов и обычаев, *головник* — убийца,

человек, отнявший у другого голову, а значит, жизнь. Из тысячелетней древности происходят наши понятия *уголовник*, *уголовное преступление*, *уголовный кодекс* и всякая *уголовщина*, как преступления, связанные с посягательством на жизнь человека. Обычай смертной казни путем отсечения головы – это народный обряд искупления преступления убийцей – голову за голову, а вовсе не садизм властей, которые подобной казнью устрасали население.

В самых крайних случаях, спасая невиновного, русские клялись в судах и на сходах головой: *“головой клянусь”*, *“голову даю на отсечение”* – по сути, отдавали в залог собственную жизнь.

Итак, мы видим, что русское народное право, именуемое издревле русским порядком, породило множество современных юридических терминов, но не воплотилось в современных законах, где нет в полноте ни справедливости, ни свободы, заложенных в наших древних установлениях.

По народному осознанию властитель, который поручился за своих министров, должен отвечать за творящиеся в стране беззакония наравне или даже больше этих министров. Русский порядок требует державности – сильной единоличной государственной власти. Русский порядок основан на справедливости судебных решений. Русский порядок строится на ответственности и обязательствах всякого власть имущего – ведь его действия должны определяться Божественной Волей. Таковы идеальные представления о русском правопорядке, заложенные в нашем языке и воплощённые в сохранившихся доселе народных обычаях, что питают народную жизнь непонятными для властей мотивами поступков, непостижимыми и недопустимыми с точки зрения официального закона действиями. А всё потому, что по-русски справедливость выше людского закона, мера справедливости – не произвол начальников, а народная совесть.

## ОБЩЕЕ ВЫШЕ ЛИЧНОГО

В наше смутное время в государстве Российском пытаются ввести культ частной собственности. Культ в том, что человек забывает об общественном, общем для всех благе, стремясь только к личному благосостоянию, увлекаясь лишь собственными удовольствиями, не добываясь ничего, кроме своих выгод. Однако большинство народа русского не воспринимает частный интерес как ключевое, главное в жизни. Почему? Да потому что архетипом, основой русского мировоззрения в течение тысячелетий являлся иной постулат: мы, русские, всегда ставили общее выше частного и личного. Этот взгляд на мир не был навязан нам извне, он родом из истоков нашего национального бытия.

Представление о том, что общее выше личного, стало законом жизни русского народа, вот почему одно из фундаментальных понятий русского народного права – *община*.

Слово *община* происходит из понятия *\*обтъ*, в котором начальное *О* означает обережный круг, начертанный окрест человека и его жилья. Этот магический круг, которым человек ограждался от опасности, существовал и в виде пояса при одежде, и в облике славянской наголовной повязки, и в форме ограды-забора окрест села. Обережный круг возник на основе сторожевого кругового обхода древним славянином той местности, где он задумал поселиться или заночевать. Всё, что находилось в пределах обережного круга, считалось безопасным, очеловеченным, своим, за границами же круга земля представлялась чужой, неизведанной, грозившей опасностями. Архетип обережных кругов проявляется, когда нам предлагают, к примеру, нарисовать схематически город или деревню, мы непременно изобразим их в виде круга. Что закрепилось и в географических картах, где населённые пункты изображаются именно кружками, а не квадратами или треугольниками. Сохранились и выражения *в своём кругу*, *в кругу семьи*, которые образом круга очерчивают привычную для человека безопасную среду обитания и общения. Понятие *общения* как древнего правила русского поведения заложено общинными обычаями круговой поруки, круговой чаши, хороводов и круговой пляски, в старину бывшими ритуалом собирания народных сил в общий кулак, который очень трудно одолеть врагу или чужаку.

Общинный строй жизни сформировал русское право на общинную землю, которая законно принадлежит каждому члену общины и его семье. Древнее

понятие о своей собственной и в то же время общей, принадлежащей всей общине территории, малой родине для каждого русского хранится в исконном значении слова **семья**. Семья связывает род человека с землёй, на которой он живёт, поскольку слова *семья* и *земля* — одного происхождения. Привязанность к малой родине всегда сохранялась в русском человеке, в какие бы чуждались края он ни отправлялся. Привязанность эта кроется в понятии о земле нашей семьи, общинной земле, на которой жили, работали и умирали наши предки. Корень подобных представлений в том, что традиция распределения общинной земли во временное владение каждой семье позволяла рассматривать всё земельное владение общины как общее наследие и общее достояние, принадлежащее всем мирянам. Отвод земель в крестьянской общине совершался на каждую семью, именуемую двором, раз в два-три года, справедливость требовала, чтобы получивший хорошие земли в одном переделе в последующий отвод получал неудобье, и так члены общины постоянно менялись землями, обихаживая их с равным старанием, так как каждый понимал, что рано или поздно все наделы общинной земли пройдут через его руки. Этому порядку тысячи лет, ведь справедливый раздел земли — сенокосов, лугов, рыбной ловли, лесов — проходил по жребию ещё в X веке, и в Уставе о земских делах Ярослава Мудрого сказывалось: “Аще разделение земли будет, и пообидит кто в жребии, вольно будет порушати бывшее разделение”. Так что мирская земля, её пахотные, сенокосные, пастбищные, лесные угодья равно принадлежали всем семьям общины, были для них родной землёй, землёй их семьи. Это вам не клочок огорода в шесть соток, что обихаживает большинство нынешних “землевладельцев”. Общинные владения приучали каждого крестьянина к тому, что его земля обширна и неоглядна. Истоки широты русского характера — в общинном владении землей.

Тысячелетиями существовавшая славянская община породила наше представление об общем имуществе, отделённом от личной собственности, но при этом именно общем, принадлежащем всем членам общины. Общинное достояние искони было в русском представлении тем, что надёжно и нерушимо, что не даст умереть с голоду в одинокой старости, что сохранит малыша-сироту при моровом поветрии, что удержит семью, потерявшую кормильца, от окончательного разорения. Выражение “*пойти по миру*” означало вековую привычку просить помощи у общины. Потому и помнят исстари “С миром беда — не убыток”.

Общее имущество делилось мирянами поровну, и начальные понятия об общем достоянии и справедливом его разделе выросли именно в общине — на мирских сходах, где наделляли каждого и тяглом, и землёй, и семенным зерном, поскольку и земельный, и семенной фонды, и работы для всего общества были общими.

В убеждении об общем достоянии всего народа до сих пор возрастает каждый русский. С детства мать нам наказывает: это не твоё — это общее, а общим надо делиться со всеми. И таким общим, на русский взгляд, являются и земля, и реки, и моря, и леса, и недра, составляющие нашу страну, входящие в бережный круг русской земли. Потому, строжайше пресекая воровство личного, чужого имущества, в русской традиции не осуждали ни заготовку дров в чужом лесу, ни ловлю рыбы в чужих озерах, ни охоту в соседских охотничьих угодьях. Ибо и угодья, и реки с озерами, и леса — всё это искони было общим, дарованным народу Богом, и пользоваться Божьими дарами не считалось грехом. Временные владельцы общего добра могли сколь угодно грозно охранять леса и реки, как сегодня они огораживают захваченные народные угодья заборами и колючей проволокой, но любые запреты и угрозы не в силах изменить русского народного закона об общем достоянии. По-прежнему наш человек считает грехом воровства залезть в чужой дом и забрать имущество и деньги, но не считает преступлением попользоваться присвоенными приватизаторами Божьими дарами, что искони дарованы и принадлежат всему народу. Так же и недра нашей земли общие, и качать из них нефть, добывать золото и уголь в пользу временщиков в русском народе никогда не будет признано справедливым. Рано или поздно грядёт новый русский передел, передел по справедливости, передел, возвращающий недра и землю народу — такие переделы уже не раз бывали на Руси.

Многотысячелетняя русская община сформировала у нас своеобразное соборное мышление. Наша сегодняшняя критика демократии как западного



поветрия, не свойственного русскому народу, вызвана полным извращением основ народоправства в России. На Руси вопросы повседневной жизни решались именно в общинном, в мирском самоуправлении. И хотя русские мужики всегда понимали, что сноп без перевясла — солома, и без вожака мир безголов и бестолок, но только “всем миром сойдясь”, соборно русские обсуждали важнейшие дела и принимали решения. “*Что мир порядил, то Бог рассудил*”. Мирские постановления были для крестьянина равны судебным приговорам: “*На мир и суда нет*”.

Вся жизнь русского крестьянина проходила “на миру”, в делах мирских он выказывал себя вожаком или горлопаном, хозяином или разгильдяем. И был смысл каждому послужить миру на пользу. Ведь личные интересы крестьянина защищал именно мир, община. Потому и рассуждал русский человек так: “*Голдить, так всем голдить, а одному голдить — так пропадёшь*”, “*Одному-то страшно, а всему миру — не страшно*”. Крестьянство — и бедное, и зажиточное, — поголовно было убеждено, что община имеет безусловное право на челобитье в любые, самые высокие властные учреждения, в том числе и к самому царю: “*Коли все миром вздохнут, то и до царя слухи дойдут*”. Знал крестьянин, что мир способен даже переменить власть, лишь бы все до единого захотели этой перемены: “*Как мир вздохнет, то и временщик издохнет*”.

Мир был для русского человека ходатаем и заступником, кормильцем и оберегом. Государственная машина что в древнерусских раздробленных княжествах, где община именовалась *вервью*, что в Московской Руси, что в императорской России, где утвердилось общинное имя — мир, так вот, государственная власть вела дела и строила отношения не с отдельными людьми, а с общинами, которые блюли, прежде всего, свой земский интерес, защищая мирян-земледельцев. И потому государство не единожды подступалось к реформе общинного устройства России, всякий раз внушая гражданам, что вред от общины многократно превосходит пользу от неё.

Очередное разрушение общины, которая, по убеждению П. А. Столыпина, в XX веке стала тормозить развитие России, мощно продвинуло в стране развитие капитализма, но в то же время мирское управление упразднилось и заменилось чиновничьим, продажным и несправедливым. Кто знает, не это ли подвигло крестьянское сословие пойти за большевиками, обещавшими прежнюю мирскую справедливость, сулившими возвращение общинных земель, распроданных государством крупным латифундистам и капиталистам. И мирское управление было отчасти восстановлено коллективизацией крестьянских хозяйств, правда, с такими грубыми перекосами, что погубили лучших и наиболее трудолюбивых земледельцев. Сегодня вновь, как при столыпинских реформах, когда крестьяне из порушенных общин теряли свои земли, нищали, уходили в города, становясь пролетариями, так и ныне крестьяне, разобрав колхозные земли на паи, продают их за бесценок латифундистам, нищают без мирского управления, бросают родные пепелища и отправляются в города, чтобы навек там раствориться. Сходство этих процессов в том, что разрушение общины есть, по сути, разрушение самого русского крестьянства как сословия, питающего своим генетическим национальным запасом русский народ и кормящего своим трудом российское государство. Мы же исторической памятью помним, что “*мирская шея толста и жилиста*”. Она много снесёт и вытерпит. Не то один человек. Он в поле не только не воин, но и не работник. Разрушив общину, государство в очередной раз лишило человека верного защитника, радетеля и ходатая. Остался русский крестьянин со всем семейством лицом к лицу с несправедливым, продажным, алчным государством, теперь ему и по миру-кормильцу в беде не пойти, и правды без мира-заступника у государства не отспорить.

Нарастает, накапливается в народе чувство беззащитности и обиды, заставляет искать и строить новые формы общинности — политические движения, православные братства, землячества, клубы любителей и сообщества профессионалов. Все они так или иначе реализуют русский закон ходатайства общины перед лицом жестокого государства, заложенный в архетипах народного самосознания.

Есть ещё одна линия русского права, проистекающая из общинной традиции, — закон действия сообща, навалясь всем миром, сойдясь всем скопом. “*Собором и чёрта поборешь*”. “*Берись дружно — не будет грузно*”. Община обязывала человека на совместные работы, которые назывались **помочи**.

Сенокосы, жатва, вывоз навоза на поля собирали всё сельское общество. При уборке урожая соблюдался золотой принцип: сначала помогали одному хозяину, потом наваливались на работу у другого. И так по всей деревне. Само восклицание: “Навались!” – говорит о традиции браться за дело совместно. Чаще всего помочи устраивались зажиточными или одинокими мирянами, обязательно помогали вдовам с детьми. После общего дела непременно ставилось угощение. Соблюдался русский трудовой кодекс: “*Мешай дело с бездельем, дольше с ума не сойдёшь*”. Соседские помочи случались и при строительстве изб, когда надо было ставить сруб или бить печь. Сообща валили леса под поле и заготавливали дрова. Женские помочи – особая страница общинной жизни. Велась и **супрядки**, когда, собираясь в одной избе, девушки пряли вместе лён и коноплю, бытовали **капустки**, когда бабьим скопом рубили капусту на зиму. Всё это сопровождалось песнями и побасёнками, сказками и припевками. “*Дружно не грузно, а врозь – хоть брось*”.

Община сделала русского человека коллективистом, и она же заставляет по сей день народ сбиваться в сплотку, чтобы одолеть общую беду или управиться с тяжёлой работой. “*С миром не поспоришь и мир не похоронишь*”. Этот коллективистский закон народной жизни пытаются ныне одолеть, разложить наше общинное мышление воспитанием западного эгоизма и индивидуализма. Но мы продолжаем верить в плодотворность и полезность общих усилий и общего дела. А тот, кто отрывается от общины, по-прежнему для народа *отщепенец* (он сам “отщепился” от собора) и *отребье* (он собору непотребен), то есть нечто отделённое, отброшенное, ненужное, бесполезное. “*Нам же хоть на заде, а в том же стаде*”. “*Отстал – сиротой стал*”. И какому же русскому охота быть сиротой, отребьем или отщепенцем?

Отщепенцам и отребью находилось в русском обществе немало презрительных кликух, и что приметно – большинство из них иноземного происхождения. Переберём эти имена, и окажется, что русские, отстраняясь от тех, кому общее не дороже собственного, обзывали таковых прозвищами, которые обозначали чужаков. *Шаромыжник* и *шваль* оказываются здесь копиями французских *cher ami* (милый друг) и *chevalier* (кавалер, рыцарь). *Мазурик* и *шельма* образованы от немецких *mouser* (вор) и *schelm* (плут). *Шпана* происходит от испанца, а *шантрапа* – тоже плут, только из чешского *schantrok*. *Болван* и *балбес* – приобретения из татарского языка и означают они: *болван* – героя и силача, а *балбес* – тупицу и дурака. Татарского извода и *разгильдяй*, вышедший из личного имени Уразгильды. *Хабал* и *хабалка* – слова еврейских корней, где они означают господина и госпожу. Убедительнее доказательств, что прозываемые шаромыжниками и хабалками для русских отщепенцы и отребье, трудно придумать. Они не наши, не свои, не общинники, они – чужаки, потому и клеймят их чужим тавром.

Обычаи общинной жизни – это обычаи, равные законам, они действуют сильнее писаных законов, потому что заложены в нашей исторической памяти тысячелетней русской общинной традицией. Какие они, эти русские обычаи-законы, против которых сегодня юристами, чиновниками и законодателями государства Российского ведётся самая настоящая война?

**Первое.** Вся землю русскую рассматривает русский народ как общенародное достояние, которое никто не вправе присвоить себе.

**Второе.** Хотя у каждого русского человека есть личное имущество, он одновременно входит во владение общим достоянием, что принадлежит всем единоплеменникам. Общим имуществом надлежит делиться, его требуется беречь и преумножать. Несправедливое распределение общенародных благ непременно вызовет бурю гнева, который сейчас подспудно копится в народной душе.

**Третье.** Община предопределила своеобразную русскую демократию – русский взгляд на власть как на мирское, общинное управление. По приговору мирского схода, как бы он ни назывался – *вече*, *собрание*, *собор*, *дума*, – на Руси вершили дела. Решали вопросы, только всем миром сойдясь. А мирской сход составляли все самостоятельные и взрослые отцы семейства, домохозяева. И попытки отобрать у нас право самим решать свою судьбу на том основании, что русские якобы народ рабской психологии, неизменно заканчивались революциями и бунтами.

**Четвёртое.** Навык и обычай действовать сообща, наваясь миром, артелью, соборно – тоже родом из общины. Борьба с русским коллективизмом

идёт сегодня ожесточённая, но мы уверены, что не все на Руси согласятся стать отребьем и отщепенцами. Собьётся народ в кучу, сожмётся в русский кулак. Будет и на русской улице праздник. И законы народные – тысячелетние обычаи русской общинности – непременно восторжествуют.

## КОРЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Как община была защитницей и блюстительницей материального благополучия русского человека, так хранительницей его душевного спокойствия, равновесия духа являлась семья.

Семья в жизни русского народа, подобно общине, имела организующее значение. Русский глядел на семью как на важнейшее и неперемное условие своего существования. Неженатый не считался на Руси нормальным, на него смотрели отчасти с сожалением, как на нечто нецельное, несостоявшееся, а порой косились с презрением, как на человека, не умеющего жить по-людски. И звали такого неженатого *бобылем* – сухим перестоявшим травостоем, не давшим семени. Холостой образ жизни полагали для мужчины отклонением от нормы, и только семья воспринималась как хозяйственная и нравственная основа правильного образа жизни: *“Семейная каша гуще кипит”*.

Точно так же не считалась состоявшейся судьба незамужней девицы. Если девка не выходила замуж до двадцати пяти лет, про неё говорили *вековуха, перестарок, засиделась в девках, старая дева*. Путь такой девицы – *божьей невесты*, – как и неженитившегося молодца, лежал в монастырь, иначе они становились нравственной, да и материальной обузой для своей семьи.

Русская крестьянская семья строилась по неписаным законам, своеобразному народному семейному кодексу. Каковы же начала семейного права, легшие в основу наших национальных представлений о жизни по-людски?

Самый распространённый вид семьи, бытовавший на Руси тысячелетиями, – неразделённая трёхпоколенная семья: старшие – отец с матерью, их женатые сыновья и невестки, а также неженатые-незамужние дети и дети женатых сыновей. Такая семья имела в достатке рабочих рук, могла сполна обеспечить себя продовольствием, одеждой, в такой семье дети получали наилучшее воспитание и пригляд. Выделившиеся из трёхпоколенной семьи сыновья недолго жили наособицу, через полтора десятка лет женились их сыновья, выходили замуж дочери, и возобновлялась прежняя традиция трёхпоколенной семьи.

По семейному русскому закону сын, женясь, обязывался жить с родителями, а дочь непременно уходила в родню мужа. Исключение составляли семьи, в которых не было сыновей. Тогда в дом принимали зятя-работника, не без насмешки называемого на деревне *примаком, влазнем, привальнем*. Жизнь в дому за сыном почиталась доброй, жизнь за зятем – ненадёжной и зыбкой: *“С сыном бранись – на печь ложись, с зятем бранись – за скобку держись”*, *“Сынок – свой горбок, зятёк – покупной щеголёк”*.

Ещё меньше прав было в семье у невестки, и если жена старшего сына признавалась главной помощницей *большухи* – хозяйки дома, то младшие снохи всегда оставались бесправны и безгласны. Их удел – без продыху работа, задаваемая свекровью: *“Чай устала, невестушка, моловши? Отдохни – потолки!”* Когда же свекровь обижала невестку, то сын не имел права за неё вступиться. Не зря говорилось, что *“невестка – госпожа над курами да льном”*. Беспрекословное повиновение служило законом семейного права на Руси. Здесь царствовало безусловное, безропотное покорство младших членов семьи старшим, а также послушание жён – мужьям, детей – родителям.

Наибольший вес в крестьянской семье после большака-отца имел старший сын. Он помогал отцу во всех хозяйственных делах, ездил на ярмарку продавать хлеб, закупал товары. Отец выдавал старшему сыну семейные деньги, за которые сын обязательно отчитывался перед отцом. В трёхпоколенной семье почти все деньги считались общими, семейными. Это были средства от продажи выращенного хлеба, их тратили на семейный обиход и хозяйство. В то же время сыновья и невестки могли иметь деньги личные. Зарабатывали их в основном жёны. Выращенный ими, обработанный, напрядённый лён и вытканная из льна ткань считались законным имуществом женщин. Каждая невестка за зиму наготовлявала от семидесяти до ста аршин

холста. Если пересчитать на метры, с учётом того, что в аршине 71 сантиметр – примерная длина руки взрослого человека, – то русская крестьянка-ткачиха наготавливала в среднем до пятидесяти метров льняной ткани в год, из которой обшивала своих детей, мужа, а излишки продавала, как правило, вкладывая деньги в семейную копилку. Большуха пряла и ткала на свою семью – на мужа и неженатых-незамужних детей. Невестки обшивали собственных мужей и детей.

Признавая невестку даровой работницей, семейное народное правоставляло её собственностью неприкосновенной. Приданое невестки принадлежало только ей и переходило по наследству только к дочерям. Вот откуда у внуков по материнской линии в сундуках старинные бабушкины наряды. Если невестка умирала, не оставив дочерей, то её имущество доставалось матери или сёстрам. Этот непреложный закон делал русскую женщину самостоятельной в распоряжении своим имуществом, но предписывал девушке с малолетства неустанно трудиться, чтобы изготовить себе приданое. Вот почему незамужних дочерей в родительской семье не загружали сполна домашней работой – ведь им предстояло готовить себе приданое, зарабатывать на него, нанявшись на подёнщину или в няньки, а ещё вырастить, напрясть, наткать, нашить своё неприкосновенное имущество – постели, полотенца, скатерти, рубахи, понёвы и сарафаны.

“Алтарём”, вокруг которого священнодействовала хозяйка дома, служила дежа или квашня, к которой невесткам и незамужним дочерям запрещалось даже прикасаться. *Дежа* – настоящее святилище крестьянской семьи. В особой кадке, а исконно – в выдолбленной дуплянке – заквашивали хлебное тесто. Само слово *дежа* происходит от глагола *деть/девать*, то есть прятать от чужих глаз. Закваска и брожение теста как раз и проходили в тихом и тёплом месте, без постороннего догляда. Считалось, что, если шуметь и греметь в доме, покуда бродит тесто, оно не взойдёт, осядет, хлеб не выйдет пышным. Может быть, именно поэтому традиция предписывает хозяйке ставить хлеб ранним утром, когда в доме все ещё спят. Замес теста и его брожение назывались *обрядней*, что указывает на выпечку хлебов как на особое священнодействие.

Семейное наследственное право значительно отличалось от современных представлений о наследовании имущества. По смерти хозяина – отца семейства – наследство его делилось, причём наследниками считались только сыновья и никогда дочери. Сыновья получали из отцовской собственности равные доли, и уже после раздела долей решали, вести им хозяйство вместе или порознь. Символом и жребием раздела раздела служил обычно разрезанный хлеб, словно выражавший мысль о том, что отныне каждый кормится сам по себе. Отголоском наследственного раздела имущества звучит выражение *отрезанный ломоть*, и по сей день приложимое к выделившемуся из семьи, самостоятельно живущему сыну. Если же братья после смерти отца решали жить наособицу, то здесь негласные семейные законы предписывали порядок раздела. Старинные документы народного права, такие как “Русская правда”, оговаривали безусловное право младшего сына на отцовский дом. Древние обычаи и русские сказки это подтверждают особой привязанностью родителей к младшему любимому сыну, наследнику отчего дома. При этом существовало жёсткое требование лишать права на наследство отделившегося сына, если он не поддерживает престарелых родителей.

Семейное наследственное право безжалостно по отношению к женщинам. Дочь и жена в древности не наследовали имущества умершего отца и мужа. Родная мать при взрослых детях, овдовев, просто оставалась жить при общем дворе и хозяйстве. А при разделе сыновей ей выделялась в пользование часть имущества, которая поступала к сыну, взявшему мать под свой догляд. Дочери никогда не становились отцовскими наследницами. При отсутствии сыновей древний обычай требовал отдать наследство братьям или племянникам покойного, но не дочерям. Этот суровый обычай в последние века был смягчён: постепенно дочери и жены стали входить в права наследства наравне с сыновьями.

Семейные обряды имели ритуальный смысл священнодействия. В семейных обрядах крестьянской семьи деятельное участие принимала община, потому и назывались эти обряды всегда множественным числом, так как состояли из множества ритуальных действий и проводились в большинстве случа-

ев при стечении соседей. *Родины, крестины, именины, каятины, смотрины, проводины, похороны, поминки* – все это проживал каждый человек от рождения до смерти, и вместе с ним радовались и скорбели, веселились и грустили родные и соседи. Из всего перечисленного мало кому известно, что такое *каятины* – семейно-общинный обряд выяснения виновности человека в преступлении, *смотрины* – обычай выбора невесты, *проводины* – обычай провожать всей общиной рекрутов в солдаты, остальное же по сей день хранится в памяти поколений, а подчас и выполняется в полноте обычая.

Подобно законам, обряды родин, крестин, каятин, похорон предписывают порядок ритуальных действий, да это и есть народные законы, требующие соблюдения ритуалов, которые, во-первых, ограждают человека от сглаза и порчи в переломные дни его жизни, во-вторых, производятся при стечении соседей, закрепляя их участием как свидетельством законности того или иного ритуального события. Обычай соседской общинности очень дорог русскому сердцу, привыкшему относиться к соседям почти как к родне. Такая привычка обязывает звать их в гости, делиться с ними всем, что ни есть в доме, угощать пирогами, возить из города гостинцы. Соседей угощают не только из радушия, но и из расчёта иметь рядом ответно доброго человека, а не завистливого скареду.

Вспоминая семейные обычаи, мы видим, что в нашем русском укладе сохранилось немало важных традиций. Трёхпоколенная семья хоть и почти разрушена, но живы связи, которыми поддерживают друг друга родители с детьми, бабки и деды с внуками. Наша русская семейная взаимопомощь, когда безработные дети могут кормиться на пенсию своих родителей, студенты-дети рассчитывают на поддержку отца и матери, а немощные старики знают, что взрослые дети их не бросят и будут опекать до самой смерти, – всё это непонятно западноевропейцам, в культуре которых бытует лишь двухпоколенная семья. Здесь обыденностью является студент, сам зарабатывающий себе на учёбу, нормальным считается взять у отца деньги в кредит и вернуть с процентами, здесь никто не осудит человека, отправившего своих родителей в дом престарелых. Русская семейная взаимовыручка и поддержка чужды прагматичным Европе и Америке, у нас же они позволяют семейно переживать любые трудности и невзгоды.

Наше, имеющее древние истоки представление о том, что собственность в семье общая и не принадлежит конкретному члену семьи, позволяет детям рассчитывать на дедову и отцову подмогу, на то, что им родители оставят жильё и имущество. Для западноевропейца же нормально, когда родители сдают в аренду пустующую квартиру, а их взрослые дети снимают жильё у чужих.

Столь же крепок у русских обычай доброго соседства, обычай приглашать на главные события жизни не только родню, но и живущих окрест людей. Родины, смотрины и каятины ушли из культуры, но крестины, проводы, похороны и поминки по сей день собирают соседей и сородичей. Европейцы и американцы подобные традиции позабыли.

Новые законы давно ввели равенство в наследстве сыновей и дочерей, но отцы по-прежнему желают видеть первенцем сына, подспудно сознавая его наследником и преемником. Семейная иерархия, казалось бы, давно отменена, но свекрови всё так же желают командовать невестками, а тётчи неизменно недовольны зятями-примаками.

Так сохраняются коренные основы русского семейного права, известные которые можно, пожалуй, лишь вместе с русской семьёй, а она умирать пока не собирается. Трёхпоколенная семья по-прежнему остаётся главной ценностью русского человека, и на её прочном многотысячелетнем фундаменте способно возродиться и дружественное общинное соседство, и национальная государственность.

## **БЫЛА ЛИ НА РУСИ ДЕМОКРАТИЯ**

Устоялось мнение, терпеливо и настойчиво внедряемое в наши головы противниками всего русского, что демократия не свойственна русскому народу, что русские-де – природжённые рабы, мол, только того и ищут, как бы склонить выю под сильную руку. Этому уничижительному представлению о русских вторят российские неомонархисты, распространяющие заблужде-

ние, что в России никакая демократия не приживается и что ею пользуются нам во зло пришедшие злоумышленники. Убеждение это не более, чем иллюзия. Коллективистское сознание русских породило нашу своеобразную демократию, что наиболее ярко отразилось в обычае мирского схода, до сих пор бытующего местами в России. Именно мирской сход – собрание *верви-общины-мира-совета* – противостоял властям, ограничивая неуёмные их аппетиты и сдерживая вседозволенность.

Государственной властью у русских было принято считать всё чиновничество во главе с государем. С той лишь разницей, что государь почитался властью властей, сдерживающей уздой самодержавия самодурство местных начальников. И за то народ царя-батюшку почитал и уважал, уповая на него, как на последнюю надежду в крайности. Прочие же управители, полагал народ, блюли, прежде всего, свой, а не общий интерес и потому не всегда делали так, как им повелевалось царскими указами. *“Не ведает царь, что делает псарь”*. *“Царь гладит, а бояре скребут”*. *“Не царь гнетёт народ, а временщик”*.

Своеобычно в русском понимании и государство, которым в старину называлось одно лишь пространство России, что отразилось в поговорке: *“Государь – батька, земля – matka”*. Такое видение государства сохраняется у нас и поныне. Мы решительно не желаем понимать под государством власть и управление страны. Для нас государство – сама наша страна. Именно на этом строится подмена понятий современными политиками. Дескать, если ты идёшь против власти, значит, борешься с государством, со страной, а разве тебе родная страна не дорога? Нет же, нет! Русские всегда отделяли власть от государства, и смена властей не вела к распаду государства, то есть, в нашем представлении, территории страны, ибо она скреплялась общинным самоуправлением.

Какова же была природная русская демократия? В стране, возглавляемой государем (князем, царём, императором), осуществлялось по местам деление на общества-общины. В *“Русской правде”* сохранилось древнее именование общины – *вервь*, что буквально означает *клубок обязательств*, которыми связывались между собой её члены. Такие общины составляли обитатели сёл и деревень, верви были и в городских поселениях, их именовали *слободами, улицами, концами*. Любое подобное общество управлялось выборными руководителями и мирским сходом, оно было формой народной демократии или, как принято у нас сейчас говорить, местного самоуправления.

Община на Руси имела разные наименования: *поветь* – древнерусское общество, имевшее право на свой голос в противовес князю, *слобода* – городское средневековое общество, *мир* – сельское общество, управлявшее собой и платившее подати. Все эти и подобные им общины, помимо экономических, производственных задач, решали задачи социальные: общины поддерживали каждого своего жителя от мала до велика, если того вдруг постигла беда или недород, община не давала умереть с голоду ни слабому, ни больному. Потому и был русский человек в кругу своей общины всегда надёжен и уверен в будущем.

Сельское общество поддерживало неимущих своих обитателей пропитанием из общих хлебных магазинов и раздачей милостыни, подаванием кусков под окнами и предоставлением крова погорельцам. Причём в обществе по справедливости различали бедняков. Если семья пошла по миру из-за пьянства хозяина, то его по приговору общества лишали права распоряжаться своей землёй. Пьяница отправлялся на сторону скитаться, а землю сход постановлял отдать другому землепашцу, но *“исполу”* – на условиях отдачи половины урожая бедствующей семье. Ежели семья нищала из-за смерти кормильца, то сироты могли смело рассчитывать на большее сочувствие соседей и мирского схода. Общественная помощь тогда состояла в обязательном сборе по горсти муки с каждого зажиточного дома. Если же у обнищавшей семьи не оказывалось родственников, которые призрели бы её и оказывали помощь, пособляли в обработке земли, то с окна каждого дома подавали в корзинку ходившим по миру детям милостыню.

Общество имело право наказывать провинившихся – таких попросту прилюдно пороли. Драли шкуру за пьянство, били кнутом в случае неисполнения общественной денежной повинности, пороли за мелкие преступления. Такого наказания страшились не из-за боли – порки страшились из-за её позорности, прилюдности.

Общественное мнение всегда было важно для русского человека, до сих пор мы, как в стародавние времена, оглядываемся на молву, что люди скажут; стыдно от людей; совестно на люди показаться. И это следствие многовекового общинного образа русской жизни.

Важной задачей общество считало разбор на сходах семейных несогласий и ссор, что позволяло держать многопоколенные семьи в крепости и единстве. Глава семьи, домохозяин имел законное право пожаловаться на своих домочадцев обществу и просить мирской сход примерно наказать ослушника.

Мирскую демократию вершили на мирском сходе, на который допускались с правом голоса только мужчины-домохозяева. Даже опороченные в суде и наказанные телесно никогда не отстранялись от участия в сходе, ибо были хозяевами семьи и земли. Зато члены семьи без хозяина хоть и могли присутствовать на сходе, но не имели права подавать голоса. Не принимались к сведению и голоса женщин, даже если с потерей кормильца вдова вставала во главе семьи. А вот зрителями на мирском сходе могли присутствовать все обыватели села или деревни. Особое место священника на мирском сходе знаменовалось тем, что он председательствовал на нём, когда решались вопросы, касавшиеся дел церкви или причта. Но голос его принимался всегда и ставился выше голоса старосты даже в мирских вопросах.

Сама сходка собиралась по обычаю в мирской избе — особом святилище русского парламентаризма. Мнение подавали или сразу общее, или сначала высказывалось большинство, а потом выслушивалось меньшинство несогласных. Впрочем, несогласные чаще всего уступали мнению большинства, ожесточённых споров обычно не бывало, так как многие остерегались попасть в “высочки” — такое прозвище зарабатывали те, кто часто высовывался со своим мнением и за то облагался более тяжёлой службой в пользу всего общества, что сохранилось у нас в присловье: “Ну, и делай сам, раз ты такой умный”. Предостережение “не высовывайся”, как и наказ “на службу не напрашивайся, но и от службы не отказывайся”, тоже укоренились в тех давних “демократических сходах”, когда на высунувшегося налагали большее тягло.

Вот как описывают мирской сход русские этнографы XIX века. О насущных вопросах схода объявлял старшина или староста, спрашивая при этом: “Ну, как, ребята, думаете?” После этого начинали обсуждение, причём больший вес имели пожилые, но не старики, которых обычно пресекали словами: “В ваше время так было, а теперь не то”. При обсуждении вопросов порядка не соблюдали, а говорили, разделившись по партиям. Первой высказывалась партия побольше, побогаче или побойчее. Потом высказывала своё мнение другая партия, случалось, что таких партий было и больше. В результате разногласия на первый раз не выходило ничего. Тогда староста задавал новый вопрос: “Ну, что, ребята, как порешили?” Вторично приступали к обсуждению и опять разделялись по партиям. После вторичного приступа дело так или иначе решалось.

Как и во всякой демократии, на мирском сходе были не только партии и независимые мнения, но и влияли договорённости, направляемые повсеместно мироедами или говорунами, горланами, горлопанами, харлапаями-шалопаями. Эти люди не боялись попасть в “высочки” и обременить себя общественной службой, потому что вкладывались в общество деньгами и хлебом больше других или уже отслужили обществу отбытием рекрутской и иных повинностей. Они позволяли себе вершить внутреннюю мирскую политику, интриговать, оказывать влияние, добиваться своего.

Русский парламентский строй не обходился и без выборов должностных лиц в сельскую и волостную управу. Что примечательно, русские люди на выборные должности не рвались, даже вино ставили сходу, чтобы уберечься от “навалухи”. Выборы для крестьян составляли бремя, ибо должности не столько честь делали человеку, сколько накладывали на него тягость, отвлекавшую от хозяйства, ведь каждый из нас, русских, искони и доселе понимает выборную власть как обязанность держать ответ за свои дела перед теми, кто тебя избрал. Вот каждый в общине и стремился отстраниться, а то и откупиться от общественной должности. Но и сход мирской на выборах определял человеку работу по его возможностям, чтобы была ему под силу служба, чтобы не был он отвлечён на всё время от хозяйства, чтобы выбранный был сам рачительным хозяином, а не принадлежал к ленивому и малорабочему семейству.

От управителей требовалось наблюдать за исполнением крестьянских повинностей, которые именовались *тяглом*, они собирались натурой — хлебом, мясом, рыбой или тем, что имелось в угодьях данной местности. Существовали помимо этого и другие повинности, к примеру, *подводная*, её вносили деньгами, — своеобразный транспортный налог. Были повинности, обеспечивавшие благоденствие самой общины. Пожарную часть несли все по закону. Постройка церквей, хлебных магазинов, школ лежала на всем обществе, для этого собирали с каждой души по несколько копеек. На мирских сходах принимались обязательные для всей общины постановления о сроках сельскохозяйственных работ, сенокосов, рыбной ловли и выпасов. Мирской сход принимал решения о строительстве школ, библиотек, храмов, приглашал священника для молебнов, устраивал братчины. Словом, русская демократия была воистину разумна, свободна и справедлива. Не оставалось отстранённых от управления мужчин-домохозяев, отвечающих за свою семью и хозяйство. Не было желающих попасть во власть для того, чтобы урвать кусок побольше и пожирней. Мирской сход не давал человеку, даже самому несчастному, погибнуть от голода и холода.

Мирское самоуправление, время от времени разгоняемое или упраздняемое государственной властью, неизменно возобновлялось, как только возникла необходимость поступательного и надёжного развития страны. Так, после революции 1917 года, выбросившей лозунг “*Вся власть Советам!*”, а на деле отдавшей страну в управление ленинской “*гвардии*”, потребовались десятилетия для восстановления так называемой “*советской власти*”, архетипически повторявшей многовековую русскую общинную демократию, с присутствием ей бременем ответственности перед избравшим руководителя народом. В перевороте 1991 года по “*советской демократии*” был нанесён сокрушительный удар, и теперь русское самоуправление начинает формироваться снизу, вновь возвращаясь к русским общинам, казачьим кругам, мирским народным сходам, ибо чувствуем, что с помощью официальных выборов в России далеко не всегда можно защитить наши интересы.

Мы, русские, стремимся отвечать за самих себя и за своих близких и не любим, чтобы кто-то нам в этом указывал, как то происходит в российской выборной системе. Мы не рвёмся в “*высочки*” — во власть, сознавая, что здесь придётся нести за всё ответственность и отвлекаться от своего насущного, любимого дела. Этим сегодня пользуются инородцы, у которых совсем иные архетипы — стремление к первенству, извлечение из должности выгод и прибавок, но никак не несение обязанностей. В России как будто бы и ныне демократия, но нынешняя демократия — нерусская, несправедливая. К выборам допускаются не домохозяева — ответственные за свою семью и дело русские мужики, а все подряд граждане страны. От управления эти люди всё равно отстранены, они лишь передают свои голоса поистине *высочкам* наверху. А *высочки* норовят хапнуть, воспользовавшись своей властью и тем, что ответственные и достойные русские люди туда не стремятся и не контролируют выбранных ими *высочек*, ведь мы привыкли доверять тем, кого выбрали. Но доверять до времени. Ведь за доверенную власть рано или поздно в России приходится держать ответ перед народом.

Итак, русский народ искони был народом самоуправления. Вечевой строй сменялся мирскими сходами, мирские сходы — советами народных депутатов. И попытки подменить народные собрания властью ли алчных бояр, безжалостным немецким чиновничьим управлением, директивным обкомовским руководством или современным административным диктатом жадных до наших богатств инородцев неизбежно приводили и будут приводить к бунтам и революциям. Русская демократия с её требованиями спроса и ответа за доверенную народом власть прокладывала себе дорогу через любые засеки и завалы и проложит её вновь.

## **РУССКИЙ САМОСУД — СПРАВЕДЛИВЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ**

Русский человек известен своим неуважением к писаным законам: “*Не всякий прут по закону гнут*”. Но и без законов русские никогда не жили, на протяжении столетий руководствуясь тем, что называется ныне обрядом и обычаем.



Как наказывались преступники в юридических обычаях русского народа? Такой вопрос встает, когда мы наблюдаем сегодня ужесточение наказаний за самые незначительные прегрешения и, напротив, снятие всякой уголовной ответственности за преступления, которые, по свидетельству нашего здравого смысла и совести, должны повлечь за собой суровую расплату. Совесть и здравый смысл русского человека противятся многим нынешним вердиктам и приговорам судов, значит, мы обладаем каким-то внутренним ведением истинной, подлинно русской справедливости, где не всякая вина считалась преступлением, где тяжким грехом полагались поступки, обыкновенные в современном обществе.

Древняя система русского уголовного права сохранилась в старинных документах, таких, как “Русская правда” – свод законов, бытовавших на Руси тысячи лет и записанных в XI веке при князе Ярославе Мудром. Эта система в осколках своих удерживалась в русских обрядах, пока существовала в России крестьянская община. Сейчас отголоски народного уголовного права находим в поговорках.

Народные представления о преступлениях всегда отличались от того, что считалось преступлением по государственным законам. В среде русских не считалось воровством кража хлеба, если его у тебя нет. Не полагали запретным взять репы, редьки, морковки с чужого поля в небольшом количестве, только для себя, чтобы не умереть с голоду. А ещё русские не видели ничего зазорного в том, чтобы в чужих или государственных угодьях заготовить без пошлины дров, леса для постройки или жердин для ограды. Взять птицу или зверя из чужой ловушки, ловить рыбу в не принадлежащих общине озерах и реках, валить чужой лес – всё это не значилось преступным в глазах крестьян. По их справедливым понятиям, и леса, и реки, и охотничьи угодья не чьи-нибудь, а Божьи, и каждый может ими бесплатно пользоваться. Сквозь пальцы смотрели и на тех, кто распяным-пьяно напивался в праздники и воскресные дни.

По-разному наказывали в русской среде за неуважение родителей-стариков, разврат и оскорбление власти, с одной стороны, и за изгнание плода, убиение скотины в поле и воровство – с другой. На воровство, изгнание плода и убиение скотины смотрели очень строго, а на прочее мало обращали внимания, как и на причины подобных деяний: месть, пьянство, желание чужого добра, показание храбрости. Народ русский вообще отличался высокой нравственностью и не был склонен к жестоким преступлениям. По данным Архангельской судебной палаты, к примеру, за пять лет, с 1857-го по 1862 годы наибольшее число преступлений составили воровство и кражи – 26 процентов подсудимых; незаконной порубкой леса занимались 22 процента подсудимых; разбои составили всего 0,4 процента всех уголовных дел, а убийства – 0,7 процента. Причём убийства случались чаще всего во время драк и в пьяном виде. Небольшой процент составляли политические дела: в укрывательстве беглых обвинялись три процента подсудимых, в сопротивлении властям – всего два процента, в основном старообрядцы. Самоубийства были исключительным случаем, детоубийств не случалось вовсе.

Русские, особенно в северно-великорусских землях, отличались большим уважением к чужой собственности. Во многих селениях крестьяне, уходя за порог, оставляли свои дома незапертыми, просто втыкали в кольцо ворот кол, лопату или вилы как мету, что хозяев нет дома, и никто не смел вторгнуться в чужое жилище без спросу. Точно так же бельё, холсты, пряжа лежали и висели на оградах сохранно. Скот и лошади разгуливали в лугах без пастухов. Эта традиция долго сохранялась в русской деревне, а подчас и в городе, где хозяйки до сих пор вывешивают бельё во дворах.

У кого в общине или в слободе случалось воровство, тот объявлял об этом всему околотку, и тогда жители в присутствии старосты обыскивали все дома подряд в поисках украденного. От обыска не освобождали никого. В случае отыскания вора меру наказания определял ему тот, у кого он украл добро. Причём расправлялся с вором по приговору общества сам же потерпевший – “своя рука владыка”. Как описывают этнографы, обычно расправа состояла в том, что “отдуют, отдубасят проказника, с тем и конец, а уж то знай, что воровать больше не будет”. В некоторых местах вора водили по улицам при стечении народа. Если он сенной вор, то с привязанным к спине кошелем сена, если дровяной тать – то с вязанкой дров. Возле каждого двора при этом ос-

танавливались и для большего позору спрашивали у хозяев, не потерялось ли чего? Особенно спуску не давали сенному и конному вора́м: по пути их били, а потом взыскивали в двойном размере против украденного.

Если же преступление было тяжким, а к таковому относились в древности не только убийство, но и поджог, и конокрадство, то прилюдно, принародно, на миру совершалась казнь, в древности это слово звучало как *каязнь*, то есть искупление вины, *покаяние* ценой жизни виноватого. Впрочем, совершившего тяжкое преступление не обязательно убивали. “Конный тать”, согласно “Русской правде”, выдавался головой князю и терял все права вольности, хотя по Псковской судной грамоте конный вор лишался жизни. “Русская правда”, наш древнейший свод законов, свидетельствует, что убийцу, поджигателя или конокрада могли приговорить на *поток* и *разграбление*. Это древнее выражение, сохранившееся в “Русской правде”, означает, что преступника изгоняли вместе с семьёй и всем его родом из общины, а имущество у него отнимали и отдавали семье убитого или погорельца. Но помимо того в русских обычаях применяли и настоящую казнь – расплату головой, жизнью за жизнь. Только так, по народным юридическим воззрениям, можно было искупить свою вину в таком страшном преступлении, как убийство. Сегодня власти мораторием на смертную казнь привели дело наказания за страшные преступления к тому, что преступники, отсидев лет восемь за убийство, быстро выходят на свободу и продолжают свои чёрные дела. В старину подобной лёгкой расплаты быть не могло, ибо вступал в силу русский самосуд. Самосуд имеет глубокие корни в нашем национальном сознании, народ сам принимал решение о казни преступника, застав его на месте преступления, и никому не перепоручал казнь негодяя.

Мир – русская община – по-разному применял наказания к виновному. Среди различных наказаний, допускающихся народным представлением о справедливости, существуют сегодня кажущиеся странными приговоры, например, обычай водить вора по деревне с прицепленной на шею украденной вещью, и это называлось *лозор*. Разрешалась собственноручная расправа с пойманным на базаре вором, в такой расправе принимали посильное участие все – и обкраденный, и простые свидетели происшествия. Многие дела решались миром между своими, без обращения к государственным властям. Это и потрава полей, и кражи, и обман, и ругательства с буйством. Наказывала община таких виновных штрафом и розгами на общем сходе. Розги считались очень позорным наказанием, выпоротый прозывался *стеганцем* до самой своей смерти. Розгой пороли и за худую изгородь у полей, и за нерадивое земледельство, и за неуплату податей. А вот за драку и ссору не били, а прекращали их за водкой при сходке соседей, причём водка ставилась за счёт зачинщика.

Отрезание косы у девицы, незаконно прижившей ребёнка, надевание хомута на отца и мать провинившейся до свадьбы невесты, обмазывание дёгтем ворот их дома – эти обычаи известны не только из летописей, они стойко существовали в России ещё в XIX веке, охраняя народную нравственность.

Отличием русского уголовного права являлось особое отношение к покаянию за преступления, отразившееся в поговорке “*Покаянную голову меч не сечёт*”. Она понимает пощаду раскаявшегося разбойника.

В старину существовал обряд, называемый *каятины*. Если человек совершал преступление, не связанное с посягательством на жизнь и достоинство другого человека (под достоинством разумелось оскорбление его чести и чести его семьи, что приравнивалось к убийству, вспомните лермонтовскую “Песню о купце Калашникове”!), то такое невеликое преступление искупалось покаянием – публичным, принародным, на миру признанием своей вины и выкупом, вносимым общине, князю или церкви. Выкуп за преступление в глубокой древности именовался *кайна*, это слово затем приобрело русскую огласовку – *цена*. Внесение выкупа за преступление – не только русский, но и западноевропейский юридический обычай, который отражён в латинском термине – *пенитенциарная* система (система искупления преступлений), здесь четко прослеживается латинский корень *пени*. И в заимствованном из латинской юриспруденции слове *пеня* тоже хранится значение выкупа, денежной единицы, как в русском слове *цена*. Есть в русском языке и слово *пенять*, то есть обвинять, обличать, и оно указывает на то, что человек обязан расплатиться за свою вину.

В чём же состоял, согласно собранным в XIX веке материалам этнографов, русский обряд *каятин* – ритуал обличения преступника? “В особенных случаях собирались миром в общественной избе. Стол накрывался белой скатертью, ставился крест, иконы, чаша со святой водой. Клянущемуся разувает правую ногу, накрывают голову белым полотенцем. В руки дают зажжённую свечу. Он подходит к столу, делает три земных поклона, целует икону и крест, кланяется на три стороны.

– Ты украл деньги? – спрашивает староста. – Кайся, пока не поздно. За ложную клятву тебя Господь покарает на этом и том свете. Грешно лгать пред обществом. Признайся, и мы тебя простим.

– Видит Бог, не я, хоть сейчас поклянусь.

– Клянись, и мы снимем с тебя обвинение.

Обвиняемый становится перед столом на колени, подымает правую руку вверх, держа в ней ком земли, и отчётливо произносит: “Ежели я виноват, то подавиться мне этой землёй”. И начинает есть землю, а народ следит, не давится ли он. После этого со словами: “Ежели я виноват, то захлебнуться мне святой водою”, – он пьёт воду. И, наконец, зажжённой свечой водит по лбу, руке и ноге, говоря: “Ежели я виноват, то захворать мне и сгореть от антонова огня, ежели я виноват, то обезуметь мне, ежели я виноват, пусть ноги отнимутся у меня”.

Потом он встаёт с колен, целует крест и говорит: “Накажи меня, Господь, всеми наказаниями, ежели я виноват, а ежели не виноват, оправь меня как на том, так и на этом свете. Аминь”.

Затем обвиняемый обращается к народу:

– Видели, старики, мою клятву страшную, которую я принял, аль не видели?

– Видели.

– Так ежели видели и считаете, что я теперь оправдался, то снимите с меня позор, смертельное покрывало.

– Просим у тебя прощения за сделанное тебе оскорбление, – произносит староста, снимая с головы оправданного полотенце, и люди отвешивают ему поклон”.

В этом общинном обряде проявляется ритуальный смысл привычных нам слов: *снять позор*, *снять обвинение*, ибо покрытая полотенцем голова была символическим знаком вины, а снятое с головы полотенце означало снятие вины с обвиняемого в преступлении. В *каятинах* проступает также исконное значение волшебных, с детства знакомых *огня*, *воды* и *медных труб*, через которые проходят сказочные персонажи, чтобы обрести счастье в жизни. Испытание водой и огнём, как мы видим, есть призывание Божьего суда через кару водной стихией, когда в *каятинах* человек обещает захлебнуться водой в случае своей вины, он призывает Божий суд через огненную стихию, когда взывает ниспослать ему в случае вины болезнь и безумие. Медные же трубы – это последняя словесная клятва, оглашаемая перед лицом мира и божьим крестом. С прошедшего *каятины* – через огонь, воду и медные трубы – снимались обвинения, человек выходил из обряда чистым, если был невиновен, или *очищенным*, если вдруг признавал на каком-то из этапов *каятин* своё преступление и раскаивался.

При всей простоте и видимой наивности ритуала *каятин*, этот обряд и впрямь был очистительным и оказывал на кающегося разоблачительное воздействие. Ведь в *каятинах* главным стержнем являлась клятва, а клятва – важнейший двигатель человеческих поступков, и вот почему.

**Клятва** в истоках языка хранит глубинную связь с матерью-землёй. *Клятва*, *клясться* – слова, однокоренные понятию *кланяться*. Кланяться и клясться – действия сопряжённые, ибо клятва исконно есть прикосновение к Матери-Земле, сопровождаемое естественным – земным поклоном. Именно Матери-Земле славяне-язычники давали свои обеты, они клялись и одновременно кланялись ей, прикасаясь к земле и зарекаясь, если не исполнят обещанного, быть проклятыми, то есть провалиться сквозь землю. *Быть проклятым* – провалиться сквозь землю – на языке древних символов означало смерть. И так возникло проклятие – то есть обещание перед лицом земли смерти проклинаемому.

Благоговение перед клятвой и страх перед проклятием до сих пор сильны в жизни человека. Формула с обещанием неминуемой расплаты “ежели вино-

ват” непременно сбывалась, о чём свидетельствовал многовековой народный опыт. Потому редко кто в ритуале каятин мог устоять и не признаться, если виновен, произнося столь страшные слова, которыми призывал кару Божью на собственную голову. Именно такую покаянную голову, прошедшую каятины и засвидетельствовавшую перед Богом, Матерью-Сырой Землёй, водой и огнём свою виновность или невиновность, меч русской расправы не касался. Признавшегося в преступлении облагали выкупом за него, ценой – расплатой, которая подчас оказывалась весьма накладной. И дело было покончено.

Нет, не зря в нашей генетической памяти и в русском языке стойко и неодолимо существуют представления о народном праве и справедливости. Именно ими руководствовались наши предки в своей жизни, лишь изредка обращаясь к писаным государством законам.

Сегодня всё больше накапливается преступлений против народной справедливости. Рано или поздно в сознании народа пробудятся древние архетипы, диктующие необходимость восстановления Русской Правды. Ведь для нас, следующих в жизни законам родного языка, преступник не тот, кто нарушил статью Уголовного кодекса, а тот, кто переступил границу дозволенного нашими юридическими обычаями.

Современный самосуд – расправа с преступником без обращения к государственным органам – наследует древнюю традицию мирского суда. Расправиться – значит *исполнить приговор*, который выносит преступнику народная совесть согласно народным представлениям о справедливости. Самосуд отличается от обычной мести тем, что при мести расправу над обидчиком осуществляет сама жертва или близкие ей люди, самосуд же может учинить любой человек, стремясь таким образом обеспечить справедливость в своём понимании и предотвратить угрозу интересам общества.

Самосуды были в России всегда. Самосудная расправа с ворами и поджигателями была нормой в российских деревнях. Решение о самосуде принималось, как правило, на сходе домохозяевами тридцати пяти – сорока лет во главе со старостой. Приговор выносился в тайне от властей, чтобы они не помешали расправе. Крестьяне были убеждены в своём праве на самосуд и при таких расправах не считали убийство грехом. Убитого самосудом община хоронила, зачисляя его в список пропавших без вести. Власти пытались расследовать факты самосудов, ставшие им известными, однако все усилия полиции, как правило, были тщетны. Те немногие дела, которые доходили до суда, заканчивались оправдательным приговором, который выносили присяжные из крестьян.

## ЧТО ТАКОЕ РУССКАЯ ВЛАСТЬ

Высшая власть в государстве исконно рассматривалась русским народом как единоличная. Один Бог – один и Государь. *“Светится одно солнце на небе, а Царь русский на земле”*. Властитель на Руси должен быть один, он отец народа, его отношение к подданным любящее и строгое, но непременно отцовское, а подданные в государстве суть его дети и, как сыны и дочери, не имеют сомнения в том, что отец вершит власть им во благо. Ведь отец не может не любить своих детей и не заботиться о них.

В истории России эта мечта сбывалась редко. Цари-батюшки, генеральные секретари, президенты оказывались в замкнутой обойме элитарного окружения, которое стремилось не выпускать правителя из своих цепких и алчных лап. Народный ум и это сознавал: *“Кто Царю застит, народ нападит”*. И утешался мыслью, что-де не от царей угнетение, а от любимцев царских, и что не царь гнетёт народ, а временщик. Царистская психология русского народа не смущалась бесчинствами временщиков – ведь царь за всеми не доглядит! Русский народ искони требовал от Царей и вождей своих главного – нравственной и религиозной прочности, называемой по-русски чистотой совести, и на этом строил своё доверие к верховной власти.

Русские архетипы мышления возлагали на царей огромную ответственность за народ и государство перед Господом Богом. *“За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность – милует”*. *“Коли царь Бога знает, Бог и царя, и народ знает”*. Эта народная мысль глаголет, что вина нечестивого правителя, забывшего Бога, правду и подданных, всегда оборачивается

народными бедствиями, и тогда требуется устранить, свергнуть, лишить власти такого царя. Вот причина Смуты и народных бунтов в правление Бориса Годунова, Лжедмитрия Первого, Василия Шуйского. Одною народная молва обвиняла в убийстве царевича Димитрия, другого – в безбожии и еретичестве, третьего – в предательстве и лживости. Народ, видя нечестие своих государей, страшился последствий царских преступлений – неурожаев, голода, мора, стихийных бедствий, нищеты, – потому и бунтовал, не желая иметь царя-нечестивца, заслужившего Божье наказание своим подданным.

Ближние государевы слуги, именуемые властной элитой, хорошо понимали всю опасность сближения правителя с народом. Властитель-нечестивец вскоре будет обличён мудрой народной прозорливостью, а добрый правитель не дозволит своим приближённым бесчинствовать, ибо слышит “глас народа”. Поэтому идеальная модель русской верховной власти зачастую искажалась при воплощении в жизнь, поскольку властная элита жёстко противодействовала сближению царя и народа.

Ныне же разрыв между властью и народом велик, как никогда. Высшее руководство страны – закрытая и сплочённая организация, живущая по ею самой, а не народом установленному ранжиру. Правящая верхушка находится в фактической изоляции от информационных потоков. Лавину имеющих государственную важность вестей до неё доносят лишь в той мере, которая утешает и радует правителей. Просьбы и мольбы народные верховные правители получают дозированно, от определённых лиц, заинтересованных в отборе и отсеивании людей и новостей при “доступе к телу” правителя и его ближнего круга.

Если обратиться к опыту XVI–XIX веков, видим, что самодержавный царь и его правящая элита позволяли народу общественное самоуправление через мирские сходы и земства. Тем самым осуществлялись справедливое распределение благ и рост народного благосостояния. Затем реформы Александра Второго, ведшего безнравственный образ жизни, попускавшего правящей верхушке наживаться за государственный счёт, положили начало процессу обезземеливания крестьян, разрушению общины, распаду мирского и земского самоуправления. И уже ни Александр III, ни Николай Александрович, получив в наследие далеко зашедший разрушительный процесс, не смогли воспрепятствовать пагубным для русского народа сдвигам, что завершились столыпинской реформой, ставшей экономическим и политическим рычагом революции. В большевистских лозунгах “Земля – крестьянам!” и “Власть – Советам!” сработали те же архетипы русских представлений об истинно справедливом управлении государством. Именно общинное самоуправление позволяло народу жить по собственным законам, а общинное землевладение создавало условия для справедливого распределения благ. Нравственная же чистота царя была, на народный взгляд, надёжной защитой подданных от любого Божьего наказания и напастей. Вот почему революционеры усиленно распускали лживые слухи о безволии Николая Александровича, безнравственности его семьи, бесчинствах близкого царю Григория Распутина. Это был катализатор запущенных ещё в середине XIX века процессов подрыва русской верховной власти и русского народного самоуправления.

Недавняя модель советского государства показала пример успешности правления Генерального секретаря правящей партии при условии его нравственной стойкости, действительной заботы о народном благе. Одновременно выстраивалась советская система справедливого распределения благ – по труду. Работала, хотя и со сбоями, модель советской власти как формы русского самоуправления. Однако эта модель оказалась правящей партийной верхушке КПСС, окружавшей властное кресло единоначальника, неудобной для сохранения собственной прочности во главе страны, и она извратила и умалила советскую систему, тем самым лишив русский народ вольности самоуправления. И усадила в правящее кресло генсека-предателя, что привело к августовской революции 1991 года, результатами которой воспользовались нерусские люди, полностью уничтожившие справедливое распределение народного богатства, народное самоуправление и создавшие особую систему насаждения правителей-марионеток олигархата.

ОЛЬГА СВЕРДЛОВА

## ПАРАДОКСЫ ВОСПИТАНИЯ

Я решила больше статей не писать, а только рассказы. Хватит рассуждать, ставить проблемы, мучиться над неразрешимыми вопросами. Гораздо интереснее рассказывать о судьбах людей. Истории их жизни могут быть гораздо поучительнее. Но вот недавний разговор с моим старым приятелем заставил вернуться к публицистике. Он мне поведал историю своей жизни за последний год. А год выдался для него и всей его семьи на редкость тяжёлый.

Внук заканчивал школу, и все тяготы, связанные с окончанием школы и поступлением в вуз, дед и бабка решили взять на себя. Внук не отличался усердием, учился слабовато, приходилось без конца таскать подарки учителям, но успехов не наблюдалось. Внук стал нервным, плаксивым, замкнутым. Как-то сказал бабушке: “Я этого всего не выдержу”. Впереди маячила армия, и всевозможные страхи одолевали бабушку. Ей мерещились наркотики, сомнительные компании, она стала внимательно прислушиваться к разговорам о самоубийствах подростков, очевидно, прикладывая эту информацию к своей ситуации. И бабушка уговорила всех, что внука надо забрать из школы. Пусть заканчивает школу экстерном, отдохнёт, отоспится, придёт в себя, и у него будет время заниматься теми предметами, которые ему понадобятся для поступления в институт. Решили, что этот год парень будет жить у бабки с дедом, под их присмотром. Наняли лучших преподавателей, профессоров вуза, куда внук собирался поступать, и стали ждать результатов. И результаты не заставили себя долго ждать. На ЕГЭ по физике он получил самый низкий балл, равный приблизительно по старому исчислению двойке.

Стали разбираться. Оказалось, что занятия он частенько пропускал, да и способностей, чтобы поступить в Бауманку, у него не было. А главное – парень не научился трудиться, подчинять желания одной цели. Был элементарно ленивым.

В конце концов, в какой-то вуз он поступил, но теперь у него появилось законное право валяться на диване, пропускать занятия, тусоваться с новыми друзьями до полуночи, покуривать неизвестно что, и всё под предлогом: “Я уже взрослый, отстаньте от меня”. И так продолжалось до первой сессии, которую он с треском провалил. Теперь уже родители мечтают об армии, где его научат по-настоящему вкалывать, где сделают мужиком, как считает дед, единственный человек в семье, представляющий все трагические последствия такого изнеженного воспитания. Если честно сказать, таланты у него были, но престижные семейные традиции не позволили ему их реализовать. Летом, поругавшись с родителями и демонстративно отказавшись от поездки с ними в Англию, он пошёл подрабатывать в магазин “Эльдорадо” – продавать технику. Хотел доказать себе и всем вокруг свою независимость. И у него это здорово получалось. Он умел уговорить любого покупателя купить телеви-

зор или смартфон последнего поколения. Все поразились, как это у него получалось. Талант, да и только! Его пригласили в магазин на постоянную работу с последующим повышением. И он подумывал предложение принять. Родители были в ужасе. Продавец в семье – это просто нонсенс. Так думают многие родители. Поэтому 95% наших ребят идут после школы в вузы, а потом оказываются невостребованными. Наплодили такое количество экономистов и юристов, что хватит на 20 лет вперёд.

Размышляя об этой ситуации, в чём-то типичной для современной жизни, и о судьбе парня, я, как это бывает в таких случаях, наткнулась на совершенно противоположную историю. Ведь в жизни всегда находится баланс, и она порой в прах разбивает все наши рассуждения о должном и правильном.

... На днях еду в троллейбусе, и со мной рядом группа девчонок, приблизительно все одного возраста, лет по десять. Они оживлённо болтают, и в разговоре их мелькают упоминания то о поездке в Дубай, то в Словению. Я с лёгкой завистью подумала, как расширилось наше пространство в последнее десятилетие. Мы, выросшие в СССР, такой возможности познавать мир с юных лет не имели. Малышки, а уже полмира увидели. Я невольно прислушалась, а потом мы разговорились. Оказалось, что ребята возвращаются домой после тренировки в бассейне ЦСКА, где они каждый день, кроме воскресенья, по 4,5 часа занимаются прыжками в воду. Представляете, детям по 10 лет, а они уже с 5-ти лет каждый день после школы на тренировки, а потом в 7-м часу домой на электричке в Нахабино, живут далеко, за городом. Задаю провокационные вопросы:

– Устаёте, не надоело, родители заставляют?

– Да что Вы! Я живу с бабушками, а мама вышла замуж и живёт в Арабских Эмиратах. Ей не до меня. Я сама выбрала прыжки, а до этого работала на брусьях, но все руки стёрла, пришлось перейти на прыжки, – рассказала девочка, самая общительная из этой компании.

– Ну, и какие успехи? – спросила я, невольно смутившись, что задала такой прямой вопрос.

– Я заняла первое место по Москве.

А стоявшие рядом двойняшки сказали, что заняли второе и третье место. Маленькие, щупленькие – и вот такие результаты. И труд, бесконечный труд на пути к успеху. Родители привели их в бассейн в пять лет, а дальше они добивались всего сами. И в школе учатся на отлично, такие самостоятельные и ответственные девчонки. Хотят с самого раннего детства добиться успехов в жизни своим трудом. На прощание я спросила у самой бойкой девочки, как её фамилия, чтобы гордиться знакомством с ней, когда она станет чемпионом мира. Девочка улыбнулась и фамилию назвала. В голосе была уверенность, что это обязательно случится.

Чем же объяснить лень одних и невероятное ответственное трудолюбие других? И что делать родителям, если ребёнок не научился трудиться? А главное – как научить трудиться? Особенно в современных условиях, когда за какие-то двадцать лет коренным образом изменились ценности, традиции и психология людей. Традиции, усвоенные и переданные нам от предков, дедов и отцов.

Если раньше мы за гроши могли трудиться, как говорится, не покладая рук, по выбранной специальности, то сегодня молодёжь первым делом интересуется, а сколько будут платить. Готовы работать не по избранной специальности, лишь бы за неё хорошо платили. Мы начинали с самой маленькой должности, к примеру, кончив филологический факультет МГУ, шли работать курьером, чтобы попасть на работу в редакцию; имея высшее театральное образование, трудились работниками сцены, годами трудом доказывая, что способны занять ту или иную должность. Сейчас все хотят всё и сразу. Говорить об этом стало общим местом. Да, мечта о красивой жизни, потребительство разъело нашу мораль, как ржа железо. Дух времени зачастую сводится к желанию приобрести новейшие гаджеты или модную марку машины. Думаю, скоро и это не будет признаком успеха, не удивляйтесь! К примеру, будут хвастаться тем, что имеют несколько квартир или жён, которых в состоянии содержать на приличном уровне.

Первые признаки уже носятся в воздухе. Госдума заговорила о двоеженстве, раздаются голоса, чтобы сделать его законным. Прогресс идёт семимильными шагами! Кстати, у нас уже был такой герой, безвременно погибший

и оставивший всех своих многочисленных детей, жён и любовниц без завещания. Теперь им самим придётся разбираться, чьи дети имеют больше прав на его наследство. Уже началась грызня и конфликты за сокровища, спрятанные в далёких и близких странах.

... Мне довелось познакомиться с выпускниками биофака МГУ. Талантливые ребята, поступившие туда по огромному конкурсу, с детства мечтавшие о профессии биолога. Но, проучившись пять лет, они пошли работать не по специальности, а чёрт знает кем, – короче, туда, где хорошо платят: менеджером по продаже медицинской аппаратуры, бизнесменом-издателем рекламных буклетов, парикмахером, специализирующимся на модных стрижках животных.

Любившие леса, поля и реки стали за хорошие деньги травить всё, что в них обитает. Это так называемые хантдогеры. Но есть и такие, которые решили просто не работать, благо от предков достались квартиры и можно их сдавать и жить безбедно. Не роскошно, но сносно, всё лучше, чем работать за гроши.

К тому же современная молодёжь очень ценит свободное время, чтобы можно было по полдню проводить в интернете, болтать часами по мобильнику, делать фотки и выкладывать их в интернете, удивляя всех своей экзотичной жизнью, и всё это в рабочее время. Впрочем, можно и ночью, чтобы на завтра была возможность спать до полудня.

Есть ещё одна группа мечтателей – эти мечтают путешествовать, жить в жарких странах, не работать, целый день валяться на пляже, проедавая “отцовский” капитал. Их называют дауншифтеры. Теперь даже стали брать с собой детей, глубоко не задумываясь над тем, какой пример они им подадут и что из них вырастет.

Вся эта жизненная философия из города перекочевала уже и в сельскую местность, причем, не исключено, что зародилась она там самостоятельно. Отсюда и невспаханные поля, заросшие бурьяном, заколоченные дома, страшное пьянство и полная деградация села. Мне возразят, что есть самые разные примеры отношения к труду. Взять, к примеру, Краснодарский край, где получают неслыханные урожаи зерновых, значит, работают от зари до зари, но я говорю о тенденции, которая захватила умы и души немалой части наших граждан и которая создаёт, к сожалению, определённую общественную атмосферу. Слово “трудолюбие” всё чаще подменяется словом “успех”, который дарит шанс, то есть судьба, случайность, хотя с детства родители говорят своим чадам: “Без труда не вытащишь и рыбки из пруда”.

Самореализация – это совсем не так уж и плохо, скажут мне и будут правы, но не за счёт других. И стоит всё-таки научиться вкалывать, не жалея себя, ради достойного будущего своих детей и страны. Да и ради себя. Потому что только достигнув цели своим трудом, человек может быть по-настоящему счастлив.

Трудолюбивый ответственный ребёнок – это огромный вклад в будущее, его счастье, но ещё важнее, что мы вложим в его душу...

Месяц очередного отпуска я провела в посёлке, который отстраивался на моих глазах. Напротив моих окон возводили трёхэтажный дом. Я смотрела в окно и удивлялась, как быстро растёт это сооружение. По строительным лесам бегали или ходили совсем маленькие ребята. Отполированные солнцем загорелые тела сновали в проёмах строящегося здания.

Иногда появлялся мужчина средних лет и придирчиво осматривал работу, иногда женщина звала обедать или ужинать. Конечно, меня заинтересовала эта удивительная бригада. Я разговорилась и узнала, что этот дом строит одна семья. Мужчина – отец семейства, в котором пятеро сыновей от 15 до 9 лет и одна дочь. Такой семейный подряд. Старший сын занимался расшивкой. Расшивка означает убрать лишний цемент с кирпича, протереть его так, чтобы было красиво и ровно.

Крутится бетономешалка с 6 часов утра, отбивая тяжёлый ритм, а ребята подсыпают цемент, носят воду, таскают вёдра с песком, отбирают кирпичи. Старшие уже допущены к кладке – кирпичик к кирпичику, лопаткой тихонько постукивают, любят на каждый уложенный кирпич и вроде бы не спеша работают, а стенка растёт на глазах. И вот уже готов второй этаж. У каждого свои обязанности.

Задаю ребятам провокационный вопрос:



– А в Москву, погулять хочется?  
– В воскресенье у нас выходной, вот и поедем, – отвечает самый младший.

А мне слышится: “Отец, слышишь, рубит, а я отвожу”.

Семья приехала из Харькова, поработать летом в России и заработать хорошие деньги, построив коттедж для какой-то звезды из шоу-бизнеса. Старшему всего 15, но степенный такой, руки умные, глаз зоркий. За каждый уложенный кирпич отец платит старшему по одному рублю, с младшими рассчитывается оптом. Деньги собирают кто на компьютер, кто на мороженое, а кто на “американские горки” в Парке культуры. Спрашиваю у старшего, которого всё подчёркнуто уважительно зовут полным именем Николай:

– А если у матери денег нет, дашь ей взаймы?

– Взаймы дам, но так, чтоб вернула, – твёрдо заявил Коля. – Всё, что я зарабатываю, – это моя личная собственность, если заберут, я могу пойти работать в другое место.

– А читать любишь?

– Когда нам читать, мы вкалываем.

Во дворе что-то чертила на песке самая маленькая девочка из семьи. Рисовала и напевала. Я попыталась разглядеть. Девчушка нарисовала виселицу и на ней повесила человечка. Я вспомнила своё детство и то, как мы рисовали такие же виселицы и выигрывал тот, кто быстрее повесит человечка, не придавая этой игре никакого смысла. И вдруг я поняла, что бубнит про себя ребёнок: “Москаляку на гуляку”.

– А хотите, я Вам покажу Машку и Ваньку, – и она потащила меня в конец двора, где находилась огромная клетка с кроликами.

– Завтра на обед будем есть крольчатину, – сообщил подошедший к нам десятилетний Павло. – Так что капут твоей Машке.

И действительно, на завтра на обед ели крольчатину. Отец в присутствии детей в одно мгновение открутил Машке голову и бросил тушку на скамейку. В это время к скамейке подбежала собака и схватила голову. Николай поднял кирпич и со всей силы бросил его в собаку. Кирпич попал в голову, окровавленная собака завизжала, упала и уже больше не вставала.

Всё это поведала мне соседка, наблюдавшая эту картину с балкона дома напротив. Поведала, очевидно, не только мне, и дачный посёлок возмущённо загудел.

Собака была бездомная, но её все очень любили, подкармливали, кто чем может, привечали и любовно звали Яшкой.

Разъярённые граждане даже явились к ним в дом и высказали родителям своё возмущение случившимся, говорили родителям, что дети могут вырасти жестокими, злобными, чёрствыми.

На следующий день, когда шла в магазин, я вдруг увидела, как соседские девчонки, которые целый день умирали от безделья на своём участке, теперь кормили пострадавшую собаку, промывали её раны, возили её даже к местному ветеринару. Весь месяц, что они провели на даче, девчонки лечили Яшку, а потом после скандалов упростили всё-таки родителей взять домой в Москву. А я до этого случая мысленно осуждала девчонок за безделье, особенно когда видела, как работает бригада Петра.

В полдень жизнь на стройке замирает. После обеда – сон обязателен для всех членов бригады. Как-то я заглянула к ним в вагончик в это время. Кто-то спал, кто-то играл, а старшие ребята вместе с отцом смотрели украинское телевидение. Я разговаривала с хозяйкой в предбаннике, и невольно услышала комментарии ребят, правда, увидев меня, они замолчали, отец дал им знак не болтать. “Поедем работать в Англию, будем фунты получать, а не эти деревянные. Тогда сюда поедут работать одни “ватники”, да и пьянь всякая”.

Как-то встретила с Петром в автобусе, он ехал к врачу, чтобы выписать лекарство от болей в позвоночнике. Разговорились. Он оказался общительным человеком. Любит жизнь и работу на воле, где потолком служит небо.

Я, конечно, не могла не заговорить об Украине, хотя в глубине души чувствовала его позицию.

– Жалко детей, стариков, женщин, мирных людей, которые погибают в Донбассе. За что? Просто чудовищно, чтобы в XXI веке убивали за то, что люди хотят говорить на родном языке и требуют чуть больше независимости.

И услышала:

– Вы смотрите своё телевидение. Вы ничего не знаете, что у нас происходит. У нас своё государство. И нечего России лезть к нам, поджигать людей. Они получают своё за предательство. Вас зомбировали. Вы всё, что можно, вытянули из Украины, сделали нас нищими, не можете простить нам, что мы хотим быть с Европой, а не с Вами.

И он перевёл разговор на другую тему.

– Вот построим дом, и заработаем на машину, и будем ездить в город, мы ведь под Харьковом живём, в посёлке. По моим стопам, наверное, только Николай пойдёт. У него явно есть к этому призвание. Кладку делает – не придерёшься.

– Но не эксплуатируется ли таким образом детский труд? Детям летом вроде бы полагается отдыхать, – говорю я неуверенно. – Они ведь ещё дети, рано встают, к вечеру устают сверх меры, работают под пеклом – разве это для детей?

– Пусть работают, деньги зарабатывают, будут ценить заработанное своим трудом.

Считается, что труд облагораживает человека. Но, оказывается, не всегда и не всякий. Всё зависит от того, какой труд и какие душевные качества родители хотят видеть в своих детях.

Я невольно наблюдала и за семьёй девчонок, которые так преданно ухаживали за раненой собакой.

Приехавшие погостить к бабушке две внучки не знали, чем заняться, куда себя деть. Проводили целый день на озере, сгорали на солнце, с родителями не очень-то считались и совсем не желали, чтобы их сопровождали или контролировали. Время впустую идёт у девочек, а бабушка и дедушка целый день на огороде трудятся, поливают, обрабатывают, рвут сорняки, чтобы у внуков всё своё было, с огорода и из сада, экологически чистое, а девочки ни разу не выразили желания им помочь. И мать их тоже с утра до вечера в огороде трудится, но ни трудовым энтузиазмом, ни желанием помочь близким дочек не заразила.

– Они отдыхать приехали, – оправдывается перед соседями бабушка. – Да и дети они городские. Им земля не интересна.

Кстати, потом узнаю, что девочки совсем неплохие, отлично учатся, и одна даже мечтает стать дизайнером по ландшафту, но вот помогать дедушке и бабушке в огороде не хотят.

Самое удивительное – ведь мать тоже горожанка, а трудится до седьмого пота. Говорят, что в России люди отучились по-настоящему трудиться. Отсюда и все беды, и наше нищее бытие. И об этом я тоже говорила раньше. Но я имела в виду совсем другую часть общества, другое сословие и другое поколение. Я нигде, ни в Европе, ни в Америке не видела, чтобы женщины столько и так работали, как работают наши. В каких условиях и каковы результаты этой деятельности – можно только поражаться. Без какой-либо техники, всё вручную, не разгибаясь весь световой длинный летний день.

Горожане на своих садовых участках выращивают овощи и фрукты, которые разнообразят их скудный зимний рацион. “Пашу как лошадь” – это не рекламный слоган, а истинная жизнь российской женщины. Но это мы опять отвлеклись.

Почему всё-таки пример матери, бабушки и дедушки не увлекает девочек? Да потому что тяжкий труд до седьмого пота не вызывает желания подражать. Наоборот, появляется желание увильнуть от такого “самоутверждения”. Так, может, трудиться детей должны вдохновлять деньги, как в семье Петра?

И всё-таки оплачивать любую совместную деятельность в семье я считаю порочным. Только бескорыстный труд на благо всей семьи делает людей родными, близкими. И ещё. Труд – это не игра и не забава, но и не подёнка, обязательная, порождающая усталость и безразличие. Если мы хотим, чтобы дети трудились, помогали нам, нужно во всякий труд вдохнуть искру интереса, дух соревнования, радости, “куража” от проделанной работы.

И я не согласна с одним из моих авторов, который доказывает, что физический труд на пределе возможностей сам по себе открывает второе дыхание. Ну, может быть, у взрослых – да. А у детей, наоборот, появляется желание увильнуть, отвертеться.

Том Сойер, красящий забор, – это хрестоматийный пример, как можно увлечь работой любого, даже самого ленивого. Для тех, кто подзабыл, я напомним.

Ему тётка поручила красить забор, и дело это было достаточно нудное. Но он сумел заразить своих приятелей желанием поработать настолько, что они выторговывали у него эту возможность. Но для этого хитроумный Том, будучи очень тонким психологом, расставил сети для простаков. Разыграл комедию, как это трудно, каким нужно быть мастером, чтобы тебе доверили белить забор. Что обычно человеку это не по плечу. “Из тысячи... даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдётся только один, кто сумел бы выполнить это как следует”, – пафосно произносит Том.

Сам того не ведая, этот сорванец открыл великий закон, управляющий поступками людей. “... Работа есть то, что мы обязаны делать, а Игра есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло ему уразуметь, почему изготовить бумажные цветы или, например, вертеть мельницу – работа, а сбивать кегли и восходить на Монблан – удовольствие”, – заключает Марк Твен, открывая и нам закон “всемирного трудолюбия”.

Я знаю маленького мальчика восьми лет, который посадил вместе с отцом в один день 80 луковиц цветов и был бесконечно доволен собой и проделанной работой. Но при этом отец и сын сажали цветы наперегонки, “кто лучше ручками разрыхлит землю, у кого быстрее прорастёт луковица, чтобы не задохнулись в земле тончайшие стебельки или кто скорее напоит землю, которая погибает от жажды”.

Порой стоит начать что-то делать вместе, и дело приобретает характер игры или увлекательного общения. На фоне такого душевного подъёма любая работа спорится.

Чтобы увлечь трудом, необходимо включить воображение, фантазию самим родителям. Отбросив будничные заботы и усталость, расшевелить и раззадорить себя, пробудить творческие силы, вспомнить детство. А вот это зачастую нам лень, а то и просто неинтересно. Потому что не считаем это важным, необходимым. Хотя душа родительская, как сказал поэт, “обязана трудиться // и день, и ночь, и день, и ночь”.

В каждом занятии необходимо искать свою долю радости, бодрости и не закрывать глаза на трудные стороны работы, которую хочешь, не хочешь, а исполнять должен. Всё дело в настрое. Особенно когда это касается детей! Они ждут в работе самостоятельности, возможности выдумывать, пробовать. И, наконец, – это деятельное проявление любви. Чем меньше в семье общего труда, общих забот, тем меньше заинтересованности родителей и детей друг в друге. Но обучить любви к труду на словах ещё никому не удавалось. Только собственный пример, трудовое усилие без стенаний и проклятий может воспитать трудолюбие, желание работать вместе с родителями, помогать им.

Не помню, где я прочитала, кажется, в рассказе польского педагога о воспитании детей в семье, где он приводил пример, который запомнился. Двое годовалых малышей пытаются перелезть через порог. И как по-разному в этой ситуации ведут себя матери. Мать Дацига, увидев, как сын мучается, и испугавшись, что он может удариться, сделать себе больно, хватает его на руки и аккуратно переносит через порог. Мать Ячика, увидев ту же самую картину, даёт ему возможность самому преодолеть ступеньки, внимательно наблюдая за ним, готовая в случае опасности прийти ему на помощь. Это символически выражает две противоположные системы воспитания.

С годами я всё больше склоняюсь к мысли, что трудолюбие, работоспособность, как и талант, заложены в генах. Но вот умение преодолевать трудности, это уж точно воспитывается. Как и доброта. Не вырастет добрый ребёнок у жестоких родителей. Жизнь это много раз подтвердила. Родители могут возразить: зачем в нашем жестоком мире нужен добрый ребёнок? Он может вырасти сентиментальным, слюнтяем, он просто пропадёт. Но ведь вот парадокс: доброта или жестокость ребёнка проявляется, прежде всего, по отношению к нам, родителям. А разве мы хотим, чтобы он рос жестоким, неблагодарным, злобным, безжалостным?

И ещё один парадокс. Если хотите, чтобы ребёнок вырос жизнестойким, умеющим преодолевать трудности, не подкладывайте ему под каждый шаг соломку, учите его с самого детства самостоятельно выходить из конфликтов, решать свои проблемы без вмешательства родителей. А если хотите, чтобы

он вырос добрым, отзывчивым, благодарным, прежде всего, по отношению к родителям, научите любить всё живое – цветок, птицу, щенка, научите удивляться явлениям жизни, чуду рождения жизни. Надо приблизить природу к детям и детей к природе. Это великое счастье – увлечь красотой и добротой всех, кто тебя окружает.

... После долгой зимы двое, мужчина и мальчик лет десяти, подъехали к даче. Было зябко, сыро, от земли, где местами оставался серый слежавшийся снег, тянуло холодом. Но там, где пригревало солнышко, было теплее. Они поднялись на веранду, залитую солнцем и заваленную ведрами, лейками, скамейками – всем тем барахлом, которое в последний момент осенью убрали со двора, но не хотели тащить в дом. А посередине этого скарба торчал палас. Его-то специально оставили на террасе, чтобы за зиму выветрился запах псины. На нём так любил валяться их пёс. Мужчина приподнял палас, чтобы пройти к двери, и тут они увидели огромную распластанную серую мышь. И этот не тот случай, когда гора родила мышь. На этот раз мышь родила целую гору маленьких мышек. Похожие на пуговицы, вылезали они из чрева матери одна за другой, и их было так много. Эта сцена загипнотизировала обоих.

Мужчина, взглянув на мальчика, осторожно и нежно накрыл ковром роженницу. Потом обошёл это место, открыл дверь в дом, а мальчик подошёл к книжной полке, долго что-то искал, наконец, нашёл нужную книгу и, полистав её, прочитал вслух рассказ японского писателя Такэдзи Хирацука “Весенняя колыбельная”:

*“Пришла весна.*

*Стало тепло. У мамы-мышки, которая жила на чердаке, родился маленький мышонок.*

*“Пи-пи-пи!” – запела мышка колыбельную песенку, убаюкивая сына.*

*В доме, в углу шкафа, жила кошка. Услышала она мышкин голос, уши на-вострила, когти выпустила.*

*Но тут же уши опустила и когти прибрала. Отчего бы это?*

*А оттого, что кормила молоком котят.*

*“Мур-мур-мур...” – замурлыкала она свою колыбельную песню.*

*Под окном лежала собака. Нос у неё был чуткий-пречуткий. Она сразу учуяла, что в доме сидит кошка.*

*“Ага! Пахнет кошкой и котятами! Зарычу-ка я, напугаю кошку, – подумала она и зарычала “Р-р-р-р!”*

*Но тут же умолкла. Под боком у неё лежали щенята. Собака закрыла глаза и сделала вид, что спит. Потом тихонько заскулила – запела колыбельную песню: “Гав-гав!...”*

*Какой тихий вечер! Слышно, как растёт трава и лопаются почки.*

*– Кто-то вдали баюкает малыша, – сказала мама и тоже запела колыбельную песенку: “Баю-бай!...”*

Это был тот самый момент, когда возникают ассоциации по каким-то удивительным законам кибернетики чувств. Этому нельзя научить ни на каких школьных уроках.

Мужчина ещё не знал, но судьба приготовила ему свой подарок. Где-то далеко-далеко, в другой части света, его дочь в этот час родила ему внучку. И не пришла ещё весть оттуда, но смутное чувство единения со всем живым, неделимость бытия ощущались им так явственно.

ЮРИЙ ПАХОМОВ

## ЧЕРДАК ОСЕДЛОЙ КОШКИ

*Воспоминания о людях и судьбах*

### **1. Мой двойник из прошлого (вместо предисловия)**

О двойниках Сталина, Гитлера или, скажем, Саддама Хусейна написано немало. Ходили слухи о существовании двойников Ельцина... Я же, слава Богу, не президент, не диктатор, но, как оказалось, есть двойник и у меня. Точнее, был во времена отдалённых. Как я узнал о его бытии?

История это давняя, и начну я издалека.

В марте 1978 года мне позвонил из Ленинграда заведующий отделом прозы журнала "Звезда" Александр Семёнович Смолян и сказал, что моя повесть "К оружию, эскулапы!" принята, дать её планируют в одном из летних номеров, но так как она связана с военной темой, необходимо срочно поставить штамп военной цензуры. "Юра, вы там поближе к начальству, – сказал Смолян, – сходите на Кропоткинскую и постарайтесь устроить всё быстрее. Рукопись с письмом я сегодня же отправлю с оказией".

К начальству я действительно был поближе, в повести своей не видел ничего крамольного, поэтому отправился на Кропоткинскую, где размещался главный военный цензор Министерства обороны, с лёгким сердцем. День выдался солнечный, весенний, с крыш капало, тенькали синицы, и в воздухе стоял едва уловимый запах мимозы.

Процедуру я представлял просто: цензор полистает рукопись, пожмёт мне руку в знак одобрения и шлёпнет жирную печать на титуле повести. Оказалось, что пройти к цензору нельзя, нужно позвонить по внутреннему телефону, после чего опустить рукопись в специальный почтовый ящик, установленный здесь же, в сумрачном фойе. Попытка объясниться ни к чему не привела. Суховатый голос раздражённо пояснил: "Таковы правила!"

Дня через три цензор, капитан первого ранга, сам позвонил мне домой и сказал, что повесть ему очень нравится. Морскую практику на учебном корабле "Комсомолец", оказывается, мы проходили с ним в одно время, и он хорошо всё помнит. Да и другие эпизоды повести выписаны достоверно и с юмором. А несколько дней спустя меня вызвал заместитель начальника политуправления ВМФ, контр-адмирал Петров, и сказал: "Тут на тебя "телега" пришла, ознакомься".

Игоря Николаевича Петрова я знал ещё по Северному флоту. Энергичный, весёлый, прямой офицер, до политуправления служил на подводных лодках в разных "дырах", вроде Гремихи, а там человеческие качества сохра-

няются дольше. Неожиданный взлёт его карьеры меня, признаться, удивил.

Контр-адмирал положил передо мной письмо, подписанное главным цензором Министерства обороны. От того, что было написано в письме, ощутило повеяло запахом камеры в Бутырках или в “Матросской тишине”, где, как вы понимаете, пахнет не мимозой...

Понятно, о публикации повести и речи не могло быть, а вот с автором следовало разобраться.

— И что теперь делать? — с ознобом в голосе спросил я.

— А ничего. Я повесть прочёл, мне понравилась. Придираться к тому, что матросы во время похода пьют сухое вино, глупо. Подводникам по норме положено сухое вино. Дальше — в таком же роде. Цензоры лезут не в своё дело, перестраховщики. Я ответ подготовил, даю “добро”.

Вспомним, что дело происходило в конце семидесятых годов, и на подобный шаг мог решиться только мужественный, убеждённый в своей правоте человек. Впрочем, Петрова вскоре из политуправления ВМФ убрали — не нужны там были светлые головы.

Повесть вышла. Возникла предгрозовая пауза, до меня докатывались самые разные слухи, но тут “Правда” неожиданно опубликовала положительную рецензию на повесть. Рецензию подготовил сотрудник военного отдела газеты, ныне широко известный поэт и бард Виктор Верстаков. Отзыв в столь высокой инстанции делал меня теперь не только неприкасаемым, но я как бы становился официально признанным писателем.

В ту пору с лёгкой руки стареющего генсека в моду вошли поцелуи и объятия при встречах. Я в буквальном смысле слова был зацелован в политуправлении ВМФ и избегал посещать это учреждение. Но этим не кончилось. Как то меня, автора известной повести, пригласил заведующий военным отделом “Правды”, контр-адмирал Тимур Аркадьевич Гайдар, и заказал очерк о Военно-медицинской академии: история, современность, продолжение традиций и прочее. Хотел бы я видеть литератора, который в те времена отказался бы от такой возможности! Вечером того же дня я сидел в читальном зале Государственной библиотеки имени Ленина и перелистывал заказанные книги. Среди них меня заинтересовала аккуратно переплетённая книжница “На память дорогим товарищам” — очерк, посвящённый юбилею врачей, закончивших Военно-медицинскую академию в 1860 году. Я закончил академию в 1960 году, и мне было интересно узнать об однокашниках с разницей в сто лет.

Автором-составителем книги был некто Пётр Алексеевич Илинский. К очерку прилагались краткие биографии участников юбилейной встречи, их послужные списки. Прочитав жизнеописание самого автора-составителя, я испытал что-то вроде лёгкого потрясения — настолько отдельные вехи его жизни совпадали с моими: мы в один год (разумеется, с разницей в сто лет) родились, в один год выпустились из академии, в один год вернулись в Петербург на усовершенствование. Илинский, как и я, эпидемиолог, писатель, статский советник, что равно было моему тогдашнему званию. Были и другие совпадения.

Помнится, я пережил несколько тревожных минут: не сама ли Судьба вдруг открылась передо мной, позволив заглянуть в будущее? Хорошо, если Пётр Алексеевич прожил долгую жизнь и отошёл в мир иной в кругу семьи и близких, а вдруг земной срок у него иной, короче, и, прибавив сто лет, определю я точную дату и своего конца? А заодно узнаю и причину. Признаюсь, когда я мчался в Центральную научную медицинскую библиотеку, где, как мне сообщили по телефону, в персоналиях на П. А. Илинского хранится некролог, у меня, что называется, тряслись поджилки. К счастью, мои опасения не подтвердились. В дальнейшем совпадения пошли столь густо, что впору было перекреститься. Выяснилось, например, что дети у нас родились в один год, только у Илинского сын, а у меня дочь. Типография купца второй гильдии Шмидта, где печатались книги Илинского и где набиралась его газета “Врачебные ведомости”, размещалась в подвале дома номер шесть на улице Галерной (ныне Красной). А именно в этом доме, на четвёртом этаже мы с однокурсником Шурой Орловым снимали комнату. И так далее.

Я по-настоящему увлёкся поисками, и дело не только в игре в “чертовщину”, когда совпадения вызывают тревожный холодок внутри, — я вдруг обрёл вкус к работе в архивах и острый интерес к отечественной истории. По мере того, как накапливался материал, передо мной проступала биография

человека, немало сделавшего для России и незаслуженно забытого. Приведу лишь отдельные эпизоды его биографии. Илинский, будучи председателем Петербургской врачебной общины, первым в столице (да и в России тоже!) ввёл ночные врачебные дежурства; первым стал издавать санитарно-просветительную газету “Врачебные ведомости”, предназначенную для широкой публики. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов совместно с Николаем Ивановичем Пироговым разработал и на практике осуществил систему эвакуации раненых и больных по назначению, при нём впервые в морских портах были развёрнуты санитарно-контрольные пункты – барьер на пути инфекций.

Пётр Алексеевич Илинский был широко известен и как писатель. Имя его упоминается не только в Зубовском справочнике “Врачи-писатели”, но и вошло в знаменитый словарь Брокгауза и Ефрона. Литературных премий, насколько я знаю, тогда не было. Да и дико звучит: “Достоевский – лауреат премии... кого?” Замечательная книга Илинского “Русские женщины в войне 1877–1878 гг.” отмечена особо: автору пожалован перстень с руки императрицы Марии Фёдоровны.

А люди, с которыми работал, дружил, общался Илинский! Какие имена! Зинин, Руднев, Бородин, Пирогов, Доброславин, Склифосовский, Гаршин, Эрисман и многие другие. А какой пласт истории открылся уже при первых моих неумелых срезах огородной лопатой. Илинский позвал меня в дорогу, я побывал в местах, где он родился, работал, жил: село Селихово Тверской области, Кострома, Нерехта, Юрьев-Польской, Петербург. И везде я встречал настоящих подвижников – историков, священнослужителей, краеведов, бережно, по крупицам собирающих историю Родины. И когда сейчас говорят о гибели России, её культуры, я лишь усмехаюсь, вспоминая лица, встреченные в пути.

Очерк о Военно-медицинской академии для “Правды” я тогда так и не написал, зато написал роман о докторе Илинском. Там есть сценка, где я встречаюсь со своим “двойником”. Приведу из неё выдержки.

“... Мы стремительно неслись по набережной Невы, слева тускло блеснул шпиль Петропавловской крепости, отгремел под колесами Литейный мост. Со временем происходили загадочные вещи: стрелки часов вращались в обратную сторону. Илинский молчал. Справа, у Финляндского вокзала, небо внезапно порозовело, а когда мы подъехали к административному корпусу Военно-медицинской академии, стало совсем светло. “Волга” остановилась. Я открыл дверцу и помог Илинскому выйти. Он некоторое время молча разглядывал фасад старинного здания. За чугунной решёткой пластался туман, окна здания были темны, и только слева, на первом этаже, светилось окошко дежурного по академии.

– Альма-матер, матушка, – сказал Пётр Алексеевич и снял фуражку. Часовой у входа, молодой солдат, с любопытством посмотрел на нас. И вдруг Илинский запел слабым, дребезжащим голосом:

*Виват академия,  
Виват профессорес!*

И песню подхватили сильные мужские голоса. Я с изумлением обернулся. Позади нас, на тротуаре, на мостовой, вперемежку стояли учителя и однокурсники, мои и Илинского. Я узнал по фотографии профессора Руднева, его поддерживал под руку профессор Соломон Вайль. Живые и уже ушедшие стояли рядом, чуть в стороне между тайным советником Архангельским и профессором Шостаком я увидел и себя самого. И не удивился.

– Славно, господа, славно, – растроганно пробормотал Илинский.

А песня всё ширилась, её подхватывали новые молодые голоса, и теперь казалось, что поёт вся Выборгская сторона. У входа в корпус висел большой транспарант: “Приветствуем участников встречи однокурсников выпуска 1860 и 1960 годов. Примите, дорогие коллеги, уверения в совершеннейшем к вам почтении!” Было совершенно светло, но на улице ни души. Остановились у памятника Сергею Петровичу Боткину. Какой-то маленький юркий человек в кожаной куртке, с видеокамерой выбежал вперёд и крикнул:

– Товарищи... господа, попрошу встать плотнее. И расслабьтесь! Потрясающе, кадры века!

Бледная, как утопленница, девица подошла к Илинскому и, сунув ему в лицо микрофон, спросила:

– Скажите ваше мнение о предстоящих выборах в Государственную думу. Пётр Алексеевич беспомощно взглянул на меня. . .”

Ничего сценка, да? В стиле умеренного постмодернизма. Жаль, что я эту сценку выбросил из романа.

Пётр Алексеевич Илинский похоронен на Смоленском православном кладбище. Там же упокоились няня Пушкина Арина Родионовна и святая блаженная Ксения Петербургская. Кладбище напоминает Ваганьковское, только менее ухоженное. Церковь справа за деревьями, ровные аллеи. До глубоких сумерек бродил я среди надгробий, вчитываясь в надписи. Могилы Илинского я так и не нашёл. Собственно, мой “двойник” и подвиг меня к написанию рассказов о военных врачах.

## 2. Одинокие сны академика

Когда я говорю молодым врачам, что слушал лекции академика Воячека, на меня смотрят, как на ископаемое. А я не только слышал голос Владимира Игнатьевича, но и ощутил на себе прикосновение его рук, тонких, сухих и лёгких, как крылья бабочки.

На втором курсе, зимой, нас, курсантов, частенько выгоняли на мороз скалывать лёд на тротуарах улицы Рузовской. В результате я простудился и с воспалением пазух носа угодил в академическую клинику отоларингологии, что и по сей день размещается в здании на улице Клинической. Сначала меня обследовал личный врач Сталина профессор Засосов. Огромного роста генерал, за одну ночь поседевший в тюрьме во время знаменитого “дела врачей”, гулким голосом спросил: “Ну что, морячок, будем долбить пазухи? Что морщишься?” А ещё через день меня осматривал седенький старичок с ласковыми глазами и манерами земского доктора. Я и понятия не имел, что это знаменитый академик, сделавший в области болезней уха, горла и носа столько, что последующим поколениям специалистов осталось лишь усовершенствовать его идеи. “Давайте с операцией повременим, уважаемый коллега, – сказал он мне, девятнадцатилетнему мальчишке, – сначала сделаем проколы, проведём консервативное лечение, а там посмотрим. . .”

В начале 1971 года на улице Клинической можно ещё было повстречать старичка в поношенной шинели с погонами генерал-лейтенанта. Слегка прищаркивая ботиночками, он медленно направлялся к зданию клиники, доставал из кармана ключ и открывал дверь парадного входа. Уже много лет этим входом пользовался он один. Персонал клиники ходил через гардероб, так было удобнее.

В кабинете Владимира Игнатьевича стоял его бронзовый бюст, и, когда академик усаживался за письменный стол напротив своего изваяния, сразу было видно, что бронзовое подобие значительно проигрывает подлиннику. У Воячека после того, как ему перевалило за девяносто, в лице появились черты, отмеченные тем духовным совершенством, которые можно было увидеть разве что у Оптинских старцев.

Как-то утром я шёл по Клинической улице и увидел Воячека у подъезда клиники – он, видно, никак не мог открыть дверь. Я подошёл и предложил помощь. Старик сконфуженно глянул на меня:

– Что-то ключ заедает. . . А может, сил нет.

Я нажал на старинную бронзовую ручку, легко повернул ключ – замок солидно щёлкнул и дверь отворилась.

– Спасибо, дружок. Как ловко у вас получилось. Вы слушатель факультета усовершенствования врачей?

– Так точно.

– И кто по специальности?

– Эпидемиолог.

Воячек удивлённо посмотрел на меня:

– Как странно. . . Я ведь тоже чуть было не стал эпидемиологом. И этой ночью как раз думал об этом. . .

Когда тебе за девяносто, сны кажутся реальной жизни. В них странным образом сохраняется прошлое: лица, события, краски, звуки и даже запахи канувшей в Лету эпохи. Лет пять назад, кажется, в канун девяностолетия,



он попросил молодого адъютанта отвести его в Мариинку, — нет, опера или балет ему уже были не по силам, — а просто постоять в фойе. Лучше бы он не ездил. Всё здесь было так, как и прежде, десятилетия назад, когда знаменитый театр был его вторым домом, но изменился запах, словно просторное фойе, коридоры, замысловатые переходы обработали дезодорантом, а потом долго проветривали. Вместе с запахами театр покинули и тени прошлого. Всё это, конечно же, была чепуха, старческая блажь. Но этой же ночью он увидел сон, настолько отчётливый, настолько ясный, что, проснувшись, долго лежал во тьме, ощущая на щеках слёзы. Он видел свой дом неподалёку от Театральной площади, отца, профессора Петербургской консерватории и капельмейстера Мариинского театра; они стояли вдвоём у распахнутого окна, внизу, в сквере цвела, благоухала сирень, а за спиной, в глубине квартиры сестра София исполняла скерцо номер два Шопена. Во сне не было обычной зыбкости, когда видения уплывают, раздваиваются, смещается сюжет. Была, пожалуй, только одна несообразность: он выглядел старше отца. Отец, поправляя на груди накрахмаленную манишку, спросил: “Ты, в самом деле, доволен жизнью?” “О да, я счастливый человек, отец”, — ответил он. Отец с укоризной глянул на него: “Занятия музыкой забросил? — В профессиональном смысле — да. Но играю... Скрипка, виолончель... Недавно сочинил “Вестибулярный вальс”. — Какое странное название...”

Этот сон стал началом целого цикла сновидений, и Владимир Игнатьевич уже без страха ожидал ночи, загадывая, кто же посетит его на сей раз. Иногда это были развёрнутые картины — он называл их “полотна” и пробовал даже записывать, — иногда небольшие фрагменты. Как в минувшую субботу: Пасха, ветреный апрельский денёк, голуби в ясном небе, перезвон колоколов, он, слушатель академии, и его учитель, профессор-биолог Холодковский, стоят на набережной Невы. Лёд сошёл, но изредка проплывают мимо рыхлые, изъеденные солнцем льдины. “Как поживает ваш батюшка?” — спросил профессор. “Здоров, слава Богу. Намедни спрашивал, над какой частью “Фауста” вы работаете...”

Иногда Владимир Игнатьевич думал: сны ли это? Или наполненные красками и звуками воспоминания? Мозг, привыкший работать с максимальной отдачей, отмирая, выплескивал напоследок потоки энергии, и они вспыхивали в сознании. Что-то вроде телевизионного эффекта. Когда живёшь почти век, уже ничему не удивляешься. Он помнил конку на Литейном, помнил выезд государя императора Александра Александровича... А вот уже Гагарин в космосе, и американцы на Луне... Майор, что помог ему сегодня утром открыть дверь, напомним, что в его, профессора Воячека, жизни, в которой, казалось, всё выверено до последней детали, всё же определённую роль сыграл случай. Было это, правда, давно, страшно подумать — в прошлом веке!

29 декабря 1899 года военный министр Куропаткин вручил выпускникам Военно-медицинской академии врачебные дипломы. Прощай, академия! Уезжающий в снегу лазарет 199 сибирского пехотного полка, лай собак по ночам, сильный звук трубы, треск барабанов на утрамбованном плацу, серые тени солдат, ядрёный запах казармы и нескончаемый ручеек больных на приёмах.

Офицеры считали его, доктора Воячека, “военной косточкой” — строен, красив, подтянут, на коне сидит не хуже полкового командира, хоть сейчас назначай ротным — не оскандалится на маневрах. А то, что Владимир Игнатьевич водки не пьёт, так это даже оригинально, другие младшие врачи не просят, на приём придёшь, так тут же и закусить хочется. Непьющий лекарь — такая же диковина, как силач из второй роты унтер Агатов или полковой священник отец Иоанн, умеющий вещать чревом. А Владимир Игнатьевич к тому же музыкант, на скрипке играет.

С приходом Воячека в полк в офицерском собрании появились накрахмаленные скатерти, и денщики обрели образ Божий, перестали даже совать пальцы в тарелки со щами, подавая господам офицерам. “А ведь эдак, господа, мы и к культуре приобщимся, — сказал поручик Ракитин. — А культура, как известно, приводит к вольнодумству. Вы, любезнейший Владимир Игнатьевич, случаем, не бунтарь?” — “Был, господа, честно признаюсь”.

И вот надо же, заштатный полк посетил инспектор Главного военно-медицинского управления министерства обороны профессор Иван Фёдорович Рачевский. О Рачевском младший врач полка Воячек знал, что он крупный эпидемиолог, бактериолог; строг, суховат, но справедлив. После осмотра полка

столичный инспектор пригласил Воячека к себе. В комнате было жарко натоплено. Рачевский был по-домашнему, без сюртука, предложил молодому врачу сесть и сказал:

— Наслышан о вас от профессора Симановского, знаю, увлекаетесь отоларингологией. Так-с? А бактериологией заняться не хотите? В нашем управлении создана бактериологическая лаборатория. И есть вакансия врача. Ежели согласитесь, постараюсь побыстрее оформить ваш перевод. Сразу же оговорюсь: врачу-бактериологу не возбраняется заниматься болезнями уха, горла и носа. Не упустите возможность, коллега, вернуться к научным занятиям. Когда-то ещё такой случай представится?

Воячек согласился. Через месяц пришёл приказ о его переводе в Петербург.

Бактериологическая лаборатория помещалась в бельэтаже мрачного здания Главного военно-медицинского управления на Караванной улице. Сладковатый запах агар-агара, из которого готовили питательные среды для выращивания микробов, сухое потрескивание спиртовых горелок, в углу — стол профессора Рачевского, на стене — статистические графики, цифровые выкладки. В те времена это был единственный всероссийский эпидемиологический центр, сюда стекались данные об инфекционной заболеваемости в различных военных округах и губерниях обширной империи, отсюда отправлялись вакцины и сыровотки. Магия цифр Владимира Игнатьевича не увлекала, его тянуло в клинику, к больным...

А то как-то приснился Кисловодск. Да так отчётливо. 1910 год, двугорбый Машук в голубой дымке, в недавно открывшемся павильоне “Храм воздуха” отдыхающие пьют кофе. Пёстрые шляпки дам, канотье мужчин, гуляние в парке и у игрушечного вокзала, слух, что вот-вот приедет Шляпин, а окраинные, карабкающиеся в горы улочки хранят память о поручике Тенгинского полка Лермонтове. Так и кажется: затрещат кусты шиповника и возникнет всадник на черкесской лошади. Праздные люди толпятся у странного сооружения: горы белого кирпича, изогнутые трубы, невиданные аппараты.

— Господа, что это такое строят?

— Какой-то ингаляторий, будут лечить людей сухим туманом.

— От чего лечить?

— От похмелья, милейший.

Стройкой руководит приват-доцент Военно-медицинской академии Владимир Воячек. Странно видеть себя со стороны. Кто же ему помогал тогда? Студент Борис Чунин, весельчак и прекрасный организатор. Он умер в восемнадцатом году от тифа...

Иногда его терзали сны о войнах: русско-японская, Первая мировая, финская, Великая Отечественная. Изуродованные лица, вырванные гортани, глухие, немые... Мертвенный свет софитов над операционным столом и жуткое ощущение, что многим ты не в силах помочь, а значит, твоя жизнь бессмысленна. В такие дни по утрам Владимир Игнатьевич был хмур, неразговорчив, сидел на экономку Наталью, ухаживавшую за ним, — опять прикасалась к письменному столу! — укладываясь спать, мечтал увидеть во сне Давос — маленький городок на северо-востоке Швейцарии, где довелось ему побывать в 1912 году, или Вену, клинику профессора Полицера и хорошенькую медицинскую сестру... Господи, как же её звали? Но опять снились война и эта жуткая эвакуация в Среднюю Азию, где он потерял жену. Тени, тени... Нет, человек не должен жить так долго, не должен переживать своё время.

На работе видения оставляли его, в клинике всё было привычно: обходы больных, практические занятия со слушателями, подготовка к операциям. Он уже давно не оперировал, но обстановка в операционной создавала иллюзию его участия. Наконец, можно было укрыться в своём кабинете. Воячек любил свой кабинет, где десятилетиями ничего не менялось — каждая вещь лежала на своём, обжитом месте, — где всё было под рукой, — а это важно, когда начинает сдавать память, — и где, казалось, ничто не подвластно времени. Смушал, пожалуй, бронзовый бюст, предназначенный изображать хозяина кабинета, но, по сути, — бездушный идол, символизирующий эпоху вождя, страдавшего гигантоманией. Когда Воячек увидел фотографию макета Дворца Советов, который собирались поставить на месте взорванного Храма Христа Спасителя, с ним впервые случился сердечный приступ. Если это капище дьявола утвердится в центре Москвы — России конец. И когда бредовая идея отпала, и на

месте котлована устроили бассейн, Владимир Игнатьевич, бывая в столице, обязательно сворачивал к этому сооружению. В бассейне, среди желтоватого, пропитанного хлором тумана возились чёрные, напоминающие мелкие картофелины в котле, люди, и он не без злорадства думал, что вот так же в аду будут вечно кипеть грешники, виновные в содеянном святотатстве.

Журналисты, слава Богу, перестали его беспокоить, а тогда, в девяностолетний юбилей, от них не было никакого спасения. Одна девица с крашенными хной волосами настойчиво добивалась ответа на свой вопрос: “Назовите самое значительное событие в вашей жизни”. Он задумался. Таких событий за девяносто лет произошло немало. Но “самое?”

Может, тот вечер, когда они с профессором Тонковым сидели у “буржуйки” в кабинете, ожидая звонка от наркома Семашко? Решалась судьба академии. Печка дымила, и пламя толстой церковной свечи колебалось от сквозняка. За окном постреливали. Дрова Воячек добыл на вмерзшей в Неву барже и, добираясь до заснеженной Пироговской набережной, едва не угодил в полынью...

Или день, когда он узнал, что его назначили начальником академии? Пустое. К власти он никогда не стремился, новая должность только добавила забот. И он вздохнул с облегчением, когда освободился от этого бремени...

И вдруг вспомнил.

1903 год, май, холодный ветер с залива. Самая большая в академии аудитория кафедры химии – та самая, где читали лекции “дедушка русской химии” Николай Николаевич Зинин и профессор Александр Порфирьевич Бородин – заполнена полностью. Профессора, врачи, студенты. Стоят даже в проходах. С минуты на минуту должна состояться публичная защита докторской диссертации. Но не имя скромного соискателя вызвало такой ажиотаж. Главный цензор диссертации – профессор Иван Петрович Павлов, он и выступит с оппонентской речью, а его выступления всегда неожиданны.

Учитель Воячека Симановский сказал накануне о Павлове: “Учитель, голубчик, он любознателен до въедливости и прям до резкости”. С Павловым соискателю уже приходилось встречаться. Несколько месяцев назад Владимир Игнатьевич обратился в Общество русских врачей с просьбой разрешить ему сделать доклад на одном из заседаний, сообщить о результатах произведённых им исследований вестибулярного аппарата человека с помощью сконструированной им центрифуги. Председатель Общества профессор Павлов обещал подумать и на другой день неожиданно сам явился в мастерскую при клинике.

– Вот что, любезный коллега, покажите-ка мне вашу штукину в действии, – сказал лауреат Нобелевской премии и стал снимать сюртук.

– Иван Петрович, ведь здесь не прибрано, испачкаетесь.

– Полноте, полноте. Нам ли, физиологам, грязи бояться. Прокатите на этом чёртовом колесе?

– Как пожелаете.

– Пожелаю. А как иначе пойму?

Профессор встал на колени и принялся рассматривать станину центрифуги, осматривал дотошно, приборматывая: “Так-с, понятно. Умно, ничего не скажешь...”

Встал, вытер руки ветошью:

– Неужто сами смастерили?

– Отдельные узлы заказывал. По моим чертежам рабочие делали. Опытный образец, оттого и нескладна карусель.

Павлов вцепился в бороду, хмыкнул:

– Станину я бы укрепил. А так – прекрасно. Редкий, знаете ли, случай, когда врач с техникой управляется. Кстати, откуда у вас такая необычная фамилия – Воячек?

– Отец – чех.

– Понятно. Так вот, я думаю, вы ещё не до конца оценили огромную значимость вашего изобретения. Авиация развивается, а главным в авиации, как ни крутите, все же человек остаётся, с его вестибулярным аппаратом. Что ж, как говорили древние: “Через тернии – к звёздам!” Ждём вашего доклада на ближайшем заседании Общества...

Свою речь на защите диссертации Воячек не запомнил, от волнения периодически начинало звенеть в голове, как перед обмороком. А вот заключение

Павлова запомнилось на всю жизнь: “Главная ценность рассматриваемой диссертации – в её соответствии понятиям современной научной физиологии. А это, господа, огромный шаг вперёд!”

По-видимому, Владимир Игнатьевич на мгновение уснул, потому как ему открылся простор аудитории, сотни глаз были устремлены на него, а за окном – гранит набережной, отсекающий воронёную сталь Невы. Голос корреспондентки пробился сквозь немоту: “Простите, вам нехорошо?” А рядом – встревоженное лицо ученика, профессора Константина Львовича Хилова.

Воячек тихо рассмеялся:

– Самое главное в моей жизни, уважаемая, ученики. Да! И знаете, сколько их? Взвод докторов наук и, как минимум, два взвода кандидатов. Вполне боеспособное стрелковое подразделение.

Воячек скончался на моём дежурстве. Ещё в пять часов вечера, заступив помощником дежурного по академии, я видел старика, а где-то в начале четвёртого утра позвонила его экономка. Дежурный отдыхал, потому трубку взял я: тихий, увядший голос сообщил горестное известие. Сделав необходимые распоряжения, я разбудил дежурного, сказал ему о кончине академика и что нужно доложить начальнику академии.

Дежурный, подполковник с кафедры фармакологии, испуганно моргал глазами:

– Вы с ума сошли? Сейчас четыре утра, генерал ещё спит.

– Полагаете, будет лучше, если Николай Геннадьевич узнает о случившемся из других источников? Сомневаюсь.

Я учился на командно-медицинском отделении факультета усовершенствования врачей, сам собирался стать начальником, и нрав начальства мне был известен.

– Как хотите, но я звонить не буду. Боюсь.

Я набрал нужный номер и тотчас услышал знакомый голос, генерал, похоже, уже не спал. Выслушав меня, хмуро спросил:

– А где дежурный?

– Проверяет караулы. – Я подмигнул протирающему очки подполковнику.

– Хорошо, что вы мне позвонили. Спасибо. Нужна моя помощь?

– Основные распоряжения сделаны, товарищ генерал-полковник. Остальное – до утра терпит.

– Всего доброго, до встречи.

Начальник академии положил трубку, а у меня перед глазами возникла лёгкая, как бы уже лишённая плоти фигура старого академика, постепенно растаявшая в сумраке, затопившем Клиническую улицу.

### **3. Судьба женщины-врача. Первой в России...**

Перелистывая газеты семидесятых-восьмидесятых годов прошлого столетия, я не раз встречал заметки о вдове известного профессора Военно-медицинской академии Руднева – Варваре Александровне Кашеваровой-Рудневой. Журналисты (особенно усердствовало “Новое время”) изображали её такой амазонкой, сотрясательницей общественной нравственности, к тому же не очень разборчивой в средствах для достижения своей цели.

Рядом с её именем часто упоминался слушатель Артиллерийской академии штабс-капитан Иван Сергеевич Поликарпов. Штабс-капитан, претендуя на руку вдовы, всячески афишировал близость к ней. Это, конечно же, шокировало общество.

Кашеварова, судя по всему, решительно отказала ему. Тогда влюблённый офицер написал на неё пасквиль, угрожая опубликовать его в печати и тем самым принудить Варвару Александровну к браку. Она не поверила, что офицер способен на подобную подлость. И зря! В трёх номерах газеты “Новое время”, издававшейся А. С. Сувориным (литературный редактор – небезызвестный В. Буренин), в сентябре 1879 года появились главы повести “Доктор Самохвалова-Самолюбова, или Записки человека трын-трава”. В повести, написанной в виде дневника офицера, излагалась история практикующей в Петербурге женщины-врача, доктора медицины.

Варвара Александровна – единственная в Петербурге женщина-доктор медицинских наук, так что у читателей не осталось сомнения, кто изображен

в повести. Особенно оскорбительными были намёки на обстоятельства, связанные с болезнью и смертью мужа Кашеваровой-Рудневой. Авторство Поликарпова было очевидно. В “Новом времени” и “Петербургской газете” одна за другой публикуются грязные инсинуации. Повесть “Доктор Самохвалова-Самолубова...” начала печататься в “Новом времени” 9 сентября, а уже 16 сентября 1879 года в газете “Новости” один офицер с возмущением писал: “Автор упомянутого фельетона – офицер, и подобное проявление безнравственности не может и не должно быть оставлено безнаказанным. К суду его общества офицеров!”

11 сентября 1879 года литературный критик М. А. Антонович выступил на страницах газеты “Молва” с открытым письмом А. С. Суворину, издателю “Нового времени”, и очень резко высказался против помещения в газете “литературной мерзости”.

“Новое время” обрушилось на Антоновича, а заодно и на Кашеварову-Рудневу. Варвара Александровна прибегла к помощи присяжного поверенного П. А. Александрова, того самого, кто в 1878 году выиграл процесс Веры Засулич, и привлекла автора пасквиля и редакторов, повинных в его опубликовании, к судебной ответственности. Дело должно было слушаться в августе 1880 года, но было отложено. Наконец, 27 января 1881 года в Петербургском окружном суде начались слушания этого громкого дела. На скамье подсудимых редактора “Нового времени” Фёдоров и Буренин, автор пасквиля штабс-капитан Поликарпов и редактора “Петербургской газеты”. Суд признал всех обвиняемых виновными в диффамации, приговорил их к денежному штрафу и кратковременному тюремному заключению. Поликарпов же был присуждён к трехмесячному содержанию на гауптвахте.

Но травля Кашеваровой-Рудневой продолжалась. Буренин после отсидки публикует в “Новом времени” едкую статейку “Защитники лакомой вдовы”. К “Новому времени” присоединяется “Русский курьер”, и в 1881 году Варвара Александровна вынуждена была покинуть Петербург...

Меня заинтересовала судьба Кашеваровой-Рудневой, и я попытался воссоздать картины жизни этой яркой и незаслуженно забытой женщины.

Отставной солдат Егоров, служащий истопником в доме поручика Ивлева в Царском Селе, рано утром, как обычно, спустился в подвал за дровами. Осень стояла холодная, печи топили с конца сентября. Егоров засветил свечу и направился к дровянику. Вдруг откуда-то в темноте послышался стон. Солдат прислушался. Стон перешёл в жалобное поскуливание. “Никак сука ошенилась?” – подивился Егоров. Жёлтый язычок пламени дрожал на сквозняке. В сутеми проступило бледное личико девочки. Она лежала на каком-то тряпье. Лоб девочки горел, худое её и изголодавшееся тельце бил озноб. “Ото ж, птаха малая”, – содрогнулся солдат, осторожно взял девочку на руки и понёс в военный госпиталь.

В госпитале девочку обмыли, обрядили в нательную солдатскую рубаху и поместили в отдельную палату. Приговор докторов был суров: “Тяжёлая форма брюшного тифа. Не выживет”. А девочка выжила, и уже через месяц в коридоре и палатах слышен был её звонкий смех. “Колокольчик”, – ласково называли её нижние чины. Варенька стала всеобщей любимицей, и даже главный врач, суховатый немец Гольбе, при виде юной пациентки расплывался в улыбке.

О прошлом Вари Нафановой известно мало. Родилась она в 1843 году в местечке Чаусы Могилёвской губернии в многодетной семье. Отец, то ли сельский учитель, то ли чиновник, крепко пил, во хмелю был буен, избивал жену и детей. После одной особенно грубой сцены Варя ушла из дома, каким-то чудом добралась до Царского Села, нищенствовала, ночевала в подвалах, кормилась отбросами и, как результат, – брюшной тиф.

В госпитале девочку продержали три месяца. При выписке выяснилось, что ей некуда идти, да и не в чем. Офицеры купили девочке одежду и на первое время собрали деньги по подписке. А один поручик написал письмо в Петербург своему дяде, отставному моряку, в котором просил позаботиться о девочке. С этого момента и начинается хождение Вари по людям.

Отставной моряк оказался человеком добрым, но небогатым, обременённым большой семьёй. От него девочка переехала к его другу, пожилому холостяку, офицеру корпуса топографов, – тот часто уезжал в длительные экспе-

диции, оставляя Варю у дяди, чудака и изобретателя. А как-то всё лето она прожила у вдовы полковника в Пулково. Вдова снимала дачу у зажиточного крестьянина Прохорова, он-то и обучил девочку грамоте. Прохоров, видать, человек был зоркий, первым обратил внимание на необыкновенные способности девочки, отметил и черты характера: решительность, волю, независимый нрав. В дальнейшем девочка постигала науки сама – у топографа собрана была неплохая библиотека.

Как-то военный топограф, вернувшись из экспедиции, был приятно удивлён: воспитанница его расцвела, превратилась в барышню – красива, умна, начитана. Видно, в стареющей голове топографа слегка помутилось, потому как он стал за Варварой ухаживать, водил в танцкласс, дарил подарки, наконец, решившись, сделал предложение и тотчас получил отставку. А в сентябре 1860 года в Морском Богоявленском Никольском соборе Варвара Нафанова венчалась с купцом второй гильдии Николаем Степановичем Кашеваровым. Любовь? Не думаю. Скорее, желание обрести независимость. К тому же купец обещал не препятствовать обучению Вареньки. Обещание он, видно, и не собирался выполнять. Какое учение? Две мануфактурные лавки, дом на руках. Ничего: стерпится – слюбится. Не учёл Кашеваров нрава молодой жены, ушла, в чём была, вытребовав, однако, “отдельный вид на жительство”.

Дальнейшая жизнь Кашеваровой напоминает роман, в котором далеко не всё ясно. Поворот в её биографии начался с одного случая. Как-то по дороге из Ориенбаума Варвара познакомилась со студентом Медико-хирургической академии, тот рассказал ей о Повивальном институте при родовспомогательном заведении Петербургского воспитательного дома. Поступить туда трудно, требуется хорошая подготовка. А Кашеварова поступила, блестяще сдав экзамены. Более того, за восемь месяцев она одолела двухлетний срок обучения и на экзаменах обнаружила такие познания, что Конференция Медико-хирургической академии (отметим этот важный факт!) выдала ей свидетельство с отличием.

Судьба явно благоволила к новоиспеченной “повивальной бабке”. В дилижансе, курсировавшем между Петербургом и Парголово, она случайно познакомилась с важным чиновником Военно-медицинского ведомства. Между ними завязался разговор. Узнав, что Варвара только что окончила Повивальный институт, чиновник спросил, чем она намерена заняться. “Хотелось бы получить казённое место. Я знаю, это трудно, нужны знакомства, протекция... – Вовсе не обязательно, сударыня. В Оренбургский край служить поедете? Повивальной бабкой в Башкирское казачье войско? – Да хоть на край света! Лишь бы на кусок хлеба заработать!” Чиновник нахмурился: “Позволю напомнить, что Оренбургский край весьма отличается от Парголово. Степи, дикость. Женщины-магометанки в соответствии с законом веры отказываются от помощи докторов-мужчин, а заболеваемость сифилисом растёт. По Высочайшему повелению в крае созданы женские больницы, укомплектовываются они повивальными бабками, прошедшими усовершенствование на специальных курсах при Калининской больнице в Петербурге. – И что же? – Правление Башкирского казачьего войска направляет в Повивальный институт своих стипендиатов. Одна заболела, и место для поступления на курсы вакантно. За стипендию, сударыня, надобно будет отслужить в Башкирском войске шесть лет. Как? – Я согласна! Окажите милость, посодействуйте. Я за вас всю жизнь буду Богу молиться”.

Курсами руководил молодой ординатор Вениамин Михайлович Тарновский, впоследствии профессор Медико-хирургической академии. Не буду домысливать, какие отношения сложились между учителем и ученицей, известно лишь то, что Тарновский не раз защищал своенравную и дерзкую курсистку от гнева начальства. На выпускных экзаменах Варвара Кашеварова продемонстрировала блестящие знания. Председатель комиссии, профессор Медико-хирургической академии Пеликан, поздравил выпускницу с завершением курса. Человек суховатый, он даже растрогался. Но его ждал сюрприз: поблагодарив преподавателей, Кашеварова заявила, что оценки её знаний завышены, она плохо знает анатомию и физиологию, и попросила профессора помочь ей продолжить изучение медицины в качестве студентки Медико-хирургической академии. Женщина в... академии! Неслышно! Чтобы отделаться от настойчивой курсистки, Пеликан пообещал посодействовать и ретировался. Варвару уже было не остановить. Каким-то чудом пробилась она на приём к вице-пре-

зиденту Медико-хирургической академии, “дедушке русской химии” Зинину. Добрейший Николай Николаевич рассердился, даже ножкой топнул, женских слёз всё же не вынес и посоветовал обратиться к начальству Оренбургского края. Расчёт старика был прост: помыкается девица по высоким инстанциям и остынет. Попробуй-ка к генерал-губернатору попасть! Не оценил профессор энергии Варвары Кашеваровой. Управление иррегулярных войск, кому подчинялось и Башкирское казачье войско, – в Петербурге. И вот туда и направился Тарновский с просьбой оказать содействие. В Управлении, видно, не разобравшись, посоветовали Кашеваровой написать прошение генерал-губернатору и даже помогли попасть к нему на приём. И опять удача! Оренбургский генерал-губернатор, генерал-адъютант А. П. Безак, вольнодумец и либерал, очарованный юной просительницей, начертал на прошении резолюцию: “Перед всеми, от кого это зависит, оказать содействие Кашеваровой”. А после нескольких месяцев непрерывной осады сдался и сам военный министр: “Повивальную бабу Башкирского казачьего войска Варвару Кашеварову оставить в Санкт-Петербурге для слушания лекций в здешней академии на один курс (пять лет), с производством ей того самого содержания, какое она получала, будучи прикомандированной к Калинкинской больнице, т. е. 28 рублей в месяц, и с тем, чтобы она по окончании занятий своих в академии выслужила в Башкирии установленный срок”.

Конференция академии, на две трети состоявшей из противников женского образования, ничего не оставалось, как определить: “Дозволить Кашеваровой слушать в Академии медицинские лекции в объёме одного 5-летнего курса”.

Шёл 1863 год. Варвара Кашеварова с удивлением убедилась, что в академических аудиториях она отнюдь не единственная женщина, правда, женщины присутствовали приватно, и начальство академии смотрело на это сквозь пальцы. Но уже весной 1864 года посещение лекций им было запрещено, причём в приказе военного министра специально указывалось, что исключение сделано лишь повивальной бабке Кашеваровой.

Верно, говорили древние: “Через тернии – к звёздам.” Терний на пути Кашеваровой оказалось немало. Слушать лекции – одно, а вот добиться сдачи полулекарского экзамена – совсем другое. Разрешая сдачу экзаменов, Конференция тем самым подтверждала факт, что Кашеварова является студенткой академии. Добилась!

Полулекарский экзамен был сдан превосходно. Оренбургское начальство в награду за успехи выдало стипендиатке значительную по тем временам сумму – триста рублей. Иная женщина накупила бы нарядов, украшений – Варваре всего двадцать два года! – но она на эти деньги во время летних каникул едет за границу, в Прагу, стажироваться по акушерству в клинике Зейферта, изучив предварительно немецкий язык.

У одарённой студентки определился интерес – патологическая анатомия. Практические занятия по патоанатомии вёл ассистент Михаил Матвеевич Руднев, в будущем профессор, имя которого будут ставить рядом с именем Пирогова. Молодой ассистент, увлечённый наукой, был немало удивлён, узнав, что его ученица Варвара Кашеварова знакома с его родителями, зимой наезжающими в Петербург, батюшка, протоиерей и заслуженный профессор Тульской духовной семинарии, даже пригласил её погостить летом в имении. Маленьке тоже Варя приглянулась: и красавица, и умница. Чем не жена Мише?

Замужество пока не входило в планы Варвары. Сначала нужно образование получить.

Параллельно с кафедрой патологической анатомии она стала работать в клинике акушерства и гинекологии профессора Краевского. Превосходное знание гистологии вскоре дало свои результаты. 16 сентября 1868 года Кашеварова выступила на заседании “Общества русских врачей” с научным докладом. Доклад был опубликован в петербургском “Медицинском вестнике” и в Берлине, в журнале Рудольфа Вирхова. Это стало сенсацией.

По ходатайству президента общества, профессора Якова Александровича Чистовича, с высочайшего разрешения министра внутренних дел Варвара Кашеварова, ещё не получив врачебного диплома, была избрана в действительные члены общества. Иван Михайлович Сеченов писал своей жене: “... Важен и выбор Кашеваровой в члены Медицинского общества. Рассудите сами, можно ли медицинскому миру яснее сказать своё мнение, чтобы женщина

была допущена к медицинскому образованию”. Но было немало и выступлений против Кашеваровой. Как же, женщина – учёный, за границей её печатают! Особенно усердствовал киевский журнал “Современная медицина”. В основе – страх врачей-мужчин перед реальной и опасной конкуренцией, ведь за Кашеваровой последуют другие...

Варвара переживала. А тут ещё неприятности: Конференция академии под различными предлогами не допускает к выпускным экзаменам. Пришлось снова обращаться с прошением к Оренбургскому генерал-губернатору Крыжановскому. Генерал-губернатор принял Кашеварову и написал о её деле военному министру Милютину с просьбой поддержать просительницу. В числе аргументов, приведённых Крыжановским, был и такой: “... госпожа Кашеварова как женщина может проникнуть во все мусульманские семейства и тем победить в среде мусульманских женщин постоянное уклонение от всякого медицинского пособия, в высшей степени вредно влияющего на быт башкирских семейств, страдающих во множестве сифилисом”.

Варвара Кашеварова сама пробилась на приём к министру. Резолюция министра была такова: “Медико-хирургической академии: представить заключение академии”.

Итак, Конференция академии, входящие в её состав профессора, были поставлены перед выбором: допустить Кашеварову к выпускным экзаменам или прослыть махровыми реакционерами. Порешили – студентку к экзаменам допустить.

Экзамены Варвара сдала блестяще. На экзаменационном листе секретарь Конференции Михаил Матвеевич Руднев рукой влюблённого написал: “Кашеварова признана в звании лекаря с награждением дипломом на золотую медаль”.

История свидетельствует: “9 декабря 1868 года военный министр утвердил определение Конференции о выпуске студентов. В тот же день состоялся выпускной акт. Когда учёный секретарь Конференции профессор Руднев, читая список окончивших курс врачей, назвал имя Кашеваровой и член Синода, митрополит Киевский и Галицкий, отец Арсений вручил ей диплом лекаря с отличием и диплом на золотую медаль, зал огласился аплодисментами. Военный министр лично вручил Варваре Александровне хирургический набор, высказав свою радость по поводу окончания ею курса”.

На получение первой русской женщиной врачебного диплома широко откликнулась пресса. Сообщения появились в европейских газетах и даже в нью-йоркской “Медицинской газете”. Казалось бы, в жизни Варвары Александровны всё определилось. Сергей Петрович Боткин пригласил её на свою кафедру ординатором, она вела частную практику, выезжала за границу.

В 1870 году, получив официальный развод от первого мужа, Кашеварова вышла замуж за Руднева. Молодые поселились на Фурштатской улице.

Михаил Матвеевич Руднев надеялся, что жена станет патологоанатомом, гистологом, но её привлекала практическая работа, общественная медицина. А недоброжелатели не унимались, по академии бродил слух, что всеми делами в Конференции управляет Кашеварова, а не учёный секретарь профессор Руднев. Из-за этой клеветы Михаил Матвеевич собрался уехать в Англию, – предложили кафедру, – жена не захотела покидать Россию.

Из академии Кашеваровой всё же пришлось уйти, устроиться на работу женщине-врачу в Петербурге было трудно, а вокруг Варвары Александровны создалось что-то вроде тайного заговора. Как же, первая женщина, получившая образование в России, да к тому же в Медико-хирургической академии! Прецедент опасный.

Летом 1871 года Кашеварову пригласили на работу в Железноводск. Она дала согласие. Обстановка несколько разрядилась. А в марте 1876 года возмутительница спокойствия представила в академию к защите докторскую диссертацию. Диссертацию рецензировал известный хирург Николай Васильевич Склифосовский и дал положительный отзыв. 25 мая 1876 года диссертация была блестяще защищена, и Кашеварова стала первой в России женщиной-доктором медицинских наук.

В 1877 году началась Русско-турецкая война на Балканах. И новая беда – заболел Руднев. Ещё недавно Михаил Матвеевич был энергичен, бодр, строил планы. Летом 1876 года супруги ездили в Филадельфию на Международный медицинский конгресс, а в апреле 1877 года Руднева словно подменили:



он потерял интерес к работе, с трудом проводил занятия, притих, ушёл в себя и как-то внешне весь потускнел. Варвара Александровна была в отчаянии. Она увезла мужа на родину, в Тульскую губернию, надеясь, что после отдыха состояние улучшится, но заболевание прогрессировало, и она вынуждена была поместить его в психиатрическую клинику академии.

В ноябре 1877 года Бородин писал своему ученику А. П. Дианину: “М. М. Руднев лишился рассудка...”

По поводу болезни Руднева упорно ходила версия, что виной всему его жена, эта она довела профессора до сумасшествия. И якобы существует письмо самого Руднева, проливающее свет на эти трагические обстоятельства.

10 декабря 1877 года Михаил Матвеевич Руднев скончался. Тело по завещанию должно было быть захоронено на родине профессора под Тулой. Когда гроб уже стоял в товарном вагоне, друзья отправились на Николаевский вокзал проводить Варвару Александровну. Стояла гнилая, с частыми ростепелями зима. С крыш капало. Кашеварова сказала Бородину: “Вы знаете, мужества мне не занимать... Со смертью Михаила кончилась и моя жизнь, смысл утрачен...”

Как я уже вначале говорил, в 1881 году, после травли в газетах и суда, Варвара Александровна покинула Петербург. Переехала она в глушь, на хутор Гольий яр в ста двадцати километрах от Харькова. Оттуда она с горечью писала Александру Порфирьевичу Бородину: “У меня ведь абсолютно никого нет...”

В 1884 году Кашеварова-Руднева в Харькове издала на собранные средства популярную книгу “Гигиена женского организма во всех фазисах жизни”, занялась литературной работой, написала серию автобиографических очерков, повесть “Пионерка”. И снова несчастье – во время пожара погиб архив её и мужа. Варвара Александровна вернулась в Петербург, но здоровье её было подорвано, друзей не осталось. В начале девяностых годов она навсегда покинула столицу, поселилась в Старой Руссе, где и умерла 28 апреля 1899 года. Похоронена Кашеварова-Руднева на кладбище Спасо-Преображенского монастыря.

#### 4. Из жизни поэта, писателя, учёного...

В начале семидесятых годов, собирая материал для книги, я подолгу просиживал в фундаментальной библиотеке Военно-медицинской академии. В работе мне частенько помогала учёный-библиограф Наталья Николаевна. Память у этой милой старушки была феноменальная. Казалось, в её голове уместился весь систематический каталог библиотеки. Господи, если бы тогда я знал, что Наталья Николаевна – дочь профессора Холодковского, мне бы не пришлось ограничиваться лишь эпизодами из жизни её замечательного отца...

1913 год. Столик стоял на открытом балконе уютного шале. Ветер порывами доносил запахи цветущих альпийских лугов. Вершины гор обрели розовый цвет. Академик Скрябин допил кофе, вытер губы салфеткой:

– Превосходный денёк, коллега. Ну, что? На прогулку?

Его собеседник швейцарский учёный Фурман, рассеянно глянув на него, сказал:

– Я полагаю, что в России самая распространённая фамилия Иванов. Оказывается, не менее популярна – Холодковский.

Константин Иванович удивлённо пожал плечами:

– Из чего это вы заключили?

– А как же! Я по литературе знаю уже двух русских зоологов: одного – крупного энтомолога, а другого – автора ряда интересных работ по гельминтологии. Кроме того, я слышал, что третий Холодковский очень удачно перевёл на русский язык “Фауста” Гёте.

– Позволю себе уточнить – это одно и то же лицо.

– Надеюсь, вы шутите?

– Ничуть. Такая вот многогранная личность. И это далеко не полный перечень его талантов: его перу принадлежат книги о жизни и деятельности учёных: Мальпиги, Свамдердама, Бэра, Мечникова. Он даже несколько романов перевёл.

– Невероятно!..

В 1917 году в Российской Академии наук состоялось 22-е присуждение премии имени А. С. Пушкина. На соискание было представлено двадцать сочинений, как оригинальных, так и переводных. Комиссия, в которую входили А. Ф. Кони, Д. Н. Овсяннико-Куликовский, Н. А. Котляревский и другие академики, закрытой баллотировкой присудила “полную Пушкинскую премию” Николаю Александровичу Холодковскому за перевод “Фауста” Гёте, изданный Девриеном в 1914 году.

При жизни поэта вышло двенадцать изданий “Фауста”, массовыми тиражами трагедия выходила и в наше время.

“Юноша бледный со взором горящим...” – именно таким вот брюсовским юношей и представляется мне Николай Александрович Холодковский в молодости, таким он выглядит и на даггеротипе семидесятых годов прошлого столетия: острый взгляд из-под стёкол очков, какие носили разночинцы, тонкие, нервные губы, белый стоячий воротничок и бархатный шнурок вместо галстука.

Судьба его чем-то сходна с судьбой Александра Порфирьевича Бородина: оба из семьи военных врачей и поступление в Военно-медицинскую академию – скорее дань семейной традиции, чем призванию. Если для Бородина крёстным отцом стал великий русский химик Зинин, то для Холодковского – профессор академии, известный энтомолог Брандт. Холодковский нередко повторял, что в его жизни большую роль сыграли два человека: в литературной – писатель Иван Сократович Ремезов (Николай Александрович дружил с сыном писателя), в научной – Брандт. Хотя учёный немец был не чета милейшему Зинину – холоден, ворчлив, патологически скуп. Первую научную командировку в Нормандию, в которой Холодковский сопровождал профессора Брандта, студенту пришлось оплачивать из собственных скудных средств.

Низкорослый, слабый физически, впечатлительный студент Военно-медицинской академии Холодковский с трудом привыкал к учёбе в академии. Угнетали муштра, необходимость носить форму. Душевно Николай отдыхал только на кафедре зоологии и сравнительной анатомии. Однажды он попросил профессора Брандта показать, как производится препарирование насекомых. Профессор пригласил пытливого ученика домой и продемонстрировал технику анатомирования черного таракана. Холодковский потрясённо наблюдал за искусными манипуляциями Брандта и, когда на тёмное дно препаровальной ванночки легла нервная цепочка насекомого, студент уже сделал свой научный выбор. Не случайно через несколько лет докторская диссертация Холодковского была посвящена изучению тараканов и называлась: “Эмбриональное развитие прусака”.

А в марте 1878 года журнал “Вестник Европы” опубликовал в переводе Холодковского две сцены из “Фауста”: “Погреб Ауэрбаха” и “Вальпургиеву ночь”. В том же году вышло в свет полное издание трагедии Гёте в переводе студента Военно-медицинской академии.

Вера Фёдоровна Комиссаржевская, исполнительница роли Маргариты в “Фаусте”, вспоминала, что постановщик трагедии, литератор П. П. Гнедич, при выборе русского текста для этой постановки предпочёл перевод Николая Александровича Холодковского.

Курс Военно-медицинской академии преодолён, одновременно Николай Александрович сдает экстерном экзамены на физико-математическом факультете университета и получает степень кандидата естественных наук. К лекторской работе Холодковский так и не приступил, какое-то время преподавал естествознание в различных пансионатах, давал частные уроки древних языков. Магистерская и докторская диссертации, кафедры в Лесном институте, затем в Военно-медицинской академии. Та самая, которой до самой смерти руководил Брандт. У Холодковского с учителем были сложные отношения. Они годами не разговаривали и только переписывались. И всё же, когда старый профессор уходил в мир иной, на своём месте он хотел видеть только Холодковского.

Научное наследие Холодковского огромно, но не менее значителен его вклад в отечественную литературу. Известный писатель А. В. Амфитеатров на одном из собраний, посвящённых памяти Холодковского, сказал: “Если бы Николай Александрович не был поэтом и дал бы нам только свои научные работы, статьи и учебники, то мы, писатели, считали бы его своим за один язык его работ”.

Александр Блок, отмечая поэтические достоинства “Фауста” в переводе Николая Александровича Холодковского, писал: “...Комментарий Холодковского в целом... есть блестящая и необыкновенно поэтичная работа, написанная на том русском языке, на котором теперь писать несколько разучились”.

В переводе Холодковского издавались драмы Шекспира “Юлий Цезарь” и “Ричард II”, произведения Гёте, Шиллера, Байрона, Гейне, Лонгфелло, Ленау. Для издательства “Всемирная литература” он перевёл несколько романов, поэм и других произведений Геббеля, Гаута, Вильбрэндта. Он пишет и свои оригинальные стихи. Правда, о них знают лишь близкие друзья и родные. После смерти поэта издательство Сойкина и Афанасьева выпустило в 1922 году небольшим тиражом сборник “Гербарий моей дочери”, давно ставший библиографической редкостью. Боже мой, я мог бы услышать эти стихи из уст дочери Холодковского Натальи Николаевны! Не услышал. И теперь уже никогда не услышу...

Последняя сценка из жизни поэта.

Сумрачным зимним деньком 1920 года к Гренадёрскому мосту медленно брёл согнутый старичок в подшитых валенках, поношенной шубе, башлыке, густо хваченном желтым инеем. Старичок волок за собой детские санки, к ним привязан был свёрток, обёрнутый чистой тряпицей. Редкие прохожие принимали его за пригородного крестьянина, решившего навестить родственников в Петербурге. Мороз жал. Дым из труб столбами упирался в низкое небо.

Гренадёрский мост оказался закрыт, и старику пришлось спускаться на лёд. Несколько раз он падал, но упрямо поднимался и брёл среди ледяных застругов к противоположному берегу. Долог путь от Нижегородской улицы до Карповки. Оставшиеся силы ушли на то, чтобы одолеть подъём. Потом старик долго сидел на санках, пытаясь унять одышку и ноющую боль в спине. Стали немать кончики пальцев на руках. “А все же я дошёл!” – громко сказал старик и молодо рассмеялся.

В квартире музыкального критика Виктора Павловича Коломейцева было чадно, в “буржуйке” потрескивали сырые дрова, дым слоями смещался к потолку. Хозяин в демисезонном пальто с оренбургским платком на плечах, раздёрнув тяжёлые шторы, выглянул в окно:

– Лев Васильевич, голубчик, неужто он придёт? Морозище-то какой нынче! И ведь извозчика не сыщешь.

– Придёт, раз послал записку, – писатель Успенский присел к “буржуйке” и потёр руки.

– Но какая надобность идти через весь город?

– Не знаю. Хотя и догадываюсь.

В это время послышался слабый стук в дверь. Коломейцев вздрогнул:

– Опять “товарищи” с обыском?

– Не похоже. В таких случаях стучат прикладами. Я открою.

Лев Васильевич Успенский, шаркая обрезанными валенками, побрёл в прихожую и с трудом отворил дверь.

– Вам кого, сударь? – удивлённо спросил он, разглядывая сгорбленно-го старика.

Старик усмехнулся:

– Не признали, Лев Васильевич? Да и как признать при таком маскараде.

– Профессор Холодковский? Николай Александрович?

– Он самый. Точнее, его тень. Помогите с санками.

– Конечно, конечно! Проходите в гостиную, там печка. Дымно, зато тепло. Сейчас чайку выпьем, настоящего, из старых запасов.

Коломейцев помог профессору снять башлык, расстегнул шубу, усадил в кресло. Руки у него при этом мелко дрожали.

– Николай Александрович, милый вы мой, какая надобность идти в такой мороз? Вы ведь и нездоровы.

Холодковский блеснул стёклами очков:

– Не будем строить иллюзий, дражайший Виктор Павлович, – дни мои сочтены... Как говорят мои коллеги, прогноз пессимистический. Да и диагноз я знаю. Посему я и совершил это путешествие из “варяг в греки”... Вы переводите “Фауста”, то есть как бы продолжаете дело моей жизни. Там, на санках, черновики моих переводов, необходимая литература – в нынешнем хаосе вы её не найдёте. А так – всё подспорье. Разберётесь со временем. А я отдохну, согреюсь и назад. Господа, а где обещанный чай? Приму в качестве гонорара...

Николай Александрович Холодковский умер через три месяца, похоронен на Иоанно-Богославском кладбище. Сердце его и мозг в соответствии с завещанием умершего были переданы на хранение на его кафедру Военно-медицинской академии, которой он много лет руководил.

## 5. Чердак оседлой кошки

Музей Военно-медицинской академии был создан в 1967 году по инициативе профессора, генерал-лейтенанта медицинской службы Анатолия Сергеевича Георгиевского. Анатолия Сергеевича знал и помнил я ещё с курсантской поры, а ближе познакомился в начале восьмидесятых, когда собирал материал для книги о военном враче и писателе П. А. Илинском. В одной из монографий профессора мой герой упоминается в связи с Освободительной войной на Балканах 1877–1878 годов.

Георгиевский искренне обрадовался, узнав, что я взялся за близкую ему тему, и дал ряд полезных советов.

Музей небольшой и, конечно же, в полной мере не отражает историю старейшего учебного заведения России. И всё же в нём нашлось место для стенда, где представлены книги врачей-писателей, выпускников академии. Есть там и мои сочинения. Нынешней весной, оказавшись в Петербурге, я зашёл в музей, чтобы передать в дар свою новую книгу. Хранитель фондов музея, Николай Матвеевич Шуленин, узнав, над чем я сейчас работаю, заволновался: “Слушай, у нас такой материал есть... Взять хотя бы выпускника академии Николая Николаевича Любимова. Певец, удивительный баритон. Собинов умолял его спеть в Большом театре. А Оппель? Или Братья Боткины, особенно, Сергей Сергеевич? А недавно американцы заинтересовались Николаем Ивановичем Кульбиным, журналист в музей приезжал. О Кульбине уже глава в книге есть, учёный-музыковед написала. Я тебе завтра принесу...”

Утром я держал в руке хорошо изданную книгу “Эхо серебряного века”, автор – Лариса Владимировна Белякова-Казанская. Я пробежал первую страницу и почувствовал первый тёплый толчок в груди, так хорошо знакомый исследователям и писателям...

Квартиру в доходном петербургском доме в Максимилиановском переулке в артистической среде в шутку называли “Чердак оседлой кошки”. В этот час в просторном кабинете “чердака” сидели двое: пианист и театральный критик Николай Николаевич Евреинов и хозяин квартиры, действительный статский советник Николай Иванович Кульбин. Его генеральская шинель, небрежно брошенная в кресло, сохранила формы владельца, красная шёлковая подкладка в свете электрической лампочки казалась сгустком крови. Друзья только что вернулись с Николаевского вокзала, где провожали лидера итальянских футуристов Маринетти.

Евреинов поставил на стол бокал с вином и, прищурившись, глянул на Кульбина: “Какое всё-таки необычное у него лицо... Лоб древнегреческого философа, а глаза... Глаза лукавые. И эта легкомысленная рыжая борода. Он похож на фавна. И одновременно на Януса. Да, да, на Януса”.

На другой день он сделает в дневнике такую запись о Кульбине: “...Лики Януса (учёного, футуриста, врача, богомольца, танцевализатора и пр.) имели все одно начало: волю к театру! К театру!”

Кульбин встал, прошёлся по кабинету, с недоумением сказал:

– Русская печать называет меня главой футуристов. Таким я себя не признаю. Правда, мои идеи легли в основу футуризма в Италии. И Маринетти это не отрицает. Но я многого с футуристами не разделяю, особенно хулиганства бездарной молодёжи, претендующей на гениальность.

Николай Иванович говорил тихим вкрадчивым голосом, но в нём чувствовались и жёсткие нотки. Недаром кто-то из друзей скалambuрил по поводу запальчивости Кульбина в спорах: “Дошёл до кульбинационного пункта”.

– Пожалуй, пожалуй, – Евреинов потёр руки. – Скромность – верное определение своих достоинств. Только ведь и самоуничужение ни к чему... Хорошо всё-таки, что Маринетти приехал без своего футуристического оркестра. Все эти самодельные трещотки, гудки, пищалки, звонки... Скандал, да и только.

Кульбин рассмеялся:

– Да, это уж был явный перебор. Среди публики и без того брожение.

Взгляните-ка, – Николай Иванович протянул Евреинову лист бумаги с портретом Маринетти. Портрет был написан в кубистической манере. – Как?

– Превосходно! И какая точная психологическая характеристика итальянца! Несколько штрихов – и образ готов. Так же вот Маяковский у вас удачно получился.

Когда друзья простились, Кульбин сел писать письмо художнику Лентулову. Буквы ложились одна к одной: у действительного статского советника по черк был недоctorский. “Я теперь провожу такой взгляд: русское искусство в 1914 году являет собой гегемонию, своё главенство в Европе и всюду. Маринетти идёт навстречу всем нашим желаниям и предлагает “параллельные выступления” с сохранением полной свободы и самостоятельности русским художникам. Он предлагает пропагандировать мою новую музыку...”

Скрипнуло перо. В чернильнице иссякли чернила. Кульбин вздохнул, погладил бородку. В эту минуту он и в самом деле напоминал стареющего фавна.

Сведения о первой половине жизни Кульбина крайне скудны. Родился в 1868 году в семье чиновника Главного штаба. Мальчик рано проявил интерес к искусству, хорошо рисовал, играл на скрипке, фортепиано, много читал. Отец, противник всякой “богеми”, настоял на том, чтобы сын поступил в Военно-медицинскую академию. О студенческих годах Кульбина тоже известно мало: способный юноша, театрал (у семьи была абониrowана ложа на дневные спектакли в Мариинском театре), с увлечением занимался рисунком в Императорской школе Общества поощрения художеств, музицировал, участвовал в студенческих спектаклях. Академию закончил с отличием и был оставлен на кафедре профессора Ф. И. Пастернацкого. В 1893 году Николай Иванович защитил докторскую диссертацию на тему: “Алкоголизм. К вопросу о влиянии хронического отравления этиловым спиртом и сивушными маслами на животных”.

Карьера молодого военного врача складывалась удачно. К сорока годам он действительный статский советник, приват-доцент Военно-медицинской академии, врач Главного штаба, автор более тридцати научных работ. Под его редакцией вышел “Учебник военной гигиены для подготовки офицеров запаса и курсов военного времени”. Ему принадлежит и ряд изобретений в области медицины: перкутометр – оригинальный молоточек для постукивания с определённой силой ударов, автоматический скарификатор – нож для получения капли крови для анализов и другие.

В издании “Наши деятели по медицине”, вышедшем в 1910 году, о Николае Ивановиче Кульбине сказано следующее: “На основе психологических исследований, проведённых им при помощи новых инструментов, устроенных им с этой целью, Кульбин разработал способы количественного анализа психики (чувствительности) и теорию художественного творчества, прилагаемую им к музыке, изобразительным искусствам и словесности”.

По сути, он явился одним из создателей методики психофизиологического отбора военных специалистов, сейчас широко распространённой в армии и на флоте.

После сорока лет в жизни удачливого штатского генерала произошёл неожиданный поворот: теперь большую часть времени он отдаёт художественному творчеству – изобразительному искусству, музыке, театру. Впрочем, столь ли уж этот поворот неожидан?

Деятельность Николая Ивановича Кульбина многогранна. Он рисовальщик, живописец, декоратор, теоретик искусства, блестящий лектор, организатор художественных выставок. Его называли “Отцом русского авангарда”, он сыграл значительную роль в творчестве многих художников-новаторов. Сохранилась фотография “Пасха у футуристов”, на которой запечатлена группа футуристов в мастерской Кульбина: Маяковский, Лурье, Каменский. Определённое влияние оказал он на Мейерхольда, Шостаковича, Дроздова, Гнесина. Многие из современников сравнивали Кульбина с Вячеславом Ивановым.

В живописи Кульбин – импрессионист. Занимался и графикой. Ему принадлежат портреты Хлебникова, Бурлюка, Евреинова, Маяковского, Кузьмина. В 1908 году он создал группу “Треугольник” и организовал первую авангардную выставку “Современные течения в искусстве”.

В 1909 году состоялась выставка “Импрессионисты”, в которой приняли участие художники А. Кручёных, В. Каменский, М. Матюшин. Под редакцией

Кульбина вышел сборник “Студия импрессионистов” – одно из первых изданий русского авангарда.

В 1912 году Общество поощрения художеств организовало персональную выставку Кульбина. К ней был выпущен каталог со статьями С. Городецкого, С. Судейкина, Н. Евреинова. Каталог этот я держал в руках, он хранится в Российской государственной библиотеке. По поводу выставки Александр Блок написал в дневнике: “На вернисаж выставки Кульбина, на которую приглашали нас с Любой, пошла она... Вечером пошла чествовать Кульбина в “Бродячей собаке”.

Блок не принимал авангарда, но его отношение к Кульбину неоднозначно. В дневнике мы находим такую запись: “Вечером пришёл к нам Николай Иванович Кульбин, принёс нам цветов, очень хороших. Я не чувствую к нему полного доверия, но многое из того, что он говорил, было очень верно и очень нужно. Он говорил о художественной гигиене, о том, что художнику надо знать чужие отрасли искусства, естественные науки, нельзя засиживаться”.

Эти мысли Николай Иванович развил в своём докладе “Свободное искусство как основа жизни”, прочитанном в Москве, в Политехническом музее. Своё выступление он иллюстрировал репродукциями, экскурсами в область естественных наук, музыкой.

Это под влиянием Кульбина художник Филонов попытался в своих картинах использовать достижения современной физики, в частности, теорию строения атомного ядра.

В докладах Кульбин часто приводил слова своего учителя, профессора-гигиениста Доброславина: “Наукой мы называем ту степень познания предметов или явлений, при которой их свойства или условия взаимодействия определяются до того отчётливо и ясно, что могут быть выражены какою-либо мерою – числом”.

Кульбин вслед за Андреем Белым и Владимиром Соловьёвым считал треугольник неким символом бытия. Свою теорию искусства он тоже строил на триединстве слова, музыки и пластики. В живописи признавал только единство трёх цветов: синего, красного и жёлтого.

Николай Иванович принимал участие во многих выставках. Его картины экспонировались в художественной галерее “Венок”, “Салоне Издебского”, “Бубновом валете”. В 1911–1912 годах он принимал участие в работе Всероссийского съезда художников.

Поразительны исследования Кульбина в области музыки. В своей теоретической работе “Свободная музыка” он писал: “Свободная музыка совершается по тем же законам, как и музыка природы”. По его мнению, “музыка помогает видеть краски, схватывать общее, художественно мыслить...” Интересны размышления Кульбина о природе “цветного слуха”. В основу этой теории он положил современные достижения в области физиологии и психологии. О синтезе звука и цвета мечтал Кандинский.

Девяносто лет спустя современный петербургский композитор Геннадий Белов поставил балет “Симфония цвета” по светопластическому сценарию хореографа Анастасии Успенской. Это ли не воплощение идеи Кульбина, его “цветной музыки”!

Кульбин предсказал и появление электронной музыки: в его теоретических работах не раз подчёркивалась связь музыки с математикой и физикой.

Кульбин и театр – тема отдельная. Более десяти лет он дружил с сокрушителем старой театральной системы Николаем Николаевичем Евреиновым, оформил две его книги: “Театр как таковой” и “Театр для себя”. Кульбин и Евреинов, совместно с Прониным, открыли знаменитое кабаре “Бродячая собака”. Николай Иванович декорировал многие вечера в кабаре, при его участии в Терриоках был создан театр Товарищества актёров, художников, писателей и музыкантов, где режиссёром был Мейерхольд. Кульбин оформил постановку в Терриоках “Виноваты, не виноваты” Стриндберга. Спектакль предвосхитил футуристические постановки “Союза молодёжи” в 1913 году и супрематические композиции Малевича. Так, сцену Кульбин украсил портретом Стриндберга, выполненным в кубистической манере, вся же сцена заключена в чёрную рамку, напоминающую паспарту (“Чёрный квадрат” Малевича появился позже).

Николай Иванович, развивая новаторские идеи Евреинова, создал свою теорию “танцевализации жизни” и даже основал “Общество свободного танца” (вспомним “Общество приятных телодвижений” Бородина). Это Общество

участвовало в “Весенних праздниках искусств” в Екатеринодаре, нынешнем Краснодаре. Кульбин не раз гостил в моём родном городе, его друг – композитор, музыкальный критик и педагог Анатолий Николаевич Дроздов – в 1911–1916 годах был директором и преподавателем екатеринодарского музыкального училища. Я хорошо помню это мрачноватое здание на улице Ворошилова, которой, к счастью, вернули прежнее название – Гимназическая.

Кульбина глубоко уважал Леонид Андреев. В 1915 году он пригласил Николая Ивановича на дачу на Чёрной речке, читал ему свою новую пьесу “Тот, кто получает пощечины” и по его рекомендации внёс в текст пьесы ряд исправлений.

О масштабах личности Кульбина свидетельствует хотя бы такой факт: именно по его настоянию в Россию были приглашены деятели мировой культуры: австрийский композитор Шенберг и итальянский футурист Маринетти.

Умер Кульбин в марте 1917 года, когда вместе с революцией его футуристические идеи, казалось бы, начали воплощаться в жизнь... Игорь Северянин проводил его в лучший мир эпитафией, где были такие строки:

*Новатор в живописи, доктор  
И Дон Жуан, и генерал.  
А сколько шло к нему дорог-то!  
Кто, только кто его не знал!..*

А дом в Максимилиановском переулке (ныне переулок Пирогова) стоит и сейчас. Интересно, кто ныне живёт на “Чердаке оседлой кошки”?..

## **6. Мой друг Генрих (улыбнёмся в послесловии)**

Тогда он ещё был рядовым слушателем Военно-медицинской академии. В его характере странным образом уживались жёсткость и мягкость, едкая ироничность и наивность, простодушная доверчивость и пугающая пронизательность. В зависимости от душевного состояния глаза Генриха меняли цвет: от ясно-голубого до густо-синего, розового. И выражали то предельную сосредоточенность будущего исследователя, то детское любопытство, то теплоту и даже нежность. Мне не раз приходилось видеть глаза Генриха в просвете между боксёрскими перчатками, – это был взгляд бойца. Мы вместе занимались в секции бокса, я готовился к первенству Ленинградского гарнизона, и на тот случай, если противник окажется выше меня ростом, тренер иногда устраивал нам спарринг. Генрих только ещё осваивал азы кулачного боя, но уже было видно, что он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать первоклассным боксёром: скоростью, врождённым чувством дистанции, мощным ударом справа и неукротимой волей к победе.

Впрочем, давно известно: талантливый человек талантлив во многом. Лермонтов и Маяковский хорошо рисовали, Пирогов писал стихи, а Менделеев изготавливал чемоданы, которым по качеству не было равных в Петербурге. Купцы и мещане уважительно называли его “чемоданных дел мастером”.

Талант же Генриха заключался в том, что он обладал редкой по тем временам способностью подбирать галстуки в тон костюма. Родители его преподавали в провинциальном университете, и он мог себе позволить шить костюм у модного портного Алексеева. Слушателям пятого курса академии в свободное от службы время разрешалось переодеваться в гражданское платье. Добавим, что стоял конец пятидесятых годов, самый разгар “оттепели”. По Невскому разгуливали “стиляги”, на студенческих вечерах тайком танцевали рок-н-ролл, молодёжь зачитывалась Хемингуэем и Ремарком, а в знаменитом кафе-мороженом на Невском, прозванном “Лягушатником”, подавали самые настоящие коктейли. Я до сих пор помню их названия: “Столичный”, “Шампань”, “Крепкий”. Но когда на тебе курсантская форма “хебе”, кирзовые сапоги, то ты как бы выпадаешь из праздничной, яркой толпы и в лучшем случае можешь вызвать чувство снисходительного сожаления: эх, служивый!

Именно это обстоятельство Генрих и использовал в одной щекотливой ситуации. А было так. На одном из танцевальных вечеров в клубе академии он познакомился с хорошей десятиклассницей. По-видимому, это был тот случай, который описал Шекспир, сочиняя историю Ромео и Юлии.

Наш благородный герой, естественно, прилично объяснился, предложил возлюбленной руку и сердце, получил восторженное, со слезами, согласие и предложение скрепить супружеские узы... тайно. Ещё лучше – бежать, бежать, куда глаза глядят, например, в Гималаи, а уж там... При этом у невесты дрожали губы и скатывались по щекам круглые, совсем ещё детские слёзы. Из её сбивчивых объяснений Генрих уяснил, что всё дело в её маман, профессорской дочке из “бывших”, чуть ли не столбовой дворянке, которая терпеть не может военных и мечтает о зяте-дипломате или, на худой конец – виртуозе из консерватории.

Наш герой в консерватории не обучался, а закончил лишь музыкальную школу по классу рояля, довольно свободно говорил по-французски и на каком-нибудь дипломатическом приёме, я думаю, не ударил бы лицом в грязь. Человеком он, к тому же, был разумным, и сама мысль похитить невесту и бежать показала ему несколько экстравагантной. Генрих шершавой солдатской ладонью вытер слёзы со щёк любимой и примирительно сказал, что познакомиться с её родителями он, как честный человек, обязан, но это будет не более чем визит вежливости. Затем, после скромной студенческой свадьбы они переедут к его тётке на Лиговку, комнаты в десять квадратных метров им вполне хватит для счастья.

По согласованию сторон “смотрины” жениха были назначены на субботний вечер. Генрих тщательно подготовился. У знакомого солдата из кадровой роты академии он одолжил кирзовые сапоги б/у, то есть бывшие в употреблении, сорок шестого размера, рюкзак с вытравленной на нем хлоркой надписью “ДМБ-59”. В рюкзак предусмотрительно были положены три куска чёрного хозяйственного мыла, известного знатокам своим исключительно тонким ароматом. Натянул мундир “второго срока” и битый час отрабатывал перед зеркалом зверски идиотское выражение на лице. Нужно сказать, человеком он был артистичным, и образ, который он сконструировал, вполне мог потрясти и менее тонкую натуру, чем его будущая теща.

Дом на Петроградской стороне, в котором жила невеста, говорил о высоком социальном положении его жильцов: консьержка, широкая мраморная лестница с медными, надраенными перилами, бесшумный лифт с зеркалом, перед которым наш герой внёс последние штрихи в свой облик и остался вполне доволен.

Дальше события развивались строго по сценарию. Когда распахнулась тяжёлая дубовая дверь и на пороге возникла дама в строгом вечернем туалете, Генрих, обхватив её лапищей, звучно чмокнул в щеку и загрохотал, уместно стилизуя речь под вологодского деревенского жителя: “Со свиданьем, маманя! Я тут дак гостинец принёс, всё в хозяйстве сгодится!” – с этими словами он вручил оторопевшей теще извлечённые из рюкзака вышеупомянутые куски мыла, завёрнутые в портянку. Зятек и в дальнейшем вёл себя подобающим образом: дико и без всякого повода ржал, ел салат руками, и, чтобы освежиться, хлопнул водички из полоскательницы, предназначенной для омовения рук после дичи. В промежутках между чавканьем он доверительно рассказал, что трипачок он свой вылечил и в роду у них все здоровенькие, разве только родной братец полудурок, так ведь это не страшно, потому что он содержится в колонии строгого режима за изнасилование. Тёща была близка к обмороку, дочь, разгадав игру возлюбленного, сидела тихо, как мышка, смиренно ожидая катастрофы, и только папаша – невзрачнейший, лысый, в подтяжках, – вёл себя с подозрительным спокойствием: кушал, попил шампанское, и вид у него был такой, словно происходящее не имеет к нему никакого отношения.

Когда жених, смачно высморкавшись в скатерть старинного голландского полотна, извлёк из кармана галифе пачку махорки и стал, сопя, изготавливать самокрутку, папаша встал и сказал полумёртвым дамам: “Ну, вы тут к чаю накрывайте, а мы с молодым человеком покурим”.

Первое, что увидел Генрих в кабинете, была тужурка с погонами генерал-лейтенанта, небрежно повешенная на спинку стула. Будущий тесть, осторожно прикрыв дверь, схватил гостя за грудки и, наливаясь краснотой, шёпотом спросил: “Ты что же, стервец, представление устраиваешь? Не будь ты зятем, я бы тебя прямо сейчас упёк на пятнадцать суток на губу, на хлеб и воду! Тебе же, дураку, с этими бабами жить, а ты выламываешься!” Далее генерал несколько минут крыл Генриха простым вологодским матом, который, пожа-



луй, нельзя расшифровать даже с помощью толкового словаря “Русский мат”, составленного таким знатоком, как профессор Татьяна Васильевна Ахметова. Но при этом он всё время с испугом косился на дверь. Передохнув, генерал полез в шкаф – Герман подумал, что словесная экзекуция закономерно перейдёт в физическую, – в старинных шкафах непременно должны храниться военные, выделанные из буйволиной кожи ремни. Но тесть извлёк початую бутылку коньяку, два сомнительной чистоты гранёных стакана и вполне родственному предложил: “А теперь, Геня, давай выпьем, как мужики, а то у меня от шампанского брюхо пучит. И не шуткой больше, очень тебя прошу”.

Через полчаса мужчины вышли из кабинета в преображенном виде. Генрих принёс извинения за “актёрский этюд”, поцеловал теще ручку, сказал ей комплимент на вполне сносном французском и повёл себя, как на дипломатическом рауте. Маман была настолько восхищена им, что между ней и дочерью произошла даже лёгкая сценка ревности, при этом дочь проявила удивительную твёрдость.

Мой друг стал крупным учёным, доктором наук, профессором, наконец, генералом, имя его названо среди тех, кем заслуженно гордится Военно-медицинская академия. Но для меня он остался тем самым парнем в “хе-бе”, вылинявшей пилотке и кирзовых сапогах, с кем мы, возвращаясь с тренировок, шли сентябрьским днём по Литейному мосту, и наполненный солнцем ветреный простор Невы стал парусом на корабле моих воспоминаний. . .

---

---

*С теплотой и радостью поздравляем  
нашего постоянного автора и друга,  
замечательного русского писателя Юрия Пахомова  
(Юрия Николаевича Носова)  
с 80-летием!*

АНДРЕЙ УБОГИЙ

## В КАЗАНЬ К АКСАКОВУ, ИЛИ ПОИСКИ РАЯ

Всю неделю в Казани я удивлялся: отчего этот город кажется мне, русскому, таким близким и даже родным? Может, думал я, дело в голосе крови? В том, что русские гены, славянские по преимуществу, перемешались и с генами тюрков, образуя в итоге гремучую евразийскую смесь? А значит, каждый из русских смутно слышит и голос прародины, Дикого Поля, откуда когда-то, в эпоху великого переселения народов пришли наши дальние предки.

Они принесли с собой не одни только гены, но язык и обычаи, утварь, одежду, без которых ныне мы не можем представить ни русского традиционного быта, ни русского языка. Одно только слово “айда!”, одинаково внятное что татарским, что русским мальчишкам, уже говорит о взаимосмешении языков.

Когда же, гуляя по старой Казани, видишь татарские избы или, к примеру, татарские самовары, телеги и валенки (но это уже, ясное дело, больше в музеях), когда хлебаешь лапшу или пьёшь чай с татарскими пирогами, то и совсем забываешь о том, что ты не в Калуге, а в древней столице татарской земли.

Или всё дело в том, что Россия, какую её представляем и мы, да и весь прочий мир, есть страна безусловно имперского и мышления, и поведения, что Россия-империя начала зарождаться именно здесь, в устье реки Казанки, в год 1552-й от Рождества Христова? До покорения Казани Московская Русь была всего лишь одним из рядовых государств на востоке Европы, но включив в свой состав Казанское ханство, она стала стремительно (словно ей, наконец, развязали и руки, и ноги) шириться в сторону Азии, и всего за сто лет вышла к Тихому океану, превратившись в империю необъятных размеров.

Или это необъяснимое чувство сроднённости с городом вызывали вовсе не рассуждения о российской истории, а обилие юных, смеющихся лиц, нескончаемый праздник студенческой жизни, кипящий в Казани с рассвета и до рассвета? Казань — едва ли не самый студенческий город России: каждый шестой её житель — студент.

А ведь все мы, если вдуматься, родом даже не только из детства, но ещё и из юности. Недаром она и снится так часто: душа вновь и вновь возвращается в годы, когда мы, молодые студенты, только что вылетев из родительских гнёзд, начинали свой собственный путь в этом мире. А в Казани не нужно и снов о студенческой жизни: она и так окружает на каждом шагу, заставляя

почувствовать даже себя самого – на шестом-то десятке! – ещё молодым. Да и то сказать: коль уж приехал в Казань на учёбу, так и веди себя, как студент: спать ложись за полночь, пей вино на скамейках казанских садов и обедай в дешёвых столовках, где густо кипит, веселится, толкается беззаботный казанский студенческий люд.

А в старых, чудесных казанских садах – что в Эрмитаже, что в Лядском, у ног Гавриила Державина, что в саду возле Чёрного озера – мне порой начинало казаться: я знаю Казань вообще с незапамятных лет, ещё как бы прежде начала собственной жизни. В майских сумерках, где дышала сирень и сочно щёлкали соловьи – вы часто слышите соловьёв посреди миллионного города? – в этих сумерках чудилось: я возвращаюсь в тот рай, из которого нас когда-то изгнали, но куда мы ещё не теряем надежды вернуться...

В Казани действительно чаще, чем где-либо в прочих местах, начинало казаться, что рай существует: задача лишь в том, чтоб найти туда путь, чтобы не миновать, в суете и насущных заботах, ту заветную тропку, которая и приведёт нас туда, куда все мы – и старый, и малый – желаем вернуться. Тема рая была, так сказать, лейтмотивом Казани. Может быть, именно это и было главной причиной того, что Казань мне казалась родной и знакомой, хоть я никогда прежде не был в этом особенном городе, объединившем религии, нации и времена.

Помимо всего остального, Казань – родина русской мемуаристики. Какая русская мемуарная проза девятнадцатого века наиболее читаема и почитаема до сегодняшних дней? Конечно, это аксаковская трилогия – “Семейная хроника”, “Детские годы Багрова-внука” и “Воспоминания” – и это трилогия Льва Толстого – “Детство”, “Отрочество”, “Юность”. Но ведь значительная часть как одного, так и другого мемуарного сочинения родом, так сказать, из Казани. “Воспоминания” Аксакова (как и позднейшее добавление к ним, очерк “Собирание бабочек”) повествуют о том, как подросток Серёжа Аксаков учился в Казани: сначала в гимназии, а затем в университете.

“Юность” Толстого тоже имеет казанские корни. Хотя местом действия в книге указаны Москва и московский университет, но в реальности те впечатления, из которых выросла “Юность”, Толстой вынес из университета казанского: именно там, на двух его факультетах он проучился неполных два года. И как Николенька Иртенев – это, по сути, сам молодой Лев Толстой, так и Москва “Юности” – это, на самом-то деле, Казань.

О чём вообще рассказывает писатель, когда он вспоминает детство и юность? Он повествует о рае, о той светлой поре, когда мир ещё не был испорчен ни смертью, ни временем, ни разгулом страстей, когда всё, что происходило на детских глазах, озарялось таинственным внутренним светом и смыслом. Это не значит, конечно, что в детстве не было слёз и печалей, но, как облака неспособны совсем закрыть солнечный свет, всё равно доходящий до нас, так и горести детства не заслоняют ребёнку божественной радости жизни, которой пронизано всё бытие.

И в этом смысле литература о детстве всегда оживляет в нас память о рае. Даже просто-напросто вспомнить те книги о детстве, которыми так богата русская литература, и то бесконечно отрадно. “Лето Господне” и “Богомолье” Ивана Шмелёва, “Детство Никиты” Алексея Толстого, “Курымушка” Пришвина и “На тёплой земле” Соколова-Микитова – это же золотой фонд нашей словесности!

А бунинский шедевр – “Жизнь Арсеньева”? А “Сон Обломова”, составляющий сердцевину знаменитого романа Гончарова? Неудивительно, что повзрослевший Илюша Обломов, ещё сохранивший в душе своей память о том детском рае, в котором он некогда жил, так не хотел, отрываясь от грёз, участвовать в той бесполой, постылой и злой суете, которую он не желал и не мог признавать настоящею жизнью.

А Набоков с его заклинанием: “Speak, memory” – “Говори, память”? Он воскресил берега своего петербургского детства с такою волшебной силой, что кажется, ты и сам бродил там, на “других берегах” речки Оредежь, с рампеткой или велосипедом.

А “Высокие жаворонки” Петра Краснова? Даже послевоенное нищее детство, проведённое автором в оренбургской глуши, – в аксаковских, надо заметить, местах – оставляет в душе столько света, что хочется снова вернуть-

ся в ту скучную и в то же время такую богатую радостью жизнь, тем более что и последнею фразой своей замечательной книги автор нам обещает, что “всех оно ждёт нас, возвращение”...

Речь, конечно же, о возвращении в рай. Литература о детстве поэтому – это как бы всегда “репортажи из рая”, свидетельства очевидцев, которые в том раю жили и сохранили живую и верную память о нём.

Но вернёмся к Аксакову – первому, кто подарил нам “репортажи из рая”. Не в этом ли – в воскрешении изначального, безгреховного состояния нашей души – и состоит главный секрет аксаковской прозы? Иначе как объяснить тот живой интерес, с каким и донныне читаются все его книги? Казалось бы, что нам за дело до жизни семейства Багровых-Аксаковых, прозябавших в степной оренбургской глуши, да ещё два с лишним века назад? Тем более что в этой жизни не было ни каких-либо громких событий, ни ярких героев – ничего из того, на чём обыкновенно держится литературное повествование. Или где, на худой-то конец, выкрутасы и изыски формы, где всё то, на чём так нередко, при крайней скудности содержания, пытается “выехать” современная проза? Но у Аксакова нет даже этого, его голос тих и спокоен, его речь проста, его обороты естественны, словно дыхание, и поэтому, словно дыхание, они почти незаметны.

И при этом Аксаков достигает поразительного эффекта: от его книг нельзя оторваться. Похожее чувство ещё возникает, когда смотришь в огонь или на снегопад, или, скажем, сидишь на речном берегу... Когда сама жизнь, сам её бесконечный и благотворный поток течёт перед тобой. Проза Аксакова оказывает неизменно целительное воздействие. Будь моя воля, я бы продавал его книги в аптеках и прописывал бы, вместо приёма каких-нибудь транквилизаторов, читать каждый день две-три страницы аксаковской прозы. Ведь, в конце-то концов, главной причиной наших болезней и наших несчастий является грехопадение, наше изгнание из рая, и действительно исцелить нас способно лишь то, что воскрешает в душе память о рае и пробуждает надежду когда-нибудь этот утерянный рай обрести.

Литературная судьба Аксакова и его сочинений воистину удивительны. Добрый барин и отец многочисленного семейства, отдавший немало лет государственной службе – сначала цензурному комитету, затем межевому училищу, – театрал и театровед, друг актёров и литераторов, Аксаков, кажется, даже и не помышлял о серьёзных литературных трудах. К своим пятидесяти годам он напечатал лишь несколько театральных и литературных рецензий да несколько стихотворений. Так бы, казалось, и доживать ему век хлебосольным стареющим барином, собирающим по субботам в своём подмосковном Абрамцеве кружок тех людей, кого позднее окрестят “славянофилами”.

Но муза – дама капризная и своевольная. Нет, чтобы навещать пылких юношей с огненным взором, с “кудрями чёрными до плеч” – ей, видишь ли, приглянулся полуслепой седовласый старик. Аксаков, кажется, и сам был в недоумении: оно сквозит и в известном его письме Гоголю. “Я затеял написать книжку об ужении не только в техническом отношении, но в отношении к природе вообще; страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чьё сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр. Тут займёт свою часть чудесная природа Оренбургского края, какую я знавал её назад тому сорок пять лет. Это занятие оживило и освежило меня” (1845).

По сути, литературный дебют Аксакова состоялся в 1847 году (год первого выхода в свет “Записок об ужении”), когда писателю было уже 56 лет. И его книга была сразу принята, как яркое литературное – именно литературное! – событие. Тот же Гоголь, который уж никак не разделял рыболовных увлечений Аксакова, прочёл эту книгу с восторгом, от доски до доски.

“Записки об ужении”, действительно, очаровывают с первых страниц, уже начиная с эпиграфов. Их четыре, и один лучше другого. “Делу время, и потехе час”, “Охота пуще неволи”, “Охоту тешить – не беду платить” – и, наконец, то самое стихотворное послание Дмитриеву, из-за которого разгорелось столько цензурных скандалов. Уж, казалось бы, что могло быть невиннее строк:

*Есть, однако, примиритель,  
Вечно юный и живой,  
Чудотворец и целитель —  
Ухожу к нему порой.  
Ухожу я в мир природы,  
В мир спокойствия, свободы,  
В царство рыб и куликов,  
На свои родные воды,  
На простор степных лугов,  
В тень прохладную лесов  
И — в свои молодые годы...*

Но этот эпиграф сначала был запрещён, затем разрешён, но без слова “свобода” — его заменили отточием — и лишь перед самою смертью Аксакова, в 1856 году государственная цензура позволила, наконец, без купюр напечатать эти “крамольные и вольнодумные” строки.

Но государство мудрее, чем кажется. Рыболовная книга Аксакова — действительно, антигосударственная крамола. Ведь её автор — певец и защитник той частной жизни, с которой государство, — порой слишком рьяно и прямолинейно понимая свой долг, — неустанно сражается. Причём в азарте и рвении этой извечной борьбы забывается, что вслед за тем, как зачахнет та независимо-частная жизнь, которая так порой нарушает покой государства и причиняет ему столько разных забот, — вслед за тем вырождается и само государство.

В этом смысле Аксаков — бунтарь и борец, как ни странно относить эти громкие титулы к тишайшему и добрейшему человеку. Он, певец частной жизни и тихих утех на лоне природы, как будто предвидел, каким испытаниям, бедам, гонениям скоро подвергнется то, что он так защищал и любил: и природа, и частная жизнь человека. Век, сменивший аксаковский, — век страшных войн, революций и катастроф — попытался не просто отнять у людей их свободу и право на частную жизнь, но посягнул на человека как такового. И мировые войны, и жернова тоталитарных режимов, и рецидивы почти первобытного варварства — такие, как европейский фашизм или каннибализм красных кхмеров в Камбодже, — всё это было, по сути, сатанинской атакой на человека, стремлением превратить человека из сына Божьего в механический, то бездумно-покорный, то остервенелый придаток социума, в то безликое и бессердечное “мы”, о котором так сильно и страшно написал Евгений Замятин.

И вот в этом контексте тишайшая проза Аксакова обретает важнейший, спасительный смысл. Лишь теперь, осознав, что оставили мы за спиной, мы можем взять в руки томик Аксакова с той, выражаясь по-старому, слезой умиления и благодарности, каких и заслуживает эта великолепная проза. Так и мерещится, что не удилище держит Аксаков в руке, а копьё Победоносца, и хочется верить, что “сим — победиши...”

Позволю себе ещё одно отступление, необходимое для того, чтобы точнее оценить всё значение аксаковской прозы.

Среди многих оценочных характеристик литературы допустима ещё и такая: в какую сторону — в ад или в рай? — увлекает читателя автор? К сожалению, чаще мы видим движение вниз. Можно сказать, что литература Европы вслед за своим предводителем Данте уже семь веков спускается по кругам ада и оставляет об этом своём нисхождении более или менее талантливые путевые отчёты. Звуки “Divina Commedia”, чьи строки ныне начертаны, как на скрижалях, на стенах флорентийских домов, — это камертон, по которому строилась вся позднейшая литература Старого Света. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что направление в ад — столбовая дорога европейской литературы. Все большие её достижения — от Бальзака до Кафки — это живописание ужасов жизни и бездн человеческой низости.

Думаю, что Томас Манн, знавший литературу Европы, как мало кто её знал, потому и назвал русскую литературу “святой”, что он почувствовал в ней иной вектор. Не разоблачать и не опускать человека на дно, в смрад и грязь его низшей природы, а пытаться поднять, просветлить и спасти человека как сына Божьего — вот в чём русская литература (если взять её обобщённо) видела долг и задачу писателя.

И вот в этом смысле Аксаков — тишайший и скромный писатель — составляет противовес, антитезу и, так сказать, противоядие Данте и всей “последантовской” литературе. Он писал рай — пусть рай маленький, тихий, почти незаметный на фоне всех тягот, трагедий и ужасов жизни; но ведь даже один глоток свежего воздуха или чистой воды способен порою спасти человека, умирающего от жажды или удушья.

Предлагаю читателю — да и себе самому — отдохнуть, прочитав, например, эти строки о летнем уженье в полдень:

“Полдненное уженье на лодке имеет, по крайней мере для меня, своего рода совершенно особенную прелесть. Для многих она покажется непонятною; для многих даже невыносимы палящие лучи летнего полдненного солнца, которое, отражаясь в воде, действует с удвоенною силою; но я всегда любил и люблю жары нашего кратковременного лета. Пышет знойный полдень. Совершенная тишина. Не колыхнет зелёный, как весенний луг, широкий пруд, затканый травами, точно спит в отлогих берегах своих; камыши стоят неподвижно. Материк и чистые от трав протоки блестят, как зеркала, всё остальное пространство воды сквозь проросло разнообразными водяными растениями. То ярко-зелёные, то темноцветные листья стелятся по воде, но глубоко ушли корни их в тинистое дно; белые и жёлтые водяные лилии, цвет лопухов, попросту называемые кувшинчиками, и красные цветочки тёмной травы, торчащие над длинными вырезными листьями, разнообразят зелёный ковёр, покрывающий поверхность пруда. Какая роскошь тепла! Какая нега и льгота телу! Как приятна близость воды и возможность освежить ею лицо и голову! Рыбе также жарко: она, как будто сонная, стоит под тенью трав. Завидя лакомую пищу, только на мгновенье лениво выплывает она на чистые места, пронзаемые солнечными лучами, хватает добычу и спешит под зелёные свои навесы...”

Аксаковские “Записки об уженье” стали одной из любимейших книг и моего детства. Их влияние на семилетнего мальчика было столь велико, что я, презирая леса капроновые, современные (ведь о них у Аксакова ничего написано не было!), мечтал, как бы мне поймать лошадь, надёргать волос у неё из хвоста или гривы, и насучить лес настоящих, волосяных — тех, на которые автор книги выуживал славных своих головлей и язей.

И крючки я сгибал из булавок, и поплавки вырезал из древесной коры, чтобы быть ближе к тексту аксаковской книги. Немало часов я провёл на полу, разложив пред собой самодельные снасти, перебирая их, перекладывая так или эдак — и, конечно, мечтая о том, как я буду ловить ими рыбу. Мотовила, крючки, поплавки и грузила тогда словно бы оживали: я слышал и плеск переката, и видел, как резко и наискось поплавок идёт вглубь, и чувствовал, как упруго пульсирует леса, взрезая тугую поверхность воды...

И, конечно же, эти мечты были много богаче того, что потом совершалось в реальности. Жизнь, в которую я понемногу входил со своим детским запасом крючков, поплавок и мечтаний, была куда как скупа на рыбацкое счастье. Первая добыча, которую я взял в руки, была вообще дохлой плотичкой, прибитой волною к прибрежной траве. Я прутиком долго выталкивал эту рыбку на берег, чтобы потом побежать с нею к бабушке Марье Денисовне.

— Неужели сам поймал? — удивилась она.

— Сам... — буркнул я, отчасти сказав бабушке правду: ведь я же действительно долго выуживал эту рыбёшку из речного затона.

В тех же курских краях, где прошло моё раннее детство, я поймал первых своих карасей: именно с них начиналось моё рыболовное поприще. Лучше ловился карась даже не на тимском пруду — широченном, привольном, со стадами гусей и коров, бродящими по его берегам, — а ниже плотины, в густых ивняковых кустах, в заводях листовой речки, которую кое-где можно было и перепрыгнуть. Поражало то, как в этой тёплой и серой воде, подёрнутой пухом гусей и настоящей на гусином помёте, могло ловиться что-либо путное? Но стоило скатать хлебный шарик размером с горошину, насадить его на крючок, опустить снасть в какой-нибудь тихий затончик, как вскорости перьевой поплавок привставал, а потом и ложился на серую воду... Караси попадались отменные — не ухватишь одною рукою (тем более, детской) — и, когда клёв был хорошим, тот испотанный пяточок возле грязной воды, на котором я, восьмилетний, едва мог примоститься, для меня становился воистину раем. Ничего, что мой рай был невзрачен и затрапезен — иной человек,

покажи ему это местечко, просто-напросто плюнул бы да отвернулся, — но я бы, наверное, целую вечность способен был, как зачарованный, следить за движениями поплавка, затем подсекать, выволакивать из воды туго бьющихся карасей, бросать их в ведёрко и снова, дрожа от азарта, забрасывать снасть.

Но я подрастал, и караси Тима куда-то пропали — возможно, туда же, куда ушло детство. Наступало тяжёлое, смутное время отрочества, когда изначальная детская чистота нашей жизни и нашего взгляда на мир начинает тускнеть, когда гормональные бури надолго скрывают от нас то лазурное небо, какое мы видели в детстве. Трагедия подросткового возраста именно в том, что он, этот возраст, нечист — как обычно бывает нечистым, покрытым прыщами и само лицо отрока.

И даже рыбачить в те годы чаще всего выпадало в каких-то нечистых местах. Мой приятель Вадим приохотил меня к ловле на закидушки; и мы, оседлав велосипеды, поутру выехали на берег Оки, на то место, которое называется “камни под ЛЭП”. Там сквозь камни пологого берега сочилась множеству родников; и эта смесь ледяной вязкой грязи и серых камней производила то скливающее, безотрадное впечатление. И кой чёрт таскал нас на это унылое место? Там негде было не то что присесть — всюду чавкала грязь, — но там не на что было даже взглянуть, чтобы хоть ненадолго дать отдых глазам.

А сама ловля? Это был, в сущности, промысел — столь же безрадостный, как и окрестный пейзаж. На четыре крючка закидушки насаживались червяки (сколько их, бедолаг, извели мы за летний сезон!), потом грузило-ложка закидывалось подальше на стрежень реки, четыре крючка, трепеща, улетали за ним, и слабина лески выбиралась на длинное мотовило, которое с хрустом втыкалось меж илистых скользких камней. Забросив пятую или шестую донку, пора было возвращаться к первой, чтобы проверить её, поменять обтрепавшихся червяков да снять с неё пару склизких ершей, которые всегда заглатывали наживку, что называется, “до хвоста” и которых поэтому приходилось, снимая с крючка, чуть ли не выворачивать наизнанку.

Ерши были главной, а часто и вовсе единственной нашей добычей. Промучившись целое утро, не видя перед собой ничего, кроме ила, камней, ершей да червей, мы цепляли на рули велосипедов проволочные садки, с которых согляями тянулась ершиная слизь, и, грязные с головы и до ног, полумёртвые от усталости и от жары, отправлялись домой. В довершение надо сказать, что моя матушка, с отвращением взглянув на улов, ершей обычно выбрасывала — и это делало нашу рыбалку совсем уж абсурдной.

И вот только теперь, глядя на маниакально-упорные эти рыбалки с расстояния почти в сорок лет, я могу осознать, что они воплощали как раз те томленья души, что меня изнуряли в подростковые годы. Да, жизнь, что меня окружала, была непонятно-бессмысленна и безотрадна, но я чувствовал, что мне обязательно нужно пройти сквозь неё — как сквозь тяготы тех безотрадных ершиных рыбалок. Отказаться от них я не мог, как не мог отказаться от жизни.

Может, не будь в моём прошлом тех подростковых, упорных, но безрезультатных попыток поймать настоящую рыбу, то жизнь не подарила бы мне, спустя двадцать лет, тех рыбалок на Рессете, без которых я бы так и не знал, что такое рыбацкое счастье?

Рессета — это имя чудесной реки, протекающей северной Брянска. По ней посчастливилось мне ходить на байдарке сразу с отцом и сыном — все мужчины семейства Убогих усаживались в одну лодку — и довелось ловить замечательных щук. Так, за неделю похода мой двенадцатилетний сын Дима поймал ровно дюжину щук, причём очень приличных, что мне в моём детстве даже не снилось. А ловили мы, в основном, на дорожку, сочетая две радости сразу: радость движения по живописной реке, по её поворотам и плёсам, затонам, быстринам и радость рыбалки. Я сидел впереди и направлял лодку по самым заманчивым, с точки зрения рыбы, местам, отец занимал позицию в центре: он был ответственным за подсачек, а Дима с кормы спускал блесну-колебалку, которая так часто цепляла коряги, что сын то и дело кричал:

— Пап, табань — зацеп!

Оттабанить, то есть подняться вспять по реке, на быстром течении было непросто, и мы с отцом упирались, что было сил. Зато меж зацепами случались и щучьи хватки. Тормоз катушки трещал, сын истошно орал: “Не гребии-и!” — а мы с отцом, обернувшись, с обмиранием сердца следили, как Димка тягается с крупной рыбой.

– Не спеши! Не сорвись! – кричал я то сыну, то щуке (хотя вряд ли кто из них меня слышал).

Порой щука делала “свечку” – блесна ярко вспыхивала в её раззявленной пасти – и плашмя падала в реку. Ух, как гнулось удилище, как леса внастяг резала воду, и как Димкины пальцы судорожно крутили катушку! Когда щука была уже недалеко от байдарки, Димка вопил:

– Дед, сачо-ок! – и мой отец, давно державший подсачек наготове, опускал его в воду – так, что мотня ячеи расправлялась течением, продолжающим уносить нас, байдарку и нашу добычу. А в воде уже был различим мускулисто-пятнистый клубок – то белое брюхо, то страшная морда крутящейся щуки – и скоро отец, понатужась, тащил из реки тяжеленный подсачек, в котором дугой провисала внезапно затихшая рыба. Наш дружный и торжествующий крик оглашал берега Ресеты; с отмели, испугавшись, взлетала огромная серая цапля; а сердце моё вдруг сжимала печаль: ведь жизнь оказалась беднее ещё на одну – так чудесно сбывшуюся! – мечту...

Поговорим ещё об уженье, точнее, о том, как рыболовная тема представлена в литературе.

И уж если начинать такой разговор, так с главной книги, с Евангелия. Разве случайно Христос избрал первыми учениками именно рыбаков – не торговцев, не воинов, не ремесленников, не земледельцев, – разве случайно Он именно “ловцам рыб” назначил стать “ловцами человеков”? Не забудем, что именно рыбной ловлей отмечено и начало, и завершение евангельского повествования. Призвание рыбаков в апостолы – это один из первых шагов, какие Христос совершил на пути к Голгофе и Воскресению. Но и после распятия Он снова является рыбакам – уже не на Галилейском, а на Тивериадском озере, – помогает им вытащить сеть, в которой запутались сто пятьдесят три рыбы, и затем делит трапезу с рыбаками.

А Его проповеди с лодки, обращённые к людям, собравшимся на берегу? А чудо с монетой-статиром, найденной внутри рыбы? А хождение по воде, “аки посуху”? Очевидно же, что всё это были и проповеди, и чудеса, совершавшиеся в окружении рыбаков, сетей, лодок и всех атрибутов рыболовецкого промысла. Так что не будет большою натяжкой сказать, что мировая рыболовная литература восходит к самой Книге Книг.

Но кого же считать первым автором собственно “рыболовного” сочинения? Чешского епископа Иоанна Дубравия, чей трактат об уженье датирован 1488 годом? Или аббатису Джулиану Бернерс, которая описала ловлю рыбы на мушку ещё в 1496 году и чьи сведениями позднее воспользовался крупнейший авторитет рыболовного мира, англичанин Исаак Уолтон?

Книга Уолтона “Совершенный рыболов, или Досуг созерцателя”, увидевшая свет в 1653 году, выдержала с тех пор более 550-ти изданий, и на сей день является третьей (!) по популярности книгой англоязычного мира – после, разумеется, Библии и пьес Уильяма Шекспира. Сам же Исаак Уолтон прожил долгую жизнь – 90 лет, – деля её между религией, благотворительностью, литературой и рыбной ловлей. Он почил в Стаффордшире, где и доныне его портрет с книгой и удочкой украшает витражи англиканских церквей.

Вообще попытка хотя бы кратчайшего обзора литературы, посвящённой рыбалке, подобна усилиям вычерпать море стаканом. Не претендуя на это, я хочу всего лишь упомянуть несколько книг “рыболовного” направления, которые прочно вошли в золотой фонд мировой художественной литературы.

Вот “Моби Дик”, книга столь грандиозная, что современники даже и не смогли оценить по достоинству эту громаду. Лишь спустя почти век стало возможным увидеть роман Германа Мелвилла в полный, так сказать, рост. Разумеется, я понимаю, что кашалот не рыба и что, говоря строго, роман “Моби Дик” не столько “рыболовецкий”, сколько “охотничий”. Но стихия воды так живёт и так дышит в романе, что кажется, что даже не Белый Кит, а сам Мировой Океан является главным героем повествования. А ведь, если вдуматься, главною темой любого “рыболовецкого” сочинения является даже не столько лов рыбы, сколько прикосновение к водной стихии, обретение тех смыслов, энергий и тех утешений, что нам так щедро дарит вода.

Главный рыбак в литературе двадцатого века – конечно, Эрнест Хемингуэй. Недаром он получил Нобелевскую премию именно за “Старика и море” – повесть о мальчике, старике и большой рыбе. А его рассказы “Не в сезон”,



“Что-то кончилось” и “На Биг-ривер”? А чудесные рыболовные сцены “Фиесты”, которые я перечитываю куда чаще, чем, скажем, сцены боя быков? Несомненно же, что и Джейк Барнс, и его друг Билл, уходя в горы Испании за форелью, хотят, в сущности, совершить бегство в рай, уйти прочь из мира, где убивают быков и людей, где души маются меж опьянением и похмельем и где все так непоправимо несчастны...

А рассказ “На Биг-ривер” вообще стал моим талисманом. Всякий раз, отправляясь куда-нибудь странствовать, особенно если меня ждёт река и рыбалка, я перечитываю две-три страницы о том, как Ник Адамс разбивает лагерь на речном берегу, как разводит огонь, разогревает макароны с бобами, а затем, залезая в палатку, мечтает о завтрашней ловле форели...

Но не вернуться ли нам в лоно русской литературы? И вот здесь, без сомнения, первый писатель-рыбак, о котором мы вспомним, — это Аксаков. Его “Записки об ужении” до сих пор сохраняют своё лицо, место, значение, даже на фоне великой русской литературы. Тихий голос Аксакова слышен доселе — и это само по себе удивительно! Казалось бы, как, спустя почти двести лет — и каких лет! — можно внимать этим тихим речам об удилищах и поплавках, о поиске мест для ужения, о добывании раков или сучении лес — обо всём, из чего состоит благословенное ремесло рыболова?

Но то, что напоминает о рае и приближает к нему, — а такова, без сомнения, проза Аксакова, — всегда будет желанно и душеполезно. Когда читаешь Аксакова, кажется, что слушаешь человека, который не только сам жил в раю и сохранил о нём самые свежие воспоминания, но что он пребывает в нём и доселе, завораживая читателей воистину райской, неспешною музыкой речи. Свет доброты и любви — вот чем лучатся страницы Аксакова; в этом свете бледнеют невзгоды и страсти, стихает пустое томление души, и сам понемногу становишься тем самым мальчиком ангельских лет, для которого мир так же ясен и добр, как ясна и тиха та вода, на которой лежат поплавки... “Каждый... достигнув старости, находит отраду в воспоминании того живого чувства, которое одушевляло его в молодости, когда в удочкой в руке, забывая и сон, и усталость, страстно предавался...своей любимой охоте. Он, верно, с удовольствием вспоминает это золотое время... И я помню его, как давнишний, сладкий и не совсем ясный сон; помню знойные полдни, берег, заросший высокими, душистыми травами и цветами, тень ольхи, дрожащую на воде, глубокий омут реки, молодого рыбака, прильнувшего к наклонённому над водою древесному пню, с повисшими вниз волосами, неподвижно устремившего очарованные глаза в тёмно-синюю, но ясную глубину...”

Разве дело, в конце концов, в рыбе? Дело в том равновесии между внешним и внутренним, между действием и созерцанием, меж тобою и миром, какое и возникает во время рыбалки. И в этом смысле рыбная ловля — это, конечно, духовная практика, ничуть не менее эффективная, чем какая-нибудь медитация йогов.

Рыбалка даёт возможность ощутить себя человеком во всей полноте. Здесь будет уместно вспомнить рассуждение Исаака Уолтона из его уже упомянутой книги “Совершенный рыболов, или Досуг созерцателя”. Что выше, спрашивает почтенный Уолтон, действие или созерцание? Человек практической жизни (каких на Западе большинство) выбирает, естественно, действие; монах или богослов — вероятней всего, изберёт молитву и созерцание. Так что же выбрать нам, простым людям, в качестве жизненного идеала? Выберите рыбную ловлю, советует мудрый старец из Стаффорда, ибо рыбалка сочетает в себе блага действия и созерцания разом. И, добавим, хороший улов, который вам, может быть, выпадет после долгих дней неудач и бесплодных попыток, будет сразу и вашей наградой за труд и терпение, и, в то же самое время, особенной милостью, даром небес.

Наша тема имеет ещё и такой поворот. Несомненно, что идеалом европейской цивилизации является всё-таки действие: именно homo activus так изменил окружающий мир, что теперь человек и не знает, как ему совладать с теми демонами, которых он так легкомысленно выпустил из колб и реторт научно-технического прогресса.

Идеал же Востока — пассивность, покой, созерцание. Но и пассивность даосов или индусов не решает проблем человечества. Взять хотя бы уж то, что созерцатель не может сам себя защитить от напора и натиска внешнего, агрессивно-активного мира.

А вот рыбная ловля, сочетающая действие и созерцание, служит наглядным примером того, что идеалы Востока и Запада всё-таки совместимы. Больше того: лишь в таком совмещении несовместимого, в союзе тех сфер бытия, которые лишь внешним образом противоречат друг другу, но в онтологической глубине друг без друга немислимы и невозможны – лишь в такой диалектике противоречий жизнь способна себя сохранить и продолжить. И, как бы пафосно ни восклицал Редьярд Киплинг, что “Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись”, – но рыбак с удочкой, тихо замерший возле воды, собственным существованием опровергает такие прогнозы и лозунги.

Пока обо всём этом думалось, продолжались прогулки по старой Казани – городу, тоже явившему нечто, казалось бы, невозможное: союз Запада и Востока, креста и полумесяца, ислама и христианства. В целом мире не так уж и много таких “узловых” городов, где сплетаются веры, обычаи и языки.

Имперский дух ощущаешь в Казани на каждом шагу: и у башен кремля, и возле колонн старых зданий Казанского университета, и на чугунных мостах Булака, и на пешеходных, пышно-ампирных улицах центра. Особенно нравилось мне гулять по Казани рано утром, когда ночная жизнь затихала, а дневная ещё не оживлялась, и ноги сами несли по пустому, просторному, гулкому городу. Только, пожалуй, ещё Петербург так похож по утрам на огромный музей, где переходишь из улицы в улицу, словно из зала в залу, – и это не тени домов и оград лежат на мостовых, а некие призраки прошлого...

В одну из таких одиноких прогулок я подошёл к зданию старой казанской гимназии – той самой, в числе первых учеников которой были братья Державины и которая позже была преобразована в университет. Облик здания поражал величавую статью. Громадное, занимавшее целый квартал, фасадом оно копировало афинский Парфенон – и в колоннах его, в треугольном фронтоне, в пропорциях окон, дверей, этажей ощущался классический, строгий и вместе с тем радостный дух преклонения перед наукой и перед живым, благородным умом человека.

“Так вот где учился Серёжа Аксаков...” – подумал я, тронув тяжёлую дверь, и она, к моему удивлению, тихо открылась. Вестибюль был гулко и сумрачен; словно на кладбище или в музее, мне было неловко тревожить дремотные тени былого. Да, вот именно здесь белокурого восьмилетнего мальчика впервые забрали от его обожаемой мамочки и увели, чтоб остричь и надеть на него казённый мундир. Но предоставим слово самому Аксакову: “После обеда... надели на меня форменную мундирную куртку, повязали суконный галстук, остригли волосы под гребёнку, поставили во фронт по ранжиру, по два человека в ряд, подле ученика Владимира Граффа, и сейчас выучили ходить в ногу. Я всё исполнял, как говорится, машинально: точно дело шло не обо мне. По окончании классов Упадышевский (старший надзиратель гимназии. – **А. У.**) встретил меня у дверей и, сказав: “Матушка тебя дожидается”, – отвёл меня в приёмную залу. Отец с матерью были там; отец, увидя меня, рассмеялся и сказал: “Вот как перерядили Серёжу”. А мать, которая в первую минуту меня не узнала, всплеснула руками, ахнула и упала без чувств. Я закричал, как иступлённый, и также упал у её ног... Обморок моей матери продолжался около получаса...”

Но, несмотря на такое начало учёбы, с годами Серёжа Аксаков так любил и гимназию, и позднее, университет, что уже стариком он спел настоящую оду студенчеству: “Прощай, шумная, молодая, учебная жизнь! Прощайте, первые, невозвратные годы юности, пылкой, ошибочной, неразумной, но чистой и благородной! Ни свет, ни домашняя жизнь со всеми их дрянностями ещё не помрачали вашей ясности! Стены гимназии и университета, товарищи – вот что составляло полный мир для меня. Там разрешались молодые вопросы, там удовлетворялись стремления и чувства! Там был суд, осуждение, оправдание и торжество! Там царствовало полное презрение ко всему низкому и подлому, ко всем своекорыстным расчётам и выгодам, ко всей житейской мудрости – и глубокое уважение ко всему честному и высокому, хотя бы и безрассудному. Память таких годов неразлучно живёт с человеком и, неприметно для него, освещает и направляет его шаги в продолжение целой жизни, и куда бы его ни затащили обстоятельства, как бы ни втоптали в грязь и тину, она выводит его на честную, прямую дорогу. Я, по крайней мере, за всё, что сохранилось во мне доброго, считаю себя обязанным гимназии,

университету, общественному учению и тому живому началу, которое вынес я отсюда. Я убежден, что у того, кто не воспитывался в публичном учебном заведении, остаётся пробел в жизни, что ему недостает некоторых, не испытанных в юности ощущений, что жизнь его не полна...”

И где-то здесь, в старом здании университета, хранились коллекции бабочек, которых юный Аксаков ловил по казанским садам и оврагам. Вообще, “Собираение бабочек” – самое “казанское” из сочинений Аксакова. Недаром и адресован очерк именно казанскому студенчеству: писатель уже перед самой смертью отослал его в благотворительный сборник казанского университета.

И Казань в этом очерке – живая и пёстрая, полная шума, движения, лиц, голосов. Вот, например, описание ярмарки на берегу Булака – ныне очень красивого, в фонарях и фонтанах, канала: “Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопольем, приходят с Волги через озеро Кабан и буквально покрывают Булак. Казанские жители всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть: “Лодки пришли!” – мгновенно оживляет весь город... По берегам Булака устраивается шумное гулянье; публика и народ толпятся по его грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на святой неделе. Между множеством разного товара, между апельсинами и лимонами привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравлёной, то есть покрытой внутри и снаружи или только изнутри зелёным лаком. В числе посуды привозят много глиняных и стеклянных ребячьих игрушек, как то: уток, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по всем казанским улицам, и особенно около Булака, толпы мальчишек и девчонок, все вооружённые новыми игрушками, купленными на лодках, с радостными лицами и каким-то бешеным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водой друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого, чисто народного торгового гулянья, куда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь одежд татарских и русских, городских и деревенских очень живописны...”

А сады и овраги старой Казани? Аксаков изображает их, как Эдем, уют райских утех, место восхищённого любования чудесами Божьего мира. И делает это с такой свежестью слова и чувства, какую трудно даже предположить в слепом старце, стоящем на пороге могилы. Бродя в зарослях Болховского или Неёловского садов – или вспоминая об этих блужданиях, – Аксаков и находился, по сути, в раю, в такой близости от исполнения заветной мечты человека и человечества, какая нам, людям, даётся лишь в награду за чистую, светлую жизнь. Такую-то именно жизнь и прожил сам Аксаков, оставив потомкам не только образчик живого и благородного языка, но ещё и образчик светлого и благодарного отношения к жизни.

И описание бабочек стало последним подарком писателя нам – тем, кто доньше сопровождает Серёжу Аксакова в его самозабвенной погоне за Подальриусом-Махаоном, возделенной мечтой юного казанского натуралиста.

Аксаков первым привёл бабочек в русскую литературу – и, согласитесь, без них пейзаж нашей словесности был бы много скучней и бесцветнее. Это уже после Аксакова о бабочках писали и Афанасий Фет, и Арсений Тарковский – “Из тени в свет перелетая, // ты и сама и тень, и свет...” – и Иван Бунин, с его чудо-строфой:

*Всё так же будет залетать  
Цветная бабочка в шелку,  
Порхать, шуришать и трепетать  
По голубому потолку...*

И это уже после Аксакова о бабочках заговорил наш “одиноким королём в изгнании” – Владимир Набоков. Правда, он, единственный среди русских писателей лепидоптеролог-профессионал (приходившийся, кстати, дальним родственником Аксакову), отзывался об аксаковских описаниях бабочек со снобистским высокомерием, не делающим чести Набокову и ничуть не умаляющим заслуг и достоинств Аксакова. Пятнадцатилетний юноша, занимавшийся изучением бабочек всего только три летних месяца, да ещё в 1806 году,

на заре современной науки, конечно, находился с Набоковым в разных, так сказать, весовых категориях.

В аксаковском “Собирании бабочек” восхищают даже не столько сами чудесные эти создания – “порхающие цветы”, как назвал их Аксаков, – сколько тот изобильный и радостный мир, в котором летают бабочки. А ещё в этом мире есть и добрейший аксаковский дядька Евсеич, и обрусевший немецкий профессор Карл Фукс, благодетель города и горожан (у него, кстати, гостил Пушкин, разыскивавший в Казани следы Пугачёва), и толпы народа на ярмарках по берегам Булака, и товарищи Аксакова по университету, и ливень с грозой и градом, захвативший юношу по дороге домой, на “ваканию”, и деревня крещёных татар, и радость семейства, которое встретило любимого сына и брата, и, конечно, то пламя восторга, какое Серёжа Аксаков испытывал по отношению к бабочкам.

Порой кажется, что бабочки – это посланницы рая. Избыточно-лишняя их красота рождена как бы вовсе не здесь, не на грешной земле; она нас зовёт, окликает, волнует, призывая опомниться и перестать, наконец, жить одной лишь заботой и злобой текущего дня. Бабочки – это одновременно и оклик, и зов; это сразу и память о тех безмятежных мирах, где мы жили когда-то, и упование вновь эту райскую жизнь обрести.

Конечно, о рае нам говорят не одни только бабочки: Божий мир полон дивных чудес. Но именно в бабочках, в ошеломляюще-яркой их красоте откровенней всего проявляется щедрость Творца. Словно чья-то рука зачерпнула из Божьих запасов живых драгоценных камней, да и бросила в мир эту яркую и самоцветную россыпь.

А в том, как живут, развиваются бабочки – в том, что биологи называют метаморфозой, – разве не содержится в этом важнейший для всех нас урок? Вот ползёт по листу ненасытная гусеница – неважно, голая или мохнатая, маленькая или большая, яркая или скромно-бесцветная, – но она озабочена только одним: набиванием ненасытной утробы. Это апофеоз потребительства: ничего, кроме еды, гусеницу не интересует ничего. Но разве не таковы, подчас, и мы с вами? Разве наша цивилизация потребления не толкает нас, в сущности, лишь к утолению первичных, животных желаний? Разве мы с вами порою не те же самые гусеницы, что ползут по листу своей жизни, бездумно и жадно его пожирая и оставляя после себя одни экскременты?

И что же в конце концов? Правильно, смерть. Но это смерть только с точки зрения гусеницы. Нас закутывают в погребальные пелены – иногда, для надёжности, ещё обивают снаружи досками и присыпают землёй – точно так, как и гусеница, превращаясь в куколку-хризалиду, одевается саваном хитиновой оболочки. И прежняя гусеница, такая жирная и некрасивая, озабоченная только телесным и сиюминутным, перестаёт существовать. Но при этом она – что всего поразительней! – не исчезает. Наступает метаморфоза – то есть преображение. Уснувшая гусеница возрождается, но уже в новом качестве. Уныние будней сменяется радостью праздника; бескрылая, рабская тяжесть – свободой полёта; сумерки монотонной борьбы за существование озаряются светом, в котором порхает оживший цветок. . .

Вообще, метаморфоза – один из любимых сюжетов мировой литературы. Знаменитый роман Апулея, который с таким увлечением читал юный Пушкин, продолжили “Метаморфозы” Овидия, а затем ещё множество разных писателей соблазнялись идеей о преображении-метаморфозе. Причём иногда это была “метаморфоза наоборот”, как, например, случилось с героем Кафки господином Замзой. Ещё можно вспомнить и “Сказку о гадком утёнке”, и “Золушку”, и даже набоковское “Приглашение на казнь”. Ведь там Цинцинат Цинцинат (вряд ли, кстати, случайно двойное и как бы латинское имя героя) словно томится на стадии куколки, в которой болезненно зреет его ожидающее преображения существо. Окружающий мир – это мир гусениц; стены тюрьмы, в которую заключили героя, – как бы хитиновый саван; наконец, его казнь, разрушающая иллюзии и декорации прежнего существования, – это выход в иные пространства свободы, где псевдоказнённого ожидают те, настоящие, кто “подобны ему”.

И понятно, почему метаморфоза – любимый литературный сюжет. Ведь все мы, по сути, хотим одного: жить в раю. Но мы, вместе с тем, понимаем: такие, как есть, рая мы недостойны. Без преображения своего существа,

без его исправления и просветления мы притащили б и в рай только прежних себя и превратили бы кущи Эдема в привычные адские дебри.

А вот глядя на бабочек, веришь, что невозможное всё же возможно. Да, их красота как бы лишняя, — если смотреть с точки зрения гусениц, — и она не нужна для того прагматичного мира, в котором мы с вами живём. Но в то же время нет ничего ни важней, ни дороже, чем эта вот “лишняя” их красота. Именно созерцание бабочек заставляет нас остро почувствовать хрупкость и призрачность всей земной красоты и уповать на грядущее возвращение в рай.

Завершить же казанские очерки хочется текстом Аксакова. Тем более, что это последние строки, которые начертала рука одного из добрейших, душевнейших русских писателей. “Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть — иначе я не могу назвать её — ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции... но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обставлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: всё внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, — благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой”.

*г. Калуга  
2014*

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

## СТАЛИНСКИЙ ГРЁЗОФАРС СЕВЕРЯНИНА

*(Из книги “Игорь Северянин”, готовящейся к изданию в серии ЖЗЛ)*

Удивительная судьба у Игоря Северянина. Самый популярный поэт начала XX века, избранный королём поэтов в Москве в 1918 году и совершенно забытый уже к концу XX века. Был я недавно в букинистическом магазине в Петербурге: стопка книг об Андрее Белом, о Бальмонте, о Брюсове и ни одной книжонки об Игоре Северянине.

Думаю, он сам немножко повинен в этом. После Октябрьской революции он переселился на свою дачу в Богом забытом эстонском местечке Тойла, там и жил, женился на местной эстонской крестьянской девушке Фелиссе Круут, которая ради него перешла в Православие. Он оказался и вне России, и вне эмиграции, центры которой – Париж, Берлин, Прага, Белград – становились центрами русской культуры.

Поначалу он ещё ездил с выступлениями по этим центрам, издавал там книги – в Белграде, Риге, Берлине, – но в Германии к власти пришли нацисты, Европа раскололась, да и здоровья у поэта уже не хватало на длительные и дальние поездки. Самое страшное в его жизни наступает после разрыва с Фелиссой. Худо-бедно, но за ней стоял и её крепкий эстонский род, и, несмотря на отсутствие гонимых, с голоду бы не умерли, на жизнь поэту эстонские хуторяне наскребли бы средств. Не случайно и сам поэт перед смертью признавал свой разрыв с женой самой большой ошибкой в жизни.

С новой своей моложавой подружкой Верой Коренди Игорь Северянин уже был обречён на полную нищету. Мотались по самым дальним деревням, вроде Саракюлля, где Вера находила себе работу в сельской школе, но что делать там было русскому поэту? Ловить рыбу и с завистью смотреть на русский берег реки Нарова?

Где-то года с 1936-го он почти полностью перестал писать стихи – незачем, никто их не печатал, да и напечатанные никто не покупал.

Когда-то, в десятые годы XX века, вообразив себя “грёзёром”, молодой поэт своими грёзами о морях и ананасах, о шампанском и лилиях, о мороженом из сирени покорила российского читателя. Хотя и тогда поклонники, ближе познакомившись с ним, удивлялись: пишет об ананасах в шампанском, а сам пьёт водку с солёным огурцом. Грёзофарс...

Ироничный романтик Игорь Северянин и впрямь описывал не окружающую его жизнь, а свои грёзы о ней. Такой подход близок к подходу прозаика Александра Грина, тоже уходящего от скверной, нищей окружающей его жизни в свои “Алые паруса” и “Блистающие миры”.

Вот и проживая в жутчайших условиях, в сараюшках, хилых домиках в эстонских глухих селениях, спасаясь от голода ловлей рыбы, он только и мог, что мечтать о покинутой России. Он писал в своей одинокой глуши:

*Десять лет — грустных лет! — как заброшен в приморскую глушь я.  
Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп.  
Десять лет — страшных лет! — удушающего равнодушья  
Белой, красной — и розовой! — русских общественных групп.  
Десять лет — тяжких лет! — обескрыливающих лишений,  
Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды.  
Десять лет — грозных лет! — сатирических строф по мишени  
Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.*

1927

С белой эмиграцией он знаться не хотел, да и не было её в Эстонии. Эстонского языка Игорь Северянин так и не выучил, первые годы ему всё переводила жена Фелисса; когда он с ней разошёлся, стало тяжелее.

*Десять лет — странных лет! — отреченья от многих привычек,  
На теперешний взгляд, — мудро-трезвый, — ненужно дурных...  
Но зато столько ж лет рыб, озёр, перелесков и птичек,  
И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!*

От поэзии грёзофарсов и утонченных поэт он перешёл к пейзажной лирике и ностальгии по России. Такого поэта Игоря Северянина — русофила до мозга костей! — нынешняя Россия не знает вовсе...

*Как было некогда в Москве...  
Там были церкви златоглавы,  
И души — хрупотней стекла.  
Там жизнь моя в расцвете славы,  
В расцвете славы жизнь текла,  
Вспенённая и золотая!  
Он горек, мутный твой отстой.  
И сам себе стихи читая,  
Версту глотаю за верстой!*

4 августа 1928

Тойла

По сути, почти ничто не держало его в Эстонии, думаю, так бы и переехал назад в Россию, особенно после поездки в Берлин, где его друг-друг Владимир Маяковский чуть было не уговорил поэта вернуться в Москву, в активную поэтическую жизнь. "...В Берлине я, уговариваемый друзьями, — вспоминал Северянин, — хотел, не заезжая в Эстонию, вернуться в СССР, но Ф. М. (Фелисса Михайловна Круут, с которой он обвенчался в Эстонии в 1922 году) ни за что не соглашалась..."

Начинались его ностальгические грёзы по родине.

*И будет вскоре весенний день,  
И мы поедим домой, в Россию...  
Ты шляпу шёлковую надень:  
Ты в ней особенно красива...*

1925

Но желания надевать для России шёлковую шляпу у его жены не было. Грёзы опять превращались в фарс:

*И ты прошепчешь: "Мы не во сне?.."  
Тебя со смехом ущипну я  
И зарыдаю, молясь весне  
И землю русскую целюя.*

Мало кто из русских поэтов в эмиграции так тосковал по России, как, казалось бы, весь прозападный, весь “в чём-то норвежском, в чём-то испанском”, эпатажный поэт Игорь Северянин, своё творчество посвящающий России.

*О России петь — что стремиться в храм  
По лесным горам, полевым коврам...  
О России петь — что весну встречать,  
Что невесту ждать, что утешить мать...  
О России петь — что тоску забыть,  
Что Любовь любить, что бессмертным быть.*

1925

Такой образ поэта просто незнаком нынешним любителям поэзии Серебряного века. Где здесь башня замка, где королева, где фиалки? Где мороженое из сирени?

*Я русский сам, и что я знаю?  
Я падаю. Я в небо рвусь.  
Я сам себя не понимаю,  
А сам я — вылитая Русь!*

*Ночь под 1930-й год*

И это, пожалуй, основная линия в эмигрантской поэзии Игоря Северянина: понимание того, что без Родины нет и поэзии — так, одно ремесло. Бедный Северянин! Для него отсутствие России невосполнимо, он реально страдает в своём эстонском одиночестве. Русские стихи его никому не нужны, а переводить за деньги эстонских поэтов на русский по подстрочникам Фелиссы — тяжкая и скучная работа. Разве не обидно, что туристы едут в Россию из той же Эстонии, а он не может? Он не хочет отдавать наш русский Днепр чужим пришельцам. Северянин будто предвидит будущее:

### **ЗА ДНЕПР ОБИДНО**

*За годом год. И с каждым годом  
Всё неотступней, всё сильнее  
Влечёт к себе меня природа  
Великой родины моей.  
Я не завистлив, нет, но зависть  
Святую чувствую порой,  
Себе представив, что мерзавец —  
Турист какой-нибудь такой, —  
Не понимающий России,  
Не ценящий моей страны,  
Глядит на Днепр в часы ночные  
В сиянье киевской луны!*

6 марта 1936

Сегодня за Днепр обидно и миллионам русских, не понимающих, что же там устраивают на Днепре братья-хохлы. К Северянину приходит понимание своей собственной вины и вины миллионов эмигрантов, покинувших Россию. Тоньше и глубже всяких политиков и экономистов чувствует поэт Игорь Северянин, что его Россия отстраивается, мужает, крепнет, и уже без него, без всех, покинувших Отчизну.

По-своему, это противостояние главному тезису русских эмигрантов: мы не в изгнании, мы в послании...

### **БЕЗ НАС**

*От гордого чувства, чуть странного,  
Бывает так горько подчас:  
Россия построена заново —  
Не нами, другими, без нас...*



*Уж ладно ли, худо ль построена,  
Однако построена всё ж.  
Сильна ты без нашего воина,  
Не наши ты песни поёшь!  
И вот мы остались без родины,  
И вид наш и жалок, и пуст,  
Как будто бы белой смородины  
Обглодан раскидистый куст.*

*Март 1936*

Думаю, так же — с завистью, с ревностью, иные — с ненавистью — смотрели на возрождающуюся Державу миллионы русских эмигрантов, от Деникина до Врангеля, от Бунина до Мережковского, от Керенского до Милюкова. Было чему позавидовать! Ведь уезжая из России, они были уверены, что скоро все вернутся на руины и начнут создавать новую Россию, а она, матушка, и без них развернулась во всю мощь и ширь. А им лишь остаётся прозябать в эмиграции на чужих подачках, так и оставаясь до конца жизни чужими.

*Я сделал опыт. Он печален.  
Чужой останется чужим.  
Пора домой; залив зеркален,  
Идёт весна к дверям моим.*

*2 апреля 1936 года*

Тем более что в самой Европе бушует война, поэзия никому не нужна, жизни людские обесценены. Из своей эстонской деревушки Игорь Северянин поэтическим взором ухватывает главное:

*Нам в подлую эпоху жить дано:  
В культурную эпоху озверенья.  
Какие могут быть стихотворенья,  
Когда кровь льётся всюду, как вино!*

*Протухшая мечта людей гнойна,  
Наследие веков корыстью смято.  
Всё, что живёт и дышит, виновато.  
Культуры нет, раз может быть война!*

*Усть-Нарва  
11.01.40*

И он смело корит себя, русского, что недостаточно сил отдавал своей стране, своему народу. Этот былой певец причудливых миррелей и менестрелей тянется к своему народу, хочет помочь ему.

*Москва вчера не понимала,  
Но завтра, верь, поймёт Москва:  
Родиться Русским — слишком мало,  
Чтоб русские иметь права...  
Родиться Русским — слишком мало,  
Им надо быть, им надо стать!*

*“Предгневье”, 1925*

После революции он решил отсидеться на своей даче в Тойла, прихватил туда и старушку-мать, и двух своих последних подружек (одна из них — с его дочкой Валерией). Стал не советским, не антисоветским, а так, застрявшим дачником, как художник Илья Репин в своей Куоккале. Поначалу Владимир Ленин ему понравился тем, что сумел отменить войну, на что не решилось Временное правительство. Игорь Северянин даже воспел этот подвиг Ленина: “Я — вне политики и, право, // Мне всё равно, кто б ни был он. // Да будет честь ему и слава, // Что мир им первым заключён!” (март 1918).

Кстати, меня поражает наш вертлявый Евтушенко, в своё время воспевавший Ленина на все лады в своих “Братских ГЭС”, а ныне упрекающий Северянина, мол, не разобрался в коварности вождя, пытался оправдать человека, которого плохо знает. Но исторически-то прав Игорь Северянин, смело написавший вскоре после революции из своей эстонской деревушки: “Когда людская жизнь в загоне, // И вдруг – её апологет – // Не все ль равно мне – как: в вагоне // Запломбированном иль нет?..”

Тем самым Игорь Северянин сразу же себя обозначил для всей эмигрантской своры, орущей и проклинаящей Россию. Переступил черту, что неоднократно делал в своей жизни. И за что немедленно поплатился. В отличие от Евгения Евтушенко, по-лакейски меняющего свои убеждения чуть ли не каждый год. Ладно, Северянина упрекнул бы Мережковский или Бунин, злобные антисоветчики, это хотя было бы понятно, но когда его осуждает неустанный певец всего советского, вдруг ставший антисоветским, – это противно.

Может быть, именно за такое поведение Игоря Северянина предпочитают его не замечать и сегодня нынешние издатели и литературоведы. В Москве до сих пор не вышло ни одной книги о Северянине. Хорошо ещё, что в Эстонии нашлись и Юрий Шумаков, и Михаил Петров, и Сергей Исаков.

Своим дерзким поэтическим поведением Игорь Северянин замкнул кольцо своего одиночества, своего забывания. Эмигрантам он не подошёл из-за таких – то просоветских, то отчаянно русских – стихов, в Стране Советов он оставался чужим, поскольку жил в Эстонии. И хотя вместо антисоветских памфлетов он скорее пишет антиэмигрантские злые заметки, признавать в СССР его не торопятся. Да и кто доберётся до эстонских глухих деревень, что в Тойла, что в Саракюлля.

В 1931 году у поэта выходит его лучший эмигрантский сборник стихов “Классические розы”, далее последовало несколько продолжительных гастрольных поездок по Европе, и потом наступило полное забвение. Ни книг, ни публикаций, ни гастролей.

*Стала жизнь совсем на смерть похожа:  
Всё тщета, всё тусклость, всё обман.  
Я спускаюсь к лодке, зябко ёжась,  
Чтобы кануть вместе с ней в туман...*

*“В туманный день”*

Да и сам поэт пишет в письме другу: “Издателей на настоящие стихи теперь нет. Нет на них и читателя. Я пишу стихи, не записывая их, и почти всегда забываю”.

Остаётся в душе одна Россия. Сегодня трудно представить подобное состояние, да и бывлые поклонники грезёра Северянина отворачиваются от его стихов о России. Им стыдно за них.

*Много видел я стран и не хуже её —  
Вся земля мною нежно любима.  
Но с Россией сравнить?.. С нею — сердце моё,  
И она для меня несравнима!*

*Чья космична душа, тот плохой патриот:  
Целый мир для меня одинаков...  
Знаю я, чем могуч и чем слаб мой народ,  
Знаю смысл незначительных знаков...*

Не пугает поэта ни грязь, ни сплетни, ни оговоры: “Я Россию люблю – свой родительский дом – // Даже с грязью со всею и пылью...” Впрочем, только так и можно любить свою Родину.

*Я мечтаю, что Небо от бед  
Избавленье даст русскому краю.  
Оттого, что я русский поэт,  
Оттого я по-русски мечтаю!*

1922

Россия соединялась в душе поэта с его же глубинным православием, о котором тоже и не догадываются многие ценители северянинских поэм. Не случайно он неоднократно пешком ходил из своих эстонских деревень до Пюхтицкого монастыря, а это за тридцать километров. Обычно с ночёвкой у озера.

*На восток, туда, к горам Урала,  
Разбросалась странная страна,  
Что не раз, казалось, умирала,  
Как любовь, как солнце, как весна.*

*И когда народ смолкал сурово  
И, осиротелый, слеп от слёз,  
Божьей волей воскресала снова, —  
Как весна, как солнце, как Христос!*

1925

Конечно, образ православного русского поэта непривычен для былых читателей поэзии Игоря Северянина, он им даже чужд и не нужен. Может быть, поэтому эстонский Северянин и перечёркнут для современного читателя?

*Ты потерял свою Россию.  
Противоставил ли стихию  
Добра стихии мрачной зла?  
Нет? Так умолкни: увела  
Тебя судьба не без причины  
В края неласковой чужбины.  
Что толку охать и тужить —  
Россию нужно заслужить!*

1925

Голодный, оборванный, полунищий поэт в эстонских деревушках мечтает о великой России, ищет к ней пути. Он понимает, что все западные сплетни и домыслы о его стране, как правило, фальшивы, он и на себе познал весь смысл европейской демагогии, и потому предупреждает свою Россию, чтобы она не принимала всерьёз все европейские советы.

*Вот подождите — Россия воспрянет,  
Снова воспрянет и на ноги встанет.  
Впредь её Запад уже не обманет  
Цивилизацией дutoй своей...  
Встанет Россия, да, встанет Россия,  
Очи раскроет свои голубые,  
Речи начнёт говорить огневые —  
Мир преклонится тогда перед ней!  
Встанет Россия — все споры рассудит...  
Встанет Россия — народности сгрудит...  
И уж у Запада больше не будет  
Брать от негодной культуры росток.*

1925

Как своевременен такой призыв поэта, будто сегодня написано, будто написано совсем другим поэтом. Исчезли его былая манерность, эпатаж, эгоцентризм.

И вот с таким уже трепетным отношением к новой России Игорь Северянин встречает 1940 год. “Что касается помощи от Союза Эстонских писателей, — сообщил он поэту Георгию Шенгели, — могу сказать одно: до сих пор никто ничего не дал и даже не написал мне. Вряд ли и дадут, так как, в массе, терпеть меня не могут: я не усвоил языка и т. д. Вообще, за все 23 года я был в стороне от них, а они от меня...”

К 1940 году Игорь Северянин совсем перестал писать стихи, здоровье резко ухудшилось, но денег не было ни на лечение, ни на саму жизнь. И потому без всяких политических причин, без лакейства и трусости, он искренне, как никто другой, был рад присоединению Эстонии к Советскому Союзу. Он писал Георгию Шенгели: “Я очень рад, что мы с Вами теперь граждане одной страны. Я знал давно, что так будет, я верил в это твёрдо. И я рад, что это произошло при моей жизни: я мог и не дожидаться: ранней весной я перенёс воспаление левого лёгкого в трудной форме. И до сих пор я не совсем здоров: постоянные хрипы в груди, ослабленная сердечная деятельность, усталость после небольшой работы. Капиталистический строй чуть совсем не убил во мне поэта: в последние годы я почти ничего не создал, ибо стихов никто не читал. На поэтов здесь (и вообще в Европе) смотрели, как на шутов и бездельников, обрекая их на унижения и голод. Давным-давно нужно было вернуться домой, тем более что я никогда врагом народа не был, да и не мог им быть, так как я сам бедный поэт, пролетарий, и в моих стихах Вы найдёте много строк протеста, возмущения и ненависти к законам и обычаям старой и выжившей из ума Европы...”

Мало что зная о Советском Союзе, он поэтизирует его так же, как раньше поэтизировал своих принцесс из замков. Я бы назвал этот последний в его жизни цикл стихов “Сталинский грёзофарс”. Вот одно из стихотворений, называется “В наш праздник”:

*Взвивается красное знамя  
Душою свободных времён.  
Ведь всё, во что верилось нами,  
Свершилось, как сбывшийся сон.  
Мы слышим в восторженном гуле  
Трёх новых взволнованных стран:  
— Мы к стану рабочих примкнули,  
Примкнули мы к стану крестьян.  
Наш дух навсегда овесенен.  
Мы верим в любви торжество.  
Бессмертный да здравствует Ленин  
И Сталин — преемник его!*

Его сразу же напечатала газета “Советская деревня” (Нарва, 13 августа). В этой газете были опубликованы две большие подборки советских стихов Игоря Северянина. Он пишет в Москву Шенгели 9 октября 1940 года: “Все три стихотворения “В наш праздник”, “Наболевшее...”, “Привет Союзу” были помещены в нарвской газете “Советская деревня” и, кроме того, взяты у меня спецкором “Правды” П. Л. Лидовым и В. Л. Тёминым, когда 11 августа они посетили меня в Усть-Нарове и долго беседовали со мною, сделав более десяти снимков с меня дома и на реке”. Вторая публикация в нарвской газете, состоявшаяся 6 сентября 1940 года, включала в себя два стихотворения Игоря Северянина: “Наболевшее...” (“Нет, я не беженец, и я не эмигрант...”), написанное за год до того (26 октября 1939 года), и “Привет Союзу!” (“Шестнадцатиреспубличный Союз...”), написанное 28 июля 1940 года.

Думаю, вряд ли случайно, без задания сверху, его в Усть-Нарве посетили два спецкора из “Правды” и “Известий”, двух центральных советских газет. Значит, интересовала судьба известного русского поэта и наших идеологов.

О стихах советского периода Игоря Северянина я нашёл только одну публикацию — литературоведов Е. Куранда и С. Гаркави. “Стихотворения Игоря Северянина 1939–1941 годов: к вопросу текстологии и истории публикации”. Я полностью согласен с ними. Литературоведы пишут: “В центральной прессе стихи Игоря Северянина появляются в марте следующего года — в мартовском номере журн<ала> “Красная новь”. Это всё тот же “Привет Союзу!”, правда, с купюрами четырёх строк и “Стихи о реках” (“Россонь — река совсем особая...”), написанные тогда же, 8 сентября 1940 года>.”

В мае 1941 года имя Игоря Северянина появляется на страницах журн<ала> “Огонёк”. Его стихотворение помещено в рамке, в центре страницы, на которой напечатаны три рассказа Вересаева. В той же рамке, под стихотворением Северянина “О том, чьё имя вечно ново”, помещено стихотворение М. Исаковского “Песня” (“На горе белым-бела // Утром вишня рас-

цвела...”). Здесь, на наш взгляд, любопытен и выбор стихотворения Северянина, и его соседство с Исаковским. Дело в том, что 12 сентября 1940 г<ода> в письме к Г. А. Шенгели Игорь Северянин посылает своему корреспонденту-благодетелю два стихотворения “Стихи о реках” и “Сияет даль...”, написанные 8 сентября, сопроводив их словами: “<...> м<ожет> б<ыть>”, отдадите их куда-либо, напр<имер>, в “Огонёк” или др<угой> журн<ал>, – этот гонорар меня весьма поддержал бы”.

Как видим, “Огонёк” (а скорее всего, Г. Шенгели, пристраивавший стихи Игоря Северянина в центральной советской печати) предпочёл в качестве дебюта Северянина в роли советского поэта другое стихотворение, написанное в 1933 году, в его эмигрантский период. В качестве объяснения можно привести следующие соображения. “О том, чьё имя вечно ново” – произведение на беспроегрешную, с точки зрения создания советской репутации поэту, “пушкинскую” тематику, а Игорь Северянин в создании новой репутации – советского, или, по крайней мере, лояльного советской стране поэта, – безусловно, нуждался. Пушкинская же тематика и “пушкиноведение” как отрасль государственной пропаганды приобрело в середине 1930-х годов знаковый смысл, обращение к этой теме в общем хоре других участников государственно одобряемых мероприятий практически стало мандатом политической лояльности. Согласен я и с мнением литературоведов, что “... часто говорят, что пишущий на советские темы Игорь Северянин – это “другой Северянин”, а его стихи осени 1940–1941 г<одов> “крайне слабые”. Мы не разделяем этого мнения. То воодушевление, то “живое дело”, то творческое общение, которые он обрёл в последний год своей жизни, не дают к этому оснований. Стихотворения, написанные в “советский период”, – это “тот самый Северянин”, что и в ранних своих стихах: по поэтической технике, по способу восприятия действительности”.

Е. Куранда и С. Гаркави считают, что, вполне возможно, если бы не война, то Игорь Северянин был бы принят в Союз писателей СССР и занял бы вполне достойное место среди советских писателей. В тридцатые-сороковые годы немало вернувшихся из эмиграции литераторов были доброжелательно восприняты советской властью, среди них и Куприн, и Вертинский... Почему бы и Северянину было не занять среди них самое почётное место? Литературоведы считают верной линию поведения поэта, его “сталинский грёзофарс”: “Таким образом, стратегии презентации (исходившие, как небезосновательно можно предположить, от благодарного ученика Шенгели) и самопрезентации “нового”, советского (или, выражаясь в духе самого поэта, “осовеченного”) Игоря Северянина вполне можно назвать правильными, и, возможно, они дали бы успешный результат, если бы Игорю Северянину и Шенгели было бы отпущено чуть больше времени. Ведь помимо продвижения стихов Игоря Северянина в центральной печати, Шенгели планировал прибегнуть к ещё одной установившейся в 1930-е годы писательской практике – личного обращения к Сталину. Обсуждению этого сценария посвящено письмо Шенгели Игорю Северянину от 28 сентября 1940 года, частично цитированное исследователями, полный текст которого хранится в РГАЛИ: “Стихи, присланные Вами мне, поразительно трогательны и прекрасны, но я думаю, что не стоит Вам начинать печататься с них. Вот в чём дело. У Вас европейское имя. Однако за долгие годы оторванности от родной страны Вас привыкли считать у нас эмигрантом (хотя я прекрасно знаю, что Вы только экспатриант), и отношение лично к Вам (не к Вашим стихам) у нашей литпублики настроенное. Это понятно. И поэтому, мне кажется, Вам надлежит выступить с большим программным стихотворением, которое прозвучало бы как политическая декларация. Это не должна быть “агитка” – это должно быть поэтическим самооглядом и взглядом вперёд человека, прошедшего большую творческую дорогу и воссоединившегося с родиной, и родиной преобразённой.”

И послать это стихотворение (вместе с поэтической и политической автобиографией, с формулировкой политического кредо) надо не в “Огонёк” и т. п., а просто на имя Иосифа Виссарионовича Сталина. Адресовать просто: “Москва, Кремль, Сталину”. Иосиф Виссарионович поистине великий человек, с широчайшим взглядом на вещи, с исключительной простотой и отзывчивостью. И Ваш голос не пройдёт незамеченным – я в этом уверен. И тогда всё пойдёт иначе.

Поэтому позвольте мне пока призадержать Ваши стихи; если Вы найдёте, что их всё же следует передать в журналы, – напишите, и я немедленно

предприму нужные шаги. <...> Я не мог не порадоваться, читая Ваши стихи. Прежняя певучая сила, прежняя “снайперская” меткость эпитета. Какой Вы прекрасный поэт, Игорь Васильевич! И я больше чем уверен, что Вы ещё направите “колесницу Феба зажечь стопламенный закат!” Вспомните Тютчева, который лучшие стихи написал под старость, а Вам и до старости далеко: 53 года всего”.

Игорь Северянин последовал совету. По крайней мере, в его письме к Г. Шенгели от 31 января 1941 года содержится отчёт о промежуточном результате работы (или её намерениях) над такой манифестацией: “Письмо И. В. Сталину у меня уже написано давно, но я всё его исправляю и дополняю существенным. Хочется, чтобы оно было очень хорошим”.

Дальнейшая судьба письма Игоря Северянина к Сталину неизвестна, но поэтическая декларация, которая должна была бы стать наглядным подтверждением намерений, провозглашаемых в письме, была написана и выслана Г. Шенгели. Мы имеем в виду стихотворение Игоря Северянина, до сих пор полностью не введённое в научный и читательский оборот. Это стихотворение “Красная страна”. Впервые оно упомянуто в письме к Шенгели от 23 мая 1941 года: “А что “Красная страна”? Разве её никто не берёт? На мой взгляд, она неплохо сработана. Не послать ли мне её Дунаевскому? Посоветуйте вообще, что ему послать”.

Рождался хороший ли, плохой, но новый советский поэт Игорь Северянин. Может быть, в мечтах старого и большого романтика видится, что его стихи приравнены к стихам Володи Маяковского. Он пишет в письме к Шенгели от 9 ноября 1940 года: “В скором времени я напишу Сталину, ибо знаю, что он воистину гениальный человек”. И далее делится своими планами: “Я хотел бы следующего: пять-шесть месяцев в году жить у себя на Устье, готовить стихи и статьи для советской прессы, дыша дивным воздухом и в свободное от работы время пользуясь лодкой, без которой чувствую себя, как рыба без воды, а остальные полгода жить в Москве, общаться с передовыми людьми, выступать с чтением своих произведений и совершать, если надо, поездки по Союзу. Вот чего я страстно хотел бы, Георгий Аркадьевич! То есть быть полезным гражданином своей обновлённой, социалистической страны, а не прозябать в Пайде...”

В разгоряченном мозгу стареющего поэта уже бушуют грандиозные замыслы, хотя в жизни продолжают все те же бытовые проблемы, прежде всего, – катастрофическая нищета. Он ждёт советских гонораров, посылает стихи в советские журналы.

*Прислушивается к словам московским  
Не только наша Красная земля,  
Освоенная вечным Маяковским  
В лучах маяковидного Кремля,*

*А целый мир, который будет завтра,  
Как мы сегодня, — цельным и тугим,  
И улыбнётся Сталин, мудрый автор,  
Кто стал неизмеримо дорогим.*

*Ведь коммунизм воистину нетленен,  
И просияет красная звезда  
Не только там, где похоронен Ленин,  
А всюду и везде, и навсегда.*

Первым в этом сталинском цикле было написано стихотворение “Привет Союзу!” 28 июля 1940 года, затем – “В наш праздник”. Поэт стал неожиданно для самого себя воплощать свои уже советские грёзы в цикл стихов о всё ещё незнакомой, но родной державе:

*Только ты, крестьянская, рабочая,  
Человечекровая, одна лишь,  
Родина, иная, чем все прочие,  
И тебя войною не развалишь.*

*Потому что ты жива не случаем,  
А идеей крепкой и великой,  
Твоему я кланяюсь могучему,  
Солнечно сияющему лику.*

*13 сентября 1940*

Думаю, вряд ли Георгий Шенгели сам, через своих знакомых устраивал публикации Северянина в советских центральных журналах. Такого просто не могло быть. Я уж не знаю, на каком вершине, может, с подачи самого Сталина, но было дано добро на возвращение Северянина в русскую советскую литературу. Достойным завершением “сталинского грёзофарса” стало стихотворение “Красная страна”.

Думаю, если бы не начавшаяся война, этот стих стал бы главным в триумфальном возвращении поэта на союзную арену. Увы, не случилось. “Красную страну” уже готовил к публикации в ленинградском альманахе при Издательстве писателей в Ленинграде известный советский поэт Всеволод Рождественский. Позже он вспоминал: “Весною 1941 г<ода> Издательство писателей в Ленинграде получило от него [Северянина] несколько сонетов о русских композиторах, которые решено было поместить в одном из альманахов. Мне как редактору сборника выпало на долю известить об этом автора, а издательство одновременно перевело ему гонорар. В ответ было получено взволнованное письмо. <...> Мне он прислал небольшой свой сборник “Адриатика” (1932) с дарственной надписью...” Приведу ещё одну цитату из письма Всеволода Рождественского в Эстонию Северянину: “Если Вы со временем приедете к нам в Ленинград (а это было бы очень хорошо), Вы увидите много интересного и ценного в нашей молодой советской поэзии. У нас есть талантливая, живая молодёжь, и главное – есть тема, о которой стоит и хочется писать. И у нас есть уважение к мастерам, честно трудившимся над раскрытием прекрасных свойств русского стиха.

За эти годы я, как и многие мои сверстники, ничего не знал о Вас; было приятной неожиданностью убедиться в том, что Вы живёте творчески, полны творческих сил и надежд. Я совершенно уверен в том, что возвращение к родине даст Вам новые и новые творческие радости. Мне было очень приятно услышать Ваш голос, потому что я ещё со дней своей юности многое ценил в Вашем творчестве. Я всегда слышал в Вас подлинного поэта, даже тогда, когда внутренне спорил с Вами (а это бывало нередко, потому что росли мы в различной поэтической среде и культуре).

Время унесло многое, оставив только подлинную поэтическую сущность. А “сущность” эта в чувстве братской преемственности того наследия, которое оставлено нам бессмертием нашей русской лирики в классическом её выражении.

Я любил в Вас смелость и непосредственность поэтического слова. Но, если уж говорить о себе лично, предпочитал бурному потоку словесных новшеств, создававших Вам такую шумную славу, волнующую простоту Ваших не облачённых в пёстрые одежды лирических стихов, м<ожет> б<ыть>, не таких видных и броских, но несущих в себе тайну пленительной, фетовской свежести.

Многие годы жило в моей душе то, чего, м<ожет> б<ыть>, и не помнят Ваши самые шумные почитатели:

*Какие дни теперь стоят!  
Ах, что это за дни!  
Цветёт, звенит, щебечет сад —  
Господь его храни!  
<...>  
Я не могу в такие дни  
Работать — не могу!..”*

Игорь Северянин из своей глуши немедленно “отсеверянил” своему давнему питерскому знакомцу, очень рад был и полученному авансом гонорару. Ждал уже выхода альманаха. Все планы разрушила война. При первых бомбёжках Ленинграда издательство было уничтожено, а вместе с ним сгорел и альманах со стихами Северянина. Оригинал стихотворения “Красная страна” и сейчас хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, в архиве С. А. Семёнова с редакторской правкой Рождественского.

## КРАСНАЯ СТРАНА

*Стройной стройкой строена  
Красная страна,  
Глубоко освоена  
Разумом она.  
Ясная, понятная,  
Жаркая, как кровь,  
Душам нашим внятная  
Первая любовь.  
Ты, непокоримая,  
Крепкая, как сталь,  
Родина любимая —  
Глубь, и ширь, и даль.  
Радость наша вешняя,  
Гордость наша ты,  
Ты — земная, здешняя,  
Проще простоты.  
Мира гниль подлецкая  
Вся тебе видна,  
Честная советская  
Умная страна.  
Враг глухими тропами  
Не пройдёт сюда.  
Светит над Европою  
Красная звезда.  
И в пунцовых лучиках  
Худшее сгниёт,  
Остальное ж, лучшее  
К нам само придёт.  
Над землёй возносится  
Твой победный свет,  
Ты ведь мироносица,  
Лучше ж мира нет.  
Стойким сердцем воина  
Ты средь всех одна.  
Стройной стройкой строена  
Ты, моя страна!*

Думаю, это стихотворение злободневно и по сегодняшней день. “Сталинский грёзофарс” состоялся. Всеволод Рождественский предвидел новый поэтический взлёт Северянина, его советское восхождение. Он очень верно писал Северянину из Ленинграда: “Скажу больше: Вы как поэт ещё недостаточно раскрыты для русского читателя, и завершение Вашей поэтической судьбы и оценки ещё впереди. Уже завоеванное — остаётся при вас, но сверх этого возникает новое ощущение Игоря Северянина, роднящее его лирику с тем, что оставлено нам великими именами родной поэзии.

Здесь, на родине, в окружении того, чем мы привыкли дышать и жить с детства, среди наших берёз, под нашим небом, в воздухе непрерывной русской, пушкинской культуры Вам будет легче обрести тот подлинный голос лирики, который живёт в человеке неразрывно с чувством родной земли.

От всей души желаю Вам творческой бодрости.

С искренним приветом, Всеволод Рождественский.

Ленинград-28, пр. Володарского, 33, кв. 40, Всеволоду Александровичу Рождественскому”.

Удивительна судьба этих стихов: в наше перестроечное время они попали в самый “чёрный” список, по сути, запрещены. Как в советское время запрещали стихи антисоветские, так в перестроечное время стали нежелательны стихи, воспевающие советскую власть. Ни в якобы “Полном собрании сочинений в одном томе”, вышедшем в издательстве “Альфа-книга” в Москве в 2014 году, ни в Петербургском пятитомнике издательства “Логос” 1995 года



стихов из советского цикла Северянина вы не найдёте. Не понимаю издателей! Напишите, что это стихи неудачные или заказные, оправдывающие поэта перед властями, но если вы готовите полное собрание сочинений, будьте любезны — опубликуйте и весь “Сталинский грёзофарс”! Для того же Евтушенко это стихи, написанные от страха: “Здесь надежда так перепутана со страхом, что разобраться, где страх, а где надежда, уже невозможно”. Наш вечно лакействующий поэт не понимает: чего было бояться стареющему нищему, почти умирающему поэту Игорю Северянину? Это его грёзы о своём светлом будущем.

А в реальности грёзы были остановлены войной: немцы вошли в Таллинн, приближались к Нарве и тем деревушкам, где жил Игорь Северянин. Он пишет и Жданову в Ленинград и Калинин в Москву с просьбой, чтобы его срочно эвакуировали. Логика в этом есть: ведь эвакуировали и опальную Анну Ахматову из Ленинграда, и Зощенко, и Пастернака из Москвы, почему бы не позаботиться и об Игоре Северяnine? Тем более, что и попытки эвакуации были сделаны.

Как рассказывает таллиннскому северяниноведу Михаилу Петрову вдова лечащего врача Игоря Северянина Вера Круглова: “Игорь Васильевич действительно был болен. Диагноз был таков: сердечная недостаточность. Не всё было в порядке и с лёгкими. Последние месяцы он либо сидел, либо лежал. Передвигался он лишь при необходимости и окончательно слёг, когда в Усть-Нарву вошли немцы. Леры с ними уже тогда не было. Помню фразу Игоря Васильевича: “Леру удалось отправить в Таллинн”. Кажется, это было ещё в самом начале войны. В это время эстонское правительство находилось в Нарве. Доктор Хион, он тогда был народным комиссаром здравоохранения, позвонил моему мужу и спросил, в каком состоянии Северянин и можно ли его эвакуировать. Этот звонок я очень хорошо помню, потому что была в кабинете мужа. Между прочим, они вместе с Хионом вместе учились в Тартуском университете и даже работали в анатомичке на одном трупе. Ну, это был такой официальный разговор. Мой муж описал, в каком состоянии Игорь Васильевич, что он может ходить, но больше лежит, чувствует себя плохо. На этом, собственно, разговор прекратился. Этот разговор мой муж передал Северянину в тот же день — он навещал его как врач ежедневно. А перед этим, значит, приехали Шумаковы. Я их не видела и знаю только со слов, что их было трое: отец, мать и сын. Для них это был как бы этап, а так как, вероятно, в Усть-Нарве у них более близких знакомых не было, то они, значит, разыскали Северянина. Всё это было в начале августа. Точной даты я теперь, конечно, не помню. Было ли это на следующий день после звонка Хиона или через два дня, я не могу сказать, но помню, что к нам пришли страшные взволнованные Игорь Васильевич и Вера Борисовна. Оба говорят, что рано утром приезжала машина и шофёр разыскивал поэта, а уехали Шумаковы. Уехали не простясь. Я ручаюсь за эти слова, я их слышала... А потом, когда Вера Борисовна вышла в другую комнату, Игорь Васильевич уже спокойно сказал мне такую фразу: “Всё равно бы она никуда не поехала”.

Была ли машина прислана за Северяниным или не была, точно никому не известно. В любом случае, тот факт, что Шумаковы, которых приютил Северянин в своем домишке, вдруг среди ночи куда-то уехали, выглядит очень подозрительно. Вполне мог тот же министр здравоохранения Эстонии Хион по звонку из Москвы взять с собой на машине и Северяниных. Но... машина ушла, а в Нарву пришли немцы.

В личной беседе с М. Петровым Юрий Шумаков рассказал: “В Усть-Нарву мы приехали в первых числах августа. Простите, но точные даты — это не моя стихия. Остановились в доме, где жил Игорь Васильевич. Он был болен, полёживал. Мы с отцом целыми днями пропадали в Нарве: хлопотали о получении эвакуационных удостоверений. (...) В один из таких дней в Нарве я попал на приём к Барбарусу, которого хорошо знал. Я рассказал ему о бедственном положении Игоря Северянина. Он обещал подумать, но, знаете ли, ему было не до этого. (...) Поздним вечером состоялся семейный совет. Времени на раздумья не оставалось: поезда уже не ходили, а другого транспорта не было. Я хорошо понимал, что все “прелести” пешего похода со стариками родителями лягут на мои плечи, но другого выхода не было. (...) Уходили до света. Будить Игоря Васильевича я не решился, даже записочку не успел оставить, ду- мал, поймёт”.

В письме к М. Петрову от Веры Кругловой от 28.06.1987: “Через Нарову построен понтонный мост. Эвакуация сов<етских> войск идёт через Нарву

и Усть-Нарву. Северянины перебираются на ул. Раху. И. В. сообщает, что к ним приехал Шумаков с семьёй. Леры с ними нет. Помню его (И. В.) фразу: “Леру удалось отправить в Таллинн”. Не помню, когда это было. Кажется, в самом начале войны. Вообще в Усть-Нарву Лера приезжала только погостить. О Шумакове я слышала от И. В. Говорил, что тот начал перевод “Калевипозга” на русский яз. Потом его неожиданный отъезд в данном случае, конечно, не оправдан и странен. Немудрено, что у И. В. это вызвало бурю негодований. А если учесть, что он ждал машину, по крайней мере, надеялся, что его перевезут в Ленинград, т<ак> к<ак> добраться иными путями в Ленинград ему было не под силу, то отсюда и уверенность, что Ш<умаков> воспользовался его машиной. Сейчас я склонна думать, что никакой машины и не было. Поговорили и забыли”.

По версии знатока северянинской жизни Михаила Петрова: “Скорее всего, дело обстояло совсем иначе. Юрий Шумаков добился приёма у Барбаруса с целью попросить помочь его семье с транспортом. Видимо, Барбарус, ссылаясь на трудности, отказал, но посоветовал присоединиться к Северянину, семью которого эстонское правительство собиралось вывезти. Кто информировал эстонское правительство о положении Северянина, неизвестно, но вряд ли это был Шумаков. Вера Коренди в своих воспоминаниях предполагает, что это был кто-то из Москвы.

Шумаковы, потратив безрезультатно ещё две недели на поиски транспорта, решили воспользоваться советом Барбаруса и в начале августа всей семьёй приехали в Усть-Нарву и поселились в доме, где жил поэт.

Частые поездки в Нарву отца и сына Шумаковых были связаны, конечно, не с оформлением выездных документов, которые уже месяц ждали своего применения, а, скорее, с усилиями именем Северянина ускорить выделение машины, узнать конкретную дату её приезда в Усть-Нарву.

Звонок доктора Хиона, о котором Северянин наверняка рассказал своим соседям по дому, означал, что машина завтра-послезавтра будет в Усть-Нарве. И они, как хищники, притаились в ожидании. А дальше... дальше свершилось всё так быстро, что “даже записку не успел оставить...”

Значит ли это, что Северянин не эвакуировался из-за угона Шумаковыми посланной за ним машины? Выскажем следующее предположение.

Больной Северянин не мог эвакуироваться без Веры Коренди. Она, по воспоминаниям Кругловой, оказалась заботливой и верной подругой. Вера Коренди с помощью своей семьи в Таллинне была единственным кормильцем в семье поэта. Скорее всего и она, испытав неудачный первый брак, очень дорожила новой семьёй, и её воспоминания в этом смысле не оставляют сомнений. Но эвакуироваться в сложившихся обстоятельствах она не могла, поскольку была преданной матерью, и оставить дочь, которая находилась у бабушки в Таллинне, было выше её сил. Она всячески до последнего момента поддерживала в Северянине надежду на эвакуацию, боясь причинить ему боль. Но в тайниках своей души молилась, чтобы машина не пришла. Для неё это был наилучший, самый безболезненный вариант. Возможно, она не догадывалась, что Северянин понимает её положение и давно с этим смирился.

Если бы машина пришла, и Северянин вынужден был бы отказаться от эвакуации, то шофёр машины, скорее всего, развернулся бы и уехал на свою базу: у него был приказ эвакуировать Северянина и его семью.

Надо думать, что за десять дней пребывания рядом с семьёй Северянина Шумаковы сумели трезво оценить положение и сделать свои выводы. Семью Шумаковых не устраивали оба варианта, и, выдав себя за семью Северянина, она скрытно, торопясь, по терминологии Петрова, “тихо покинула” Усть-Нарву.

Один из оппонентов этой версии – профессор Г. Исаков – упрекнул меня в том, что я представил Юрия Шумакова “уж слишком плакатным злодеем, демонической фигурой в стиле шекспировского Яго”. Отнюдь нет: обычные люди в экстремальных условиях, особенно когда речь идёт о жизни, часто забывают о моисеевых заповедях и руководствуются своим инстинктами. И прошедшая мировая война дала, к сожалению, достаточно таких примеров.

Вариант с похищением машины, может быть, и неосознанно, интуитивно устраивал Веру Коренди: она избежала открытого противостояния мужу, теперь вместе с Северяниным она могла вернуться в Таллинн к дочери и своей семье, ей страшно было оставаться одной с больным человеком и без

средств. И порыв негодования, с которым она поддержала Северянина, возмущённого поведением Шумаковых, был скорее данью их супружеской общности, чем её желанием.

Порой проявления человеческой судьбы через многие годы удивительно, как близнецы, похожи друг на друга: в 1941 году Игорь Северянин не вернулся в Россию, потому что его жена Вера Коренди не могла оставить дочь, семью, родину; в 1922 году в Берлине Владимир Маяковский предлагал Северянину вместе с женой Фелиссой Круут, не возвращаясь в Эстонию, уехать в Россию; Игорь Северянин не вернулся тогда в Россию, потому что понимал, что его жена не может оставить их сына, свою семью, свою родину.

А его родина, его “безбожная” Россия, лежащая рядом, за рекой, осталась для него недосыгаемой”.

Из письма Игоря Северянина к Всеволоду Рождественскому: “Деньги давно кончились, даже занять здесь негде. Продаём вещи за гроши... (...) Верю в Вас почему-то, Всеволод Александрович, и знаю, что, если Вы захотите, Вы можете выбраться отсюда. Повторяю, в общих условиях моё сердце не выдержит, и живым я не доберусь... (...) Жду ответа: ответьте, пожалуйста, немедленно”.

Что было бы с Игорем Северяниным, эвакуируйся он в Ленинград, трудно просчитать. Попал бы в блокаду и вскоре умер? Выехал бы в Москву и далее в Ташкент? Тем более, он успел уже по предложению Шенгели перевести по присланным подстрочникам цикл стихов туркменских поэтов. Переводы поэт отослал в Москву, дальнейшая судьба их неизвестна... Это тоже затейливый штришок “сталинского грёзофарса”: король поэтов Игорь Северянин переводит в Эстонии, лишь вчера ставшей советской, стихи туркменских поэтов. Думаю, при другом повороте судьбы такие переводы и стали бы основным заработком советского поэта Игоря Северянина, как и многих других.

В октябре Вера Коренди увозит совсем больного Северянина в Таллинн, где он и умер в декабре 1941 года. Похоронен на кладбище Александра Невского. На памятнике его строфа из “Классических роз”:

*Как хороши, как свежи будут розы,  
Моей страной мне брошенные в гроб...*

ОЛЬГА ОВЧАРЕНКО

## ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

(Главы из книги)

### ВСТУПЛЕНИЕ

Поздно вечером они вернулись из-за города, и он сразу лёг спать и провалился в волшебный сон. Он видел чудесный сад, в котором всё было на радость людям: звенел подснежный колокольчик, белел нежный ландыш, а рядом с ним росла скромная незабудка. До него доносились запахи фиалки, сирени и жасмина. Кругом летали птицы, и ощущалось присутствие незримых ангелов. В середине сада красовались огромные розы, из которых выглядывали девичьи лица: из белой розы глядела белая девица, из красной – красная, из черной – чёрная. Эти розы обрамляли чистый водоём, в котором сияла царственная лилия. Её аромат, казалось, сливался с Божиим дыханием, а на всём лежала печать недостижимого на земле покоя. Он слегка шевельнулся и вдруг увидел скорбное лицо своего отца – Поликарпа Ефимовича. Из-за его плеча робко выглядывала мама. Тут с белой розы упала росяная капля, и Юрий Поликарпович медленно стал просыпаться. Он обвёл взглядом комнату, понял, что находится в московской квартире и что пора собираться на работу в журнал “Наш современник”.

Тем временем верная Батима накрывала на стол. Завтракали они вместе со старшей дочерью Аней и приехавшими в Москву погостить из Казахстана сестрой и племянницей Батимы. Все почувствовали, что поэт погружён в себя, но поскольку это с ним случалось нередко, не придали этому значения.

Он же, словно получив сигнал из мира иного, мучительно что-то обдумывал. Наконец, вышел из-за стола, взял в руку папку с бумагами и сказал Батиме:

- Домой! Я должен ехать домой!
- Юра, ты дома. Тебе пора на работу, – сказала удивлённая Батима.

Он успел дойти до дивана, сел и потерял сознание. Аня бросилась вызывать “скорую”. Сестра Батимы, сама врач, стала прощупывать пульс и покачала головой. Приехавшая “скорая” могла только констатировать свершившееся: поэт скончался. Далее Батима ничего не помнила. Она отключилась. У Ани потом хватило сил ознакомиться с результатами вскрытия. Её шестидесятидвухлетний отец ничем не болел, не имел хронических болезней. Но вскрытие показало, что, по словам врача, у него было сердце девяностолетнего человека.

*Верно, мне позволил Бог увидеть,  
Как умеют предавать свои,  
Как чужие могут ненавидеть  
В ночь перед сожжением любви.*

*Вон уже пылает хата с краю,  
Вон бегут все крысы бытия.  
Я погиб, хотя за край хватаю:  
— Господи! А Родина моя?*

В его лирике неоднократно возникала тема его посмертной судьбы. Еще в 1974 году, почти за тридцать лет до смерти, он писал в стихотворении “Завещание”:

*Объятя возвращаю океанам,  
Любовь — морской волне или туманам,  
Надежды — горизонту и слепцам,  
Свою свободу — четырём стенам,  
А ложь свою я возвращаю миру.  
В тени от облака мне выройте могилу.*

*Кровь возвращаю женщинам и нивам,  
Рассеянную грусть — плакучим ивам,  
Терпение — неравному в борьбе,  
Свою жену я отдаю судьбе,  
А свои планы возвращаю миру.  
В тени от облака мне выройте могилу.*

Между тем, посмертная судьба поэта сложилась на редкость удачно. После смерти он получил, казалось бы, всё, о чём мог мечтать любой поэт: каждый год Институт мировой литературы, Литературный институт и Союз писателей России проводят посвящённые его творчеству научно-практические конференции и издают соответствующие научные труды. Вышло его пятитомное Собрание стихотворений, издаются сборники воспоминаний. В сознании если не народа, то, по крайней мере, русской интеллигенции всё более утверждается мысль: Юрий Кузнецов для своего времени был первым поэтом России.

Накал трагизма в его поэзии, плач о гибели земли Русской слишком высок и велик. На его могильной плите на Московском Троекуровском кладбище выбиты две строки, написанные им ещё в 1970 году:

*Но русскому сердцу везде одиноко...  
И поле широко, и небо высоко.*

## **В ЛИТИНСТИТУТЕ**

Когда читаешь о годах, проведённых Ю. Кузнецовым в Литературном институте им. М. Горького, то, несмотря на все сложности, противоречия разворачивавшихся вокруг его творчества дискуссий, возникает ощущение, что это лучшее место на земле. Институт был создан в 1933 году; специфика его заключалась и заключается в том, что значительную часть профессорско-преподавательского корпуса составляют писатели, которые делятся со студентами секретами своего профессионального мастерства. Это подразумевает более свободную, чем в традиционном филологическом вузе, форму занятий: приглашение на них известных писателей, широкое обсуждение творческих работ членов того или иного семинара, творчески составленный учебный план.

10 апреля 1965 года Ю. Кузнецов отправил в Литинститут из Краснодара заявление с просьбой о приёме, автобиографию и подборку стихов.

Потребовали и ещё кое-какие документы, а кузнецовскую подборку отдали на рецензию известному поэту и критику Александру Коваленкову. Он был предельно осторожен, но всё-таки отметил ставшие знаменитыми кузнецов-

ские строки из стихотворения “На реке”: “И снова за прибрежными деревьями // Выщипывает лошадь тень свою”. Он дал положительный, хотя и не держащий в себе восторгов отзыв о стихах Кузнецова.

Более щедрым на похвалы оказался второй рецензент – известный поэт Владимир Соколов.

Экзамены проходили в октябре, и сдал их Кузнецов без блеска, получив тройки за сочинение, устную литературу и историю, четвёрку – за русский устный и пятёрку – за испанский язык. Этих баллов хватало для поступления на заочное отделение, а поэт не переставал мечтать о дневном.

Я считаю, что в Литинституте ему также сразу повезло: он попал на семинар знаменитого критика Александра Алексеевича Михайлова, специализировавшегося на исследовании поэзии. Александр Алексеевич был оппонентом моей кандидатской диссертации, и я его хорошо знала. Доброжелательный, особенно к молодёжи, блестяще знающий свой предмет – получить его отзыв о себе считалось само по себе хорошей рекомендацией. Он сделал много дельных замечаний Ю. Кузнецову, например: “Зачем вам эта поза усталого от жизни, разочарованного и разуверившегося человека? Ей же богу, это уже скучно и неинтересно, и давно всем надоело”...

Кузнецов просил у Михайлова характеристику, чтобы перевестись на дневное отделение. Но Михайлов дал характеристику настолько сдержанную, что полный негодования Кузнецов швырнул в него стулом.

Помог Ю. Кузнецову поэт-фронтвик Михаил Львов. Он, с одной стороны, заручился ходатайством председателя творческого бюро поэтов Ярослава Смелякова, с другой – договорился со своим другом Сергеем Наровчатовым, который вёл в Литинституте поэтический семинар. У Наровчатова была своя традиция построения семинаров: на первых занятиях он выслушивал написанные за лето стихи студентов, затем проводил беседы – о происхождении поэзии, назначении поэта и поэзии, стихосложении. Часто обсуждались стихи популярных поэтов и студентов-“семинаристов”.

Мои воспоминания о Наровчатове относятся как раз к тем годам, когда у него учился Кузнецов. Личность была колоритная. Помню, мы с сестрой и родителями едем из дома творчества “Коктебель” в аэропорт Симферополя на “рафике” вместе с четой Наровчатовых. Сергей Сергеевич совершенно пьян, и Галине Николаевне мучительно стыдно за него. Она умоляет папу не спускать с него глаз, чтобы он не пропустил нужного нам самолёта. Наровчатов время от времени бросает величественные реплики: “Не с кем здесь общаться. Хемингуэй застрелился, а Шолохов сюда не ездит”. Или: “Были с писательской делегацией в Париже. Все покупали себе тряпки. А мы ничего не купили, не нашли размеров” (оба были очень полны). У него была прекрасная библиотека, которой, в частности, пользовался и Ю. Кузнецов.

И вот 6 декабря 1966 года на семинаре должно было обсуждаться его стихотворение “Зелёные поезда” (впоследствии переработанное в “Стихи о сельском интеллигенте”). В стихотворении речь идёт об интеллигенте, “начистившем туфли щёткою зубной”, едущем вместе с сельским трактористом Митькой в город. При этом деревня трактуется как “здравый смысл России”, а в городе интеллигент для себя места не находит.

Обсуждение превратилось в разгром. Двенадцать студентов, имена большинства которых неизвестны даже специалистам по русской литературе, высказались о стихах резко отрицательно. Не бросил камня в Кузнецова лишь Лев Котюков. Наровчатов заявил, что главный герой Кузнецова – это “нервный, колючий, неустроенный подросток”. Но прибавил: “Работа интересная. Я за такие поиски”.

Всех своих “семинаристов” Наровчатов перевёл на третий курс.

Через год Кузнецов опять обсуждался на семинаре и прославился не только на весь Институт, но едва ли не на всю страну стихотворением “Атомная сказка”.

*Эту сказку счастливую слышал  
Я уже на теперешний лад.  
Как Иванушка во поле вышел  
И стрелу запустил наугад.*

*Он пошёл в направленье полёта  
По серебристому следу судьбы*

*И попал он к лягушке в болото,  
За три моря от отчей избы.*

*“Пригодится на правое дело!” —  
Положил он лягушку в платок,  
Вскрыл ей белое царское тело  
И пустил электрический ток.*

*В долгих муках она умирала,  
В каждой жилке играли века.  
И улыбка познания играла  
На счастливом лице дурака.*

Это стихотворение теперь входит в школьную программу, хотя думается, что не оно является шедевром Кузнецова, но некоторым очень нравится воспринимать русский народ в виде Ивана-дурака. А в те годы о стихотворении Кузнецова писали и А. Михайлов, и влиятельный критик Ю. Барабаш.

Естественно, что похвалил своего студента и С. Наровчатов, порекомендовавший перевести его на четвёртый курс. Но это оказалось не так просто.

Ю. Кузнецову навязали курсовую работу о Я. Смелякове, и молодой поэт осмелился высказать ряд критических замечаний в адрес мэтра. Этого Литинститут допустить не мог, и рецензию на курсовую работу Кузнецова писал маститый советский критик Василий Семёнович Сидорин. Конечно, он взял Смелякова под защиту, и переведён на четвёртый курс дерзкий студент был только стараниями Наровчатова.

Сложная история с курсовой не сделала Кузнецова осторожнее. Следующее недоразумение произошло у него с профессором Друзиным на семинаре по творчеству Блока. Всё началось из-за незначительной реплики.

Друзин процитировал знаменитые слова Блока:

*Сотри случайные черты —  
И ты увидишь: мир прекрасен.*

Тут раздались слова: “Это легковесно для Блока!”

К поэзии Блока Кузнецов относился уважительно. В 1970 году в стихотворении “Поэзия давно легендой стала” он писал:

*Три поколенья после Блока — серо,  
Соперника не родилось ему.  
Кто искру даст славянскому уму?  
На Западе нет вещего примера,  
И сами не приходим ни к чему.*

Тем не менее, конфликт с Друзиным пришлось улаживать долго.

Вообще же Кузнецову в институте из преподавателей нравились античница Аза Алибековна Тахо-Годи, “древница” Ольга Александровна Державина, зарубежники Валентина Александровна Дынник и Сергей Дмитриевич Артамонов, преподаватель русской литературы Михаил Павлович Ерёмин, аспирант Константин Кедров.

Что касается друзей, то в молодёжных компаниях, которых всегда так много собиралось в общежитии, поэт участвовал, но “в поколение друга не нашёл”. Он высоко ценил Рубцова, но они практически не общались. Однажды Рубцов зашёл на кухню, где находился Кузнецов. Подставив под кран пустую бутылку, он взглянул на Кузнецова и спросил:

— Почему вы со мной не здороваетесь?

Кузнецов пожал плечами, а Рубцов, уходя, сказал:

— Я гений, но я прост с людьми.

Кузнецов подумал: “Не много ли: два гения на одной кухне?”

Жизнь поэта, в конечном итоге, всегда тайна. Особые обстоятельства сопутствовали его знакомству с его будущей женой Батимой Каукеновой.

Достоверно известно, что “душой исполненный полёт” Ю. Кузнецова произошёл 9 ноября 1967 года. Его позвали в студенческую компанию, где его

уже дожидалась неизвестная красавица. Поэт захотел её поцеловать, она стала уворачиваться.

- Или-или! – закричал поэт.
- А что такое? – спросила она.
- Или я прыгаю из окна.

До земли оставалось шесть этажей, и Кузнецов прыгнул в сторону водосточной трубы, по которой он надеялся добраться до земли. На высоте четвёртого этажа он вначале застрял между стеной и трубой, затем разжал руки и полетел вниз. Его срочно увезли в больницу.

А в это время его однокурсница с переводческого отделения Батима Каукенова звонила с первого этажа общежития родным в Семипалатинск. Это она вызвала “скорую” и стала навещать Кузнецова в больнице, где он пробыл, впрочем, недолго. Юрий давно нравился Батиме, но раньше они не общались.

И вот теперь:

*За сияние севера я не отдам  
Этих суженных глаз, рассечённых к вискам.*

*В твоём голосе мчатся поющие кони,  
Твои ноги полны затаённой погони.*

*И запястья летят по подушкам без ветра,  
Разбегаются волосы в стороны света.*

*А двуострая грудь серебрится...  
Так вершина печали двоится.*

Батима Каукенова, на которой Кузнецов женился 11 января 1969 года, стала его верной спутницей, матерью двух его дочерей, заботливой хозяйкой его дома, а после смерти поэта – хранительницей памяти о нём.

Не всегда всё было гладко, как в любой семье, и эти шероховатости порой отражались в лирике Кузнецова, но истинное отношение его к жене отразилось в стихотворении “Серебряная свадьба в январе” (1994):

*Луна и снег блестят. И серебрятся  
Уже навеки волосы твои.  
А чёрные до пят — мне только снятся,  
Их шум напоминает о любви.*

*Про эти сны, про этот шум потери  
Я расскажу тебе когда-нибудь.  
Покуда гости не толкнулись в двери,  
Я всё забыл — и свой увидел путь.*

*Садился шар. Заря в лицо мне била.  
Ты шла за мной по склону бытия.  
Ты шла в тени и гордо говорила  
На тень мою: — Вот родина моя!*

*И волосы от страха прижимала,  
Чтоб не рвались на твой родной Восток.  
Ты ничего в стихах не понимала,  
Как меж страниц заложенный цветок.*

*Хотя мы целоваться перестали  
И говорить счастливые слова,  
Но дети вдруг у нас повырастали  
Красивые, как дикая трава.*

*Над нами туча демонов носилась.  
Ты плакала на золотой горе.*



*Не помни зла. Оно преобразилось.  
Оно теперь — как чернь на серебре.*

Ю. Кузнецов говорил о Батиме: "...я за всю жизнь сказал, кажется, только три раза "люблю". И один из этих трёх раз выпал, конечно, той женщине, которая стала моей женой. Она у меня первая и последняя".

В марте 1969 года начались защиты дипломных работ в Литинституте. Отзывы на работу Кузнецова прислали Наровчатов, Владимир Мильков и зарубежник С. Д. Артамонов. Не пришедший на защиту Наровчатов в своём отзыве сосредоточился на "Атомной сказке". Присутствовавший на защите С. Поделков назвал прелестными знаменитые кузнецовские строки "И снова за прибрежными деревьями // выщипывает лошадь тень свою". Очень серьёзно подошёл к написанию отзыва С. Д. Артамонов. "В стихах Кузнецова, — писал он, — ощущается какая-то большая печаль. Она присутствует почти в каждой строке".

С. Д. Артамонов говорил о неоруссоизме, в котором видел здоровый консерватизм поэта.

"Стихи Юрия Кузнецова задушевные, лиричные и умные... Я от всей души желаю ему счастливого пути в большую поэзию".

Сергей Наровчатов из учителя постепенно стал другом Кузнецова:

*Ученик переходит на "ты"  
По старинному праву поэта.  
— Расскажи, как взрывала мосты  
Твоя юность над Стиксом и Летой.*

*Как скрипели перо и песок  
И строка на строку налетала.  
Только пули свистели меж строк,  
Оставляя в них привкус металла...*

*Так напхни последним друзьям,  
Так поведай грядущим невеждам,  
Как ты шёл по зелёным дворам,  
Как ты шёл по опавшим надеждам.*

*Как спросил у бегущего дня:  
"Чёрт ли там, молодой и безвестный?"  
И с опаскою вырвал меня,  
Словно грешного духа, из бездны.*

Литинститутская юность заканчивалась. Поэту предстояли суровые московские будни.

## **В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "СОВРЕМЕННОК"**

После окончания Литинститута Юрий Кузнецов и его жена Батима оказались без прописки и без работы. Начались годы скитаний по съёмному жилью. Вначале была комната на Лосиноостровской улице, потом — на улице Дыбенко. Батиме удалось оформить себе и мужу временную прописку на год. Сама она стала работать в Союзе писателей консультантом по казахской литературе, но длилось это недолго — у Союза писателей Казахстана был свой кандидат на этот пост.

Далее Батиме помог видный критик и парторг Союза писателей Чингиз Гусейнов. Он знал, что Верховному Суду нужны специалисты-тюркологи. Там Батима и проработала всю свою жизнь вплоть до недавних времён.

В декабре 1970 года у Кузнецовых родилась старшая дочь Аня. А вскоре нашёл работу и Юрий Поликарпович.

В 1970 году по инициативе русских писателей Леонида Соболева, Юрия Бондарева, Ивана Акулова, Сергея Михалкова и председателя Госкомиздата России Николая Свиридова было создано издательство "Современник". Оно не скрывало своей патриотической направленности.

Первым директором издательства был замечательный специалист по творчеству Есенина Юрий Прокушев. Первой выпущенной в издательстве книгой стала военная проза М. Шолохова. В издательстве работали тонкий лирик Ю. Панкратов, писатель-деревенщик Владимир Крупин, поэты Игорь Ляпин, Геннадий Фролов, Алексей Миньков, публицист Александр Байгушев. Главным редактором издательства в 1970–1980-е годы был поэт Валентин Сорокин.

Есть легенда, что Сорокин и привёл Кузнецова в издательство, ибо в Тихорецке его об этом слёзно молила мать поэта Раиса Васильевна, работавшая администратором в гостинице, где остановился Сорокин.

Хлопотал за Кузнецова и Сергей Наровчатов, ставший к тому времени руководителем Московской писательской организации. Взяли поэта вначале на низовую должность младшего редактора в редакцию национальных литератур. Его начальником был прозаик Ванцетти Чукуреев, сделавший в 1973 году Кузнецова своим заместителем.

К этому времени “Современник” считался лучшим издательством России. Он выпустил книги Ф. Абрамова, В. Белова, В. Шукшина, В. Распутина, В. Лихоносова, Б. Можая, В. Чивилихина, П. Проскурина, А. Иванова.

Работа Кузнецова была непроста, ибо многие русские поэты рассматривали перевод национальных поэтов как кормушку и узаконенную халтуру. За этим стояла борьба целых переводческих кланов. Кузнецов пытался этому противостоять, но это не всегда получалось.

В издательстве Кузнецов завёл друзей – Геннадия Фролова, Ванцетти Чукуреву, Юрия Панкратова, Владимира Дробышева.

“Улучшились” и его жилищные условия. В 1972 году Верховный Суд предоставил Батиме с мужем и дочкой шестнадцатиметровую комнату на Большой Серпуховке. По воспоминаниям современников, окно у поэта было завешено старыми газетами, мебель отсутствовала, в углу располагался резиновый матрас. Прожил там поэт до 1977 года. Соседями по коммуналке были татарская (он – безногий, она – слепая) и еврейская семьи.

В 1978 году Ю. Кузнецов написал стихотворение “Воспоминание о Большой Серпуховке”:

*На базарах сороки-воровки  
Не болтают про те времена,  
Как я жил на Большой Серпуховке  
На кошмарах и ступе вина.*

*Что за думы на крюк попадались!  
Что за сети ловили мой дух!  
Что за твари на шею кидались!  
Что за бури тягчили мой слух!*

*За стеною кричала старуха,  
И таилась у самых дверей,  
Напрягая отвислое ухо,  
Человек непонятных кровей...*

*Но, не глядя, по русскому нраву,  
По широкой привычке своей,  
Я плевал на забвеньё и славу  
И на подлую тень у дверей.*

Конечно, работая в издательстве, Кузнецов мечтал об издании своих книг. И вот, в 1974 году вышла его книга “Во мне и рядом – даль”, о которой заговорила вся литературная пресса. Была даже идея выдвинуть Кузнецова на премию Ленинского комсомола. В 1975 году поэт был избран делегатом IV съезда писателей РСФСР, где выступил с резкой критикой состояния советской поэзии.

“Мне лично кажется, – заявил он, – что вот уже лет двадцать в поэзии царит быт... А ведь назначение поэта в том и состоит, чтобы за поверхностным слоем быта узреть самое бытие”.

Свободными от быта Ю. Кузнецов считал Твардовского, Сергея Орлова, Николая Рубцова, Николая Тряпкина, а пленённым бытом – Евгения Винокурова, Леонида Мартынова, Игоря Шкляревского.

Эту речь постарались замолчать, и карьера Кузнецова в “Современнике” приостановилась. Уже не могло быть и речи о назначении его на должность заведующего редакцией национальных литератур.

В 1976 году у поэта вышла вторая московская книга “Край света – за первым углом”, после чего Кузнецов решил уйти на вольные хлеба.

В 70-е годы были созданы такие его стихотворения, как “Поющая половица”, “Востоку”, “Возвращение”, “Четыреста”, “Я пил из черепа отца”, “Знамя с Куликова”, “Память”, “Муха”, поэма “Золотая гора”.

За некоторые из них ему досталось от критики. Больше всего, наверно, за стихотворение “Я пил из черепа отца”:

*Я пил из черепа отца  
За правду на земле,  
За сказку русского лица  
И верный путь во мгле.*

*Вставали солнце и луна  
И чокались со мной.  
И повторял я имена,  
Забывшие землём.*

Кузнецову пришлось оправдываться, объяснять, что первую строчку стихотворения следует понимать метафорически. 9 мая 1944 года отец поэта Поликарп Ефимович был похоронен на братском кладбище села Терновка под Севастополем. Поэтому

*И повторял я имена,  
Забывшие землём.*

Раньше, в 1974 году было создано стихотворение “Четыреста”, посвящённое тому, как Юрий Кузнецов восстанавливал имена бойцов, погибших вместе с его отцом:

*Остановились на лету  
Хребты и облака.  
И с шумом сдвинула плиту  
Отцовская рука.*

*В земле раздался гул и стук  
Судеб, которых нет.  
За тень схватились сотни рук  
И выползли на свет.*

*А тот, кто был без рук и ног,  
Зубами впился в тень.  
Повеял вечный холодок  
На синий божий день.*

Иногда можно встретить утверждения, что поэзии Кузнецова не хватает лиричности. Но лирика – это раскрытие характера в переживании, а переживание – это не обязательно эмоция, связанная только с любовью, дружбой или созерцанием природы. Кузнецов – не творец чистой лирики, ибо его переживание чаще всего связано с судьбой страны, осознанием распада великой державы, униженности народа и одновременным поиском выхода из духовного тупика.

*Сажусь на коня вороного —  
Проносится тысяча лет.*

*Копыт не догонят подковы,  
Луна не достигнет рассвет.*

*Сокрыты святые обеты  
Земным и небесным холмом.  
Но рваное знамя победы  
Я вынес на теле моём.*

*Я вынес пути и печали,  
Чтоб поздние дети могли  
Латать им великие дали  
И дыры российской земли.*

Сам Ю. Кузнецов осмыслил миссию поэта в речи на VII съезде писателей в 1981 году: “Несколько слов о державности поэтического мышления, – говорил он. – Ещё в 1919 году Блок написал: “Быть вне политики? С какой же это стати? Это значит бояться политики, прятаться от неё, замыкаться в эстетизм и индивидуализм”. Голос государства слышали и Державин, и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев. Разумеется, все они не соглашались с некоторыми чертами современного им государства, но при этом сама идея государственности была для них незыблемой... И поэт должен слышать голос державы. Ибо, по слову того же Блока, тот, кто прячется от всего этого, разрушает музыку бытия. И творчество оказывается неполнозвучным”.

За аполитичность от Кузнецова досталось и женской лирике (он тогда прославился своей критикой Ахматовой и Цветаевой), и “певцам малого быта”, “лишённым государственного слуха”. Ю. Кузнецов ещё раз похвалил Н. Тряпкина и Н. Рубцова за “державный завет”: “Россия, Русь! Храни себя, храни!”

Конечно, есть у Кузнецова и чисто лирические стихотворения.

Одно из них – совершенно удивительное – “Я в поколение друга не нашёл...” Начинается оно с размышления о судьбе поколения, а заканчивается воспоминанием о прекрасной женщине, когда-то написавшей поэту письмо:

*Такой души на свете больше нет.  
Забытую за поколеньем новым,  
Никто не вырвал имени на свет  
Ни верностью, ни мужеством, ни словом.*

Многие критики, опираясь на первую строку стихотворения, поспешили объявить Кузнецова сумрачным и одиноким гением. То, что это не так, видно даже по посвящениям его стихов, о том же свидетельствует и многолетняя дружба, которая связывала его с критиком и историком В. Кожинным, скульптором П. Чусовитиным, поэтом и в дальнейшем священником отцом Владимиром Неждановым, С. Наровчатовым, критиком и литературоведом С. Небольсиным и многими другими людьми. Но в интервью критику Л. Звонарёвой (Литературная Россия, 1 сентября 1995, № 35 (1699) Ю. Кузнецов трагически оценивал судьбу своего поколения: “Нам дали свободу действий, когда многим уже было далеко за сорок. В самых разных областях было засилье стариков. Нас далеко не пускали, насильно отстраняли... Моё поколение передержали на мелких, подсобных ролях”.

Сам же Ю. Кузнецов, несмотря на это, главную миссию свою выполнял: подобно Пушкину, он “числился по России”.

Ученица Ю. Кузнецова по Литинституту Оксана Шевченко вспоминает, как он заботился о своих “семинаристах”: “Когда я слышу о том, что Юрий Кузнецов был суров в общении и ворчлив, мне становится обидно. Сложно представить себе более доброго человека. С первого курса он печатал своих учеников в одном из лучших толстых журналов России – “Нашем современнике”, где занимал должность редактора отдела поэзии. Когда он видел, что кому-то из нас нужна помощь (в том числе и материальная) или поддержка, он никогда не отказывал... Те, кто считал Юрия Кузнецова высокомерным и суровым, никогда не пытались понять его и услышать, да и просто взять те знания, которые он щедро раздавал своим ученикам”.

Известно, что Ю. Кузнецов состоял в переписке с великим русским композитором Георгием Свиридовым. 2 января 1986 года Свиридов писал: “Я – Ваш давний почитатель. Мне очень близко Ваше Слово, оно часто как бы и моё. Т<о> е<сть> в том смысле, что, имея дар, я бы говорил именно так и именно то, что говорите Вы подчас. Такое бывает исключительно редко!” Так что каждому бы таких друзей!

## ПУТЬ К БОГУ

В девяностые годы материальное положение семьи поэта резко ухудшилось, и он с апреля 1994-го по ноябрь 1996-го работал в издательстве “Современный писатель”. Позже, с 1997 года и до последних своих дней он работал заведующим отделом поэзии в журнале “Наш современник”, где проводил два дня в неделю: понедельник и среду.

Работа в “Современном писателе” ознаменовалась двумя фактами. Первый: Кузнецов смог там издать три тома “Поэтических воззрений славян на природу” Афанасьева. Эта книга очень важна для понимания мирозерцания Кузнецова, ибо в очерке “Воззрение” он говорил о себе: “Я поэт с резко выраженным мифическим сознанием... Именно народные архетипы и бродячие сюжеты сформировали мою душу”. Можно вспомнить, что основные образы, например, стихотворения “Я скатаю родину в яйцо” взяты у Афанасьева. Издав книгу, поэт с радостью раздаривал её самым близким друзьям.

Второй факт: его заставили сидеть возле издательства и продавать собственные книги, о чём поведал германист Юрий Архипов. Друзья купили большую часть книг поэта.

С начала девяностых годов и вплоть до смерти поэта в 2003 году его лирика знает две центральные темы – гибель России и возможность её нравственного возрождения.

*— Где ты, Россия, и где ты, Москва?  
В небе, врагами зажатым,  
Это бросает на ветер слова  
Ангел с последней гранатой.*

*Пала Россия, пропала Москва.  
Дико уставила взоры  
Анти-Россия и анти-Москва  
На телеящик Пандоры.*

Происходившие в стране перемены Ю. Кузнецов встретил без иллюзий. Надо сказать, что с 1975 года он был членом КПСС. Карьеру он не делал. Вероятно, свою роль во вступлении поэта в партию сыграла память о его отце и понимание того, что коммунизм многое дал народу. Дал великую страну, во имя которой и жил Ю. Кузнецов. Но воспринимал он коммунизм не догматически. В 1988 году он написал знаменитое стихотворение “Захоронение в Кремлёвской стене”:

*Когда шумит поток краснознамённый,  
Рыдай и плачь, о Русская земля!..*

*Нашёл кирпич почётную замену,  
Которую потомство не простит.  
Ячейки с прахом прогрызают стену —  
Она на них едва ли устоит.*

Но намного больший ужас вызвали у Кузнецова развал Советского Союза и расстрел Белого дома в октябре 1993 года.

*Что мы делаем, добрые люди?  
Неужели во имя любви  
По своим из тяжёлых орудий  
Бьют свои... неужели свои?*

*Не спасает ни чох, ни молитва,  
Тени ада польщут в Кремле.  
Это снова небесная битва  
Отразилась на русской земле.*

Эти настроения не были мимолётными. Год спустя поэт пишет стихотворение “Последний человек”:

*Он возвращался с собственных поминок  
В туман и снег, без шапки и пальто,  
И бормотал: — Повсюду глум и рынок,  
Я проиграл со смертью поединок.  
Да, я ничто, но русское ничто.  
.....  
— Все продано, — он бормотал с презреньем, —  
Не только моя шапка и пальто.  
Я уйду. С моим исчезновеньем  
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —  
Вот что такое русское ничто.*

Гибель страны рассматривается поэтом как его собственная боль:

*Прощайте, любовь и свобода!  
Как тати, враги и друзья  
Ударили в сердце народа,  
А в сердце народа был я!*

Но несмотря на все тяготы русского пути, поэт ищет надежду на духовное (и геополитическое) возрождение России. Он вновь обращается ко временам Великой Отечественной войны и создаёт поэму “Из Сталинградской хроники” (1995), наиболее сильным фрагментом которой является стихотворение “Жертва Алексея Ващенко”. Алексей Ващенко в бою с немцами встал во весь рост, метнул гранату во вражеский дзот и в ту же минуту был сражён немецкой пулей.

*Там, на небе, меж злом и добром  
Дух твой светлый рванул напролом  
На мятежное вражье светило.  
А на нашей на грешной земле  
Твоё тело внизу на земле  
Тот небесный рывок повторило.*

Россия – страна, стоящая перед Богом, о чём иносказательно говорится в стихотворении “Потягивание богатыря”:

*Тянулся в небо змей... Ужо!  
Он сшиб его единым чохом.  
И сон прошёл! И хорошо  
Потягиваться перед Богом!*

Историософская доктрина “Москва – третий Рим” вспоминается поэтом в стихотворении “Строитель”, посвящённом человеку, пришедшему “из пустыни разбитого духа”:

*Он песчинку в раскрытой руке показал.  
— Вот твердыня! — он голосом веры сказал. —  
Вот основа Четвёртого Рима!*

Поэт полон веры в непоколебимость вековых устоев России, способной переварить любую политическую доктрину и остаться верной себе. В 1995 году Евгений Чеканов записывает свою беседу с Кузнецовым:

– Юрий Поликарпович, семья ваша бедствует... судьба детей ваших непонятна... Так что главное – поэзия? Или всё-таки, как Розанов говорил, наши дети “с их тёмным и милым будущим”?

– Поэзия!

– А как же дети?

Он (в страшном гневе, выпучив глаза):

– Да что ты говоришь? Что ты говоришь?”

Ещё раньше, в 1993 году, в год великого испытания, он создаёт гениальное стихотворение “Федора”, в котором Россия предстает в образе таинственном и мистическом, полном несокрушимой внутренней силы и мужества, и главное – принципиально непобедимом.

*На площадях, на минном русском поле,  
В простом платочке, с голосом навзрыд,  
На лобном месте, на родной мозоли  
Федора-дура встала и стоит.*

.....  
*На лезвии ножа, на гололёде,  
На точке i, откуда чёрт свистит,  
На равенстве, на брани, на свободе  
Федора-дура встала и стоит.*

.....  
*Меж двух огней Верховного Совета,  
На крыше мира, где туман сквозит,  
В лучах прожекторов, нигде и где-то  
Федора-дура встала и стоит.*

Стояние России (кстати, Федора в переводе с греческого означает дар Божий) происходит перед Богом. Именно размышляя о путях выхода родной страны из состояния тотального кризиса, в который она была искусственно ввергнута “прорабами перестройки”, поэт приходит к православию и создает образ Христа.

В 2001 году поэт пишет стихотворение “Видение Христа в урагане. 12 июня 2001 года”

*Шёл ураган на город тёмной славы,  
Пластом ложилась каждая верста.  
В разломе туч, над главами державы  
Я увидел иконный лик Христа.*

И вот в 2000 году в газете “День литературы” публикуется поэма Ю. Кузнецова “Детство Христа”. В дальнейшем она была продолжена и стала частью триптиха “Путь Христа”, который вышел в свет в издательстве “Современный писатель”.

11 апреля 2000 года в Литературном институте Ю. Кузнецов провёл семинар для слушателей Высших литературных курсов под названием “Бог – вечная тема поэзии”. Свою поэму он рассматривал как словесную икону, отстаивая тем самым своё право на изображение Христа. “Христос – воплотившийся Бог, – говорил Ю. Кузнецов, – поэтому его можно изображать”. Ссылаясь на источники поэмы, он, помимо Священного Писания, назвал апокрифическое евангелие от Фомы. “Я копнул апокрифы, – говорил он. – До чего же они наивны! Хотя два-три сюжета я потом использовал. И уже замахнулся на поэму. Я полагался на интуицию, воображение и память о детстве. Поэма о детстве получила такой разгон, что я уже не мог остановиться. Надо было писать и юность, и зрелость Христа”.

А начиналось написание поэмы с Христовой колыбельной:

*Солнце село за горою,  
Мгла объяла всё кругом.  
Спи спокойно. Бог с тобою.  
Не тревожься ни о ком.*

*Я о вере, о надежде  
О любви тебе спою.  
Солнце встанет, как и прежде,  
Баю-баюшки-баю.*

С моей точки зрения, предельной задушевностью проникнута вся поэма. Прекрасна песня Лазаря с призывом “подняться на подвиг”, прекрасен Плач Богородицы (“Не Тебя ли я под рёбрышком лелеяла?”), величествен рассказ о страстях Христовых, выразителен эпилог, которому было не суждено воплотиться:

*Отговорила моя золотая поэма.  
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.  
Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.  
Дай мне высокую старость и мудрый покой!*

Думается, что лучше всего о христианских поэмах Ю. Кузнецова сказал отец Владимир Нежданов: “То, что у него возникало на бумаге — образный ряд, цельная структура стиха, такая необычная, — этого человек придумать не может, он записывал то, что Бог ему давал”.

Однако не все были благосклонны к новаторской поэме Ю. Кузнецова.

Поэт собирался опубликовать свою поэму в “Нашем современнике”. 8 декабря 2000 года грозное письмо главному редактору журнала Ст. Куняеву направил протоиерей Александр Шаргунов с резким окриком: “Суть в том, что она [поэма] — ложь... О Христе-Боге он пишет как о земном человеке, облечённом в фантастические яркие одежды. Сплошь и рядом — профанация святыни... Поэму вовсе не украшает эта её псевдонародность с псевдорусскими словами, с как бы перенесением на русскую почву евангельского сюжета...”

Защищал Ю. Кузнецова В. Кожинов, но лучше всех поэт защитил себя сам. Он назвал поэму “Путь Христа” “своей словесной иконой” и сказал, что его критики (Крупин, Переяслов, Кокшенёва) впадают, “сами того не ведая, в ересь иконоборствующих, которая с ходу ведёт в иудаизм с его запретом на изображение”.

“Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию, в которую Его превратили... Я лет десять размышлял над образом Спасителя, как бы всматривался в Него, представляя Его как живого. Я думаю, что в написании поэмы участвовало не только моё сознание, но и моя личная память, и память родовая. Ведь наши предки представляли Христа не как словесную абстракцию, а как живого Богочеловека. Именно Богочеловека, а не человека, как это часто получалось в литературе XIX–XX веков. Поэтому меня не удовлетворяли ни Ренан, ни Булгаков, ни даже Достоевский с его “Великим инквизителем”. В их Христе нет Бога, он у них просто добрый человек”.

Священник Ярослав Шипов после публикации поэмы “Путь Христа” демонстративно вышел из состава редколлегии “Нашего современника”. Впрочем, поэму поддержали отец Дмитрий Дудко и Станислав Куняев. Отец Дмитрий Дудко писал: “Спасибо Ю. Кузнецову за удивительную поэму, заставляющую нас думать и жить не по привычным законам и шаблонам, а, отрешившись от своих привязанностей, смотреть на всё с чистым чувством. Тут даже можно воскликнуть по-евангельски: “Если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло”.

А вот слова Станислава Куняева. В статье “Путь Христу” (2001) он писал: “В “Пути Христа” Юрий Кузнецов явил мироощущение человека, пришедшего к живому Христу, к Тому, Который сказал: “Не мир Я вам принёс, но меч”. К Тому, Который изрёк: “Царствие Моё не от мира сего”. К Тому, Который обронил: “Воздвигну храм Свой, и врата адовы не одолеют его”. С какой же благотворной тяжестью воспринимались сии истины!”

Между тем, Христос и потусторонний мир, судя по всему, продолжали являться поэту в его видениях. В 2002 году он создаёт поэму “Сошествие в Ад” и говорит в интервью Владимиру Бондаренко: “Спросишь, откуда такой опыт? Из моих кошмаров”.

“В Священной Истории меня привлекло одно удивительное место — промешуток в три дня от смерти Христа до Его Воскресения. Согласно Священно-



му Преданию, Христос в этот промежуток сошёл в ад и вывел оттуда праведников и святых в рай. Вот находка для поэта! И единственная возможность сойти на тот свет вместе с Христом!”

Господь говорит в поэме Кузнецова:

*Рай недалёк. Но дорога пойдёт через Ад.*

Христос обещает вывести из Ада Иоанна Предтечу, Сизифа, Лао-цзы, трёх волхвов, Исава:

*И потянулись внутри светоносных лучей  
Сонмы великие поднятых Богом людей.  
Вон три волхва, Иоанн, патриархи с Исавом.  
Это восшествие душ было впрямь величавым.*

Естественно, всякий, кто пишет об Аде, вступает в творческое соревнование, вольное или невольное, с Данте. Кузнецов осмелился бросить вызов великому флорентийцу. Он говорил: “Перейдём к Данте. Он пошёл по линии меньшего сопротивления, чем я. Его сопровождает Вергилий, а я следую за Христом. Загнав в ад своих политических врагов, он поставил свою поэму (“Inferno”) в рискованную близость к политическому памфлету. У него в аду из 79 конкретных исторических лиц 32 флорентийца. Среди “живых” персонажей моей поэмы нет ни одного моего личного врага”. Но есть в кузнецовском Аду враги его Родины, целая группа русских предателей, самих себя душащих. Среди них Олег Рязанский, Курбский, Мазепа, Павлик Морозов. В Аду находятся и деятели более близкого к нам периода русской истории: Хрущёв, Сахаров, Солженицын, Ельцин, Чубайс. Впрочем, здесь у поэта нет односторонности: Иван Грозный, Петр Великий и Сталин также помещены в Ад. Впрочем, низвержение в Ад не является для души окончательным приговором. Христос говорит:

*Многие будут в Раю, кто Меня поминает  
И поддаётся прощенью по выслуге мук.*

Мы видим это прощенье как бы воочию. О Гоголе сказано:

*Раньше по плечи горел, а теперь по колени.*

Примерно то же самое произошло и со Сталиным:

*Раньше по плечи, теперь он по пояс горел.*

Поэма представляет собой бесценный источник и для понимания точки зрения Кузнецова на мировую историю и культуру. В Аду оказались тамплиеры, Гутенберг, Колумб, Эразм Роттердамский, Шекспир, Декарт, Вольтер, Руссо, “храбрый Корнилов и честный Деникин” как участники гражданской войны, Тухачевский, Черчилль и Рузвельт. Интересно, что первоначально план кузнецовского Ада мыслился более усложнённым. 23 декабря 2001 года Кузнецов звонил скульптору Петру Чусовитину, “спрашивал, нельзя ли представить ад в виде лабиринта, и просил сохранить разговор в тайне”. Но уже 16 декабря 2002 года Чусовитин записывает за ним: “Поставил последнюю точку 24 октября... От пространственной модели ада как лабиринта пришлось отказаться из-за тесноты, отсутствия простора. Мой ад – это долина, сень”... В поэме сказано:

*Мы приближались к пучине под именем Ада,  
К бездне, окутанной тучами страха и смрада.  
Полный печали и трепета, я произнёс:  
— Мы под Землёй? — Под Вселенной! — ответил Христос.*

Но далее перед визионерским взором поэта предстаёт картина искупления – Христос поднимает прощённых грешников в Рай.

*Встал Бог на тучу и поднял высокие знаки  
И не вечерние — свет преломился во мраке.  
И потянулись внутри светоносных лучей  
Сонмы великие поднятых Богом людей...*  
.....  
*Свет перед нами летел над волнами эфира.  
Мне открывалось иное сияние мира.  
Полный восторга и трепета, я произнёс:  
— Мы над Землёй? — Над Вселенной! — ответил Христос.*

Впрочем, в беседе с Владимиром Бондаренко Ю. Кузнецов замечал: “Ты поверхностно читал мою поэму и не заметил кита (или Левиафана). Не заметил и того, что в поэме как бы два ада. Один с прописной буквы, а другой — с маленькой...”

*— Кит погружается! — молвил Христос. — Свят, свят, свят! —  
Молвили ангелы, — ад погружается в Ад.*

Остров, он же кит, он же Левиафан — это воплощение Сатаны. В поэме Кузнецова Христос всё время спрашивает, где Сатана, и, наконец, находит его:

*Ты обозвал Меня братом. Обмолвка сия  
Паче безумной гордыни твоей... На колени.  
Несть! — заревел Сатана, выступая из тени.*  
.....  
*Это был Левиафан! И ударом хвоста  
Ад всколыхнул и обрушил его на Христа.*  
.....  
*Бог огляделся во тьме и нахмурил чело:  
— Всё поддаётся прощению, только не зло.  
Я изменю и его! Эй вы, люди, в дорогу!  
Пыль из-под ног посылала проклятия Богу.*

И, как ни испепелял Господь Сатану, но в конце поэмы

*Испепелённый незримо стоял где-то рядом...*

Поэма “Сошествие в Ад” оказалась энциклопедией исторических, философских, политических и культурологических взглядов Кузнецова, во многих отношениях — ключом к его предыдущему творчеству, и больше всего он боялся умереть, не окончив её.

Поэт жаждал донести до читателя то, что открылось ему в его вещих сновидениях. В 2002 году он сказал Чусовитину: “Когда было написано уже около трёхсот строк, я вдруг испугался, что умру, и поэма останется незаконченной... Державин, к примеру, умер, не дописав стихотворения, ну и что? Одним стихотворением меньше — ничего страшного. Но у меня же другой случай... Всё время думал: только бы не умереть, только бы не умереть”.

Но вот поэма окончена, и поэт пишет её последние строки:

*Странно и сладко звучат не вечерние звоны.  
Солнце садится, и тени ложатся на склоны.  
Сладко и больно последние листья ронять.  
Я возвращаюсь за письменный стол — умирать.*

*Отговорила моя золотая поэма.  
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.  
Боже, я плачу и смерть отгоняю рукой.  
Дай мне смиренную старость и мудрый покой.*

Мы знаем, что до смиренной старости поэт не дожил, и не знаем, возможен ли в мире ином “мудрый покой”.

Новаторская поэма Кузнецова вовсе не была принята на “ура”. Ему досталось, в том числе и от своих — патриотов.

Критик Николай Переяслов разразился статьей, в которой, в частности, заявил: “Говоря о последней из христианских поэм Юрия Кузнецова и факте самовольного помещения поэтом ряда своих — если бы вымышленных, а то ведь реально существовавших в истории и живущих сейчас! — персонажей в адские глубины, просто невозможно не коснуться нравственной стороны его творчества и, в частности, такого из “смертных” для христианина грехов, как гордыня. Именно она ведь является той движущей силой, что позволяет приверженцам метода постмодернизма без малейших колебаний использовать по своему усмотрению не принадлежащие им художественные открытия и находки своих литературных предтеч”.

Упрёк в высшей степени несправедливый. Кузнецов творчески отнёсся к традиции Данте и ничьих открытий и находок не присваивал. Фантастика отнюдь не противопоставлена реалистическому произведению, и никакого постмодерна в его поэмах я не вижу. Думается, лучше всего о творческом методе Ю. Кузнецова сказал переложивший на музыку многие его стихи композитор Г. Дмитриев: “Кузнецов в моём понимании — поэт авангардный... честные и серьёзные духовные искания — духовные взыскания — это всегда передний край... В то же время он — поэт до мозга костей национальный, глубоко и прочно укоренённый в русской традиции, в эпосе, в архетипах народного сознания. Русский консервативный авангард — очень редкое и очень ценное в отечественном искусстве явление, характеризующееся такими качествами, как аристократизм и всемирность. Это есть и у Кузнецова”.

В очень спорной книге Ст. Куняева “И бездны мрачной на краю” сказано: “... для Юрия Поликарповича создание этой поэмы было его личным, его собственным путём к Богу и к спасению души”. Без сомнения, поэмы “Путь Христа”, “Сошествие в Ад” и “Рай” стали ещё одним залогом спасения души великого поэта, но думается, что Господь спас бы её и за одну Федору.

Ю. Кузнецов говорил поэту Игорю Тюленеву: “... Я уже написал свою лучшую вещь — “Сошествие в Ад”. Равную ей уже не напишу. О рае написать не смогу, потому что время в стране как раз для ада, а не для рая”.

Конечно, и “Рай”, по-видимому, был дан поэту в его сновидениях, но это не исключает его большой работы и с литературными источниками. Поэт опять отталкивается от традиции Данте: “... я увидел Данте с той стороны, с которой его ещё никто не видел: великим себялюбцем, глядящимся в зеркало, имя коему Беатриче. Печать женственности лежит на всей поэме, но уже раньше — в “Новой жизни” — поэт сближал Беатриче с Богородицей и с Христом, а это есть величайшее ослепление, и ослепление от того, что он глядится в зеркало... Поэтому его Рай холоден и бессодержателен”.

Поэт всё время искал в религии душевную теплоту и содержательность. Параллельно “Раю” он писал религиозные стихи, наиболее примечательными из которых являются “Поэт и монах” и “Молитва”. Стихотворение “Поэт и монах” посвящено Игнатию Брянчанинову, который, по мысли Кузнецова, был против обращения писателей к религиозной тематике.

*Поэт вскричал: — Да это враг!  
Окстился знаменным отмахом —  
И сгинул враг, как тень в овраг...  
Но где монах? И что с монахом?*

Характерно для Ю. Кузнецова и стихотворение “Молитва” о трёх старцах, безыскусно молившихся Господу:

*Ты в небесех — мы во гресех — помилуй всех!*

Потом два старца умерли, а третьего попытались научить Молитве Господней, но он её не осилил и вынужден был молиться по-старому.

Этими стихотворениями поэт отстаивает право каждого человека на собственное понимание религии. Три его христианских поэмы не случайно названы золотыми. Они действительно напоминают иконы.

Я отрываюсь от письменного стола и оглядываю свою комнату. Так получилось, что в нашей семье не сохранилось старых икон. По мере нашего воцер-

ковления мои родители и я покупали современные иконы – в России, Болгарии, Греции, на Святой Земле – и были благодарны современным мастерам, которые, опираясь на старые традиции, создали для нас эти “окна в мир иной”.

Между тем, Ю. Кузнецов силился увидеть в небесной выси сияние Рая. Прежде всего, он разглядел в Раю символизирующий Россию Китеж, потом – Адама и Еву, ангелов, в том числе и своего ангела-хранителя, двенадцать апостолов. Он хотел описать в “Раю” свою встречу с отцом. В Раю опять же он увидел ворона, олицетворявшего собой сатану и сражённого Георгием Победоносцем, и древо познания, осыпающее свои “плоды роковые”.

“Рай”, по-видимому, давался поэту нелегко. Он сказал отцу Владимиру Нежданову, что за “Раем” должен последовать Страшный Суд. Но сам факт обращения поэта к образу Рая и изображение искупления России и – в лице Адама и Евы – всего человечества показывает, что Кузнецов вовсе не считал Добро и зло равновеликими, как утверждают некоторые исследователи. Подобно Леониду Леонову, он боялся “равновесия света и мрака”, но он верил в непобедимое стояние Федоры и пустытника (“Когда подымает руки, // Мир озаряет свет // Когда опускает руки – // Мира и света нет”), в вечность “светлейшей страны”, где “свеча закона... бледна пред солнцем благодати”).

Ещё в 1994 году в стихотворении “Время человеческое” поэт умолял ему дать до Судного Дня время “помолиться за всех и за вся”:

*Голос был свыше, и голос коснулся меня  
За полминуты до страшного Судного Дня:  
— Вот тебе время — молиться, жалеть и рыдать.  
Если успеешь, спасу и прощу. Исполать!*

В своём творчестве он действительно молился, жалел и рыдал, оплакивал свою Родину и указывал ей путь духовного возрождения после перенесённых ею катастроф. Трудно согласиться с тем, что после написания христианских поэм “дальнейшая земная жизнь для него потеряла смысл, поскольку он исполнил всё, для чего пришёл на нашу грешную землю”. Он всегда был певцом своей Родины, а как автору гражданской лирики, государственному мыслителю в поэзии ему, возможно, не было равных в XX веке.

Когда он пытался разглядеть благодатную долину Рая, он был восхищен от нас высшей силой и, возносясь в воспетую им долину, радостно произнёс: “Домой!” Теперь его сновидения продолжались в мире ином, и оттуда он видит свою дорожную Россию, жену, дочерей и внука, и былых соратников, из которых мало кто оказался достойным его памяти. О своих грехах он говорил: “В душе моей много грехов, но Христос отжал эти грехи, это очень страшно было. И моё воображение содрогнулось”. Из селений праведных он молится за свой народ и страну и великодушно прощает всех, кто и посмертно пытается свести с ним счёты.

ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ

## ПИСЬМО СТАНИСЛАВУ КУНЯЕВУ

Дорогой Станислав Юрьевич!

Спасибо за присланную книгу “И бездны мрачной на краю...” с таким тёплым и дружеским автографом. В течение многих дней был я полностью поглощён медленным и сосредоточенным чтением, а когда оно было закончено, то я не сразу кинулся писать тебе, чтобы выразить сердечную признательность за столь глубокое проникновение в суть творчества Юрия Кузнецова. Все эти дни был я наполнен тем подспудным волнением, охватившим меня, которое вызвала во мне твоя замечательная исследовательская и вместе с тем мемуарная книга. Она безусловно является твоим духовным памятником Юрию Поликарповичу. Об этом же пишет в своём обширном послесловии и Владимир Бондаренко.

В главе 1 (“Поминки”) мне было интересно узнать о том, что Юрий Кузнецов “давал злу равные права с добром”, а также и то, что всё, что “падает и рушится, великий ноль зажал в кулак”. И совершенно неожиданным показался мне литературоведческий разбор Вадимом Кожинным стихотворения о старом дубе, в прогнившей древесине которого “свищет нечистая сила”. Кроме того, запали в душу твои, Станислав, рассуждения о нашем поэте: “Он ходил по краю тёмной бездны, чтобы разглядеть её суть, её мощь, её масштабы”. Эти прозорливые мысли абсолютно созвучны и моим ощущениям от многих стихов Кузнецова.

Из этой первой главы я узнал и такие подробности, как, например, открытие памятника поэту на Троекуровском кладбище в Москве. И что автором памятника является скульптор Пётр Чусовитин, друг Юрия Кузнецова. А другой друг поэта, его ученик, священник Владимир Нежданов освятил этот надгробный монумент, созданный в основном на те средства, что были собраны благодаря давнему и проверенному временем своеобразному русскому обычаю “шапка по кругу”. И как замечательно, что на памятнике начертаны строчки стихов Кузнецова, выражающие наиболее полно и объёмно духовную суть поэта, его как бы завещание будущим читателям и поклонникам его творчества:

*Но русскому сердцу везде одиноко.  
И поле широко, и небо высоко.*

Познавателен был для меня и твой философский посыл относительно незаконченной Юрием Кузнецовым поэмы “Рай”. При жизни поэта у вас был

разговор о будущей поэме. Ты сказал тогда Кузнецову, что Рай бестелесен и его вряд ли можно изобразить Словом. Юрий Поликарпович вместо спора процитировал один из отрывков поэмы: “Вечная туча летела в Божественном мраке...” Ты восторженно восхитился и воскликнул: “Юра! Ты совершил чудо, ты превратил свет в материю!” Это, конечно, твое истинно поэтическое восприятие Рая, наиболее точное объяснение нематериального и виртуального мира. И вот в конце первой главы ты делаешь вывод: “Я думаю, что Поликарпыч заслужил свет”. Эта фраза сразу же запомнилась мне. Верю, что запомнится она не только мне, но и твоим читателям, высоко ценящим творчество нашего выдающегося поэта. Но с обострённой болью вошли в мою душу последние, прощальные слова, сказанные перед смертью Вадимом Кожиновым: “Все аргументы исчерпаны”. А Юрий Поликарпович сказал, как выдохнул, только одно, но такое обобщающее и как бы подводящее итог всей его духовной и физической жизни, слово: “Домой!” Произнеся это слово, он покинул дом Земной, устремившись в дом Небесному... Меня зазнобило. И побежали мурашки по телу.

Из 2-й главы я впервые узнал о твоём знакомстве с поэтом. Ты пишешь, что познакомились вы в начале 1970-х годов прошлого века, в малом зале ЦДЛ, где прошло первое выступление Кузнецова перед московскими литераторами и любителями поэзии, устроенное Вадимом Кожиновым. Откровенно и подробно ты пишешь о своём первом впечатлении от прочитанных Юрой стихов. Они восхитили тебя и вместе с тем озадачили. Ты уловил в них то, что они не наполнены полнокровным лиризмом, так присущим русской поэтической традиции. А во время дружеского застолья ты вдруг узнаёшь, что поэзия Маяковского и рассуждения о ней Кузнецову совершенно не интересны. У него другие приоритеты и поэтический путь совсем иной, ибо время на дворе стоит зыбко-шаткое и совершенно непредсказуемое.

Станислав! Не прими за комплимент то, что я скажу сейчас: всегда, со дней нашей молодости, уважал и ценил твою обострённую правдивость в художественной оценке многих твоих коллег. Вот и о творчестве Юрия Кузнецова ты пишешь так же достойно и уважительно, как писал в прошлые годы о близких тебе по духу поэтах. И не только о них. Даже если в чём-то расходился с ними в показе и осмыслении российской действительности, то всё равно тебя волновала их судьба, как творческая, так и чисто личная. Вот прошло около 45 лет с твоего знакомства с Юрием Кузнецовым (а моё состоялось в том же ЦДЛе, чуть позднее, спустя лет пять), но тем не менее он до конца, как ты пишешь, не стал “твоим” поэтом. Сказано хоть и жёстко, но предельно честно. Я тебя вполне понимаю. Мы оба с тобой не приемлем “диктаторский культ воли”. И разве только мы одни? Конечно, нет!

В одном из интервью Кузнецов говорит, что к 25 годам он уже духовно почти сформировался, а значит, вышел на простор именно своего пути в поэзии. Его поэтическое слово, а говоря шире – художественная Вселенная стала наполняться собственной судьбой и многозначностью Мифа. Он твердо ощутил в себе то, что зыбко мерцало в его сознании. И его творческий дух окрылился и стал искать воссоединения Земных реалий с Небесной взлётностью.

*Для того, кто по-прежнему молод,  
Я во сне напою лошадей,  
Мы поскачем во Францию-город,  
На руины великих идей.*

Совершенно согласен с твоим заключением о том, что “никакого мифологического или исторического духовного превосходства у Запада, унаследовавшего все свои хищные инстинкты и всю свою алчную волю от Римской империи, перед Россией с нашим Православием нет и не было”. Помнишь, мы говорили об этом с тобой по телефону? Известно, что Поликарпыч одно время был увлечён культурой Европы, потому и написал восхищённо: “Отдайте Гамлета славянам!” А зачем? Да у нас своих завались! В подтверждение ты приводишь творчество Лескова – “Леди Макбет Мценского уезда” и “Записки охотника” Тургенева.

Интересен и даже поучителен в твоей книге эпизод, связанный с польским литератором Збышеком (Янкелем), с его восприятием стихотворения

Юрия Кузнецова “Последний человек”. Оно потрясло Збышека, и он “завизжал то ли от восторга, то ли от ужаса и отчаянья”. Безусловно то, что он принял это откровение поэта, как говорится, на себя, и в самом деле не зная, что делать и как дальше жить “в разорённой антисемитской Польше начала девяностых годов”. Художественная правда Кузнецова потрясла и тебя, и Збышека, и, естественно, меня тоже. Благодаря богатой фантазии поэта призрак предстал перед внутренним зрением каждого из нас с абсолютной реальностью. И мы поверили поэту. Этот эпизод являет собою иллюстрацию большого поэтического дара Юрия Кузнецова.

И вот ещё о чём мне хочется сказать — о некоей воображаемой параллели между сказочным конём Кузнецова (“Сажусь на коня вороного, скачу через тысячу лет...”) и твоим, Станислав, настоящим, реальным, живым конём, имевшим такую образную и выразительную кличку “Шарабан”. Я зримо и осязаемо представил себе это трудолюбивое животное, ибо были и у нас подобные существа в то время, когда я работал в геологических экспедициях на Кольском полуострове, в Карелии, Якутии и Эвенкии. Там были, кроме лошадей, ещё и выносливые олени. Ты поистине сильно распалил моё воображение своим стихотворением “Поскользнулось копыто коня...” И ещё я обратил внимание на твой разбор словосочетания “путь-дорога”. У Николая Рубцова воспета Дорога, а “по сторонам от неё стоят сочные травы, колыхается зной над белыми головками ромашек”. Всё достоверно и поэтично. Но Кузнецов приял иное. Он приял Путь. А ведь зримых примет у Пути не видно, ибо подразумевается внутренний Путь развития, а стало быть, взросления Души и накопления мудрости.

Ты пишешь: “Его стихами можно было восхищаться, они могли вызывать удивление или ужас, они могли поражать наше воображение, но их было трудно любить”. Поверь, что это спорное утверждение, субъективное, личностное. Но мне верится, что ты, как и я, любишь многие-многие его стихи. Любишь выборочно. И по-настоящему. Лично я помню, при всей их сложности, даже наизусть. Они органично живут во мне. Мне порой кажется, что они существовали ещё до моего рождения. Что они были всегда. А теперь я их устно передаю другим людям, любящим поэзию, живущими с ней неразрывно.

А то, что ты впадал после прочтения кузнецовских стихов в “состояние душевной смуты, оторопи, отчаянья и всяких апокалиптических предчувствий”, — точно такое же происходило и со мной. Когда я впервые прочёл “Во мне и рядом — даль”, то сразу стал вспоминать, что я уже с чем-то подобным сталкивался. Но не в поэзии, а в живописи. Сразу всплыли в памяти картины Босха, Сальвадора Дали, Филонова. Включилось дремлющее подсознание. Поэтическое слово нашего поэта встряхнуло и разбудило его. Ты хорошо знаешь, что нет ничего на свете более жуткого, чем погружение в самого себя. Мы с внутренним трепетом отталкиваем от себя эти мысли и чувства, а вот Поликарпыч даже с неким нарочитым нажимом заставляет нас погружаться в себя, чтобы мы ощутили и познали силу и власть глубины души и сердца.

Юрий Кузнецов действительно, как ты точно заметил, “брезгливо относился ко всему личному, по его суждению, приземлённому и недостойному витать в высших олимпийских сферах”. Да, действительно, он был таков. Лично я убедился в этом при наших совсем не частых встречах в ЦДЛ, Переделкине, С-Петербурге во время писательского Пленума 1998 года и даже у него в квартире на Олимпийском проспекте, где я был у него вместе с поэтом Александром Медведевым в то самое время, когда он только-только получил эту квартиру. Именно там он нам прочитал недавно написанную поэму “Змеи на маяке”.

Хорошо, что твоя книга, Станислав, наполнена фрагментами твоей биографии. Интересно было узнать, где ты побывал, с кем общался на разных путях-перелутьях своей жизни. Тепло вспоминаешь реку Оку и Угру, Нижнюю Тунгуску и Варзоб, и Тянь-Шань, и многие другие отдалённые уголки страны. Ты жил “в окружении русско-советского простонародья”. И далее: “Меня окружали не символические образы Федоры-дуры или солдат всех времён и народов, а ербогачёнский охотник Роман Фарков, солдат Великой Отечественной, мегорский рыбак, афганец Степан Фёдоров, старики и старухи из архангельских деревень”.

Из книги будет интересно узнать о взаимоотношениях двух замечательных поэтов, живших во время учёбы в Литературном институте под одной крышей

общезития по улице Добролюбова. Именно там всего один раз встретились Рубцов и Кузнецов. Это была короткая случайная встреча, произошедшая на общежитийской кухне. Меня в этом маленьком эпизоде поражает более всего то, что два русских национальных поэта не приблизились друг к другу, не подружились, а так отчуждённо и холодно оттолкнулись друг от друга. Вместо того чтобы обрадоваться, обняться и побрататься, они не почувствовали родства и не соединили нити дружбы, а наоборот – разорвали их. Мне грустно, больно и обидно за них, за того и за другого. И лишь в творчестве они, хотя бы по касательной, но, тем не менее, соприкоснулись в поэтическом пространстве. Я имею в виду рубцовские “Осенние этюды” и кузнецовскую поэму “Змеи на маяке”. Здесь я впервые узнал из твоего текста, что поэма посвящена Петру Палиевскому. Именно он рассказал поэту этот интереснейший сюжет из средневековой хроники.

Примечательно и то, что в твоей книге с особым восхищением отмечена одна из граней таланта Юрия Кузнецова – его обращение к русскому богатырству, к духовному и физическому подвигу русского человека. Скажем, к Сергию Радонежскому или к связисту Путилову из “Сталинградской хроники” и к другим персонажам, а не к венецианскому купцу и не к еврейскому аптекарю, изготавливающему и продающему яды. Попутно отмечу, что ты верно подметил, что надежда на русское богатырство, к сожалению, изрядно износилась. И как доказательство тому ты цитируешь стихотворение “Не поминай про Стеньку Разина...” Оно действительно воспринимается как переосмысление собственной прожитой жизни, хотя речь в нём идёт о трагических судьбах русских бунтарей – Степана Разина и Емельяна Пугачёва.



МАКСИМ ГАЗИЗОВ

## ВЫСОКИЙ ПОРОГ

*В трагической формуле мира  
Я изгнан за скобки. Мой знак  
Стоит одиноко и сиротливо,  
Таращась в распахнутый мрак.*

Ю. П. Кузнецов  
“Вечный изгнанник”

... Летними вечерами старик выходил во двор и, долго вглядываясь в звёздное небо, задумчиво произносил:

– Мудрёно!

Его внук запомнит это на всю жизнь. Воистину, доступная любому русскому человеку, сознание которого не запятнано фальшью современности, кантовская полнота созерцания через погибшего на Великой Отечественной войне отца будет передана от деда – внуку. Через собственный род осознаётся неразрывная связь со всем народом: “...сквозь мёртвую рубаху // корнями в землю сердце проросло”.

Имя его – Юрий Поликарпович Кузнецов; единственный поэт, который взял на себя титанический труд не только продолжить истинно русскую, пушкинскую поэтическую традицию, но и полностью реализовать её заново в собственном творчестве. Память всех предыдущих поколений, каждое духовное движение предков воскресает в поэзии Кузнецова:

*Я пил из черепа отца  
За правду на земле,  
За сказку русского лица  
И верный луч во мгле.*

*Вставали солнце и луна  
И чокались со мной.  
И повторял я имена,  
Забывшие землём.*

Священные символы бытия, принятые из народного наследия, волшебным образом превращены в поэтические образы. Говоря словами профессора В. В. Фёдорова, только вполне овладев языковым бытием, личность становится субъектом словесного бытия, то есть человеком в высшей форме его существования. После А. С. Пушкина это смог только Ю. П. Кузнецов. Свобода, дарованная

Богом, власть над языковым бытием выражается воистину в русском размахе, и вот во взоре лирического героя уже зияют все мировые бездны:

*И в дыму от Москвы по Хвалынское море  
Загулял ты, как бледная смерть...  
Что ты, что ты узнал о родимом просторе,  
Чтобы так равнодушно смотреть?*

В девять лет начинает Юрий Кузнецов писать стихи. “Святая тень отца” (а не демоническая, шекспировская), словно тень всего русского прошлого, не видимая, но почти осязаемая, освещает его поэтический путь. В армии Кузнецов служил связистом (Куба, Карибский кризис, можно сказать, мир на волоске от гибели). Дальше – путь по ключевым узлам Советской империи, Москва... Редактор поэтической рубрики лучшего русского литературного журнала – “Наш современник”. Близкий друг – историк и мыслитель Вадим Валерианович Кожин, который становится для поэта таким же философским наставником, как для А. С. Пушкина – А. Я. Чаадаев. С каждым годом всё ярче вырисовывался центральный образ кузнецовской лирики – “русский космос” во всём его безграничном многообразии.

Поэзия Ю. П. Кузнецова подтверждает следующую закономерность: только следование традиции порождает нечто самобытное; желание же оригинальничать, создавая “нечто новое”, оставляет жалкие многочисленные штампы. Тютчевское столкновение бытия и небытия в творчестве Кузнецова проявляется в более страшной наглядности:

*Ночь!.. Опасайся мыслей  
С пёсьими головами.  
В душе горят, не мигая,  
Зелёные лица сов.  
И тело стоит отдельно —  
Не прикоснись руками,  
Когда идёт по восьмёрке  
Стрелка мировых часов.*

Или, например, вслушайтесь в такие строки из поздней лирики:

*Я покрылся живыми сетями.  
Сети боли, земли и огня  
Не содрать никакими ногами —  
Эти сети растут из меня.*

*Может быть, сам с собой я схватился,  
И чем больше рвалось, тем сильнее  
Я запутался и превратился  
В окровавленный узел страстей.*

Эротическая (в самом глубинном, платоновском понимании) лирика Ю. П. Кузнецова, пожалуй, превышает по своей мощи все предшествующие образцы. Об этом свидетельствуют такие шедевры, как “Бранная ночь”, “Всё прошло! Золотые надежды...”, “Ни жена, залитая слезами”, “Духи”.

*Ты летела, во мраке шурша,  
За погибелью или спасеньем,  
Как ночная земная душа,  
Но с небесным диковинным зреньем.  
И, упав у какого-то пня,  
Ты шуршала крылами всё глуше:  
— Ночь любви, отомсти за меня,  
Ночь любви, погуби его душу...*

Поражает смелость кузнецовских образов, их безапелляционная истинность. Его лирический герой – на равных с величайшими мировыми творцами,

с Петраркой и Данте, с Гёте и Кантом; античный мир переживается в его поэзии как “здесь и сейчас”:

*Заливайтесь, античные хоры!  
На смолу разменялся янтарь.  
Я прошёл за кудыкины горы  
И увидел последний фонарь.*

*И услышал я голос привета,  
Что напомнил ни свет, ни зарю:  
— Сомневаюсь во всём, кроме света!  
Кто пришёл к моему фонарю?*

И, конечно же, очередная гибель Империи – развал Союза, расстрел парламента переживаются поэтом, как гибель всего бытия, превращения Вселенной в ничто:

*Я увидел сны врагов природы,  
А не только сны моих врагов.  
Мне приснилась ненависть свободы  
В ночь перед окончанием веков.*

Враги народа – это враги России. Творчество Ю. П. Кузнецова – не просто обличение, но и выявление истинной демонической сути ненависти и бытия. И только презрения достойны многочисленные графоманы, выдающие “свой скрип за Божью милость”. Таким и посвящено стихотворение “Отповедь”:

*Плащ поэта бросаю — ловите!  
Он сожёт вас до самой земли.  
Волочите его, волочите,  
У Олимпа сшибая рубли.*

*Вот отсель поперечно-продольно,  
Проходимцы души и дорог.  
Не хочу. Презираю. Довольно  
Обивать мой высокий порог.*

... Ю. П. Кузнецов внёс в сокровищницу русской поэзии и замечательные поэмы: “Золотая гора”, “Дом” (лучшая, на наш взгляд, поэма о Великой Отечественной войне), “Юность Христа”, “Путь Христа”, “Сошествие в ад”. Последняя поэма по глубине и силе равна дантовской “Божественной комедии” (правда, у Данте ад – кольцевой, у Кузнецова – линейный; кольцевыми являются сами муки грешников; потому можно сказать, что метафизический уровень поэмы Кузнецова сложнее, напряжённее).

По благословию Алексия II Юрий Кузнецов переложил на современный поэтический язык лучшее произведение древнерусской церковной словесности – “Слово о Законе и Благодати” митрополита Илариона. Важно заметить, что в подавляющем большинстве стихотворения, написанные современными стихотворцами на православную тематику, удивительно бездарны. Впрочем, этому есть объяснение: в данном случае священное унижается до слабых строчек псевдопоэтов; в случае же Юрия Кузнецова поэзия достигает божественных высот. Священные образцы доступны только гению.

Юрий Кузнецов начал писать поэму “Рай”. Нам осталось только лишь несколько строк этого творения, – в ту же ночь 17 ноября 2003 года путь поэта вышел за пределы земного бытия окончательно, и рай стал для него вечностью. Отпевали поэта в том же храме, где когда-то венчался А. С. Пушкин.

*Прошумели редкие деревья.  
И на этом свете, и на том  
Догорели млечные кочевья  
И мосты — между добром и злом.*

В заключение хотелось бы пояснить природу молчания, точнее – замалчивания творчества нашего последнего гениального поэта. Думаю, причина не только в деградации, духовном обнищании общества и торжестве демократической бездарности. Причина, как и творчество самого Кузнецова, значительно глубже.

Мало кто знает, что в дореволюционной России почти невозможно было приобрести томик стихотворений А. С. Пушкина! На это жалуется, например, выдающийся русский философ В. В. Розанов. Удивительно! Однако дело в том, что действительное осознание поэзии А. С. Пушкина как вершины развития русского духа, несмотря на старания Ф. М. Достоевского, было, так сказать, официально утверждено только в сталинский период советской эпохи. Всенародная слава пришла к гению спустя сто лет (!) после его гибели. Сам Ю. П. Кузнецов в последние годы своей жизни обмолвился как-то о том, что понимание его поэзии наступит не раньше, чем лет через пятьдесят...

Думаю, что тут необходимо ещё одно условие: воскрешение империи, ибо только имперский дух способен постичь недостижимые для либерально-демократического интеллигента вершины истинной поэзии.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

## ПОЭТ И “КРЫСЫ БЫТИЯ”

Пять полноценных томов стихотворений и поэм, изданных в 2011-2012 годах, том прозы, озаглавленный “Тропы вечных тем”, изданный в 2015-м, – внушительный памятник Юрию Кузнецову. Его собрание сочинений, которого он так и не удостоился при жизни, ожидалось давно, и слава Богу, что состоялось. За одно это можно принести сердечную благодарность газете “Литературная Россия” и, в первую очередь, её сотруднику, составителю и автору комментариев к каждому из томов, автору вступительной статьи Евгению Богачкову.

Комментарии к стихам – очень обстоятельные и богатые по своему содержанию, с привлечением собственных записей поэта, выдержек из мемуарной литературы, что даёт возможность глубже проникнуть в смысл прочитанного (другое дело, что не всегда полны – и об этом ещё пойдёт речь). Что касается предисловия, то его автор пишет о поэзии Кузнецова на чрезвычайно высокой ноте. Ярко и осмысленно проследив в творчестве поэта ключевые символы “ветра”, “свободы” и “огня”, Богачков дал поэтическому целому объёмные и точные характеристики.

“Большинство его стихотворений, а тем более поэм обещает для читателей и литературоведов значительные философские, художественные и духовные открытия. Не говорим уже о тех плодах, которые могло бы принести осмысление его творчества в целом и в соотношении со всеми богатствами и достижениями мировой культуры”.

“Уже сейчас ясно, что поэтический мир Юрия Кузнецова обладает удивительной цельностью и по праву может быть назван именно “миром” или даже “вселенной” со своими законами и сверхсмыслами”.

“Поэт, по Юрию Кузнецову, <...> объединяет народ в целое, создавая особое пространство мифа, в котором этот народ не разделён ни временем, ни пространством, а то, что народ действительно разделяет – провалы памяти и духа, братские распри, болезни совести и веры – отзывается болью в сердце поэта, и этой почти невыносимой для человека болью, своей страдающей любовью он заживляет, сращивает, латает разрывы...”

“Борьба за человека через слово есть крестный путь поэта, как считал сам Юрий Кузнецов. Соответственно, русский поэт должен быть образцом русского человека, достойным представителем русского народа, должен ощущать себя как последний русский человек перед лицом мира и Бога, по которому и судят о народе. И сам Юрий Кузнецов таким был”.

Каждый из этих тезисов, безусловно, нуждается в дальнейшем развитии, но для краткого предисловия и этого достаточно, если учесть, что солидная часть его посвящена объяснению для читателя принципов, по которым строилось это собрание.

Вот о принципах и стоит поговорить более подробно, ибо, повторюсь, сам факт появления многотомного собрания сочинений поэта может лишь обрадовать. К сожалению, в представленной нам бочке мёда есть несколько увесистых ложек дёгтя.

Дальнейшее – не столько укор составителю, сколько объяснение того, как нельзя составлять собрание сочинений поэта, у которого до сей поры – и при жизни, и после смерти – стихи и поэмы выходили лишь отдельными изданиями.

Прежде всего, начать, может быть, следовало хотя бы с избранного трёхтомника, включающего в себя лучшее из написанного поэтом с привлечением избранной прозы, отдельных статей и публичных выступлений. Это дало бы возможность представить читателю Кузнецова в его наиболее значительных проявлениях. Кстати сказать, составитель одной из книг поэта – Вадим Кожинов – работу над книгой начал со стихов 1968 года, своего рода “зрелого рубежа”, отодвинув в сторону даже стихи, написанные годом ранее, с которых сам Кузнецов начинал свои многие прижизненные издания.

Сам же составитель пишет, что “сейчас пора собирать воедино и шаг за шагом (выделено мной. – С. К.) готовить к изданию и творческое наследие Юрия Поликарповича Кузнецова”. Но готовя его творческое наследие в целом, он пошёл не “шаг за шагом”, а стал совершать гигантские прыжки. Здесь перед ним встала своя сверхзадача, которую он и озложил в предисловии:

“В основном тексте и комментариях впервые отражено содержание литинститутского дипломного проекта Юрия Кузнецова (по сути, первого сборника его стихотворений под названием “Пространство”), ранние юношеские публикации в местных кубанских изданиях, а также многочисленные рукописи поэта, как чистовые, так и черновые”. Богачков объяснил необходимость включения данных текстов в собрание тем, что это “полезно именно для выяснения признаков, критериев, по которым Кузнецов определял достоинства собственных поэтических произведений и, соответственно, не полную состоятельность многих из них”, а также тем, что “всё это рано или поздно необходимо издавать в исследовательски-академических целях”. Думается всё же, что “выяснение” этих “признаков” можно было отложить на дальнейшее, на время издания действительно полного академического собрания, которое, как написал сам составитель, ещё “ждёт своего исполнения”.

А в результате получился совершенно непредусмотренный составителем эффект: читатель, начавший чтение собрания с предисловия, исполненного в высочайших тонах, с недоумением начинает читать ранние и во многом несовершенные опыты и волей-неволей задаёт себе вопрос: “И это – стихи великого поэта?!”

Может быть, всё же Е. Богачков не был до конца уверен в справедливости именно такого построения собрания. Об этом говорит и цитата из кузнецовского “Письма в Тихорецк”, приведённого в предисловии: “Эх, милые земляки, ох, родное захолустье! И зачем-то вы вспоминаете мои слабые детские поделки! Это всё равно, что хвалить Гоголя за ранний бездарный опус “Ганц Кюхельgarten” или Некрасова – за первые подражательные “Мечты и звуки”...” И снабдил своим пояснением: “Исходя из сказанного, стихотворения, не включённые автором в свои книги, мы располагаем в конце тома в ПРИЛОЖЕНИЯХ”. Но если мы откроем всё тот же первый том, объединивший стихи 1953–1964 годов, то увидим, что стихи, представленные в основном корпусе, занимают одну треть (даже меньше!) по сравнению с ранними, не публиковавшимися стихами (или публиковавшимися в ранней периодике), представленными в ТРЁХ приложениях.

Скажу честно: никогда не был почитателем тех составителей, которые готовят собрания сочинений классиков, стремясь запихнуть туда абсолютно всё, ими разысканное, придерживаясь при этом обязательного хронологического принципа. В 1990-е годы я принимал участие в издании академического собрания сочинений Сергея Есенина, издававшегося Институтом мировой литературы. Так вот, в основе этого издания лежала авторская воля, коей мы и следовали, представляя первые три тома собрания в том виде, в каком их отобрал сам Есенин ещё при жизни. И принцип, которым руководствовался составитель кузнецовского собрания, мне представляется совершенно неоправданным, несмотря на все его пояснения. После слов в предисловии о поэтическом мире Кузнецова, как о “вселенной со своими законами

и сверхсмыслами”, читатель лишь впадёт в недоумение, читая, допустим, стихотворение “Грузчик” 1960 года, написанное под раннего Евтушенко, или стихотворение “Полные паруса” 1961-го, исполненное в стиле “а-ля Багрицкий”, то есть стихи, которые сам Кузнецов включил когда-то в свою первую краснодарскую книгу “Гроза”, но затем напрочь забыл о них и никогда больше не вспоминал. Не говоря уже о стихах “из школьных тетрадей”.

“Итак, 1967-й год — знаковый в творческом развитии Юрия Кузнецова. Стихотворения именно этого года — самые ранние, с которых начинаются почти все его поэтические сборники (те, в которых представлены избранные произведения)”, — пишет Богачков в комментарии к стихотворению “Отсутствие”. Вот и надлежало последовать в данном случае авторской воле, не перегружая первое собрание поэта несовершенными ранними текстами и тем более черновиками.

Кстати, о комментариях. Я уже говорил об их насыщенности и подробно-сти. Но есть в них определённые лакуны, которые следовало бы заполнить.

Так, стихотворение “Не сжалится грядущий день над нами...”, как говорил сам Кузнецов, “написано на полях Заболоцкого”. И нетрудно увидеть здесь прямые переключки с “Завещанием” Н. Заболоцкого: “Я не умру, мой друг. Дыханием цветов // себя я в этом мире обнаружу... // Над головой твоей, далёкий правнук мой, // я в небе пролечу, как медленная птица...” Это сопоставление, сразу бросающееся в глаза, к сожалению, в комментарии отсутствует.

Стихотворение “Памяти космонавта” явно навеяно гибелью Владимира Комарова 24 апреля 1967 года, так же, как и стихотворение “Отец космонавта”, которое было создано по следу гибели Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева. К сожалению, составитель ни о чём подобном не упомянул.

В стихотворении “Цветы” отмечена переключка отдельных строк со стихами Николая Гумилёва. Однако было бы гораздо более существенным сопоставить это стихотворение с есенинской “маленькой поэмой” “Цветы” и поразмышлять о взаимопритяжении-взаимоотталкивании в данном случае двух поэтов.

В комментарии к зачину поэмы “Дом” естественным было бы упомянуть “Доброго Филю” Николая Рубцова — слишком очевиден отсыл кузнецовского “Фили” к рубцовскому.

Стихотворение “Мне снились ноздри! Тысячи ноздрей...” имеет прямой литературный источник — работу В. В. Розанова “Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови”. Здесь был бы возможен пространный комментарий, который, к сожалению, отсутствует.

В комментарии к “Змеям на маяке” следовало бы уточнить, на какие средневековые хроники ссылался П. В. Палиевский, даря Кузнецову сюжет этой поэмы.

Было бы интересно поразмышлять о том, не является ли первотолчком стихотворения “Тайна Гоголя” кощунственное сочинение А. Вознесенского “Похороны Гоголя Николая Васильича”.

Стихотворение “Повернувшись на Запад спиной...”, посвящённое Вадиму Кожинуву. Удивительно, как составитель не обнаружил прямых переключек в этом стихотворении со статьёй Кожинова “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...” Даром, что написано оно двумя годами ранее публикации названной статьи — не подлежит сомнению, что критик делился с Кузнецовым своим замыслом этой ключевой для себя работы и наверняка обсуждал с ним её основные тезисы.

Стихотворение “Гость” 1985 года. Мне представляется, что здесь было бы гораздо уместнее связать образ героя этого стихотворения с образом В. Высоцкого, чем в комментарии к стихотворению “Аполлон гитару взял у Смердякова...” Тем более, что в нём присутствуют и скрытые цитаты из самого Высоцкого (“Ещё до зачатия успел удрать: свобода — оно верней...”), и прямые жизненные реалии (“Я в жёны себе французку возьму и стану интеллигент. Махну мимо мира в косом дыму от сигареты “Кент”...”) Можно вспомнить, что именно в это время началось очередное “раскручивание” Высоцкого — до сих пор огромный плакат на Арбате с запоминающейся надписью: “Пушкин и Высоцкий: два поэта — две судьбы”.

Но это — частные замечания. Гораздо хуже другое. В предисловии Евгений Богачков сообщил, что “было принято решение оформление и располо-

жение материала в настоящем издании сделать не в академическом, а в более свободном и популярном виде. Поэтому комментарии располагаются не в конце тома, а параллельно, и в них сведены к минимуму сокращения и условные знаки, затрудняющие непосредственное восприятие”.

В результате этого “свободного и популярного расположения материала” комментарии практически невозможно читать. Они перемешаны с “многочисленными версиями и редакциями стихотворений”, причём помещены мелким шрифтом под каждым текстом отдельного стихотворения. Разбираться в них просто физически утомительно любому простому читателю. Уж лучше бы составитель последовал “академическому принципу”: в отдельном разделе в конце каждого тома – черновые и ранние редакции, и в отдельном – комментарии. И именно в конце каждого тома, как это сделано в томе прозы. Принцип же “свободного расположения” попросту испортил издание. К вящему сожалению.

Но самое тяжёлое впечатление оставляют послесловия к каждому тому в исполнении главного редактора “Литературной России” Вячеслава Огрызко.

Читать их, в первую очередь, невероятно скучно. Утомительным стилем, с многочисленными повторениями, с совершенно ненужными вкрапленными сюжетами, по сути, не имеющими никакого отношения к Кузнецову, Огрызко пишет свою “биографию” поэта. Создаётся впечатление какого-то “конвоирования”, когда “ни шагу вправо, ни шагу влево”.

Почти 2 страницы посвящены Александру Коваленкову, который пересёкся с Кузнецовым лишь один раз, написав отзыв на его стихи в Литературном институте. Логика автора при этом хромает на обе ноги: “Сам Коваленков в своих стихах ориентировался в основном на Михаила Исаковского, Александра Твардовского и Александра Прокофьева. Даже Андрея Вознесенского он воспринимал уже как отщепенца. Неудивительно, что его стихи быстро забылись”. Забылись потому, выходит, что не воспринимал Вознесенского?

Повествование об Александре Михайлове чередуется достаточно хамскими репликами: “Михайлов действовал, как трус, и, в первую очередь, беспокоился только о своей карьере... Михайлов панически боялся, когда его студенты отходили от принятых канонов”... “Опытный интриган...” Мне довелось довольно близко общаться с Александром Алексеевичем Михайловым, когда он был главным редактором “Литературной учёбы”. Свидетельствую: он был человеком осмотрительным и осторожным, но его никак невозможно было назвать “трусом”. Не говоря уже о том, что именно Михайлов одним из первых высоко оценил Кузнецова, о чём далее пишет сам же Огрызко.

“Пережитая Смеляковым драма почему-то так и не выплеснулась в его стихи. Видимо, поэт продолжал чего-то бояться...” По сути, ради одной фразы и упоминается курсовая работа Кузнецова о Смелякове. Но это очевидная ложь. Огрызко не мог не читать смеляковские стихи “Вспоминаю...”, “В детские годы, в преддверии грозной судьбы...”, “Письмо домой”, “Шинель”, “Послание Павловскому”, посвящённые тюремно-лагерной “эпопее” поэта.

“Пропив талант, Наровчатов не пропил совесть”... Интересно, на каком приборе Огрызко отметил “пропитие таланта” у Наровчатова?.. И подобными фразочками, произнесёнными как бы “в пробор”, избилуют все его послесловия.

Логика, логика... С ней у Огрызко очень большие проблемы. Две фразы, не имеющие ничего общего друг с другом по смыслу, намертво вяжутся в один узел. “Кузнецов в какой-то момент предпочёл оттолкнуться от традиций Тютчева. Он не захотел остаться в тесных рамках “детей околицы”...” Хочется спросить – “дитём” какой “околицы” был Тютчев? Пожалуй, это известно лишь одному Огрызко.

Читать окололитературные сплетни об издательстве “Современник” (а им Огрызко посвятил, по сути, целое послесловие к 3-му тому собрания под названием “Банка с пауками”) попросту противно. И не от “жутких фактов” (сплошь и рядом притянутых за уши), о которых сообщает “биограф”, а под впечатлением собственно их изложения. Так и видишь “человека непонятных кровей” из стихотворения Кузнецова “Воспоминание о Большой Серпуховке”, который прикладывает ухо к чужой двери. Я никогда не был поклонником есениноведческих трудов Юрия Прокушева и, тем более, его “приятелем” (“Позже приятели Прокушева утверждали, будто их компаньон первым в научном мире реабилитировал Есенина. Но всё это враньё”, – пишет Огрызко),



но факт остаётся фактом: Прокушев сделал очень много для публикации и введения в научный оборот множества есенинских текстов и фактов есенинской биографии на протяжении 1960-х годов. Другое дело — идеологическая составляющая его сочинений. Но не о ней ведь речь. А о том, что якобы Прокушев, по мнению биографа, не имел отношения к “реабилитации” Есенина.

И так почти на каждой странице. Оказывается, Юрия Панкратова “вместо Окуджавы взяли на поэзию в “Литгазету” за то, что он “слыл бунтарём”... Потом на месте этого бунтаря появился Сергей Орлов: “два стихотворца что-то не поделили...” Сотрудник издательства “Современник” Блинов “приобрёл у сестры бывшего председателя советского правительства Молотова шикарную дачу в Абрамцево”, а “Дроздов при поддержке Панкратова... сумел поставить Дробышева, пусть и временно, вместо Вячеслава Горбачёва на редакцию критики...” При чём тут Кузнецов? Не спрашивайте: “всеслышащее ухо” знает, что подслушивает и что творит потом. Любая сплетня, любой пересказ чего-либо, пусть даже предельно искажающий реальность — в строку.

Огрызко решил, что знает Кузнецова лучше самого Кузнецова. “Если с кем в конце 60-х — начале 70-х годов Кузнецов в поэзии из современников и перекликался, то скорее с Иосифом Бродским, хотя поэт это никогда не признавал”... Он не признавал, а я признаю! И сообщу об этом без всяких доказательств, без сопоставлений, без цитат. Верьте на слово!

“Мне кажется, к Мартынову он отнёсся несправедливо”. Надо же хоть немного представлять себе Леонида Мартынова 60–70-х годов! Он уже почти ничем не напоминал Мартынова 1930-х. Его рациональная, сухая, декларативная манера не могла не вызвать у Кузнецова острой реакции, если ещё учесть, что Мартынов был уже, что называется, “неприкасаем” для критики.

Но окончательно разошёлся Огрызко в послесловии к 4-му тому — “Нас, может, двое”. Здесь он попытался вылить как можно больше грязи на самого большого друга, соратника и собеседника Кузнецова — Вадима Кожинова.

В ход пошло всё. Старые сплетни “биограф” опрыскал живой водой и начал излагать перед глазами ошарашенного читателя конспирологический детектив. Оказывается, “Кожинов уже давно пытался сформировать свою литературно-политическую школу”. Но, как выясняется, не сам. “В начале хрущёвского правления (как раз в те годы, когда Кожинов учился в аспирантуре) дело дяди (чекиста С. В. Пузицкого. — С. К.) пересмотрели, его реабилитировали, и похоже, что оставшиеся в живых соратники и ученики пленителя Савинкова и Кутепова были не прочь привлечь племянника Пузицкого к работе в том или ином качестве на спецслужбе. Возможно, уже тогда Кожинову предложили роль консультанта или эксперта...”

Очаровательны сами по себе эти “возможно” и “похоже”... Подобные утверждения нуждаются в прямых доказательствах, которых у Огрызко нет и не может быть. Но образ Кожинова, как “серого кардинала”, “теневого генерала” давно сложился на страницах “Литературной России”, в частности, в публикациях большого фантазёра Александра Байгушева, утверждавшего, что, оказывается, “Кожинов придумал разыграть войну между “Новым миром” и “Молодой гвардией”...” (В “Молодой гвардии” во время той “войны” Кожинов опубликовался лишь дважды — напечатал статьи о поэзии Николая Тряпкина и о романе Льва Толстого “Война и мир”). “Потом не забывайте, где Кожинов работал — в отделе теории Института мировой литературы. Но мы-то знали, что тогда представлял этот отдел, — выносной филиал КГБ, где разрабатывались многие акции по работе с нашей и западной интеллигенцией. По моим сведениям, Кожинов был тесно связан с Филиппом Бобковым...” Эти байгушевские домыслы цитирует Огрызко, не задаваясь вопросом: откуда сведения и какова их природа? И с кем же, в таком случае, были “связаны” другие сотрудники этого отдела — Пётр Палиевский, Сергей Бочаров, Виталий Сквозников, Сергей Небольсин?

Там же, в “Литературной России”, печатал свои воспоминания о Кузнецове стихотворец Юрий Могутин, заявлявший, что Вадим Кожинов был “допущен ЦК пророчествовать и выстраивать нас по ранжиру”... И вот такими источниками пользуется Огрызко, сдабривая прежние рассказы своей буйной фантазией.

Ведёт он себя, правда, немножко поаккуратнее своих предшественников: “Возможно...”, “Наверное...”, “Похоже...” Но фантазия при этом не унимается.

“Почти все квартирные выставки и домашние литературные вечера с участием большого количества зрителей и слушателей, как правило, находились под бдительным контролем спецслужб, о чём Кожин, естественно, прекрасно знал. Осталось только выяснить, с какой целью критик, тем не менее, очень долго упорно устраивал у себя все эти многочисленные и шумные посиделки... Ему хотелось формировать новые направления в литературе и всё держать под контролем...”

Что ж, сударь, выясняйте. Авось, жизни вашей ещё хватит на эти выяснения. Только не забудьте добавить к вашим умозаключениям свидетельства людей, которые вспоминают об удивительной, влекущей свободе, волюнстности общения в кожиновском кругу, которой в помине не было в тех “салонах”, которые находились под тайным или полуявным “колпаком”. Александр Васин в своё время совершенно точно ответил вдохновителю Огрызко – Байгушеву: “И уже забыли, что практически все наспех цепляемые Байгушевым поэты шли сначала за помощью к Б. Слуцкому, А. Межирову и получали её... А потом сами искали Вадима Кожина. И далеко не все, кто искал и нашёл его, смогли войти в их стихийное содружество, которое Кожин опекал, которым в определённой степени и руководил... и которое предъявляло к участникам своим требованиям не “тихой лирики, а первородности дарования...”

“Но Кожин когда-либо учитывал иное мнение?” – вопрошает Огрызко. Отвечая: всегда. Всегда внимательнейшим образом прислушивался к чужому мнению, ибо для него определяющим в любом общении (как и в его письме) был насыщенный смысловой диалог. Подобные вопросы могут свидетельствовать лишь об одном: автор не имеет ни малейшего представления о том, о чём пишет.

Но он не унимается, распоясываясь всё пуще и пуще. Передреев “сознательно уходил от будущего. В итоге поэт не то чтобы так и не шагнул вперёд, он даже не дотянулся до уровня Рубцова...” “Дотянулся” или “не дотянулся” – пусть выясняют те, кому это интересно. А насчёт будущего... Может, нашему “биографу” стоит перечитать такие стихи Передреева, как “Беспощадна суть познания...”, “Дни Пушкина”, “К истории войн”, “К Отчизне”... Может, что и поймёт? Едва ли.

Он слишком уверен в себе. Беспардонен и безапелляционен. “Ермилова знала и понимала русскую поэзию лучше своего мужа (В. Кожина. – С. К.)”. “Игорь Фёдоров вполне мог бы... обогнать Кожина именно как критика”... “Кожин при желании мог... найти приемлемую для него площадку и лично развенчать любого поэта. Но сам он светиться почему-то (опять! – С. К.) упорно не хотел. Ему крайне важно было, чтобы эту миссию выполнил кто-то другой... А может, он просто таким примитивным образом планировал повязать талантливых людей, что называется, кровью?..” Это о выступлении Кузнецова на IV съезде писателей России, на которое его якобы “спровоцировал Кожин”. Это якобы “выяснилось”. Где, когда, каким образом? Неважно. Слушайте и внимайте!

Итак, Кожин – “provokator” и “подставляла”, “ломающий о колено”. Это основная мысль Огрызко. Он якобы провоцировал и Палиевского, и Кузнецова, и Селезнёва... Незадетых и живых кругом не осталось. Один “кровавый Валерианч” невредим!

Финал этого детектива запоминающийся: “...Кожин догадывался, что Кузнецов к последним его историческим вещам относился, мягко говоря, скептически. Так же, как и Кожин не во всём принимал трактовки Кузнецова о Спасителе”.

Не было у Кузнецова никаких “трактовок”. Была поэма “Путь Христа”, которую Кожин пронизательно и умно защитил от критики со стороны как некоторых священников, так и иных православных неопитов. А что касается отношения Юрия Кузнецова к книге Кожина “Россия. Век XX”... Откуда “биограф” знает о “скептическом” отношении к ней Кузнецова? От самого поэта? Уж не преминул бы сослаться.

Но вот повествование о Кожине подошло к концу. Осталось рассказать о последних годах жизни самого Кузнецова. И Огрызко не удержался. Теперь объектом его воспалённой “критики” стал сам Кузнецов.

“Лично меня несколько поразили ни “Сталинградская хроника”, ни “Стихи о Генеральном штабе”... “Почерк Кузнецова после восьмидесяти пятого года начал резко меняться. Почти исчезла сказочность, улетучились

многие мифы... Пошла голая политика". "Мне всегда казалось, что ссылки на сатану — это от бессилия". Книгу "Душа верна неведомым пределам" "при всём желании ну, никак нельзя назвать событием в русской поэзии". "Поэту вкус и понимание ситуации явно изменили..." "Злость — не самый лучший советчик. Она добавила стихам Кузнецова социальности, гражданского пафоса, но лишила их какой-то тайны, а главное — надежды..." Такие мелкие укусы, свидетельствующие лишь о полном непонимании "биографом" поздней поэзии Кузнецова, рассыпаны на протяжении всего послесловия к очередному тому.

Особенно обращает на себя внимание следующее утверждение Огрызко, имеющее отношение к работе Кузнецова в "Нашем современнике" заведомо поэзии: "Ему нравилось поощрять авторов, которые писали под него и не имели собственного стиля". Большой лжи по адресу поэта трудно себе представить. Я хорошо помню, как Кузнецов буквально выгонял из своего кабинета стихотворцев, приносивших ему стихи, написанные "под него". Он безжалостно правил поэтов, чьи стихи предназначались для публикации, правил не "под себя", а вытаскивал из них то, что они сами не могли "дотянуть" или "доставить до ума", извлекая заложенные, но не прояснённые смыслы. Эпигонов, подражателей, чьих бы то ни было, он на дух не переносил.

Следующее послесловие почти целиком посвящено "зависти Кузнецова". "Кузнецов этого успеха Примерова спокойно пережить не мог. Он, судя по всему (! — С. К.), вскоре взревновал его..." "Мне кажется (! — С. К.), что Кузнецов всегда очень ревностно относился к чужим успехам..." "Кузнецова злил сильный успех и бешеная популярность Жданова и Ерёмченко. Кузнецов понимал, что в середине 80-х годов его слава пошла на спад. Но ему с этим смириться было очень трудно..." "Он ведь и Есенина за его страшную популярность у народа не всегда терпел..." Кузнецов, завидующий кому бы то ни было, — хоть Есенину, хоть Примерову, не говоря уже о Жданове с Ерёмченко, — это из области скверного анекдота. Нужно совершенно не знать поэта, чтобы утверждать подобное. Но Огрызко на полном серьёзе считает, что он в своём праве.

А ведь до анекдота поистине и дошло. "Сколько раз Кузнецов намеренно снижал планку! Он мог незаслуженно привыкать ну, очень посредственных стихотворцев. Примеры тому хотя бы Олег Кочетков и Игорь Тюленев... Тюленев не уставал петь Кузнецову дифирамбы. И поэт растаял, не мог устоять перед лестью".

Я не собираюсь размышлять здесь в споре с Огрызко о большей или меньшей значимости стихов Кочеткова и Тюленева. Но не могу не вспомнить: в "Литературной России" от 26 мая 1995 года была опубликована подборка стихов Игоря Тюленева с восторженнейшим предисловием ("Искал свою тропу")... заместителя главного редактора газеты Вячеслава Огрызко. Может, "биограф" вспомнит сам, какой "лестью" его "купил" тогда Тюленев?

Впрочем, хватит. В заключение лишь одно: благожелательная цитата Огрызко из Петра Чусовитина: "Кузнецова хоронили, как эмигранта в чужой стране. Да он и был внутренним эмигрантом, чужим среди своих". Кузнецова хоронили, как великого русского поэта в русской земле, как родного каждому, кто проводил его в последний путь. И даже многие враги после его кончины воздали ему должное.

\* \* \*

Как же хотелось искренне порадоваться кузнецовскому собранию сочинений в целом и воздать должное его составителям и тем, кто сумел издать это собрание в наше тяжкое для поэзии время! Но из песни слова не выкинешь. Великие стихи, увы, принципиально неряшливо выпущенные, идут в сопровождении довольно грязного сочинения, которое многие читатели, уже не знающие или не помнящие того времени и его героев, могут принять за чистую монету.

Не хотелось совершенно переходить на личности, но — "да воздастся каждому по вере его". Об отношении к Кузнецову в той же "Литературной России" говорит следующий многозначительный факт. В 2013 году этой газетой были изданы воспоминания о Кузнецове, статьи о нём и оценки современников под

названием “Звать меня Кузнецов. Я один”\*. Из всех собственно мемуарных сочинений о поэте самые значительные и содержательные на сегодняшний день – воспоминания Евгения Чеканова, о. Владимира Нежданова и Олега Игнатьева. Ни Чеканова, ни Игнатьева в этом томе нет, зато есть мемуары бывшего главного редактора “Литературной России” Владимира Ерёмченко, в основном посвящённые тому, с кем, где и когда Кузнецов... пил во время совместных поездок. Похоже, именно это стало главным в образе поэта в глазах его “радетелей” из газеты, давным-давно утратившей всякую связь с той, что некогда возглавлял замечательный человек Эрнст Сафонов.

Ещё раз: доброе начинание, хорошее дело, правда, не без крупных недостатков. Но лучше бы к Кузнецову и после его смерти не примазывались разнообразные “крысы бытия”, в частности “биографы”, готовые сладострастно облить грязью друзей поэта, да так, чтобы и на его образ упали соответствующие капли.

---

\* В этой книге моя статья о поэме “Путь Христа (“Путь ко Христу!”) почему-то приписана Станиславу Куняеву, видимо, ради одной фразы в “биографической сопроводилке”: “Окунувшись в журнальные дела, поэт сильно разочаровался в Куняеве и как в редакторе”. Замечательно это “и”! В целом, что ли, разочаровался? И откуда это известно? Нет ответа. Никакого свидетельства о том самого Кузнецова. Внимайте вездесущему Огрызко!

ЮРИЙ ЕРМИЛОВ

## ХУДОЖНИК АНДРЕЙ ПЕПЛОВ

В нашу неоднозначную эпоху многие понятия уже давным-давно перевёрнуты или трансформированы до такой степени, что приходится тратить драгоценное время на воспоминания о прежнем значении слов, доказывать их истинный смысл или исследовать новые пути развития этих значений, чтобы всего-то договориться с собеседником о каком-то смысловом пустяке.

Андрей Пеплов – художник. Это слово за последние сто лет имело в России столько разных значений, что выбрать нужное в данный момент и в данном месте не просто сложно – невозможно! Такая преамбула необходима для того, чтобы показать, как трудно определить приоритет деятельности конкретного художника, иначе говоря – “рисующего человека”, – одним привычным словом. Думается, сейчас, если не знаешь читательской аудитории, нельзя использовать перед ней расхожие значения терминов по отношению к некоторым раритетным личностям. К Андрею – особенно.

С нашей точки зрения, главная тенденция нового русского искусства высшего порядка – это выход за пределы эстетики в человековедческие сущности с помощью не только особого типа мастерства, но и активнейшим участием личностной, собственно человеческой константы, которая, как нам представляется, в наши окаянные дни вдруг стала совсем не такой, как была во все предыдущие эпохи. Если раньше художник был максимально близок к всеобщим законам “прекрасного”, которые мыслились как нечто доступное для каждого эстетически и философски грамотного человека, равнодушного к искусству, то в наши дни происходит нечто совсем иное. Неожиданно некоторые из мастеров начинают являть миру что-то такое, что, при внешних формальных признаках равенства с творчеством других, на самом деле несёт в себе некую высшую идею, которую невозможно сформулировать вербально так, чтобы она звучала адекватно. Изобразительное искусство начинает становиться самим собой. Таким, каким оно было в так называемые “доисторические” времена, когда истории как таковой на самом деле не было, а человек ещё, возможно, и не умел читать молитвы, но молиться умел, предстоя перед Богом лицом к лицу. В ту золотую эпоху начинали складываться в человеке все его будущие качества: и богоподобные, и те, что от лукавого. Думается, что не метафорическая, а реальная чистота души в высшем смысле этого сло-

---

*ЕРМИЛОВ Юрий Иннокентьевич — преподаватель древних языков, истории Русской Церкви, истории православного искусства, истории русской литературы в Православии Ивановского Православного Богословского института им. Святого Апостола Иоанна Богослова и истории искусств, технологии живописи Ивановского художественного училища им. М. И. Малютина, художник, иконописец, теолог, арт-теоретик, клирик РПЦ.*

ва обеспечивала некоторым из первочеловеков способность творить мышление, где главенствовал ещё не расчленившийся на разум и чувство сердечный ум, способный охватывать явление целиком и проникать в суть вещей.

Андрей Пеплов, как и любой художник с внутренним сознанием этого изначального – древнего – типа, сам совершенно не понимает того, непривычного для наших дней, особого смысла своих работ и уровня своего нестандартного, исключительного дара. Даже когда ему говорят нечто конкретное о его необычном таланте, он понимает всё сказанное так, как настроен его художественно-проектный ум, то есть традиционно до крайности. Это для искусства вполне нормально во все времена: автор не может видеть нечто, выходящее за пределы его словесно определяемых задач, так как это – своего рода закон и условие обычного творческого процесса. Почти каждый из рисующих хоть один раз в жизни создал нечто подобное боговдохновенному примеру, дающему сверхъестественный результат, но не каждый сумел понять и оценить собственное великое открытие. Андрей Пеплов, пройдя через череду поисков, пришёл к своей манере, которая имеет в мировом искусстве немало аналогов. Это называется и привычными терминами: “натурализм”, “суперреализм”, “фотореализм” и ещё как-то по-другому. В данном случае ни одно из этих названий не исчерпывает того, что бесценно и всегда получает этот мастер в результате творческого процесса.

Нельзя согласиться с эстетическим псевдозаконом, что в искусстве всегда приоритетно понятие о прекрасном как о категории визуально-душевного наслаждения, что категорию собственно красоты в разном её понимании нетрудно выделить из любого произведения и поставить на первое место. Так делается по привычке, которая давно стала нормой искусствоведения, многие постулаты которого с самого начала были обольстительной ложью позитивистского толка, позволяющей и автору, и почитателю его наслаждаться самим собой, взирая на объект творчества, при этом даже не догадываясь, что перед ним нечто совсем другое, значительно более содержательное и по-человечески сильное и высокое произведение, нежели он предполагал.

Работы Андрея вызывают боль даже у тех, кто преклоняется перед его исключительным талантом. Надо сразу сказать: с точки зрения мастерства, школы и всех прочих стандартных атрибутов неординарного мастера у Андрея всё это есть, и не может вызывать сомнения ни у кого. На его картинах – настоящие живые люди, с деталями интерьера или натюрмортами, в которых нет ни грамма эстетизированной неточности: всё как в жизни. Этим попрекают художника те коллеги, творческий метод которых не рассчитан ни в коей мере на фотографичность изображения. Они утверждают, что мастер идёт на компромисс, чтобы удовлетворить любой, самый непритязательный вкус, чтобы любой “нелюбитель” изобразительного искусства мог восхититься тем, как это похоже на правду жизни. Можно предположить, что во многих случаях всё это мыслится и говорится искренне: у нас ведь идеологизация всего, к чему может прикоснуться творческий человек, испокон веков всегда рядом с нами. Не будем относиться к этому слишком строго: так воспитано не одно поколение честных и талантливых людей. Обратимся к самому Андрею и к его картинам.

Во-первых, он действительно в определённом смысле натуралистичен, то есть в какой-то мере исходит формально из фотографического видения предмета. Но это только на первый взгляд. Смотреть его работы нельзя быстро и невнимательно, лишь фиксируя их манеру, стилистику и первое впечатление, которое может оказаться по многим причинам обманчивым.

Во-вторых, его творческий принцип настолько внутренне многопланов и содержателен, что расчленение результатов его труда на составляющие элементы, как это принято в сложившейся практике искусствоведения, даст совершенно обратный истине результат. Любая картина Пеплова мгновенно поражает, прежде всего, тем, что в ней очевидны сразу несколько противоположных по звучанию планов, которые у других художников сходного творческого языка почти никогда не встречаются. Это сочетание изобразительной ясности оптического, анатомического и биологического образа с явно символическим антуражем, который может состоять из совершенно разных элементов: реальных предметов в реальном или нереальном пространстве, текстов притчевого, символического или информативного содержания, эмблематизированных знаков заведомо читаемого типа, монограмм, цитат и многого другого. Но самое важное в таких его творческих ходах то, что сразу видно:

мастер применяет их не как дополняющие и расшифровывающие знаки, а видит их сразу и целиком, подсказывая неискущённой душе, что смотреть и видеть картину надо только нерасчленённой на составляющие, не просчитывая её элементов один за другим, не разбирая её, как ребус или головоломку. Постепенно зритель, если ему дорого собственное время, а оно дорого лишь тогда, когда его не жаль на внимательное и неторопливое изучение картин, начинает понимать язык мастера. Происходит чудо. Мир автора, для кого-то — слишком сложный, для кого-то — чрезмерно примитивный, вдруг начинает читаться, подобно книге, когда, возвращаясь на задержавшую ваше внимание страницу, ощущаешь каждый раз не только прибавление основного впечатления, но и обязательное открытие нового нюанса, иногда изменяющего изначальный образ до противоположного, но никогда не в ущерб восприятию ценности картины, её целокупного духовного состава. Андрей многих буквально шокирует некоторыми гиперреальными деталями, особенно в обнажённой натуре, но если не проговаривать словами их назначение, то всё встаёт на своё место и начинает работать на сознание в очищающем душу ключе.

Андрей Пеплов — художник-учёный. Он делает не только то, что в своё время творили мастера эпохи Ренессанса, которые, изучая природу не просто как ученики Природы, но и как её исследователи, постепенно, шаг за шагом постигали её многочисленные скрытые конструкции и тем самым переводили в художественный образ знание высокого внутреннего Порядка, работающее на уровень Духовного Образа. Андрей углубляет изучение природы, выводя его далеко за пределы анатомических, мимических и других физиологических законов, устанавливая для себя и для зрителя новые закономерности раскрытия внутреннего мира человека. Этот мир в какой-то мере подвластен внимательной кисти и пытливому глазу мастера, но главный талант Андрея — это доверие Провидению, которое даёт его художническому сознанию дополнительный угол зрения для сверхъестественного уточнения уже как бы невидимых простым людям деталей. Герои Пеплова живут во времени, которое значительно дольше, чем те минуты, в которые на них смотрит зритель. Время его живописи, в отличие от мгновения фотографии, фиксирует не иллюзорные, а реальные изменения в лицах его портретных героев. Это трудно объяснить, но это так и есть. В этой фантастической живости и заключена та боль, которая не уходит, а лишь гложет, напоминая нам, что перед нами всего лишь изображение. Сделанное мужественной рукой и с открытым Миром и Богу сердцем.

Этот художник заставляет думать. Думать не словами, а чисто образно-определяющими. Так, как положено было когда-то в древности, когда ложь словоопределения ещё не стала важной частью жизни человека. Если мы, выискивая какие-то параллели с искусством классицизма, попытаемся сравнить все главные параметры, из которых по программе этих мастеров должна складываться картина, мы увидим, насколько сложнее и содержательнее с любой точки зрения творчество Андрея. У его героев совершенно отсутствуют мимические штампы, затасканные и банальные живописные приемы, “фабрично-мануфактурный” стиль определения образного звучания. Первое — это исключительно важно! — художник буквально “въедается” в своего героя, не просто вглядывается в него, подчёркивая показавшиеся ему важными детали, а исходит из самой природы, которую сам никогда не “припечатывает” про себя какими-то характеристиками, а до изнеможения ищет и всегда находит в ней то, что уже далеко за пределами слов. Это и есть истинно изобразительное искусство, достигающее в своём результате таких осмысленных и воплощённых состояний, которые опережают слова, пытающиеся их зафиксировать и как-то определить, проштамповав красивой, но всегда неадекватной формулой, место которой — только в литературе, но не в науке визуального постижения мира.

Впечатление фотографичности в картинах Пеплова обманчиво. Первый взгляд поражает точность воспроизведения природы, нерукотворность за гранью объектива. Потом становится ясно, что здесь умно и совсем не оптически работает цвет, причём цвет не просто спектрально-конкретный, а именно живописный, чисто художественный, со всеми возможными нюансами взаимных переходов из тёплых тонов в холодные, с почти классическими, но многократно усиленными смысловыми нагрузками. Цвет буквально оживляет всё, чего коснулся художник своей почти мистической кистью. Оживляет не в смысле биологическом, а духовно.

У зрителя возникает масса вопросов – не к автору, а к самой картине, и первый из них: почему такая бесспорная красота вызывает тревогу, а иногда и боль? Почему так многозначны по содержанию психологические характеристики героев?

Андрей традиционно может быть назван портретистом. Но, называя его этим словом, мы чувствуем его дискомфортное несоответствие определяемому понятию “портретист”: слишком много для просто портрета содержится в его разных по своей сути и анатомии лицах. Часто в них присутствует такое, что парадоксально исключает само понятие “портрет” из изображения конкретного лица. В “антипарсунах” Андрея живёт лик эпохи, в котором зачастую отражено предчувствие войны, которая, казалось бы, не имеет к персонажу никакого отношения. Подобное сверхъестественное ощущение звучания эпохи всегда отличает тех авторов, которые по разным причинам оказываются хотя бы рядом с голосом Господа Бога, направляющего их сознание в особое русло мироощущения Высшей Правды Бытия, в которой есть место каждой мелочи. Для такого мастера любой комплимент звучит как минимум неправдиво, потому что он знает, что всеми успехами своими он обязан Божьей Воле, по которой его рукой водит или Ангел, или диавол. И не надо этому удивляться: некоторых зрителей озадачивает зловещее звучание духовной атмосферы в картинах Андрея, которое они, бесспорно, ассоциируют с тёмными силами. Думается, это грубая ошибка, в которой современный любитель искусства не виноват: его давно держат на уровне мышления позапрошлого столетия, полагая, что понимание картины укладывается всё в те же пресловутые слова и в их бытовое остроумие. В картинах Андрея Пеплова содержится переплетение греха с добродетелью, и не в виде винегрета, где одно от другого не отделить, а подобно магическому орнаменту без начала и конца, в котором тёмное или светлое побеждает не количеством, а качеством. А видеть и понимать это качество может лишь тот, кто исходит в собственном миропонимании из острого чувства Божьей правды. А оно, не будем кривить душой, есть у немногих. Поэтому снобистское упрощение творческих результатов искусства Андрея Пеплова – дело бесполезное и неблагодарное. Наоборот, на анализе его творчества можно попытаться начать понимать не только новую живопись, но и новый стиль комплексного мышления, которое включает и возрождённое из глубин древности чистое изобразительное начало.

Арийская внешность Андрея ближе всего к образу средневекового рыцаря-крестоносца, у которого самоощущение в Вере превышает всё остальное, в том числе и бойцовские качества. Он совсем не похож на привычный образ живописца. Он скорее античный ритор, подбирающий слова не для расшифровки, а для создания интеллектуального фона своим произведениям. Не хочется углубляться в степень его воцерковлённости – это отдельный, очень деликатный разговор. Но его бесспорное желание приблизиться к Истине в Боге настолько открыто и мужественно, что хочется пожелать этому раритетному человеку и художнику дальнейших творческих успехов именно в том ключе, который он своей биографией сумел обрести через чудо прозрения. А может, и Откровения.



## ПОКА ЖИВУ, НЕ РАССТАНУСЬ С ЖУРНАЛОМ

Дорогие сотрудники редакции журнала “Наш современник”!

Благодарю вас за ваш журнал за то, что вы есть на свете! Мне вас открыла моя дочь.

Спасибо вам особое за № 10 2015 года, где интересная повесть “Воскрешение мумий” П. Беседина, а также рассказ “Чудес хочется” Е. Тулушевой, который очень напомнил фильм “Дети Дон-Кихота” с А. Папановым в главной роли.

Также очень вам благодарна за то, что познакомили меня со стихами Михаила Гучериева, особенно “Я обязательно вернусь” и “Мой вторник”. В них всё моё личное – и жизнь, и слёзы, и любовь.

Неоднократно перечитывала и каждый раз плакала, особенно над стихотворением “Я обязательно вернусь”.

Переписала стихи эти в толстую тетрадь (6-ю по счёту, так как за несколько лет выписываю их из “Нашего современника”, а особенно – политические).

Из публикаций журнала прошедшего года мне очень понравился “Танец победителя” – о маршале Жукове Г. К.

Ваш журнал для меня – как бальзам на душу, и пока я жива, не расстанусь с ним, лишь бы вы были живы-здоровы и не скурвились (простите меня за эти слова), как, например, С. Алексиевич, эта “нобелевка”...

И чтобы суть вашего журнала сохранилась навсегда (то есть суть В. Шукшина, В. Распутина, В. Белова, С. Есенина, К. Симонова) – дай Бог!

Когда читаешь Ваш журнал, появляется надежда, что исконная Россия жива ещё, и народ наш русский не погибнет!

Мой пламенный привет Андрею Убогому, к которому я прикипела душой за его “Страну радости” (Индию) и “Робинзона” (то есть “Рукопись”).

С Новым годом! До свидания.

**Алла Константиновна Фатосулова,  
Карелия, Суоярви**

# ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС “КРЫМСКИЙ РАССВЕТ”

## *Положение о конкурсе*

### **I. Основные положения**

1. Крымское региональное отделение Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Литинститута им. Горького (Москва), МОО “Русское единство”, Студии театра и кино “ИНСАЙТ”, Крымского республиканского Дворца культуры профсоюзов, издательства “Вече” (Москва), газеты “Литературная газета+”, журналов: “Наш современник” (Москва), “Москва” и “Золотой Пегас” в рамках Года Литературы в России объявляет конкурс для начинающих писателей “Крымский рассвет”.

### **2. Конкурс объявляется в 3-х номинациях:**

- Проза;
- Поэзия;
- Екатерининский стих.

В номинации “Екатерининский стих” могут быть представлены произведения стихотворной формы (объём текста до 150 строк), посвящённые Екатерине Великой, исторической памяти о её деятельности и значении результатов её правления для Крыма, событиям, связанным с сооружением, сносом или восстановлением памятника императрице в Симферополе, и другим смежным темам.

### **II. Основные требования:**

– На конкурс принимаются работы начинающих авторов с 16 до 35 лет, пишущих на русском языке, проживающих на территории Республики Крым или в Севастополе;

– произведения должны соответствовать номинациям конкурса;

– к рассмотрению принимаются тексты, опубликованные в книгах, а также рукописи.

– в номинации “Проза” максимальный объём 10 страниц (шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5 (полуторный)).

– в номинациях “Поэзия” и “Екатерининский стих” – до 150 строк.

К работе необходимо приложить Заявку с указанием личных данных участника: Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания, адрес электронной почты, номер телефона, название номинации, и приложить фото заявителя. Произведения и Заявки представляются по электронной почте на адрес: [konkurs@russiaspr.org](mailto:konkurs@russiaspr.org)

### **III. Сроки проведения Литературного конкурса**

1. Приём работ осуществляется с 15 декабря 2015 г. по 01 марта 2016 г.

2. Подведение итогов конкурса – с 01 марта по 19 апреля 2016 г. в два этапа:

– объявление длинного списка – 10 марта 2016 г.;

– объявление и награждение победителей – 19 апреля 2016 г.

3. Вся информация о литературном конкурсе, сроках, месте проведения и победителях размещается на сайте конкурса [russiaspr.org](http://russiaspr.org) и в группе конкурса в социальных сетях [vk.com/russiaspr](http://vk.com/russiaspr). Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7978-2138895.

### **IV. Премирование победителей**

Объявление победителей будет приурочено к годовщине Воссоединения Крыма с Россией по указу Екатерины Второй и пройдёт в апреле 2016 г. По решению жюри лучшие произведения будут опубликованы в крымских и общероссийских изданиях, а сами победители – награждены призами и специальными дипломами. Лучшие молодые авторы будут рекомендованы к зачислению на бюджет в Литературный институт им. Горького (Москва).